

МЭРИ РЕНО

ПОСЛЕДНЯЯ ЧАША



СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

МЭРИ РЕНО
ПОСЛЕДНЯЯ ЧАША

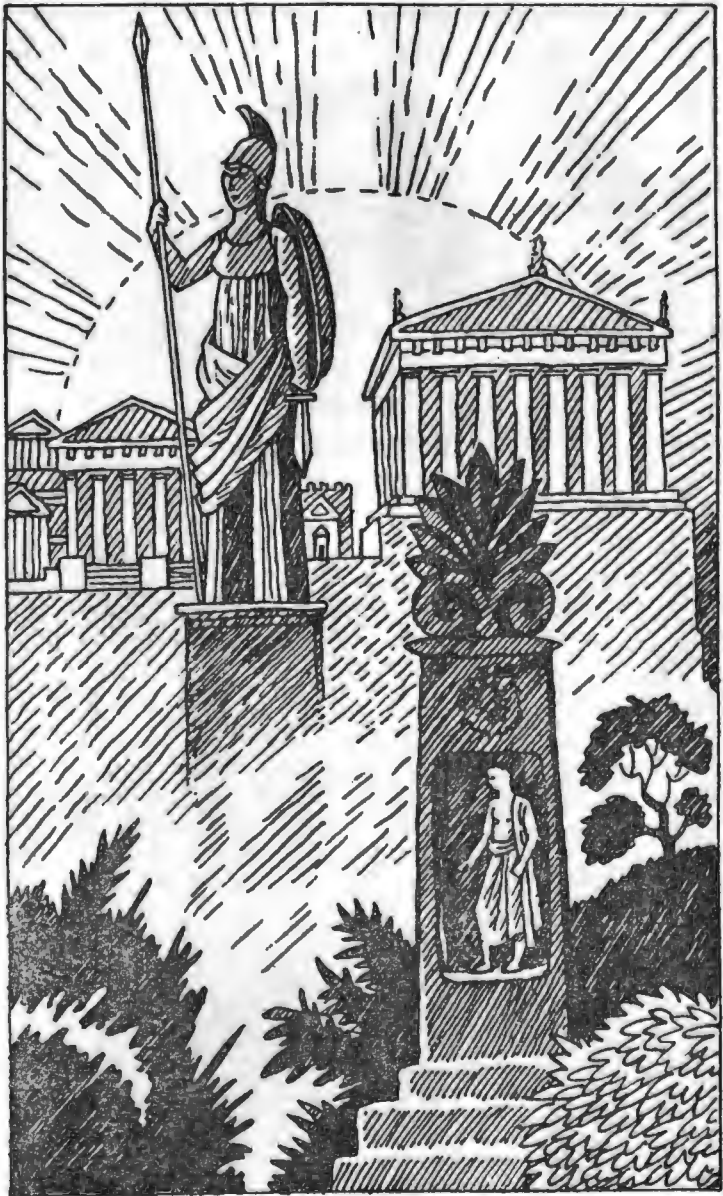








СЕРИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ
РОМАНОВ



МЭРИ РЕНО

**ПОСЛЕДНЯЯ
ЧАША**

Санкт-Петербург
«СЕВЕРО-ЗАПАД»


1994

Рено М.

Р 39 Последняя чаша: Исторический роман/Пер. с англ. Г. Ф. Швейника. – СПб.: Северо-Запад, 1994. – 447 с.
ISBN 5-8352-0322-5

Книга рассказывает о насыщенной событиями жизни Греции V века до н. э. В центре повествования – судьба мальчика, на которой отразились как внутренняя жизнь страны, ее проблемы, так и внешняя политика Афин.

Перепечатка отдельных глав и всего произведения в целом – запрещена. Всякое коммерческое использование данного произведения возможно исключительно с ведома издателя.

- © Г. Ф. Швейник. Перевод, 1994
- © В. Лебедев. Иллюстрации, 1994
- © «Северо-Запад». Подготовка текста, 1994
- ® . Зарегистрированная торговая марка. Охраняется законом.

ISBN 5-8352-0322-5

Словарь

Агора – рыночная площадь, служившая местом собраний

Архонт – один из девяти верховных правителей в Афинах

Гимназиарх – афинский чиновник, надзиравший за атлетическими школами и состязаниями

Гиппарх – командующий кавалерией

Гоплит – воин-пехотинец

Дарик – золотая или серебряная монета, названная именем персидского царя Дария. Равнялась 20 драхам

Дем – район или поселение в Аттике

Дикастерий – судебная палата из 6 тысяч граждан

Драхма – греческая серебряная монета

Керамик – «поле горшечников» – район в древних Афинах, разделенный стенами Фемистокла на Внутренний и Внешний Керамик

Кордакс – непристойный танец в греческой комедии

Коттаб – игра, разыгрывавшаяся в пьяных компаниях. Вино, оставшееся в чаше, выплескивалось в бронзовый сосуд; считалось хорошим предзнаменованием, если звук при этом получался звонкий

Кратер – сосуд с широким горлом

Метэк – союзник, получивший право поселиться в Афинах за уплату налога

Мина – обозначение денежной суммы, равной 100 драхам

Обол – монета стоимостью в 1/6 драхмы

Палестра – школа борьбы и атлетики

Панкратион – состязание, включавшее борьбу и кулачный бой

Пникс – место народных Собраний в Афинах, на холме к западу от Акрополя

Пританий – зал, в котором выдающихся граждан и иностранных послов угощали за общественный счет

Сколий – песня, которую гости за столом пели по очереди

Статер – золотая монета, равная 2 драхмам

Стратег – главнокомандующий или главное должностное лицо в Афинах

Стригиль – инструмент для соскребания с тела пота и пыли

Триера – галера с тремя ярусами весел; использовалась, как правило, в качестве боевого корабля

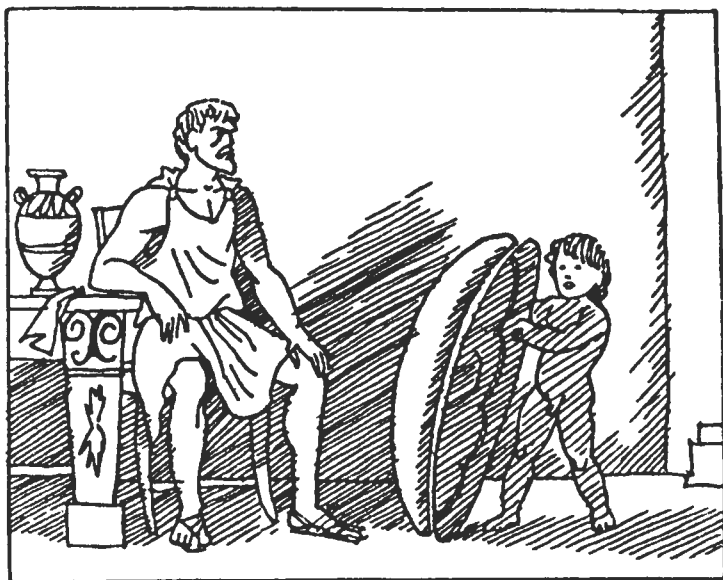
Триерарх – командующий на триере

Хламида – мужское одеяние

Эфеб – юноша, принадлежавший к первым трем классам по имущественному цензу, в возрасте от 18 до 20 лет; в это время их начинали обучать военному делу

Эфор – титул высших должностных лиц в Спарте; их было пять, они выбирались ежегодно и отвечали за сохранение законности, за ведение войны, за внутренние дела и за подготовку молодежи

Вся пунктуация целиком на совести переводчика, убежденного в том, что главная задача синтаксиса – передать интонацию рассказа.



1

В детстве – если болело что-нибудь, или влипал в какую историю, или в школе били, – я всегда вспоминал, что в тот день когда родился, отец хотел меня убить.

Вы скажете, мол, ничего особенного в том нет? Однако, право слово, не такой уж это частый случай, как может показаться. Ведь если отец решает выкинуть ребенка на произвол судьбы, – выкидывают, и все дела. Редко кто может сказать хоть о спартамцах, хоть о чуме, что он им обязан жизнью.

Это было при начале Великой Войны, когда спартамцы были в Аттике и выжигали деревни. В те дни все были уверены, что ни одна армия не может сразиться с ними в поле; потому мы удерживали только Город и Пирей, и Длинные Стены между ними. Так посоветовал Перикл. На самом деле, он был еще жив, когда я

родился, хотя уже болел. Но это вовсе не значит, что я должен его помнить, как полагают дураки из молодых. Один вот спрашивал недавно.

Сельский народ, чьи дома были сожжены, стекался в Город. И жили они – словно скот; где ухитрились слепить несколько досок и соорудить хоть какую крышу над головой. Они стряпади и спали даже в храмах и в колоннадах борцовских школ. Длинные Стены были облеплены вонючими лачугами до самой гавани. Где-то там у них и началась чума; и пошла, как огонь по сухому вереску. Кое-кто говорил, что это спартанцы призвали Далекостреляющего Аполлона; другие – что они ухитрились отравить родники... Иные из женщин, я знаю, обвиняли крестьян, – мол, они навлекли проклятие, – будто можно предположить в здравом уме, что боги способны покарать государство за то, что оно справедливо со своими гражданами. Но женщины философии и логики не знают, а гадателей боятся больше, чем бессмертного Зевса.. И потому всегда полагают, что если у них что-нибудь худо – это не иначе как накликано.

Чума покромсала нашу семью, как и все другие. Деда по матери, Дамиския, Олимпийского бегуна, похоронили вместе с его старыми призами и с оливковым венком. Отец мой оказался среди тех, кто тоже заразился, но выжил. После того у него какое-то время был кровавый понос, и для войны он был слишком слаб; когда я родился – он только-только выздоровел.

В день моего рождения младший брат отца, Алексей, умер на двадцать четвертом году. Он услышал, что заболел один юноша, – Филон его звали, любовь у них была, – и тотчас кинулся к нему. Мне рассказывали, он по дороге встретил не только рабов, а даже собственную сестру того мальчика, – они из дому бежали... А отец и мать его уже сгнули. Алексей нашел паренька одного; тот лежал в бассейне фонтана во дворе – заполз туда, пытался жар остудить. Он никого не просил, чтобы позвали его друга; не хотел опасности подвергать. Но несколько прохожих видели издали, – близко-то подо-

доть никому не хотелось, – видели, как Алексей заносил его в дом.

Отец узнал об этом не сразу. Узнал как раз тогда, когда мать меня рожала. Он послал туда надежного слугу, уже переболевшего, но тот нашел обоих мертвыми. По тому, как они лежали, было похоже, что в момент смерти Филона Алексей почувствовал, что тоже заразился. Ну а зная, к чему это ведет, что будет дальше, – выпил болиголова, чтобы двинуться в путь вместе. Возле него на полу стояла чаша; он вылил отстой и написал пальцем «ФИЛОН», как это делают после ужина остатками вина.

Дело было ночью. Отец взял людей с факелами и пошел принести тела; чтобы можно было смешать их пепел в одной урне и сделать им достойный памятник... Но их уже не было: бросили в общий костер на улице. Только потом дед поставил камень для Алексея на улице Могил; с барельефом, где друзья прощаются за руку, и с чашей возле них на пьедестале. Каждый год на Семейный Праздник мы приносили жертвы для Алексея на домашнем алтаре; и эта история одна из первых, какие я помню. Отец мой часто говорил, что по всему Городу от чумы умирали самые лучшие, самые красивые.

Алексий умер, не успев жениться; и теперь отец решил, что если родится мальчик – назовет ребенка в его честь. Старшему моему брату, Филоклу, было в то время два года, и от рождения был он на диво пригож и крепок; а я, когда повитуха подняла и показала, выглядел жалко: сморщенный, уродливый... Мать меня не доносила почти месяц; то ли от слабости, то ли по промыслу кого-то из богов. Отец сразу решил, что называть меня в честь Алексея недостойно будет, что я дитя худого времени, отмечен гневом божьим, – и лучше, чтоб меня вообще не было.

Но так получилось, что когда я родился, он как раз из дому вышел, – он тела искал, – и повитуха отдала меня матери, покормить. Отца это разозлило. Ведь после этого она сразу ко мне привязалась, как это всегда у женщин; а тут еще больна была, в лихорадке – стала плакать, жизнь мне вымаливать... Он еще уговаривал

ее, — ему не хотелось отбирать меня силой, — но как раз глашатай затрубил сбор всадников: спартанцы двинулись на Город.

В те дни семья наша была довольно богата, — у отца было два коня, — так что ему надо было вооружаться и торопиться к своему эскадрону. Прощаясь с матерью, он свое приказание так и не отменил; но — то ли в спешке, то ли из жалости — выполнять никого не назначил. Ну а на такую работу желающих всегда мало, — и дело отложилось на несколько дней, пока спартанцы не отошли и отец не вернулся домой.

А вернулся — дом в трауре. Брат мой, Филокл, был уже мертв, а мать при последнем издыхании. Она с самого начала распорядилась, чтобы меня держали от нее подальше; один из рабов наших нашел мне кормилицу, и я был у нее.

Вернувшись с похорон с обрезанными волосами, отец велел меня принести — решил, что кормилица достойная женщина, и оставил на ее попечение. Наверно он любил мать. И пожалуй не ошибусь, если скажу, что он тогда вспомнил о превратностях жизни — и подумал, что лучше оставить после себя хоть меня, чем вовсе стигнуть без следа, словно его никогда и не было. В конце концов, видя что я обрастаю телом и становлюсь покрепче, — да и выгляжу получше, — он все же назвал меня Алексием, как собирался с самого начала.

2

Дом наш стоял во Внутреннем Керамике, неподалеку от Дипилонских Ворот. Во дворе была небольшая колоннада — колонны крашенные, — фиговое дерево и виноград. А за домом — конюшня, где отец держал двух своих коней и мула. На крышу конюшни легко было забираться, а с нее и на дом.

По крыше дома шел бордюр из фигурной черепицы, и была она не слишком крутая. Если подняться на конек, то можно было увидеть — через стену возле Дипилон-

ских воротных башен – Священную Дорогу, как она вьется в сторону Элевсина среди садов и могил. Летом я мог различить погребальную стелу моего дяди Алексия и друга его; там рос белый олеандр. Потом я обычно смотрел на юг, на Верхний Город, что возносится к небу, будто громадный каменный алтарь; и там, среди летящих в поднебесье крыш множества храмов, отыскивал золотую точку, где громадная Афина-Воительница подняла копьё – знак кораблям в море...

Но лучше всего было смотреть на север, на хребет Парнаса. Зимой он был белый от снега на вершинах; летом бурый, выжженный солнцем; весной – серо-зеленый... Я смотрел и ждал, когда пойдут спартанцы. В первые мои шесть лет они приходили почти каждый год. Они шли через перевал у Декелси, и весть об этом обычно приносил верховой гонец; но иногда самое первое, что видели в Городе, – дым на горах где они жгли деревни.

Наше поместье – в предгорье, за Ахарнами. Семья наша жила там, говорят, испокон веку, сколько цикады поют. По склону над долиной террасы под виноградниками, но главный урожай – маслины; ну и ячмень с оливковых плантаций. Одна роща была наверно такой же древней, как сама земля. Стволы – в два обхвата, сплошь узловатые, корявые... Говорили, что их посадила сама Афина, когда подарила оливы нашей стране. Две или три из них стоят и по сей день. Мы там жертвы приносили во время жатвы, каждый год; если конечно жатва вообще была.

Меня обычно посылали туда ранней весной, чтоб сельским воздухом подышал, а потом – когда подходило время спартанского набега – привозили назад. Но однажды – мне было четыре или пять – они появились раньше обычного, и мы едва успели выбраться оттуда. Помню, как сидел на повозке, вместе с рабынями и домашней утварью; отец ехал рядом верхом, раб палкой погонял волов, колеса прыгали по неровной дороге, – и все мы кашаяли от дыма горевших полей. В тот год спалили все. Только оливковая роща осталась; ее сохранили ради богов.

Я был слишком мал, чтобы понимать серьезные вещи, и потому – когда они уходили – радовался, что можно будет посмотреть, как там стало, что они там натворили. Однажды их отряд квартировал в нашем сельском доме; и те из них, кто умел писать, исчертили все стены именами своих друзей и разными похвалами их красоте и прочим достоинствам. Помню, как отец сердито стирал уголь и ворчал: «Забелить эти неграмотные каракули!.. Малыш никогда не научится правильно писать, если эта мерзость будет у него перед глазами». Один из них оставил свой гребень. Я думал, это сокровище, но отец сказал с отвращением, что он грязный, – и выкинул.

Пожалуй, я вообще не знал, что такое беда, пока мне не исполнилось шесть. А в тот год умерла моя бабка, у которой я оставался, когда отец бывал на войне. Был у меня дед, Филокл. Высокий старик с красивущей бородой, всегда расчесанной и белой почти до голубизны; я до сих пор вижу бога Посейдона в его облике. Но дед уже ослабел и не мог со мной управиться; так что отец нанял няньку, свободную женщину с Родоса.

Она была худая и смуглая, с примесью египетской крови. Скоро я узнал, что она наложница отца, хоть не очень понимал, что это такое. Не то чтобы она когда-нибудь нарушала приличия передо мной; но иногда доводилось слышать, что говорили меж собой рабы, а у них были свои причины ее ненавидеть.

Будь я чуть постарше – мог бы утешаться мыслью, когда она меня травила, что отец скоро от нее устанет. В ней не было ничего из тех достоинств, какие он мог бы найти в гетере самой средней руки; а в то время он мог себе позволить самых лучших... Но мне она казалась такой же вечной, неотъемлемой частью дома, как крыльцо или колодец. Наверно она и сама начала догадываться, что когда я вырасту настолько, чтобы ходить в школу, – отец найдет случай от нее избавиться. И потому любое мое достижение ее злило.

Чтоб не быть совсем одному, я взял у раба бездомного котенка. Она вскоре обнаружила это – и свернула ему шею, у меня на глазах. Я пытался его отобрать, укусил ее за руку... Вот тогда она и рассказала мне, на

свой лад, историю моего рождения, которую узнала от рабов. И потому – когда она меня била – мне и в голову не приходило пожаловаться отцу, попросить его защиты. А он, видя, что я с каждым днем становлюсь все мрачнее и изворотливее, да и глупее с виду, – не раз наверно думал, что зря отказался от первого намерения своего.

По вечерам, когда он входил одетый для ужина, я всегда думал: как это – чувствовать себя красивым? Он был больше шести пядей росту, сероглазый, смуглый и золотоволосый; сложен – как те большие Аполлоны, каких делали тогда в мастерской Фидия, до того как скульпторы начали вырезать своих маленьких Аполлонов. Ну а я – я был из тех, кто растет медленно; мал для возраста своего; и уже ясно было, что похож на мужчин из материнской семьи. Они все были темно-волосые и синеглазые, и годились скорее в бегуны или в прыгуны – не борцы и не панкратиасты. Родоска не оставила мне никаких сомнений в том, что я урод в семье; а ничего другого никто мне не говорил.

Но я все равно любил смотреть на отца, когда он надевал свой лучший синий плащ с золотой каймой, а загорелая грудь и левое плечо были открыты; и был он выкупан, причесан и натерт душистым маслом, а в волосах цветы, и борода с острым кончиком... Это значило, что вечером будут гости. Я уходил спать совсем один, невымытый, – родоска была занята на кухне, – и лежа в кровати подолгу слушал флейты и смех, слушал как поднимаются и опускаются голоса в разговоре, или как кто-нибудь поет под лиру. Иногда, если нанимали танцора или жонглера, там, фокусника – я забирался на крышу и смотрел оттуда, через двор.

Однажды к нему на вечеринку пришел бог Гермес. По крайней мере так я подумал сначала. Не только потому, что этот человек был слишком высок и слишком красив, чтобы не быть богом, и держался как привыкший к поклонению, – но и потому что он был так похож на Герма, что стоял перед одним из новых богатых домов, словно с него того Герма ваяли. Впрочем, так оно и было. Мой священный трепет прошел только тогда, когда он вышел во двор помочиться; тут я почти

поверил, что он человек. Как раз кто-то внутри дома позвал – «Алкивиад! Ты куда подевался?» – и он пошел обратно в трапезную.

Отец в те времена был занят своими делами и обо мне вспоминал не часто. Но время от времени все-таки вспоминал – и принимался исполнять свой отцовский долг. Так было, к примеру, когда наш домоправитель поймал меня на краже зерна. Я собирался его стащить, чтоб покормить голубей; а с зерном в тот год было туго. В манере, усвоенной от няньки, я топнул на него ногой – и сказал, что он не имеет права мне запрещать, раз он всего только раб. Отец услышал это – и вошел в комнату. Он учтиво отослал того человека и сказал:

– Алексей, мой щит вон там, в углу. Возьми его и принеси мне.

Я пошел к щиту, прислоненному к стене, взял его за край и покатил. Он был таким тяжелым, что поднять его я не мог.

– Ну кто ж так делает, – сказал отец. – Просунь руку в ремни и неси, как я.

Я просунул руку под один из ремней и ухитрился поставить щит прямо, но поднять так и не смог; он был почти с меня высотой.

– На самом деле поднять не можешь? – спросил отец. – А ты знаешь, что в пешем бою мне приходится нести не только его, но еще и копьё впридачу?

– Но, папа, я же не взрослый!

– Ну тогда поставь его обратно в угол. И подойди ко мне.

Я подошел.

– А теперь слушай внимательно, – говорит. – Когда ты станешь достаточно взрослым, чтобы нести щит, – ты узнаешь, почему бывает, что людей продают в рабство, и их дети рождаются рабами. А до тех пор тебе достаточно знать, что Амазий и другие – рабы не потому, что ты чем-то лучше их, а потому что так распорядилась судьба. Так что избавься от гордыни, ненавистной богам, и веди себя как благородный человек. А если забудешь – я сам тебя накажу.



Такие знаки отцовского внимания родоске были ненавистны; она видела, что из ее драной сети ускользают и бык и теленок. Вскоре она поймала меня на какой-то мелочи, стала раздувать из мухи слона, и постаралась выставить меня лжецом, когда я стал отрицать серьезность вины своей. Старалась – и перестаралась. Отец сказал, что пора отправлять меня в школу, – и сделал это немедленно.

Но вскоре после того он опять ушел на войну, так что еще пару месяцев она оставалась хозяйкой в доме. Я жил в тяжелые времена, и мне пришлось не легче, чем остальным, – но те дни были, пожалуй, самыми страшными из всего, что я помню. Не знаю, как бы я это вынес, если бы не друг, что появился у меня в школе. Ведь рос я тихим и застенчивым, друзей у меня никогда не было...

Однажды утром прихожу в школу – в музыкальный класс – там все веселятся, пихают друг друга локтями, а у мастера уже новое прозвище: Учитель Старика. И правда, в классе, на одной из скамей, сидел мужчина лет сорока пяти, борода седая, – явно староват изучать все то, с чего начинают учить детей. Я всегда был одинок в классе; и тут сразу понял, что из меня станут делать дурака, вынуждая сесть на одну скамью с тем дядькой. Потому прикинулся, будто мне самому так нравится, – и сел возле него. Он кивнул мне, а я стал его рассматривать. Ну, во-первых, просто потому, что он был самым уродливым из всех, кого я в жизни видел; а потом еще и потому, что мне подумалось – я его узнал. Он был как две капли похож на Силену. Того, что у нас дома на большом винном кратере нарисован: курносый, большеротый, пучеглазый, губы толстые, мощные плечи, крупная голова... Он казался добрым, потому я придвинулся к нему и спросил потихоньку, правда ли, что его зовут Силен. Он повернулся ко мне, чтоб ответить, – и меня будто ударило, будто ярким светом мне сердце залило... Он на меня смотрел не так, как смотрят на детей, всегда думая о чем-то еще. Все взрослые всегда только так смотрели, а он – нет. Он сказал, как его зовут, и спросил, как настраивать лиру.

Я рад был похвалиться тем немногим, что уже умел. И, почувствовав себя с ним просто, спросил, почему такой старик, как он, вздумал пойти в школу. Он вовсе не обиделся – и ответил, что, мол, не учиться тому, что может сделать человека лучше, – это гораздо позорнее для старика, чем для мальчишек: ведь у него было время узнать, насколько это ценно. «И еще, – сказал он, – недавно ко мне пришел во сне бог и велел создавать музыку. А вот руками создавать или в душе – этого я не разобрал. Ты ж понимаешь, что мне нельзя отказываться ни от того, ни от другого». Я хотел побольше узнать про его сон, да и свой какой-нибудь ему рассказать, – но он сказал: «Мастер идет!»

Мне было так интересно, что на другой день я не полз в школу, а бежал. Чтобы прийти пораньше и поговорить с ним. Он пришел только к самому уроку; но наверно заметил, что я ждал его, и на следующий день пришел пораньше. Я был тогда в том возрасте, когда детишки переполнены вопросами. Дома – у отца редко бывало время на них отвечать, родоска не хотела, рабы не могли... Я потащил все вопросы своему соседу в музыкальный класс; и он всегда отвечал мне – по делу и понятно, – так что некоторые из мальчишек, что поначалу издевались над нашей дружбой, теперь стали вытягивать шеи, чтобы послушать тоже. Иногда он отвечал «Не знаю». Я однажды спросил, отчего солнце горячее и почему звезды на землю не падают, – он сказал, не знает; и никто не знает, кроме богов. Но если что-нибудь казалось страшным – у него всегда находилась разумная причина не бояться.

Однажды я заметил возле школы птичье гнездо, высоко на дереве. Когда мой друг появился, я сказал ему, что после уроков собираюсь полезть посмотреть, нет ли там яиц. Мне показалось, что он меня и не слушает, – в то утро видно было, что занят своими мыслями, – но он вдруг пристально глянул на меня и сказал так, что я вздрогнул:

– Нет, малыш. Это я тебе запрещаю.

– Почему? – спросил я. С ним это было естественно, нормально было спросить «почему».

Он сказал, что с тех пор, как был он таким вот как я, — если он сам или друзья его собирались сделать что-нибудь такое, что до добра не доведет, — что-то давало ему знак. Он не знал, что это, но оно ни разу его не обмануло. Сказал — и повторил свой запрет. Я не то чтобы испугался — затрепетал, как в храме; впервые я ощутил силу его. Чтобы его не послушаться, — об этом и не подумал ни разу; а вскоре после того разговора сук с гнездом рухнул на землю, оказался насквозь гнилой.

Хоть он не мог играть, как я, — пальцы не такие гибкие были, — ноты он выучил быстро; так что мастеру уже нечему было его учить. Мне его очень не хватало, когда он ушел из школы. Быть может, даже такая мысль была: «Вот отец, который не стал бы думать, что я его позорю, — он и сам некрасив, — а любил бы меня и не хотел бы выкинуть на гору». Может и такое было, не знаю. Но знаю, что кто бы ни повстречался с Сократом, — неважно по какому случаю, пусть самому нелепому, — кто бы ни повстречался с ним, все потом чувствовали, что его направлял кто-то из богов.

А вскоре после того отец мой женился во второй раз. На Арите, дочери Архагора.

3

Когда мы стали эфебами — я и сверстники мои, — про нас иной раз говорили, что мы, мол, не уважаем старших, обычаев не чтим, ни во что не верим — и обо всем судим слишком уж самостоятельно. Ну, говорить-то можно только за себя; а про себя я помню, что считал большинство взрослых умными. Считал так до одного дня, мне тогда пятнадцать было.

Отец ждал к ужину свой клуб, и ему нужны были венки для гостей. Я сказал ему накануне, что самые лучшие цветы можно достать раненько с утра, перед школой. Он рассмеялся, — знал, что я ищу причину удрать без наставника, — но разрешил. Ведь, что в такой

ранний час я встречу не слишком много искушений – он тоже знал. Не секрет, что в юности его звали Мирон-Красавец. Это прямо как имя было, все равно что Мирон сын Филокла. Но он думал, – все отцы так думают, – что я моложе и глупее, чем был он сам в такие годы.

Он в тот раз угадал. На самом деле, все что я хотел – посмотреть на флот, собиравшийся на войну. Мальчишки говорили об этом «Война», – словно с нашего рождения был хоть один день без войны, – потому что это была новая затея Города, и эта великая армада на самом деле казалась нам олицетворением Войны. В палестре повсюду вокруг борцовской площадки сидели люди и по пыли рисовали друг другу карты: вот Сицилия, которую армия завоюет, вот союзные города, вот дорийские, вот большая сиракузская гавань...

Отец на войну не уходил, и это меня удивляло. Всадников, правда, и не призывали; но многие рыцари, чтоб не отстать от других, добровольно шли гоплитами. Правда, он недавно вернулся из похода: был с Филоратом на Мелосе, что отказался платить нам дань. Афиняне победили триумфально, мелосцев разбили в пух. Я хотел, чтоб отец рассказал о походе. Потом бы я в школе говорил мальчишкам: «Мой отец так сказал, он там был!..» Но когда спросил – он почему-то рассердился...

Поднялся я со вторыми петухами – звезды еще яркие были – и уж постарался, чтоб никого не разбудить. Я знал, он рассердится; потому что ночью у нас был переполох. Собаки подняли ужасный шум, и мы поднимались проверять запоры, – но никто не попытался к нам залезть.

Разбудил привратника – запереть за мной – и вышел. В юности я всегда ходил босиком, как всякий бегун. Выходя со двора на улицу, наступил на что-то острое, – но подошва у меня была толстая, словно бычья шкура, так что крови не было; я и не стал задерживаться, посмотреть что это такое. В тот год я должен был бежать длинную дистанцию на Панафинейских Играх, по группе мальчиков конечно; так что когда бежал – все время

держал в голове предписания тренера. По сравнению с песком тренировочной дорожки, по улице очень легко бежалось; пыль-то тонкая!..

Было еще очень рано, но на улице Оружейников горели лампы, а верхушки приземистых труб возле кузниц освещены были красноватыми сполохами собственных дымов. Вдоль всей дороги стучали молотки. Большие плющили пластины, поменьше забивали заклепки, а самые маленькие постукивали по золотым орнаментам, что заказали любители. Отец был против орнаментов; говорил, из-за них щит задерживает острие копья, вместо того чтобы отбивать. Я бы с удовольствием зашел посмотреть, как работают, но времени было в обрез; только-только подняться на Верхний Город, посмотреть корабли.

Я никогда не бывал там в такую рань. Снизу стены казались высоченными, будто черные утесы; а огромные камни циклопов в основании стен еще хранили следы костров, что жгли мидяне. Я миновал сторожевую башню и бастион, и пошел по ступеням к Порталу. Там никого не было; и одному стало просто жутко от его высоты и ширины, от громадных размеров, терявшихся в темноте; казалось, что я на самом деле взошел на твердыню богов. Ночь бледнела; как темное вино, в которое подмешивают воду. Уже видна стала роспись на стенах под крышами; в светлевших предрассветных сумерках краски менялись и становились все ярче...

Вот я вышел на открытое место возле Алтаря Здоровья, увидел крылья и треножники на крышах храмов... На фоне жемчужно-серого неба они казались черными. Там и сям, где кто-нибудь приносил жертву или жрец искал знамений, поднимался дымок; но не видно было никого. Высоко надо мной великая Афина-Воительница смотрела из-под своего шлема с тремя гребнями; пахло ладаном и росой... Я подошел к южной стене и стал смотреть на море.

Даль была в дымке тумана, но корабли я увидел; на них горели все огни. Те, что были ошвартованы, зажгли их для охраны; а те, что на якорях стояли, — для безопасности, так их было много. Можно было поду-

мать, что Посейдон выиграл свой старый спор с Афиной и основал Город на море. Я начал их считать, – те, что столпились у Пирея, те что у изогнутого берега Фалерона, те что на якоре в заливе, – начал считать, но скоро сбился.

Сам я никогда не плавал дальше Делоса, где был с хором мальчишек; мы там танцевали для Аполлона. И теперь завидовал людям в Армии: они уходили, чтобы осушить чашу славы, – и мне ничего не оставят... Наверно вот так смотрел мой прадед на флот, собиравшийся у Саламина; но там бронзовый клюв его триеры налетал на корабли длинноволосых мидян, словно Зевсов орел!..

Небо изменилось, за Гиметтом занималась заря. Один за другим гасли огни, – и становились видны сами корабли, сидевшие на воде будто серые птицы. Когда наконечник копья Афины полыхнул под лучом солнца, стало ясно, что пора идти; иначе опоздаю в школу. Раскраска статуй и фризов становилась все ярче, в мраморе чувствовалось тепло... Это было так, словно из хаоса ночи рождались гармония и порядок. Сердце во мне вздымалось. Глядя на плотную массу кораблей, я уже успел сказать себе, что это они сделали нас тем, кем мы стали, – первыми среди эллинов... Но теперь, оглядевшись вокруг, подумал: «Нет, не в кораблях дело. Только мы дали богам то, что достойно их».

Заря уже распустила свое огненное крыло, но Гелий еще не вышел из моря. Все вокруг казалось легким и бестелесным; все было неподвижно... Я подумал, что надо бы помолиться перед тем как уходить, но не знал, к какому алтарю подойти; казалось, что боги повсюду – и все говорят мне одно и то же, словно их не двенадцать, а всего один. Я чувствовал, что видел таинство, хоть не знал в чем оно. И был счастлив. И чтобы восславить всех богов разом – никуда я не пошел, а просто воздел руки к небу, там же где стоял.

Опускаясь по ступеням, я пришел в себя и сообразил, что опаздываю. Изю всех сил помчался на рынок и быстро потратил отцовские деньги, купив фиалки, уже сплетенные в гирлянды и несколько лилий. Цветочница

дала мне и тростниковую корзину; даром. На другом прилавке были темно-синие гиацинты, я возле них задержался. Мужчина, стоявший там, выбирая мирты, улыбнулся мне и сказал:

– Тебе надо было сразу купить вон тех, Гиацинт!

Но я поднял брови и прошел мимо, молча.

На базаре была прорва народу, разговоров разных было много... Я, как и каждый, всегда рад услышать что-нибудь новенькое, – но заметил, что тот с миртами увязался за мной, да и не хотел, чтобы отец осерчал... Потому помчался домой во весь дух; меня только цветы тормозили, боялся повредить их. И по дороге смотрел я только на них, по сторонам не оглядывался.

Я купил миртовый венок и нашему Герму-хранителю, нарядить его к пиру. Это был старый Герм, очень старый; он стоял у наших ворот еще до нашествия мидян. Лицо у него было как на самых древних картинах: закрытый рот, с улыбкой словно новая луна, на голове шляпа путника, борода... Но я его знал с самого рождения, и очень его любил; что он выглядел нескладно – это мне не мешало. И вот я шел к нему, отыскивая в корзине его венок; и только когда вытащил – тогда только поднял голову. Его уже осветило утреннее солнце, – я шаркнулся назад, со страху, и сделал знак против зла.

Ночью кто-то разбил ему лицо, в куски. Бороды и носа не было, и поля шляпы были сколоты, и фаллос на колонне... Половина рта была сбита, так что он казался изъеден проказой... Только синие глаза остались, и смотрели настойчиво, словно хотели заговорить. А вокруг было полно осколков; наверно на один такой я и наступил, когда выходил по темноте.

Сначала я с ужасом подумал, что бог сам это сделал, чтобы проклясть наш дом за какой-нибудь страшный грех. Но бог расколочил бы идола пополам одним ударом грома; это была людская работа; и они сделали, что смогли. Тут я вспомнил, как ночью лаяли собаки.

Отца я застал уже одетым, он просматривал какие-то свитки со счетами. Он начал было меня ругать, – солнце-то уже взошло, – но когда я сказал ему, что случилось, – бегом бросился наружу. Сначала сделал знак

против дурного глаза, а потом задумался, молча. И наконец сказал:

– Дому нужно очищение. Это наверно какой-нибудь помешанный натворил.

И тут мы услышали приближавшиеся голоса. Наш сосед Фалиний со своим домоправителем и двое-трое прохожих, перебивая друг друга, огорошили нас новостью: все Гермы по всей улице осквернены, и на других улицах то же самое.

Когда они затихли, отец сказал:

– Должно быть, это заговор против Города. За этим стоит враг, который хочет оскорбить наших богов.

– Какой враг? – спросил Фалиний. – Ты думаешь, богохульство вступило в заговор с крепким вином? У нас один-единственный человек оскорбляет закон от наглости своей, а богов – из спортивного интереса. Но это уж ни в какие ворота. Накануне войны!.. Да заставят боги страдать только виновных!

– Я знаю, кого ты имеешь в виду, – сказал отец, – но ты поймешь, что ошибся. Мы его видели пьяным, – чудит, но ума не теряет. Что нет, то нет. А я верю оракулам Диониса.

– Это ты так думаешь, – Фалинию никогда не нравились возражения, даже самые вежливые. – Мы знаем, те, кому посчастливилось испытать благосклонность Алкивиада, прощают ему все, как бы коротка ни была эта радость.

Как ответил на это отец, я не слышал: он заметил, что я стою рядом, и, повернувшись ко мне, сердито спросил, верно ли, что я собираюсь проболтаться на улице весь день.

Я позавтракал, позвал своего наставника и отправился в школу. Можете себе представить, нам было о чем поговорить по дороге. Он был лидиец, Мидас его звали, читать и даже писать умел, – слишком дорогой раб, чтобы держать его педагогом; но отец считал, нельзя доверять детей таким рабам, которые ни на что больше не годятся. С некоторых пор Мидас стал копить деньги, чтобы выкупить себя; в свободное время переписывал речи для судов. Но стоил он отцу очень много, –

наверно мин десять, не меньше, – так что пока не успел заработать и половины. Впрочем, отец недавно пообещал ему, что если он хорошо будет присматривать за мной до семнадцати лет – получит свободу как дар богам.

Разбитые Гермы были на каждой улице. Некоторые говорили, что на такую работу надо было нанять целую армию. Другие говорили – нет, то была не армия, а банда гуляк, расходившаяся после пьянки... И опять мы услышали имя Алкивиада.

Возле школы стояла толпа мальчишек и глазела на школьного Герма. Это был замечательный Герм, подарок самого Перикла... А теперь – некоторые из мелких, показывая на него, начали пищать и хихикать; старшие подошли к ним и велели вести себя, как надо. Там был и Ксенофон, сын Грилия, друг мой школьный. Я его окликнул, – он подошел. Вид у него был серьезный. Он красивый был парень, рослый для своих лет, сероглазый, волосы темно-рыжие... На него уже обращали внимание, так что наставник его от него не отходил.

– Это наверно коринфяне, – сказал он. – Постарались, чтобы боги бились в войне против нас.

– Если так, то они дураки. Они не подумали, что боги видят в темноте?

– Некоторые крестьяне возле нашего поместья вряд ли отличают бога от изображения, в котором он живет. Ничего похожего в Спарте никогда бы не случилось.

– Да уж конечно! У них там вместо Гермов кучи камней; ничего больше нет возле их грязных хижин. Ты когда-нибудь оставишь в покое своих спартанцев?

Это был наш давний спор, потому я не удержался и добавил:

– А может они это и сделали? Ведь они же союзники Сиракуз.

– Спартанцы? – Он посмотрел на меня с гневом. – Самый благочестивый народ Эллады? Ты сам прекрасно знаешь, что они никогда ничего священного не трогают, даже во время войны. А у нас нынче перемирие... Ты что, спятил?

Мы однажды уже подрались из-за спартанцев, до крови. Я вспомнил это дело и оставил разговор. Он

лишь повторял то, что слышал от отца; отца он очень любил. А у того взгляды были такие же, как у моего деду, до самой смерти. Все семьи, правившие в прежние времена, – кому не нравилось вмешательство простого народа в государственные дела, – все они хотели мира и союза со Спартой. Это не только в Афинах, а по всей Элладе. Спартанцы не меняли своих законов уже триста лет; у них илоты по-прежнему несли бремя, какое уготовили им боги. Я представлял себе, что это такое; сам по горло нахлебался во времена родоски. Но на Ксенофона нельзя было долго сердиться. Он добрый был малый; всегда делился всем, что у него было, и никогда не терялся в трудный момент.

– Пожалуй, ты прав, – сказал я. – Сам их царь тому пример. Ты слышал про свадьбу царя Агида? Невеста была уже в постели, а он как раз перешагивал порог, – и надо ж было, чтоб земля дрогнула! Так он, послушавшись знамения, тотчас вышел, и поклялся не заходить к ней целый год. Уж если это не благочестие – что ж тогда?

Я надеялся его рассмешить, – шутки он любил, – но он не увидел здесь ничего смешного.

Тут наш директор Микий вышел из школы и сердито позвал нас в класс. Он забирал нас на Гомера. Из-за беспорядка в Городе – да и нашего тоже – настроение у него было скверное, так что скоро он взялся за плетку.

Потом был урок музыки; и мы едва дождались, когда можно будет повесить лиры и бежать в гимнасий. Когда раздевались, в колоннаде было полно народу, так что теперь можно было услышать самые последние новости.

Наш тренер командовал ротой под Делием, но в тот день его едва было слышно. А флейта, под которую мы занимались, – и вовсе утонула в шуме. Так что он взял нескольких самых лучших борцов, а всем остальным велел работать самостоятельно. Наши опекуны извелись все, глядя, как мы слушаем мужчин в колоннаде; но те толковали только о политике. Это всегда можно издали заметить: когда они ссорятся из-за мальчика, то громко не кричат.

Каждый наверняка знал, кто виноват; но даже двух одинаковых мнений не было. Один говорил, что это коринфяне хотят оттянуть войну. «Ерунда, – сказал другой. – Это сделали люди, которые знают Город, как собственный двор...»

– Ну и что? Иные из наших метэков-чужестранцев отца родного продадут за пять оболов.

– Они работают, как лошади, и зарабатывают. Это что, преступление по-твоему?!

Вот так соперники в политике или в любви, державшие это в секрете, вдруг принимаются ругаться в открытую. Мне никогда прежде не доводилось очутиться среди испуганных взрослых мужчин, и сейчас это меня потрясло. До тех пор мне не приходило в голову, что такое великое богохульство может навлечь проклятие на весь Город, если оно совершено кем-то из своих.

Возле меня стояли несколько молодых людей, – там обвиняли олигархов:

– Вот погодите, они постараются свалить это на демократов, а потом потребуют, чтобы им позволили носить оружие для защиты! Трюк тирана Писистрата. Но он, по крайней мере, себе голову поранил, а не богу!

Олигархи, естественно, называли это грязной демагогией; и голоса становились все громче, пока кто-то новый не сказал:

– Обвиняйте не олигархов и не демократов, а одного-единственного человека. Я знаю свидетеля, бежавшего в святилище, опасаясь за свою жизнь. Он клянется, что Алкивиад...

При этом имени общий гвалт стал еще сильнее, чем прежде. Одни начали рассказывать истории о его распутстве... Истории, не слишком полезные для нас, мальчишек, – а мы конечно слушали очень внимательно... Другие говорили о его расточительных причудах; о семи колесницах в Олимпии, о его лошадях, флейтистах и гетерах; о том как, ставя в театре какую-нибудь пьесу или хор, он втрое превосходил всех остальных в пышности и блеске...

– Это ради золота и добычи он начал войну с Сицилией.

... Тогда зачем ему эта задержка?

– Да он что хочешь натворит, просто из жестокости!..

Город никогда не уставал от сплетен об Алкивиаде. Вспоминали даже истории двадцатилетней давности о его дерзости с поклонниками, когда он был мальчишкой.

– Ради собственной славы он затягивает войну, – сказал кто-то. – Если бы он не одурачил спартанских послов, когда те пришли с предложением мира, мир у нас теперь был бы...

Но тут прорвался сердитый голос, крик:

– Хотите, я вам скажу, в чем вина Алкивиада? Он родился слишком поздно, люди в Городе измельчали!.. Почему толпа изгнала Аристида Справедливого? Потому что вам было невозможно слушать, как превозносят его достоинства; вы знали, что это правда, – и стыдились сами себя!.. А теперь вам невозможно видеть в одном человеке красоту и ум, доблесть, родовитость и богатство!.. Что вообще питает демократию? Только ненависть к превосходству, только желание низких не видеть ни одной головы выше своей собственной!..

– Вовсе нет, боги свидетели! Это справедливость, дар Зевса людям...

– Справедливость?.. Если боги дали человеку мудрость, или дар предвиденья, или искусство, – неужто его надо травить, словно он все это украл? Этак мы скоро начнем калечить лучших атлетов по требованию худших, во имя справедливости... Или какой-нибудь гражданин, рябой и косой, возбудит дело против вот такого мальчика, как этот, – тут он вдруг показал на меня, – и ему, справедливости ради, сломают нос?

Тут спор оборвался хохотом. Те из них, кто был получше воспитан, видя мое смущение, отвернулись; но один-два продолжали меня рассматривать. Я увидел, как Мидас поджал губы, и пошел от них прочь.

Ксенофон был одним из тех немногих, кто пытался хоть как-то заниматься. Но тут он как раз закончил свою схватку и подошел ко мне. Я думал, он скажет, что в Спарте шума было бы меньше, – но он сказал другое:

– Ты слушал? Я тебе скажу странную вещь. Те, кто обвиняет коринфян или олигархов, – говорят, что иначе

и быть не может, или что так оно должно быть по логике. А те, кто обвиняет Алкивиада, – говорят, что кто-то им сказал.

– Именно. Значит, наверно что-то в этом есть?

– Конечно. Если только кто-нибудь не распускает эти слухи.

Лицо у него было простоватое, и вел он себя всегда тихо, – надо было хорошо его знать, чтобы понять, что он умница. Он постоял, оглядывая колоннаду, и тихо рассмеялся.

– Кстати. Если ты хочешь поучиться у софиста после школы – пора уже выбрать, у кого.

Что он смеялся – это было естественно. Ведь пока он мне не напомнил – я и не сообразил, что там были софисты. В любой другой день каждый из них был бы окружен учениками, словно цветок пчелами; а теперь, сидя на скамьях или расхаживая вдоль колоннады, они расспрашивали – как и все – каждого, кто заявлял, будто что-нибудь знает. Правда, некоторые вели себя поприличнее всех остальных, но другие – отнюдь нет. Зенон яростно драл горло за демократию; Гиппий – он обычно обращался со своими учениками, словно они еще в школе были, – Гиппий позволил им затеять ссору, и теперь покраснел от крика, призывая их к порядку... Дионисидор и брат его – бродячие софисты, готовые по дешевке учить чему угодно, от добродетели до танцев на канате, – те вопили, словно базарные торговки, понося Алкивиада... Вокруг смеялись, а они были в бешенстве: ведь все знали, что он их вызвал на диспут и раскатал их обоих в несколько слов. Только Горгий – длинная белая борода, золотой голос, – только он, хоть сам сицилиец, казался спокойным, как Кронос. Сидел, сложив руки на коленях, в окружении серьезных молодых людей, – уже по одним их позам видно было воспитание, – и когда от них доносилась хоть пара слов – ясно было, что они заняты только философией.

– Мне отец велел выбирать между Гиппием и Горгием, – сказал Ксенофон. – Наверно Горгий лучше.

Я оглядел палестру и ответил:

– Они еще не все здесь.

О моих планах я ему еще не говорил. Он, как и мой отец, полагал, что философы должны одеваться и вести себя достойно, что этого требует их звание. Но тут Мидас меня разоблачил. Он относился к своей работе всерьез, а отец велел ему не только отгонять приставал, но и держать меня подальше от всех софистов и риториков. Отец сказал, я слишком молод, чтобы извлечь из философии что-нибудь путное; – только научусь, мол, спорить со старшими.

Тут наш тренер взревел, что мы пришли сюда бороться, а не болтать словно девчонки на свадьбе, и что если ему придется это повторить – нам хуже будет. Пока мы толкались в толпе, ища партнеров, я услышал громкий шум в конце колоннады – и один голос узнал. Почему я не остался там, где был, – сам не знаю. Ведь мальчишке – как собаке – всегда легче, если за ним своя стая; когда его богов поносят, уши и хвост у него опускаются... Но я просто должен был побежать туда – и побежал; делая вид, будто ищу себе партнера, и обходя всех ребят, кто был свободен.

Сократ, надрывая голос, спорил с каким-то крупным мужиком, – а тот старался заставить его замолчать. Когда я подбежал, Сократ как раз говорил:

– Прекрасно! Значит богов Города ты признаешь. А законы?

– Что? – закричал тот. – Это ты спроси своего друга Алкивиада, а не меня!

– Ну а закон об уликах?

– Не старайся запутать дело! – заорал мужик. Но ввязались окружающие: нет, мол, это верно, на это ты должен ответить.

– Ладно, – сказал тот, – любой закон признаю, любой какой хотите. Но надо бы иметь закон против таких, как ты.

– Хорошо. Но если то, что ты говорил нам, кажется тебе уликой, – почему ты не пошел к архонтам? Если это хоть чего-то стоит, они бы тебе еще и заплатили. Законы ты чтить; но как насчет улик? Скажи!

Ну, тот и сказал. Обозвал Сократа коварным змеем, выдающим черное за белое; сказал, что он подкуплен

коринфянами... Ответ Сократа я не слышал; но тот вдруг наотмашь ударил его по лицу, так что он едва не упал на Критона; Критон рядом стоял. Вокруг поднялся крик, а Критон заговорил, очень раздраженно:

– Ты об этом пожалеешь. Ударить свободного человека!.. Штраф заплатишь, как миленький.

Сократ тем временем выровнялся, кивнул тому мужику и сказал:

– Спасибо тебе. Теперь всем нам видна сила твоих аргументов.

Тот с проклятьем поднял кулак... Ну, думаю, теперь он его убьет.

Не успев сообразить, что делаю, я бросился к ним. Но тут один из молодых людей, стоявших за Сократом, шагнул вперед и поймал драчуна за кисть. Я знал, кто это. Не только потому, что видел его с Сократом, но и потому что в зале у Микия стояла бронзовая статуя его, отлитая когда ему было шестнадцать. Это был один из прежних учеников, он выиграл венок по борьбе на Панафинейских Играх еще в бытность школьником. Еще про него говорили, что он был одним из самых заметных красавцев среди сверстников своих, и этому нетрудно было поверить даже сейчас. Я видел его имя каждый день, оно было на цоколе той статуи; Лисий, сын Демократа, из Эксона.

Противник Сократа был грузен и неуклюж, но силен; Лисий хоть повыше его, но тоньше... Однако мне доводилось видеть его на борцовской площадке. Он завернул противнику руку назад, – серьезно и сосредоточенно, словно жертву приносил, – кулак у того разжался, кисть скрючилась... А когда он потерял равновесие, – Лисий резко толкнул его, и он покатился со ступеней в пыль палестры. Пыли он набрал полон рот, все мальчишки вокруг хохотали, – для меня этот хохот звучал музыкой. Лисий посмотрел на Сократа, словно извиняясь за вмешательство, и вернулся на свое место, среди остальных. Он не проронил ни слова за все это время. Я вообще редко слышал его голос. Разве что во время скачек с факелами, когда он подбодрял свою команду. А тогда –

тогда его было слышно сквозь крики толпы, сквозь топот и ржание коней – он все заглушал.

У Сократа на лице был след от удара. Критон убеждал его возбудить дело; говорил, что оплатит составление речи...

– Друг мой, – сказал Сократ, – в прошлом году осел заартачился на улице и лягнул тебя. Но я что-то не помню, чтобы ты преследовал его судебным порядком. Что до тебя, дорогой Лисий, – спасибо за изящный довод. Как раз в тот момент, когда он начал сомневаться в силе своих аргументов, – ты выдвинул их же против него самого, красноречиво и убедительно. А теперь, господа, не вернуться ли нам к разговору о функциях музыки?

Их рассуждения были для меня трудновзаты, но я задержался. Стоял в пыли и глядел на них; а они – на цоколе, надо мной. Лисий был чуть позади остальных и ближе всех ко мне, – я стал мысленно сличать его со статуей в холле. Сравнить было легко, потому что лицо было выбрито. Тогда это стало модой; ее незадолго перед тем начали вводить атлеты. Обидно было, что никто не сделает с него новую бронзу; теперь, когда он уже взрослый. Волосы у него были короткие, волнистые; каштановые, но местами выгорели до светлой желтизны – и сверкали вокруг головы, будто бронзовый шлем с золотой насечкой. Как раз, когда я думал о нем, он обернулся. Видно было что он меня совершенно не знает, – однако он улыбнулся, словно говоря: «Подходи, не бойся; никто тебя не съест».

Я осмелел, и подошел на шаг. Но тут возле меня появился Мидас; он никогда надолго не отвлекался. Он даже схватил меня за руку, – и чтобы спастись от еще большего бесчестья я без звука пошел за ним. Сократ, говоривший с Критоном, меня не заметил. Уходя, я видел, что Лисий смотрит мне вслед; но одобряет он мою дисциплину или презирает меня за излишнюю кротость – этого я не знал.

По дороге домой Мидас сказал:

– Послушай, сын Мирона. Мальчик в твоём возрасте уже не должен бы нуждаться в непрерывном присмот-

ре, а? Чего ради ты бегаешь за Сократом, после всего что я тебе говорил? Особенно сегодня.

– А что сегодня? – удивился я.

– Ты забыл, что он учил Алкивиада?

– Ну, учил. И что с того?

– Сократ всегда отказывался принять посвящение в Таинствах. Так кто другой, как ты думаешь, мог научить Алкивиада потешаться над нами?

– А он что, потешается?

– Ты же слышал, что говорят все граждане.

Как раз об этом я услышал впервые; но знал, что рабы много чего друг другу рассказывают.

– Даже если так, – сказал я, – нелепо обвинять в этом Сократа. Я не видел, чтобы Алкивиад подходил к нему; уже много лет. Разве что поздоровается на улице.

– Учитель в ответе за своего ученика. Если Алкивиад оставил Сократа не зря, то Сократ дал ему повод для этого и достоин порицания. Если же его отношение несправедливо, то Сократ не научил его справедливости. Как же после этого он может утверждать, что делает своих учеников лучше?

Наверно, он набрался этих аргументов от кого-нибудь вроде Дионисидора. Я хоть логике еще не обучался, но чуял здесь какой-то подвох.

– Слушай, – говорю. – Если Гермов разбил Алкивиад – каждый согласится, что это самое скверное, что он в жизни сделал. Значит, когда он был с Сократом, он был лучше, чем сейчас, верно? И вы все вообще даже не знаете, на самом ли деле это он. А что касается Лисия, – я снова начал злиться, – что касается Лисия, так он просто из любезности хотел меня успокоить.

Мидас втянул щеки и причмокнул.

– Конечно. Кто же в этом сомневается? Однако мы оба знаем, что велел твой отец.

Ответить на это было трудно, но я придумал:

– Отец тебе велел, чтобы я не слушал софистов. Но Сократ философ, а не софист.

Мидас хмыкнул.

– Каждый софист – для друзей своих философ.

Я замолчал. «К чему спорить? – думаю. – Зачем я спорю с человеком, который мыслит так, как нужно, чтобы заработать себе свободу через два года? Вот тогда он сможет мыслить, как захочет. А то получается так, будто я более прав, чем Мидас, не потому что я лучше, а потому что свободный». Он шел на полшага позади меня, возле локтя; нес таблички мои и лиру. Я подумал: «Когда он будет свободным, то отрастит бороду и наверно станет похож на Гиппия. А если захочет – сможет раздеться и упражняться, вместе с другими свободными людьми; хотя он, пожалуй, слишком стар для этого, вряд ли захочет показывать свое тело, оно ж наверно дряблое и бледное...» За все эти годы я ни разу не видел его раздетым; с тем же успехом он мог бы быть женщиной. Но даже когда он станет свободным – все равно будет всего лишь метэком, иммигрантом; а гражданином никогда...

Однажды – давно уже – я спросил отца, почему Зевс некоторых людей сделал элинами, имеющими города и законы; других – варварами под властью тиранов, а третьих – рабами. Он ответил:

– Милый мой мальчик, ты точно так же можешь спросить, почему некоторых зверей он сделал львами, других конями, а третьих свиньями. Зевс Всезнающий определил людям всех сортов состояние, согласно их природе; ничего другого мы предположить не можем. Не забывай, однако, что плохая лошадь хуже хорошего осла. И подожди, пока станешь постарше, прежде чем спрашивать о замыслах богов.

Когда я вернулся из школы, он встретил меня во дворе. На голове был миртовый венок, и он уже собрал все что надо для очищения дома – воду из Девяти Ключей, ладан и все прочее, – и ждал меня, чтобы я помогал ему в обрядах. Нам давно уже не приходилось их исполнять. В прошлый раз причина была ерундовая: раб умер. Я тоже повязал мирт вокруг головы и стал помогать ему с очистительной жертвой; а когда на домашнем алтаре курился фимиам – говорил ответы на молитвы. Хорошо, что все скоро кончилось: есть хоте-

лось страшно, а по запахам из кухни ясно было, что мать готовит что-то вкусное.

Ради ясности надо было бы написать «мачеха». Но я не только звал ее матерью, но и думал о ней так же; другой-то я не знал. Ее появление избавило меня от многих бед, – это я уже говорил, – так что мне казалось, мать и может быть только такой, только такой как она. И мне было безразлично, что она всего на восемь лет меня старше; когда отец женился, ей еще шестнадцати не было. Пожалуй, другим могло показаться, когда она пришла, что она обращается со мной не как мать, а как старшая сестра, которой дали ключи. Помню, поначалу, еще не зная наших домашних порядков, она часто спрашивала у меня, что и как, чтобы не унижаться перед рабами. Но в дни своих несчастий я мечтал о доброй маме, – а она была добрая, и казалась мне образцом всех матерей. Быть может поэтому, когда меня посвящали в Таинства, когда показывали то, о чем нельзя говорить, – меня это просто не могло тронуть так же, как остальных вокруг. Да простят меня богини, если что не так сказал.

Даже по внешности она могла быть мне сестрой; отец выбрал вторую жену похожей на первую; ему наверно нравились темноволосые. Ее отец погиб под Амфиполисом, погиб со славой; а сыновей у него не было, так что его доспехи хранились у нее, в сундуке из оливы. Раз сыновей не было – он, наверно, привык разговаривать с ней слишком свободно, и ее приучил. Когда она только пришла – часто задавала отцу вопросы о войне и о событиях в Собрании. Про войну он иногда отвечал; но если слишком настойчиво влезала в политику или в дела – проходил к ткацкому станку и хвалил ее работу. Так что и понять давал, и не обидно. Теперь, чуя вкуснятину на кухне, я улыбался про себя и думал: «Мамочка, милая, меня упрашивать не придется. За миску фасоли я тебе все-все расскажу, что говорят в Городе».

Так что после обеда я пошел наверх, в женские комнаты. Она уже довольно давно ткала большой настенный ковер для трапезной. Ярко-красный, посередине

белый корабль на синем море, а по краям кайма, как на персидских коврах. Как раз закончила центральную часть. Одна из девушек, кого она учила, ткала на меньшем станке простое полотно; там звук был ровный, а у большого шум менялся, из-за узора.

Сначала она спросила, как дела в школе. Чтобы ее подразнить, я сказал, мол, не очень:

– Микий меня побил. Я забыл свои строки.

Думал, она по крайней мере спросит, из-за чего я их забыл; но она только сказала:

– Стыдно!

Но так оглянулась при этом, что я засмеялся – и она тоже. Она голову держала чуть-чуть набок и была похожа на тонкую птицу; а глаза – яркие-яркие. Стоя рядом с ней, я заметил, что снова вырос: раньше глаза наши были ровень, а теперь мои прогив ее бровей.

Я пересказал ей все слухи, какие ходили по Городу. Когда она задумывалась, брови у нее поднимались у переносицы, и на лбу получалась как бы полянка между ними, белая такая.

– Кто это сделал, мам? Как ты думаешь? – спросил я.

– Боги это откроют, наверно. Но, Алексей, кто же теперь будет командовать Армией вместо Алкивиада?

– Вместо? – Я удивился. – Но командовать должен он; это ж его война.

– Человек, обвиненный в святотатстве? Как можно подставлять Армию под проклятие?

– Конечно нельзя. Тогда они, может, вообще не пойдут на Сицилию? – У меня лицо вытянулось при мысли о кораблях и обо всех великих победах, которых мы так ждали. Мать посмотрела на меня и сказала, покачав головой:

– О, пойдут! Мужчины, как дети; им надо надеть обновку тотчас.

Она прогнала еще пару нитей и добавила:

– Отец твой говорит, что Ламах хороший генерал.

– Над ним слишком много смеялись, – сказал я. – Он не виноват в своей бедности; но когда он в последний раз предъявил требование на кожу для сапог –

Аристофан уцепился за это; ты же знаешь, и распустил все эти анекдоты про него. Но я думаю, Никий пойдет к нему советником.

Она остановила станок и обернулась, с челноком в руке.

– Никий?

– Конечно, мам. Это ж само собой. Сколько я помню – он всегда был из первых афинян.

И на самом деле, люди отцовского поколения до сих пор могут сказать то же самое.

– Но он же старый и больной, – сказала она. – Ему бы обед в постель, а не за море плыть. И потом, ему эта война с самого начала поперек горла.

Видно было, что она уже многое знает; конечно же, каждая женщина – если только не параличная – бегала из дома в дом под предлогом занять немножко муки или мерку масла.

– Все равно, – сказал я. – Все равно, если боги разгневаны, то он подходящий человек. Они не проиграли ему ни одной битвы за всю его жизнь. Никто не уделял им больше внимания, чем он. Он же давал им целые святилища и храмы.

Она посмотрела вверх.

– Какая радость богам от того, что их боится человек, который боится всего на свете? Как бы он мог проиграть битву? Ведь он же никогда не рисковал.

Я испуганно оглянулся, но отец, по счастью, был снаружи. А она продолжала:

– Я сама видела, как ему на улице перешла дорогу кошка. Так он ждал, чтобы кто-нибудь прошел перед ним, чтобы забрать несчастье на себя. Это что – воин?

Я рассмеялся:

– Никто не сомневается, мам; ты была бы лучше его.

Она покраснела и отвернулась к станку:

– Некогда больше болтать. Сегодня вечером у нас гости, клуб твоего отца.

Клуб назывался Солнечные Кони. В те дни он был умеренным в политике, но политика у них была не главным делом. Главным была хорошая беседа, и потому они никогда не допускали, чтобы число членов стало

больше восьми; иначе общего разговора уже не получалось. Все члены-основатели, в том числе и мой отец, были рыцарями среднего достатка; но война многое изменила. Теперь – как люди благородные – они старались не замечать, что превратились в смешанное собрание бедных и богатых. Складчина на общую трапезу всегда была умеренной, так что взнос каждого гостя был невелик. Но в последнее время дошло до того, что некоторые уже не могли себе позволить даже лишнего лампового масла и приправ на клубный ужин; и, стесняясь относить эти расходы на общий счет, – ушли, под каким-нибудь благовидным предлогом. А за одного уже не раз платили его долю все остальные, – по очереди, – он относился к этому достаточно легко, а его все любили.

– Ты куда собираешься? – спросила мать.

– Я только к Ксенофону. Ему отец подарил жеребенка, чтобы учил для себя; будет ездить на нем, когда пойдет в Стражу. Хочу посмотреть, как у него получается. Он говорит, коня нельзя обучать кнутом: это, мол, все равно, что бить танцора и требовать от него грации. А конь должен быть гордым, тогда и двигаться будет хорошо. Мам, а отцу не пора подумать о новом коне? Коракс уже такой старый, что годится только в упряжку. На кого я сяду, когда пора будет в Стражу?

– Тебе? – Она засмеялась. – Глупыш, это ж еще когда-а!..

– Всего три года, мам.

– Верно... Посмотрим в будущий урожай, как у нас дела пойдут. Слушай, ты у Ксенофона не задерживайся. Сегодня вечером ты нужен отцу.

– Не сегодня, мам. Сегодня клуб.

– Это я знаю, Алексей. И отец велел, чтобы ты пришел после ужина разливать вино.

– Кто, я? – Я был оскорблен. Меня никогда не звали прислуживать за столом; кроме как на общественных обедах, где ребята из хороших семей делают это по обычаю. – Рабы все больны, что ли?

– Ты отцу не покажись с такой надутой физиономией, радоваться должен. Ну беги, у меня дел тьма.

Когда в тот вечер я пришел в баню, отец как раз заканчивал; старый Состий его ополаскивал. Я посмотрел на его плечи – прямые, широкие, но не тяжелые – и решил уделять больше времени диску и дротику. Я и сейчас, – хоть подрастающее поколение не видит в этом ничего плохого, – я и сейчас видеть не могу бегуна, который весь ушел в ноги. Смотреть противно. Он же ни на что не будет годен, как с дорожки сойдет; разве что удрать с поля боя быстрее всех.

Когда Состий ушел, отец сказал:

– Сегодня ты будешь разливать нам вино, Алексей.

– Да, отец.

– Что бы ты ни услышал, все должно остаться в доме. Понял?

– Да, отец.

Это меняло дело. Я пошел делать себе венок; кажется гиацинты выбрал тогда.

Свои деловые разговоры они закончили рано: еще и ужин не доели, когда отец велел мне принести лиру и петь. Я им исполнил балладу про Гармония и Аристокитона. Отец сказал:

– Вы должны простить мальчику этот выбор. Песня конечно старая, – но молодежь может хоть чему-то научиться из этих старых песен, только пока они свежи для ребят.

– Ты напрасно извиняешься, Мирон, – сказал Критий. – Мне кажется, я не один здесь, кто почувствовал, что впервые в жизни понял ее, услышав сейчас.

Рабы как раз убирали столы; так что я смог притвориться, будто не услышал.

Смешав вино, я стал обходить ложа; тихо, как меня учили, не привлекая внимания.. Но иные из старых друзей отца задерживали меня на пару слов. Терамен, когда-то подаривший мне мои первые бабки, заметил как я вырос; сказал, что если бы я не тратил время в бане или в лавке благовоний, а помнил бы о Выборе Геракла, то мог бы стать красивым, как отец... Еще кто-то из гостей что-то мне сказал... Но когда я подошел к Критию – постарался быть лаконичным, словно это был общинный стол в Спарте.

Ему тогда было чуть за тридцать, но он уже прикидывался философом: мантию носил и бороду. Лицо у него было голодное, скулы туго обтянуты; но при всей худобе он бы выглядел неплохо, если бы не слишком светлые глаза. Кожа вокруг казалась темной. В клубе он появился недавно; и считалось, что это вроде бы удача для всех остальных, потому что был он очень богат, высокороден и умен. А меня, как вы можете догадаться, никто не спрашивал. Но так получилось, что я с ним познакомился раньше, чем отец. Впервые я его увидел в компании Сократа; и это так меня к нему расположило, что когда он ко мне подошел после, — Мидас в тот момент отвернулся, — я позволил ему со мной заговорить.

Я был уже достаточно большим, чтобы получать знаки внимания со стороны мужчин, — но еще достаточно маленьким, чтобы считать их нелепыми. На самом деле так оно обычно и бывает, когда взрослые мужики охотятся за маленькими мальчиками; но потешаться над Критием меня никогда не тянуло.

Когда я подошел к нему с вином, он был сама любезность; сказал, что видел меня на беговой дорожке, что у меня, мол, техника лучше стала; назвал пару победителей, которых учил мой тренер... Так говорил, словно мы с ним никогда раньше не встречались. Я ответил коротко, как только мог, — он начал хвалить мою скромность; сказал, что у меня манеры, достойные лучшей эпохи, процитировал Феогнида. Я видел, что отец слушает с одобрением. Но едва он отвернулся, — Критий чуть-чуть качнул свой кубок, так что вино пролилось мне на одежду. Он извинился — сказал, мол, надеется, пятна не будет, — и сунул руку под кайму моей туники; так что всем казалось, будто щупает ткань. Всем — кроме меня.

Не знаю, как я удержался, чтобы не поставить кувшин ему на голову. Но он-то знал, скотина, что постесняюсь поднимать шум перед отцом и его друзьями. Я тотчас отодвинулся, хотя и не сказал ничего, — и пошел к большому кратеру наполнить кувшин. Думал, никто не заметил; но когда дошел по кругу до Теллия, — это он

был настолько беден, что не мог платить взносы, – когда дошел до Теллия, тот заговорил со мной как-то слишком заботливо, и стало ясно: он знает. А подняв глаза я увидел, что Критий смотрит на нас.

Когда внесли гирлянды, а рабы закрыли дверь и ушли, кое-кто приглашал меня посидеть рядом с ними; но я сел в ногах отцовского ложа. До сих пор они играли в стихи, – на какую букву кто закончил, на ту следующий должен начинать, – и здесь блистал Критий. Но теперь, оставшись одни, они просто смотрели друг на друга; возникла пауза. Потом Терамен сказал:

– Ну, у каждого пса бывает свой день, – сегодня день демагогов.

Несколько голосов поддакнули. А он продолжал:

– Они думают ушами, глазами, брюхом – чем угодно, только не головой. Если Алкивиад был дерзок с ними, значит он виноват. Если бы он тратил деньги в лавках и не забывал бы улыбаться – мог бы гулять по городу с разбитым Гермом под мышкой и оставался бы невинным, вот как этот мальчик. Но попробуй только напомнить им о целесообразности; скажи им, что он гениальный стратег, какого Арес посылает раз в сто лет – у них глаза на лоб полезут: какое им дело?! Они не ступали на поле битвы уже три поколения; у них даже оружия нет, никакого, – но они отдают нам приказы и назначают генералов.

– А мы, несущие бремя Города, – мы словно родители испорченных детей: они бьют черепицу, мы платим, – сказал Критий.

– А что касается правосудия, – продолжал Терамен, – оно им нужно, как кусок желудка. Я скажу тебе, дорогой Мирон, что вот здесь, сейчас, я мог бы затеять пьяный скандал, ударил бы тебя при всех этих свидетелях, покалечил бы твоих рабов, – но если ты придешь в суд и будешь выглядеть там, и вести себя будешь, как благородный человек, – бьюсь об заклад, ты дело проиграешь. Я, видишь ли, надену старую туннику, какую ношу в деревне; запасусь речью, написанной для какого-нибудь честного бедняка; вызубрю ее наизусть, чтоб она стала как бы моей собственной... Я возьму с собой



своих детей; да еще и найму нескольких малышей, а то моему старшему уже десять... И все мы натрем глаза луком... Уверю тебя, это тебе придется платить штраф. За то что угостил своего незнатного друга более крепкой штукавиной, чем он может позволить себе дома, – и теперь пытаешься нажиться на этом. Они еще и плевать на тебя будут, когда будешь уходить.

– Верно, согласен, – сказал отец. – Они часто, как дети... Но детей можно учить, Перикл это делал; кто это делает нынче? Нынче намеренно пестуют их безрассудство.

– Кому бы другому на них жаловаться, – сказал кто-то, – только не Алкивиаду. Демагогия – это ж его изобретение. Не надо закрывать на это глаза только потому, что он ею пользуется с некоторым изяществом.

– Ладно, пусть он демагогию изобрел, если хотите, – сказал Критий, – но не он довел это искусство до совершенства. Он мог бы придумать что-нибудь получше, чем оскорблять самого сильного союзника. Он за это заплатит.

– Я наверно плохо соображаю сегодня, – сказал Теллий. – О каком союзнике ты говоришь?

Критий улыбнулся ему, не без презрения.

– Давным-давно, – сказал он, – жил один старый, мудрый тиран. Мы не знаем, как его звали, как звался город его; но можем его себе представить. У него было, наверно, достаточно стражи, чтобы его охранять, – но недостаточно, чтобы управлять страной. И тогда из раздумий своих он сотворил двенадцать великих стражей и исполнителей своей воли. Всезнающих, Далеко стреляющих, Сотрясающих землю... Тех, кто дает хлеб, и вино, и любовь... Он не всех их сотворил ужасными, – потому что был поэтом и мудрецом, – но даже прекрасных он сделал страшными в гневе. «Вы можете думать, что вы одни, когда я запираюсь в своем замке, – сказал он народу, – но они видят вас, их не обмануть». И он послал Двенадцать – с молнией в одной руке и с чашей макового сока в другой, – и с тех пор они прекрасно служат каждому, кто сумеет их использовать.

У Перикла, к примеру, все они были на побегушках. Алкивида это могло бы чему-нибудь научить.

Впервые в жизни я слышал нечто подобное. Вспомнился рассвет этого дня, как стоял я в Верхнем Городе... Что у меня есть тело – это унижительно, раз нет у него защиты от этих грязных рук.

Отец явно решил, что надо напомнить гостям о моем присутствии, и послал меня по кругу с вином. А потом сказал:

– С этим делом еще ничего не доказано. Разум требует мотивов, не меньше чем закон. Для него сейчас нет ничего важнее победы в Сицилии. Я полагаю, трудно будет удержать народ, чтобы его не короновали на царство. Если Гермов разбил кто-то из афинян – ищите того, кто сам метит стать тираном и боится соперника

– Я сомневаюсь, что кому-нибудь это придется в голову, – возразил Критий. – Ведь ту элевсинскую вечеринку никуда не денешь.

При этих словах по комнате прошел тихий шум; такой бывает, когда люди набирают в грудь воздуха, чтобы заговорить, – а потом выпускают молча. Отец, правда, напомнил «Мальчик уже посвящен»; но они все еще подумали – и никто ничего не сказал.

В конце концов сам отец и прервал это молчание.

– Конечно, – сказал он, – даже наши суровые друзья с Агоры вряд ли станут судить за это по всей строгости закона, через столько лет. Любой хороший составитель речей... Все же знают, какова молодежь, когда начинает рассуждать и считает себя освобожденной. Ну, прошились с факелами вокруг парка; ну, спели новые слова на музыку гимна; ну, напали там в темноте на кого-нибудь, посмеялись, – а под конец поношались маленько, только и всего-то. В том году мы... Он тогда только-только бороду отрастил.

Критий поднял брови.

– Вот как? Я тоже не думаю, что сегодня из-за этого могло бы подняться много шума. Так он еще тогда это затеял?.. Но я говорю о другом, о нынешней зиме. Боюсь, это вряд ли удастся выдать за детскую шалость. Они ворвались в хранилище, взяли священные ритуальные

предметы... Нужен уж очень хороший оратор, чтобы объяснить это таким образом, как ты говорил. У них там все было; и молитва, и омовения, и Слова... Ты что, не знал, Мирон?

– Нет, – отец отодвинул чашу.

– Так вот. Те, кто там был, – те конечно же постарались все позабыть. Но к несчастью – поскольку было поздно и царила неразбериха – на рабов не обратили внимания, и они оставались до самого конца. А среди них были и непосвященные.

Тут у всех вокруг дыхание перехватило, прямо слышно было. А Критий продолжал:

– Они устроили и Зрелище. Привели женщину... – И добавил еще такое, чего писать нельзя.

Наступило долгое молчание. Потом человек в дальнем углу сказал:

– Это не только непочтение к богам. Это дерзкая гордыня...

– Это гораздо опаснее гордыни, – возразил Критий. – Это легкомыслие. – Он поднял чашу и поставил ее обратно, чтобы напомнить мне, что она пуста. – Он погубит себя тем, что не умеет сосредоточиться ни на чем серьезном. Способности у него блестящие; он начинает какое-нибудь важное дело, думая что способен с ним справиться, – и не задумывается о возможных последствиях неудачи. А потом дорогу ему перебегают что-то такое, перед чем он не может устоять, – ссора, любовное похождение, или подшутить над кем-нибудь захочет... Он любит опасные импровизации, у него душа акробата. Вспомните, как он начинал, с этими взносами в фонд войны. Никто лучше его не знает, насколько важен первый выход на сцену. Но он не может оставить дома своего бойцового перепела, – это несмотря на запрет, – а тот выскакивает у него из-под плаща, и весь народ веселится и мечется вокруг театра, чтобы его поймать... А Алкивиад – игнорируя всех, кто может быть полезен впоследствии, – принимает свою птичку от какого-то ничтожества, от помощника кормчего с военного корабля, и они уходят домой вместе, и тот крутится возле него по сей день. В другой раз, занявшись

делами, он решает пройти курс диалектики. Он идет к Сократу; выбор не очень осмотрительный, но далеко не глухой, потому что Сократ хоть и сумасшедший – но изумительный логик. Я сам у него учился, и не стыжусь признаться в этом. Все его построения, разумеется, ведут к рационализму, хотя сам он отказывается это признать; но все же знают этих эксцентриков... Однако Алкивиад, который к тому времени перепробовал всех красавцев в Афинах, – всех трех полов, – Алкивиад пленяется невероятным уродством этого человека и позволяет ему повести уроки во всех направлениях. Вскоре он подхватывает пристрастие своего любовника к переделке богов – и простым силлогизмом заключает, что на прежних богов можно плевать. Отсюда и опасный маскарадик, о котором ты говорил, Мирон. Теперь он перестал исправлять Олимпийцев, хотя в любовных делах мог бы, наверно, их поучить. И чтобы разогреть ему кровь – опасность, как вино, должна быть крепкой!..

Я стоял возле кратера с кувшином в руке, и смотрел на Крития. Хотелось, чтоб он был мертв. Помню, я думал, что если бы удалось заставить его встретиться со мной взглядом – проклятье мое подействовало бы сильнее; но он на меня не глядел.

Тут Теллий, который все это время молчал, сказал своим тихим голосом:

– Да. Однако мы начали с разбитых Гермов. Если вообще можно быть в чем-то уверенным, я бы сказал, что импровизацию здесь можно исключить. Сотни две человек едва ли смогли бы сделать все это по всему Городу за одну ночь. Неужто какие-то пьяные побили их повсюду – и никто ничего не помнит? И ни один из этих случайных людей не раскаялся, не донес?.. Нет, Мирон прав: это было спланировано до мелочей, – и это не Алкивиад.

– Я полагаю, – ответил вкрадчиво Критий, – никто не подумает о Теллии хуже из-за того, что он поддерживает хозяина.

Все пили и были заняты своими делами... Но я – я смотрел и видел, как каменеет лицо Теллия, словно меч вонзается в тело его. Если ты всегда думал, что ты

среди друзей, и они всегда проявляли расположение к тебе, давали понять, что рады тебе, любят тебя, – и вдруг тебя назовут нахлебником!.. Это тяжелый удар, это больно. Я уже знал, что он никогда больше не придет к нам. Подошел к нему, наполнил ему чашу, – как еще было высказать свои чувства? – и он улыбнулся, постаравшись приветствовать меня, как обычно... И глаза наши встретились над его чашей; словно глаза бойцов, уже понявших, что битва проиграна, хоть труба еще не трубила отход.

4

Адонис умер. Мать надела траурное покрывало и пошла оплакивать его; с корзиной анемонов, чтобы разбросать вокруг его могилы. Вскоре процессии появились на каждом углу; повсюду несли умершего бога, в цветах, а женщины с распущенными волосами причитали под звуки флейт.

Я еще не встречал мужчины, который любил бы эти торжества. В тот год это был холодный серый день, тяжелые низкие тучи... Горожане собрались в палестре, в банях, и вообще в тех местах, куда женщинам нельзя, и переговаривались о знамениях и пророчествах. С Агоры пришла весть, что там только что какой-то человек впал в буйное помешательство, вскочил на алтарь Всех Богов, выхватил нож и оттяпал себе гениталии. Алтарь был осквернен, и теперь надо было освящать его снова.

В Верхнем Городе все храмы были так запружены народом, что пришедшие принести жертвы стояли в длинных очередях. Они уходили – словно только что умылись, после того как прикоснулись к чуме, и теперь сомневаются, отмылись или нет. Посреди храма смотрела на нас сверху громадная Афина. Мерцали ее золотые одежды, за спиной ниспадал плащ, расшитый победами; мягкий свет, сочившийся сквозь тонкий мрамор крыши, словно согревал ее лицо, так что теплая слоновая кость

казалась живой. Казалось, она вот-вот поднимет свою всемогущую руку и покажет, – и скажет голосом звенящего золота: «Вот он!»... Но она молчала.

Дел у всех прибавилось. Государство назначило награду осведомителям; создали специальную комиссию, чтобы их выслушивать... Скоро стала поступать информация; но не о разрушении Гермов, а о каждом, кого можно было заподозрить, что он сделал, – или сказал, или подумал – что-то богохульное. Мой отец говорил всем, кто его слушал, что это только возвышает мерзавцев-взяточников, и что Перика бы этого не потерпел.

Мы с Ксенофоном, чтобы ударить от всей этой пакости в Городе, проводили свободное время в Пирее. Здесь всегда было что-нибудь новенькое. То богатый метэк из Фригии или из Египта строил себе дом в стиле своей страны; или храм кому-нибудь из богов, каких никто не знает, – в чужеземных одеждах, а иной раз даже с собачьей головой или с рыбьим хвостом... Или в Эмпорионе появлялся новый груз вавилонских ковров, персидского ляписа, скифской бирюзы или олова и янтара из диких Гиперборейских мест, какие знают только финикийцы... Наши серебряные совы были в то время единственной монетой, какая годилась во всем мире. На широких улицах можно было встретить нубийцев с серьгами из слоновой кости, оттягивавшими уши до самых плеч; длинноволосых мидян в шароварах и в шапочках с блестками; египтян с раскрашенными глазами, в одних только юбочках из плотного льна и в ожерельях из камней и жуков... Воздух был тяжел от запаха чужеземных тел, от пряностей, конопли и смолы; вокруг звучали чужие языки, словно звери разговаривали или птицы, – а мы смотрели на говорящие руки и гадали, кто что сказал.

Алкивиада обвинили в тот самый день, когда он встал перед Собранием, чтобы заявить, что флот готов выйти в море.

Обвинитель, имевший под рукой какого-то раба, потребовал себе неприкосновенности; еще потребовал, чтобы удалили всех непосвященных... А когда это было сделано, раб произнес слова, – главные Слова вслух

произнес, – которые, сказал он, Алкивиад осквернил в его присутствии.

А на следующий день я не увидел в палестре Сократа.

Само по себе это не было странно, – я бы и не задумался, – ведь он часто говорил с самыми разными людьми, по всему Городу. Я и не беспокоился, пока не вышел на беговую дорожку и не увидел среди зрителей группу его друзей; а они разговаривали как-то встревоженно. Тут я тотчас вспомнил, что кто-то обвинял Сократа, потому что он, мол, Алкивиادا учил, да еще и отказался от посвящения. Смотрю – к ним подошел Эриксимах, доктор. Я больше не в силах был вытерпеть неизвестность; начал припадать на одну ногу при беге, потом остановился, будто мне больно, и захромал прочь с дорожки. Тренер был слишком занят, чтобы заниматься мной, – я сел возле них; послушать, что говорят.

Наверно Эриксимах только что спросил, не болен ли Сократ; потому что Критон как раз говорил, что он никогда ничем не болел. И добавил: «Нет! Сократ дома. Он молится за афинскую армию и приносит жертвы».

– С ним заговорил его демон, – сказал Хирофон.

Они переглянулись. Я нянчил свою ногу и вспоминал то гнездо на дереве.

Так я сидел в задумчивости, едва слыша что происходит на дорожке, – и вдруг заметил возле себя чью-то тень. Глянул вверх – это был Лисий, сын Демократа. Когда я только садился возле них, он был с сократовыми друзьями, но почти сразу ушел куда-то.

– Я видел, ты ногу подвернул, – сказал он. – Больно очень? Надо бы холодный компресс приложить, пока не разнесло.

Я стал благодарить, запинаясь от неожиданности. Да и просто ошеломлен был, что такой человек вдруг заговорил со мной. Он увидел, как я задираю голову, и опустился на одно колено. Смотрю – у него в руке мокрая ткань; он наверно только что ее в ванне намочил. Он помолчал момент и спросил:

– Замотать?

Тут я вспомнил, что со мной ведь все в порядке. И до того стыдно стало!.. Ведь он сейчас это увидит – и

подумает, что я сел от слабости; или от страха, что меня обгонят... Чую – лицо горит, все тело горит, в жар бросило... Сажу и молчу, не могу слова сказать. Я думал, моя невоспитанность его оттолкнет, но он протянул мне ту тряпку и сказал мягко:

– Ну, если хочешь, сам замотай.

Все это время Мидас думал, что я под опекой тренера, – и расслабился, отвлекся. Но теперь он заметил, где я; подбежал, задыхаясь, чуть не вырвал тряпку у Лисия из рук и сказал, что все сделает сам. Он не сделал ничего сверх обязанностей своих, но в тот момент мне это показалось варварством. Я только молча посмотрел на Лисия, – не было у меня слов, чтобы прощения попросить у него. Но он словно и не обиделся вовсе; попрощался улыбнувшись, и отошел.

Я был так зол и сконфужен, что оттолкнул Мидаса. Сказал, что ноге уже лучше и я могу бежать. Вряд ли стоит обижаться на него за то, как он это воспринял. По дороге домой он спросил, что я предпочту: чтобы он сам меня побил или чтобы сказал отцу. Я представил себе, какую историю он из этого сочинит, и выбрал первое. Выдержал я без звука, хоть он и здорово старался. Он меня сек, – а я все думал, на самом ли деле Лисий посчитал меня неженкой.

Тем временем весь Город с нетерпением предвкушал, как Алкивиада вызовут в суд. Но аргивяне и мантинейцы устроили демонстрацию. Заявили, что пришли сражаться под командованием Алкивиада, и пригрозили, что вернутся домой. Моряки выглядели так угрожающе, что триерархи боялись мятежа. Те, кто громче всех требовал суда, вдруг притихли; а вперед вышли другие ораторы, и никто не знал, откуда они взялись. Выдавая себя за друзей обвиняемого, они не сомневались, что он сумеет защититься, когда его вызовут, – и добивались, чтобы ему позволили отправиться на войну, которую он так толково подготовил. Люди ждали, что он ухватится за такую возможность; но он вскочил перед Собранием и со страстью и красноречием потребовал, чтобы его судили. Никто не знал, что теперь делать. Но в конце концов прошло второе предложение.

И через несколько дней флот двинулся.

У одного отцовского друга был товарный склад в Пирее; и он позволил нам, мальчишкам, забраться на крышу. Мы там были, словно боги, взирающие сверху на поход героев. Все грузовые суда уже ушли к месту сбора у Керкиры; в гавани остались только яркие, стройные триеры. Весенний ветер развевал кормовые вымпелы; а орлы и драконы, дельфины, кабаны и львы на носках кораблей – словно кивали головами, когда их качала волна.

Шум приветствий начался в Городе, словно шум дальнего обвала, и пополз в нашу сторону меж Длинных Стен. Потом он покатился по Пирею; слышно было как приближается музыка, как звенят щиты по латам в такт маршу... Вот между стен появились гребни шлемов – целая река – длинная змея в новой, яркой весенней чешуе – бронза и золото, пурпур и пламя... А над ней, казалось, пляшут блики света, – это утреннее солнце играло на тысячах копий; и облако пыли сияло, словно золотом.

На крышах вокруг нас щебетали чужеземцы, дивясь красоте и мощи войска, которое Город еще мог выставить после стольких лет войны. Два нубийских раба распахнули глаза аж добела и только приговаривали «Ох! Ох!..» А мы – кричали, пока не охрипли, до боли. И голос Ксенофона звучал уже почти по-взрослому, по-мужски.

Войска развернулись на причалах, у кромки воды – и пошли по сходням или стали грузиться на лодки, чтобы переправиться на корабли. С последними прощаниями подбегали родные и друзья... Тут старик благословлял сына; там парнишка бежал за отцом с каким-то подарком, что мать послала вслед; там расставались любовники, потому что юноша был слишком молод, чтобы идти вместе с другом своим... В тот день не все слезы остались дома, вместе с женщинами. Но мне все это казалось величайшим праздником. Это было даже лучше Панафиней в Великий Год. Недаром существует поговорка, что война сладка для тех, кто ее не пробовал.

Между стен снова начался шум. Кто-то закричал «Слава генералам!..» Стал слышен стук копыт, и снова показалась пыль.

Вскоре под нами проехал Ламах на своей наемной лошадке, высокий и мрачный... Он здоровался только со старыми солдатами, кто приветствовал его, а на остальных не обращал внимания. Потом Никий; серьезный, при параде, с венком на белых волосах, – только что с жертвоприношения; его предсказатель ехал рядом, со священным треножником, ножами и чашей. Кожа у него была сероватая, как бы свинцовая, – она всегда такая была, – и это еще придавало ему достоинства: вроде не человек едет – идол. Когда он проезжал, люди напоминали друг другу давнее пророчество, что на Сицилии афиняне завоюют долгую славу.

Потом наступила беспокойная пауза, словно штиль перед бурей, пока не вздыбится море. Многоголосый ропот, подходивший все ближе, был похож на звук большой волны, что лижет каменистый берег и тащит гальку за собой... И вдруг какой-то юноша звонко закричал, как боевой клич: «Алкивиад!»

Он вырвался из-за поворота, словно солнце. Доспехи украшены золотыми звездами; пурпурный плащ ниспадал, будто складки уложил скульптор... За ним ехал оруженосец его, со скандально знаменитым щитом. Это был ужас и восторг всего Города, – на щите молнию бросал не Зевс, а Эрос.

Шлем его не закрывал лица. Профиль Гермеса, короткая кудрявая борода... Подбородок был поднят, а синие глаза – большие и ясные – казались бездонными, словно их надо было наполнить... Они будто говорили: «Вы хотели меня, афиняне, – вот я. Не сомневайтесь во мне, не раньте меня; я ваша мечта, проросшая из сердца вашего, и если вы меня пораните – это сердце кровью обольется. Меня создала ваша любовь, – так не отнимайте ее. Ведь без любви я храм, оставленный богом, в который войдет Аластор. Это вы, афиняне, сами вызвали меня; демона, чья пища – любовь. Так кормите меня, и я покрою вас славой и покажу вам

вас самих в образе вашей мечты. Я голоден – кормите! Раскаиваться поздно!»

Толпа переговаривалась. И колыхалась, словно волны по ней проходили. Из какой-то двери выскользнула гетера и послала ему воздушный поцелуй... Он помахал ей рукой, и глаза его потеплели, словно море весной, – и народ вокруг взорвался приветственным ревом. А он улыбался – как мальчишка, добывший на Играх свой первый венок; молодо и восторженно, словно обнимал весь мир. И так, в гуле приветствий, исчез из виду. А перед тем по улице проехал Адонис; и разбросанные анемоны, раздавленные копытами коней, горели в пыли, словно кровь.

Генералы поднялись на свои корабли, суматоха притихла и смолкла... Должно пропела труба... А потом были слышны лишь замирающий говор, плеск моря у причалов, крики чаек, да лай какой-то собаки, встревоженной тишиной. Чистый, приглушенный расстоянием голос глашатая донес издали Молитву; ее подхватили на кораблях и на берегу – и звук этот покатился, как волна... Над кормой каждого корабля полыхнуло золотом или серебром, – это триерархи подняли чаши для жертвенных возлияний... А потом по воде звонко разнесся пеан и раздались крики кормчих, докладывавших готовность. Певчие задали ритм гребцам, поползли кверху большие паруса, украшенные солнцами, звездами, птицами... И они двинулись в море. Команды переключались песнями, кормчие вызывали друг друга наперегонки... Я видел, как молился, подняв руки к небу, Никий; и борода его развевалась на ветру... А на корме триеры Алкивиада, которая была уже далеко, сияла маленькая фигурка; будто золотой идол, не больше тех куколок-Адонисов, что носили по улицам женщины.

Паруса наполнились ветром; весла дружно поднимались и опускались, словно яркоперые крылья... Поющие корабли лебедями улетали к островам. Глаза мне заволокли слезы. Я плакал от этой красоты, и еще от чего-то... Было бы счастьем для афинян, если бы все слезы, пролитые позже, были похожи на те мои.



Совсем скоро после того я узнал, что Критий в тюрьме.

Свидетель поклялся, что видел его в ту ночь, когда были разбиты Гермы. Он, мол, помогал собирать и инструктировать банду в портике Театра. Луна была яркая, и он мог назвать большинство главарей.

Когда я это услышал – не мог понять, как это я сразу не догадался, с самого начала, что это должен быть Критий. Я ж совсем молодой был – думал, что он один такой на всем белом свете. Проходя мимо тюрьмы, увидел кучку женщин у ворот, – некоторые с детьми, – плачут, рыдают... Но мне не верилось, что кто-нибудь может плакать по Критию.

Однако, торжество мое было недолгим. Его двоюродный брат Андокид – того тоже обвиняли – предложил полное признание за собственную неприкосновенность. Суть была в том, что он знал о заговоре, но имел алиби; Критий тоже оказался невиновен. А виновных он назвал, включая кое-кого из своих родственников. Их тотчас же предали смерти; первого свидетеля тоже, за ложную клятву. Некоторые говорили, что Андокид затеял это признание, чтобы не предстать перед судом; мол, там бы он не выкрутился. А правду так никто и не знает, по сей день.

Казненные еще и остыть не успели, как пришла весть, что фиванцы на границе и вот-вот нападут.

Мы только успели усесться в школе, когда об этом закричали снаружи. На улице раздался звон оружия – горожане торопились к местам сбора. Наш тренер взглянул к нам; сказал учителю, что уходит. Потом с крыши храма Блинецов затрубил горн, созывая всадников. Тогда Михий сказал, что ему надо домой, и распустил класс; он же знал, что ничего у него с нами не получится.

Отца я застал уже в доспехах. Он надевал перевязь с мечом, а Состий принес несколько копий, на выбор. Отец сказал:

– Раз ты здесь, Алексей, – сходи за меня в конюшню, проверь Феникса. Глянь, чтобы бляхи были вычищены, и чтобы большой чепрак надели, что брюхо прикрывает.

Когда я вернулся, он был уже в шлеме. И казался очень высоким.

– Отец, – попросил я, – можно я сяду на Коракса и поеду с тобой?

– Конечно нет. Если дела будут плохи, и призовут таких мальчишек, как ты, – иди, куда скажут, и выполняй, что прикажут.

Он положил руку мне на плечо и добавил:

– Где бы мы ни были, защищая Город мы с тобой будем рядом.

Я ответил, что надеюсь – у него не будет причины стыдиться меня. Он обнял мать; она ему дала сумку с едой на три дня... Он пригнулся под косяком; потом, опершись на копьё, вскочил на Феникса – и уехал.

Город весь день бурлил. Все думали, что фиванцы получили сигнал от заговорщиков, и что заговор раскрылся как раз вовремя. Иные говорили, что это спартанцы были на подходе, и был план открыть им ворота... Совет старейшин проследовал в Верхний Город и заседал всю ночь.

Мы с матерью работали по дому, запирая все, что можно. Она весело болтала с рабами; говорила, что помнит, как ее мама делала все это, когда она маленькая была. Я сходил со старым Состием купить провизии на случай осады... Но когда стемнело, а войска все стояли не двигаясь с места, – устал сидеть. И сказал:

– Отец был бы рад, если б ему принесли вина, раз все спокойно.

Мать меня отпустила. Я сказал, что Мидас ей может понадобиться, и пошел один; зажег факел и двинулся к Анакейону. За оградой храма пахло густо, как в конюшне, кони фыркали.... В вышине видны были Великие Близнецы, друзья всадников, ведущие к звездам своих бронзовых коней. Я погасил свой факел – и так было светло от костров – и стал искать отца. Говорил имя его, и имя его отца и из какого дема.

Кто-то сказал, что он на посту у северо-восточного угла наружной стены. Я пошел туда и увидел его наверху; он на копье опирался. Отблеск огня окрасил доспехи – словно красный воин на черной вазе. Я подошел к нему и сказал:

– Господин, мать прислала тебе вина.

Он ответил, что это хорошо – но потом, мол. Я поставил вино и уже собирался пожелать ему доброй ночи, но он вдруг сказал:

– Ты можешь остаться на времечко. Подежуришь со мной, хочешь?

Конечно же, я хотел. Забрался к нему наверх, встал рядом... Видно было недалеко, ночь безлунная. Совсем рядом никого не было; когда стало прохладно, все собрались вокруг костров или зашли в храм. Я чувствовал, что надо что-нибудь сказать ему; но мы никогда помногу не разговаривали... Наконец я спросил, не ждет ли он атаки утром.

– Посмотрим, – сказал он. – Когда в городе смятение, бывают ложные тревоги. Конечно, они могут напасть; в надежде, что у нас осталось слишком мало людей, чтобы удержать стены.

Он, когда говорил, не оборачивался ко мне, а все время смотрел в темноту. На посту всегда так, чтобы костры зрение не притупили. Я спросил:

– А сколько времени понадобится Армии, чтобы победить Сицилию?

– Только боги это знают, – ответил он. Я удивился и замолчал. Чуть погодя, он сказал:

– Сиракузцы нас ничем не оскорбили, и не угрожали нам... Война-то была со Спартой.

– Но когда мы разобьем сиракузцев, и захватим их корабли и гавань и золотого, – мы ж тогда легко прикончим спартанцев?

– Может быть. Но было время, когда мы сражались только затем, чтобы отразить варваров или защитить Город... Или ради справедливости.

Будь это кто другой – я подумал бы, что говорит так от трусости. Я привык слышать, что мы сражались, чтобы сделать Город великим, сделать столицей всей

Даллады... Теперь, глядя на отца в доспехах, не знал, что и думать. А он заговорил снова:

– На третий год войны – ты еще в колыбельке был – лесбосцы, наши подчиненные союзники, поднялись против нас. Их подавили без особого труда; и Собрание – голосуя об их судьбе – решило, что надо их так покарать, чтобы пример был для всех остальных. Мужчин твоего возраста надлежало предать мечу, а всех остальных продать в рабство. И вот, на Лесбос пошла галера с этим приговором. В ту ночь мы лежали без сна; или вскакивали, проснувшись от криков умирающих, от женских воплей и детского плача, что звучали у нас в ушах... На другой день мы все вернулись в Собрание; и когда изменили то решение – назначили награду гребцам второй галеры, чтобы они догнали первую. Они это сделали; потому что на первой все работали, словно больные, так их давило то поручение. Когда их догнали у Митилены – афиняне радовались не меньше лесбосцев; они праздновали вместе и делились вином... А в прошлом году мелосцы, которые нам ничего не должны, – ведь они доряне, – решили платить дань своему родному городу, а не нам. Что мы сделали – ты знаешь.

Я набрался храбрости сказать, что он мне никогда об этом не рассказывал. Он ответил:

– Когда приносишь жертвы – моли богов, чтобы на твою долю никогда не выпало ни испытать этого, ни сотворить.

Я никогда не подозревал, что он думает о таких вещах. Это Алкивиад настоял на каре для мелосцев. «Боги карают гордыню в людях, – сказал он. – Так почему мы должны считать, что они приветствуют ее в городах?»

Тут как раз отца кто-то сменил. Мы подошли к одному из костров; он угостил вином нескольких друзей и представил меня, – но сказал при этом:

– Гляньте на его руки и ноги; сразу видно, что парень еще растет.

Я почувствовал, что он оправдывается за меня; ведь каждому было ясно, что никогда я не вырасту таким,

как он. Вспомнилось, как он хотел меня выкинуть при рождении... Так что задерживаться там я не стал.

Я зажигал свой факел в костре, что горел возле статуи Близнецов, когда подошел человек, только что вышедший из храма. Он был без шлема, так что я обернулся – смотрю – Лисий. Я и раньше видел его в доспехах, когда он упражнялся с другими всадниками; он в них отлично смотрелся.

– Нашел отца, сын Мирона?

Я поблагодарил; да, мол... Он постоял немного, – я чуть не подумал, что он специально вышел поговорить со мной, – но он только сказал «Отлично», и снова вернулся наверх.

На другой день о враге ничего не было слышно, и войско разошлось по домам. А следующая буря, что сотрясла Город, касалась Алкивиада.

Его парус едва успел опуститься за горизонт, как выползли доносчики. Историю с элевсинской вечеринкой рассказывали во всех подробностях. Даже женщину, на которую и намекать-то невозможно (пусть Дважды Рожденные сами догадываются, не ошибутся), – даже ее нашли и допросили. Теперь, когда лица его никто не видел и голоса не слышал, – теперь каждый понял, что безумие доверять армию такому человеку. Так что послали государственную галеру, «Саламинию», чтобы вернуть его и его друга, кормчего Антиоха, который тоже обвинялся. Однако не арестовать его надо было. Чтобы не началась заваруха с моряками, и чтобы аргияне не откололись, триерарх «Саламинии» должен был учтиво предложить ему явиться на суд, которого он сам добивался, и сопроводить его назад на его собственном корабле.

Помню, в день этого решения я вошел и вижу – отец стоит возле большого шкафа с кубком в руках. Этот кубок он редко брал; он был очень дорогой, из лучших работ мастера Бакхия. На кубке был рисунок – красным по черни – Эрос гонит зайца; на одной стороне была надпись МИРОН, а на другой АЛКИВИАД. Отец крутил в руках этот кубок, словно в раздумье; а увидел меня – поставил его обратно в шкаф.

В Городе ни о чем другом не говорили, только об Алкивиаде. На улице, в палестре и на базарах пересказывали старые истории: какой он был дерзкий, какой необузданный... Те, кто прежде его защищал, теперь только рассуждали: как же это он стал таким, после того как его воспитывал столь достойный человек – Перикл?.. Ответ был один и тот же, всегда. Его испортили софисты. Они ухватились за него, когда он еще совсем мальчишкой был – красота привлекла и сообразительность, – они привили ему самодовольство и тщеславие, научили безбожному вольнодумству (здесь обычно кто-нибудь цитировал «Облака»), так что он дерзнул спорить даже с самим Периклом... Ну а потом, взяв от них все что ему было нужно, – он наплевал на их разговоры о мудрости и добродетели – и ушел.

Когда я слышал все это – под ложечкой сосало. Я все время ждал, что назовут имя, – и его назвали; если не сразу, то скоро. Все знают, говорили, что Сократ был влюблен в мальчика и хотел сделать из него нового Перикла, еще более великого. Он, бывало, ходил за ним на его беспутные пирушки, отчитывал при друзьях и утаскивал оттуда, словно раба, – из ревности: не хотел, чтобы мальчишка хоть на час уходил с глаз его... Я ощущал этот позор, словно собственный. Но взрослых перебивать не мог, потому заговорил с Ксенофоном. Мы оттирали друг другу спины после борьбы. И вот, работая скребницей, я сказал – не вижу, мол, ничего плохого в том, что кто-то пытается исправить человека. Он рассмелся через плечо:

– Три сильнее, ты всегда слишком нежно трешь... Знаешь, Алексей, ты верен себе. Ладно, давай по справедливости. Все эти люди сами были увлечены Алкивиадом, и теперь им нужен козел отпущения. Но Сократ, который целыми днями ходит по Городу, уличая людей и поправляя их: для него слишком большая роскошь свалить дурака. Ты знаешь, Алкивиад в юности однажды стал кусаться во время борьбы, когда проигрывал схватку. Если бы такое случилось в Спарте, – побили бы не только его, но и его любовника; за то, что не учит его быть мужчиной.

Мне было так худо, что я даже из-за его вечных спартанцев не взъерился. А он продолжал:

– Загляни в лавку благовоний – увидишь там молодежь Сократа. Они часами изощряются в словоблудии, обсуждая свои души. Вроде Агафона. Если ты примешь его за девушку, он наверное восхитится...

– Он же великий трагик! Стоит ли потешаться над человеком, который будет бессмертен, когда нас с тобой никто уже и не вспомнит? А ты когда-нибудь видел там самого Сократа? Я – никогда.

– Похоже, теперь мы его вообще не скоро увидим. Ставлю десять бабок против одной, что он не появится в колоннаде по меньшей мере неделю. Спорим?

– Давай.

Он заметил, что я перестал тереть, и оглянулся с улыбкой:

– Ладно, мир! А то придется нам снова друг друга чистить.

Кто-то сказал, что атлет Автолик борется в палестре Таврия, – мы спросили своих наставников, можно ли нам посмотреть. Они согласились – но только пройти мимо, не задерживаться. Автолик как раз закончил схватку и отдыхал. Вокруг было полно народу... Любовались на него и ждали, когда он снова бороться будет. Какой-то скульптор, а может и живописец, сидел рисовал набросок с него... Он привык ко всему этому и не обращал внимания. Пока мы протискивались сквозь толпу, на другой стороне вдруг стало тихо, а потом раздался ропот рассерженной толпы, – у меня руки похолодели; я уже знал, кто там появился.

Он был один. Мне не пришло в голову, что он попросту не искал ничего общества; я подумал, все его покинули. Но Критон, смотревший борьбу, тотчас подошел к нему и пошел рядом... И, ко всеобщему изумлению, сам Автолик приветствовал его – но издали: он же раздетый был и в пыли весь, так что остался на площадке. А все остальные – отходили, когда он шел мимо, или поворачивались спиной. Кто-то засмеялся...

А я был не настолько храбр, чтобы пойти вперед, и не настолько труслив, чтобы назад. Когда другие рассту-

нились, так что я смог его увидеть, — я едва заставил себя посмотреть на него. Самое лучшее, на что я надеялся, — увидеть, что он отгоняет всех взглядом, как говорят смутил неприятеля во время отступления под Делием. Однако, проходя мимо меня, он говорил — словно беседовал у себя дома: «Он утверждает, что научить можно самому методу, а не способности его понимать. Если бы это было вопросом математики...»

Больше я ничего не слышал. Мидас звал меня, я повернулся идти — и увидел Ксенофона, он как раз за мной стоял. Сначала он меня не видел, провожал глазами Сократа. Я ждал, что Ксенофон тут же отдаст свой долг; он всегда проигрывал честно... Но он, по-прежнему глядя мимо меня, сказал:

— В тот день, когда боги пошлют мне какие-нибудь напасти, — пусть пошлют и такое же мужество, как у этого человека.

По дороге домой мы поднялись на Верхний Город посмотреть гавань. Уходила галера. День был ясный, так что видна была эмблема на парусе. «Это «Саламиния», — решили мы дружно. — Ее синяя сова». А она быстро удалялась, спеша на Сицилию.

6

В тот год на Дионисии отец взял нас с матерью в театр. Отец очень любил этого поэта, потому что тот высмеивал софистов и демократов; да и любого, кто хотел взбудоражить Город чем-нибудь новым. С нами была Кидила, чтоб за матерью ухаживать, и Состий, он подушки нес. Отец дал ему два обола, чтобы тоже посмотрел представление. День был ясный; редкие тени облаков пробежали через залитый солнцем театр и уходили в сторону моря. Мать с Кидилой пошла на женские места. На ней были новые золотые серьги, — отец подарил, — там внутри кольца висели маленькие листочки; повернет голову — они качаются, как на ветру... Места уже заполнялись. Наверху — овечьи шкуры и некраше-

ный холст рабочего люда; на нижних скамьях краски яркие... Чаша театра походила на цветок, лежавший под Верхним Городом в ворохе сухих листьев.

Теперь я часто удивляюсь, что до сих пор хожу на пьесы Аристофана. Ведь руки у него в крови человека, дороже которого не было у меня никого на свете. Если, конечно, слова могут запачкать руки, написавшие их. А в тот день я шел неохотно; потому что его издевки над Сократом цитировали повсюду, никогда в жизни он не мог от них избавиться. Но в этой комедии была песня о птицах, такая прекрасная – от нее мурашки по коже. На самом деле, когда он поет – творит собственный мир; свою землю, свое небо... Хорошо то, что он назвал хорошим, – и где он поставил алтари, туда нисходят боги. Платон говорит, ни одному поэту нельзя этого позволять; а он теперь слишком именит, чтобы с ним спорить. Однако, я видел, он и сам ходит... Во всяком случае, в тот год Аристофан венка не получил. Его присудили пьесе под названием «Пьяные гуляки», заживавшей аудиторию гневом против святотатцев, осквернивших Гермов.

Мы ждали снаружи мать, когда подошел один знакомый, и сказал:

– Я остался, Мирон, чтобы сказать тебе, что жена твоя ушла домой. Не беспокойся; моя пошла ее проводить и говорит, что это не серьезно. Ей можно верить, у нее своих четверо.

Он улыбнулся, и отец поблагодарил его с большей сердечностью, чем проявил вначале.

– Ну что ж, Алексей, – говорит, – пойдём и мы...

По дороге домой он был в отличном настроении, все пьесу вспоминал. Я не знаю, что отвечал ему. Он прошел в дом к матери, а я остался один. И не задумавшись, что делаю, не ища наставника, никого не спросив, – выбежал со двора и помчался по улицам. Возле Ахарнайских Ворот кто-то окликнул: «Куда ты так торопишься, сын Мирона?» Я увидел, что это Лисий, но ни за что на свете не мог я сейчас заговорить, ни с кем. Отвернулся, чтобы спрятать лицо, и пробежал мимо.

Бежал через поля, через леса, – и очутился на склоне Ликабетта. Вскарabкавшись по крутым скалам, я нырнул на ровное место, где редкие цветочки, мелочь валялись, цеплялись за камень. Даже Верхний Город казался плоским внизу; а за плечом Гиметта виднелось море. Я лежал, тяжело дыша, и удивлялся: «Чего ради бежал? Ведь ничего же нельзя делать без причины!..» И тут разревелся. А когда бежал – не знал, что хочется плакать.

Я говорил себе, что горе мое нелепо, но сердце было полно им; даже тело болело. Казалось, мать меня предала. Подобрала меня, когда я никому не был нужен, – а теперь, в заговоре с отцом, хочет поставить другого на мое место... Я ненавидел его за это, хоть и знал, что оскорбляю богов. Уж лучше бы спартанцы не подходили, когда я родился; и давным-давно где-нибудь здесь лисы обглодали бы мои кости и ветер их разметал бы.

Время шло, слезы кончились. Тени от цветочков удлиннились, стало прохладно по-вечернему... Это мне напомнило день свадьбы отца; я тогда на крышу залез, чтобы увидеть, как приведут в дом невесту. Мне было всего семь, и я по простоте своей полагал, что мне позволят быть на пиру... Отец говорил, что приведет мне маму, – так я думал, что она уже моя, словно он пообещал мне собственную собаку или птицу.

Уже лампы зажигали, когда я расстался со своими воспоминаниями и спустился с Ликабетта. Солнце село, был уже поздний вечер, и здорово хотелось есть. Теперь я вспомнил, что несколько часов был вне дома, – без наставника, – и надеялся, что на мое счастье отца не окажется, когда приду. Однако, он был в гостиной и ждал меня.

Он был один; и вместо того, чтобы просить прощения, я спросил, пока он еще ничего не успел сказать:

– Где мать?

Мне вдруг страшно стало, что ей на самом деле худо.

Он поднялся со стула:

– Всему свое время, Алексий. Где ты был?

Когда он заговорил вот так, словно мне и спросить нельзя, – я разозлился. И смотрел ему в лицо, не отвечая. Видел, как он краснеет; и сам конечно тоже...

Наконец он сказал:

– Прекрасно. Если ты сделал что-нибудь такое, чего стыдишься, – у тебя есть причина молчать. Но я тебя предупреждаю: дешевле обойдется сказать мне сразу, а не ждать трусливо, пока узнаю сам.

При этих словах у меня в голове будто польхнуло. Раз так.

– Я был в палестре, – говорю. – В мужской. Слушал софистов и встречался с друзьями.

Он теперь был очень зол, и заговорил не сразу. А потом, не повышая голоса, спросил:

– С кем же ты там был?

– Ни с кем особо, – сказал я. – Хотя твой друг Критий приглашал меня пойти домой вместе.

Я старался отгородиться злостью от страха своего. Он был очень крупный мужчина. Я сжал зубы и решил, что даже если он меня убивать будет – не увидит он моей дрожи, такого удовольствия я ему не доставляю. Но он только сказал, совсем тихо:

– Иди к себе и жди меня.

Вечер был холодный, есть хотелось страшно... Комнатушка моя была по вечерам совсем темной из-за дерева под окном. Я ходил взад-вперед, пытаюсь согреться... Наконец он пришел; а в руке – плеть, что коня стегать.

– Я ждал, – говорит, – не хотел тебя трогать, пока злость не пройдет. Ведь я не себя потешить должен, а сделать то, что справедливо... Если ты вырастешь чего-то стоящим – будешь меня благодарить, за то что избавил тебя от наглости. Раздевайся.

Сомневаюсь, что я выиграл от его самообладания столько же, сколько он сам; это была самая страшная порка в моей жизни. Под конец я уже не мог молчать совсем; но не кричал, и не просил его перестать. Когда он остановился, я продолжал стоять спиной к нему; ждал, когда он уйдет. Он позвал:

– Алексей!

Я повернулся. Чтоб он не подумал, что боюсь показать лицо.

– Ну что ж, – говорит. – Рад видеть, что с мужеством у тебя получше, чем с умом. Но храбрость без умения себя вести – это достоинство разбойников или тиранов. Не забывай этого.

Мне было очень худо; но сомлеть перед ним – да я бы лучше умер, сразу. И, чтобы избавиться от него, попросил прощения.

– Отлично, – говорит. – Тогда с этим покончено. Доброй ночи.

Оставшись один, я упал на кровать. Казалось – в юности всегда так кажется, – что это мое горе будет длиться вечно, всю мою жизнь, и не смягчится никогда. Я решил, что надо пойти и броситься со скалы в море. Лежал, отдыхая, и только ждал, когда появятся силы пойти, – а перед глазами были улицы, по которым надо будет выходить из Города. Потом вспомнился Лисий; как он меня встретил на дороге и спросил «Куда так торопишься, сын Мирона?» Я попытался представить себе, как отвечаю: «Иду прыгать в море, потому что отец меня бьет». Это ж нелепо!.. Так что я укрылся одеялом и, наконец, заснул.

Потом я выяснил, что отец искал меня по Городу; так что должен был знать, что ни в какой палестре я не был. А наказал меня просто за дерзость, как любой отец. Я никогда не бил своих мальчишек так жестоко; но насколько могу судить – они от этого только хуже.

На другой день я не спешил навестить мать у ткацкого станка, но она сама позвала.

– Когда ты был маленький, Алексей, ты рассердился, узнав, что у тебя будет мачеха? Знаю, рассердился. Ведь в сказках мачехи всегда злые...

– Конечно, нет. Я ж говорил тебе, как это было.

– Но ведь тебе наверняка кто-нибудь говорил, что если у мачехи есть собственный сын, то она не бывает доброй с сыном своего мужа. У рабов много таких историй.

Я отвернулся.

– Нет, – говорю.

Она прогнала челнок по станку.

– Знаешь, старые женщины тоже любят порассказать. Любят каркать невесте о судьбе новой жены; чтобы она боялась не только мужа, – будущего мужа всегда боишься, – но и рабов его, и даже его друзей, которые и знать-то о ней ничего не будут, кроме того что она настряпала или наткала. И уж ни в чем она так не уверена, как в том, что будущий пасынок ее уже ненавидит, и ждет ее прихода как наихудшей беды в своей жизни. И когда, вот в таком ожидании, она встречает доброго сына, протянувшего к ней руки, – это запомнится навсегда. Ни один ребенок не может стать дороже первого.

Она умолкла, но я не мог отвечать.

– Ты был самостоятельным и своенравным... Но когда видел, что я боюсь показаться несведущей, – ты говорил мне, чего от тебя требовать; и даже как наказывать тебя, если что-нибудь делал не так...

Голос ее задрожал; я видел, она вот-вот заплачет. Ясно было, что надо уйти без разговоров; но на прощанье я поймал ее руку возле локтя, чтобы знала, что расстаемся друзьями. Косточки у нее были тоненькие, как у зайчика.

После того разговора я как-то привык к мысли о братике, и даже сказал кое-кому из друзей. Ксенофон давал мне советы, как его тренировать... Иногда казалось, он хочет, чтобы я воспитал из брата спартанца, а иногда – коня.

Мне исполнилось шестнадцать, учение у Микия я закончил. Некоторые из друзей моих уже обучались у софистов. А я старательно обходил эту тему в разговорах с отцом; ведь после недавних событий ясно было, что он не позволит пойти к Сократу и может послать меня к кому-то другому. Я собирался подойти к нему с этим попозже, когда тот скандал как-то подзабудется. Немалую часть свободного времени проводил я в нашем поместье, выполняя его распоряжения и следя за порядком, когда он сам бывал занят; а иногда мы с Ксенофоном охотились на зайцев. У него была своя пара гончих, которых он вырастил от отцовских собак; он научил их

хорошо держать след и не отвлекаться на лисиц и прочее зверье.

Я успел почти забыть о «Саламинии» к тому времени, когда она вернулась. Все помчались в гавань; посмотреть, как будет выглядеть Алкивиад, проявит ли хоть какой-то страх. К этому времени у большинства злость уже поостыла; люди гадали, как он будет защищаться, говорили, что сам он наверняка управится лучше, чем какой-нибудь наемный оратор.

Оба корабля подходили все ближе, но Алкивиада не было видно. Когда триерарх «Саламинии» сошел на берег — выглядел он так, словно потерял мешок золота, а нашел веревку. Новость он привез потрясающую. Алкивиад очень любезно согласился вернуться в Город и вместе с ними дошел до Фурий, в Италии. Пока там запасались водой, Алкивиад, вместе с Антиохом сошли на берег ноги размять; а когда пора было двигаться дальше — оказалось, что их нет. Никто особо не корил триерарха «Саламинии». Ведь у Алкивиада было столько же людей для защиты, сколько у него для ареста; а тем более — ему было сказано, что арест не нужен.

Дикастерий заседал в отсутствие подсудимого, которому было предъявлено обширное обвинение. Приговор — конфискация всего имущества и смерть. Дом его снесли, участок из-под дома отдали богам, а юный его сын был лишен всего. Аукцион его добра длился целых четыре дня; почти каждый купил хоть что-нибудь. Даже отец принес плащ с золотой каймой; нижний край был обтрепан, Алкивиад имел привычку волочить плащ по земле. Думаю, отец сам полагал, что это плохое приобретение; он его так ни разу и не надел.

Через некоторое время из Италии пришел корабль и привез письма друзьям от тамошних колонистов. Кто-то получил письмо от афинянина по имени Фукидид, бывшего генерала, который по ошибке сорвал освобождение одного города в первые годы войны и теперь жил в изгнании. Делать ему было нечего; он ездил туда-сюда и много писал, чтобы время убить. Теперь он рассказывал своему другу, что был там, когда Алкивиаду принесли смертный приговор. Все ожидали услышать

что-нибудь возвышенно-красноречивое, – но он, вроде бы, только сказал: «Они еще увидят, что я жив».

Вскоре мы услышали, что он на рыбацкой лодке перебрался из Италии в Аргос; предполагалось, что там он и оседет. Но через несколько дней в Пирей пришел торговый корабль, – и мы узнали правду. Я несся бегом всю дорогу до Ксенофона, чтобы быть первым с этой новостью; хотелось увидеть, как он это воспримет, какое у него лицо будет. Сначала он неотрывно смотрел на меня, а потом запрокинул голову и расхохотался:

– Неужто ему так дорога его жизнь? Алкивиад в Спарте!.. Наверно, боги лишили его разума, чтобы сам выполнил их проклятие. Что сделали бы с ним афиняне – это ж мелочь в сравнении с таким!..

Хотя все были злы, – по всему Городу слышался смех. Люди рисовали друг другу эту картину: Алкивиад сидит на деревянной скамье на общей трапезе в сарае (если только найдется такая трапеза, куда его пустят) и пьет мерзкую черную похлебку из деревянной чашки. Это он-то! Державший лидийских поваров и возлежавший на пуховых подушках!.. И волосы у него висят нечесаны, и сам не мыт – разве что искупался в холодном Эвроте, – и нет у него ни благовонных масел, ни сандалей с самоцветами; упадет на постель – а ее и разделить не с кем... «Это его убьет, – говорили. – Это будет похуже болиголов!» А иные добавляли: «И никто не похвалит его красноречие! Там предпочитают суровую краткость!..» Похоже, никто не вспоминал, что он сказал, услышав приговор.

Зимние ветры стихли, море было синее-синее; чайки покачивались на распростертых крыльях, словно воздушные змеи... Погода была в самый раз для парусов. Однажды утром я увидел большую триеру в Мунихийской гавани; и еще подивился, куда это она собирается. А пришел домой – вся гостиная завалена багажом, снаряжением разным, а отец стоит посреди разложенного оружия и маслит ремни.

Я наверно устал на это дурак-дураком; отец нетерпеливо сказал – или уходить, или заходить. Я вошел, и спросил не на войну ли он собрался.

– О, нет! – говорит. – Ты что, не знаешь, что я всегда выезжаю за город при оружии?

Говорил он как-то очень по-молодому. Наверно, когда я вошел, мысли его были где-то далеко.

– Что случилось, господин мой? – спросил я. – Спартанцы идут?

Он оторвал старый ремешок с нагрудника и выкинул.

– Такого я не знаю. Но если идут – это будет ваша работа, сынок; так что удачи вам. А я уезжаю на Сицилию.

Я сказал, глупо конечно, что я об этом не знал.

– Я тоже не знал до сегодняшнего утра.

Он выбрал другой ремешок и вдел его на место. И пел сам себе солдатскую песню; потом вспомнил обо мне – замолк на середине. Я редко видел его в таком настроении. Наверно, долгое время душа тянула его в разные стороны, а теперь – когда корабли были сожжены для него – полегчало.

Он бросил мне свои поножи – полировать – и, пока мы работали, рассказал, что его посылают вместо другого рыцаря; тот заболел.

– Никию нужна кавалерия, он должен был это предвидеть. Сиракузская конница срывает ему осадные работы. Когда мы туда прибудем, он сможет хоть что-то делать; ему нужно жало на хвосте. На Дионисиях Аристофан уже выдавал ему за медлительность.

– Ты возьмешь обоих коней? – Боюсь, что при этом вопросе я больше думал о себе.

– Ни одного. Он нас там обеспечит. Не доверяй Феникса конюху; тренируй его сам, как я.

Он долго рассказывал, как лечить коней. Я пообещал проследить за всем, и сказал, мол, если что – смогу попросить совета у отца Ксенофона.

– Грилий идет с нами, – сказал он. – Но что сын его твой друг – это хорошо. Ты правильно выбрал.

Он поднял щит и начал полировать. И вдруг сказал: – Когда подойдет Семейный Праздник – не забудь ядью своего Алексия, в честь которого назвали тебя.

– Хорошо, отец.

– Ведь тебе уже должно быть шестнадцать. Или совсем близко к тому, а?

Я согласился. Он отложил щит и посмотрел на меня.

– Ну что ж. Значит, через два года ты станешь эфебом; глупо обращаться с тобой, как с маленьким. Мать у тебя была красавица, да и я не обижен... – Я не сразу сообразил, что он о настоящей матери говорил. – Похоже, ты эту красоту унаследовал. Так оно сейчас кажется, по крайней мере. Лучше, чтобы ты это услышал от меня, чем от кого-нибудь, кто скажет только затем, чтоб тебя одурачить.

Я был поражен. Не новостью этой, – тут он ошибался, что был первым, – а тем, что он тоже так думает.

– В лице юноши, даже мальчика, – сказал отец, – бывает виден мужчина, растущий в нем. Так что среди поклонников, привлеченных красотой, всегда есть наверно несколько таких, кому можно доверять; но надо быть самому достойным их. Что до остальных, – кому будет все равно, если ты болван, трус или лжец, – я верю, у тебя хватит ума с ними разобраться. Но будут и те, кто даже зная, что ты таков, – допустим, – все равно позволят тебе топтать их гордость и таскать их за собой, словно рабов. Хотя в остальном они могут быть вполне достойными людьми – за одно это их стоит презирать. Продавать свою дружбу за подарки – это вообще не предмет разговора для благородных людей. Но продавать ее за лесть, или поддаться простой назойливости – словно кидаешь обол крикливому попрошайке – это, по-моему, ничуть не лучше. Если будешь сомневаться, то вспомни своего дядю Алексея. Подумай, сделает ли для тебя тот человек то же, что сделал он для Филона. И, кстати, не забудь и себя спросить – а ты для него? – Он подышал на щит, потер... – Я надеюсь, на женщин тебя пока что не тянет. Не давай никому затащить тебя в такие места, как у Мильты, где тебя отравят и ограбят. А у Кориты, я слышал, девушки чистые.

Тут вошла мать, и он наверно был рад этому не меньше меня. Она была спокойна, хоть слегка побледнела; сказала, суконщик пришлет его плащ к вечеру.

А через несколько дней они отплыли. Я провожал его в порту вместе с его дядей Стримоном. Семья наша так поредела от чумы и войны, что после отцовского отъезда он оставался мне самой близкой родней. Я гадал, что из этого выйдет. Знал я его плохо; отец приглашал его по праздникам, посылал в подарок мясо от наших жертвоприношений, — в общем соблюдал обычную вежливость, но редко звал поужинать со своими друзьями. Думаю, единственная причина — считал его тупицей.

Наверно половина моих сверстников из школы была в порту; отцов провожали. Ксенофон меня не заметил; о чем отец с сыном могут так много говорить — это для меня была загадка.

Наконец корабль отошел. Я долго махал отцу, и он мне тоже; наверно каждый из нас хотел на прощанье загладить вину свою... Потом я поговорил кое с кем из школьных друзей; но Ксенофон, хотя и здорово держался — ушел один. Кажется, даже опекуна при нем не было.

Мне пришлось возвращаться со Стримоном, двоюродным дедом моим. Ему было слегка за шестьдесят (гораздо моложе деда) и для своих лет он был здоров. Взгляды у него были те же, что у большинства почтенных людей. Думаю, если бы я мог иногда посмеяться над ним — он бы мне больше нравился.

Дома мать встретила меня с улыбкой, дала кунжутного печенья... Но волосы у нее были мокры у висков, иго она холодную воду в глаза плескала. Беременность была уже заметна слегка; она и побледнела, и с лица спала... Я сказал, чтоб не грустила; война, мол, скоро теперь кончится, раз кавалерию послали... Она только покачала головой.

— Ты теперь наверно легче пугаешься, чем обычно, мам, — сказал я. — Но не поддавайся этому. Ведь я же здесь, я о тебе позабочусь... А если тебе захочется поесть чего-нибудь особенного, — это было, пожалуй, все, что я знал о таких делах, — если чего захочется, так я прослежу, чтобы все было; из-под земли достану!

Она поглядела на меня и рассмеялась; но потом снова заплакала — и ушла.

Уезжая, отец отпустил Мидаса на волю. Раньше, чем обещал; это было в дар Аполлону. Считалось, что теперь за мной будет приглядывать Состий, но за последнее время я сильно вырос, — и выше стал и вообще... и скоро понял, что он не знает, что со мной делать, а я с ним могу делать, что захочу.

Поначалу у меня мало было времени для своих радостей; слишком много работы в деревне. Когда за мной стоял отец — я отдавал его распоряжения вполне уверенно; а теперь мог выдавать их за свои собственные, так что рабы не очень замечали разницу. Неприятности мои связаны были не с ними, а с дядюшкой Стримоном. Он вложил все свое наследство в рабов, которых отдавал в аренду на серебряные рудники. Так что все его заботы были — получить плату за них, раз в месяц, да отложить часть денег на случай, если новых на замену покупать придется. Но всезнайка он был несусветный. Набрался где-то рецептов разных, которые на нашей земле никуда не годились, — и взялся хозяйничать. Если я пытался возражать — он отвечал: «Ну-ну. Я знаю, нынешняя молодежь не любит, чтобы ей что-нибудь подсказывали... Но я лишь выполняю, как могу, долг перед твоим отцом».

Все это прервало мои занятия на беговой дорожке; но направляясь в поместье я часто бежал по бездорожью, оставляя лошадей конюху, — и этого было достаточно, чтобы не расслабляться. В последний год я рос очень быстро, и был слегка долговяз. А теперь — на ногах еще до рассвета, в любую погоду на полях, часто в работе вместе с рабами и батраками, чтобы задать им темп, — теперь я намотал на кости неплохие мускулы; стал плотным, рельефным, да еще загорел... Так что, когда появлялось время зайти в палестру или в баню, — стал замечать: вслед оборачиваются люди, которые никогда прежде этим себя не затрудняли. Пару раз меня даже выручило, что за мной ковылял старый, костлявый Состий.

Корабль, увозивший отца на Сицилию, вернулся с новостью, что Ламах убит. Он погиб при штурме встречной стены, что сиракузцы строили, чтобы помешать нашим осадным работам. Но благодаря ему город был почти обложен; а когда это будет закончено – можно считать, что войне конец. Оказалось, что сиракузцы – солдаты не ахти какие, сборище мелких отрядов из разных мест... Но они сражались у дверей домов своих, а это придает упорства и самым слабым войскам. Иначе их давно бы уже оттуда вымели.

По всей Элладе было спокойно; только, вот, аргивяне, пострадавшие от спартанских набегов, попросили у нас кораблей для защиты побережья. Хотя у нас со спартанцами было перемирие, отказать было бы бесчестно, раз уж Аргивы послали своих людей на Сицилию. Когда стало известно, что несколько наших кораблей напали на побережье Лаконии, – кое-кто покачал головой; но это была мелкая операция, вроде пиратского набега, и о ней скоро забыли. Уж я-то точно забыл, потому что как раз в том году впервые попал в компанию Сократа.

Поначалу я приходил, словно вор ночной, чтобы он меня не заметил и не задал бы какого-нибудь вопроса; а то сразу станет видно, какой я дурень, и в другой раз уже не решусь, не приду. Когда его спрашивали, почему он не берет плату за свои занятия, – он отвечал обычно, что не хочет быть связан в выборе собеседников и никому не позволит называться его учеником, только другом. Так что самонадеянность свою я сознавал. Я всегда ждал, пока вокруг него соберется побольше людей, – и прятался за их спинами; если казалось, что он вот-вот посмотрит в мою сторону, – тут же убирался с глаз долой. И долго думал, что он меня не замечает, пока во время какого-то разговора он не сказал: «Но теперь, я полагаю, ошибка будет очевидна даже для самого юного из нас. Что скажешь, Алексий?» Мне в тот миг показалось, что мы разговаривали всегда, что ничего нового не случилось, – и я ответил совсем без страха. Когда ему хотелось, он мог любое трудное дело представить легким и естественным; но мог и выставить знакомую вещь в новом и странном свете, так что

человек удивлялся, как это он раньше не замечал такой красоты – или не выкинул ее с отвращением.

Мне кажется, мир обновлялся для него ежечасно. Ведь большинство из нас видит то, что нам сказали другие; а тем тоже сказал кто-то другой. А для него – все, что только есть в этом мире, пронизывали боги; и величайшим святотатством было смотреть на них чужими глазами. Мне кажется, именно поэтому его ненавидели трусливые и подлые души; все те, кто не решается познать ни себя, ни богов.

Я видел его гораздо реже, чем хотелось. Мальчишка моего возраста не мог ходить повсюду, где бывал он, да и работа у меня была... Но иногда появлялась и еще одна причина. Как только отец уехал – Критий себя показал. Но он не ухаживал открыто, так чтобы ему можно было учтиво отказать, а прилипал исподтишка. Таким, по-моему, закон должен бы вообще запретить приближаться к сыновьям свободных людей. Я уже рассказывал, у него была омерзительная манера играть на чувстве достоинства или на уважении к старшему. Когда становилось совсем неважно, я делал знак Состию, чтобы тот меня увел. Критий никогда не смотрел мне вслед; уходя, я обычно слышал, как он строит какой-нибудь изящный силлогизм.

Сначала я все удивлялся, как это Сократ может так обманываться. Позже понял, что он знал о Критии много другого, – не того, что я, – такого, чего я как раз не знал и знать не мог. Ясно было, что Критий собирается отличиться в политике, так что учить его добродетели было на пользу Городу. Что до остального – Сократ был проницательнее многих, но слишком великая душа, чтобы бродить, опустив глаза в поисках грязи. И вот, если я видел Крития возле него – не подходил. Это случалось не слишком часто: Критий всегда был очень занят, и чаще бывал у других софистов, учивших политическому искусству.

Около середины лета матери пришло время рожать.

Я крепко спал, усталый после дня в деревне, когда вошла Кидила с лампой и попросила меня сбежать за повитухой. Я выскочил из постели, – забыл, что надо

бы подождать, пока девушка уйдет, – и по лицу ее стало видно, что я уже не ребенок... Но думать об этом было некогда. Раз мать посылает меня вместо раба – это потому что я быстрее, а ей больно... Это было задолго до рассвета, а она еще после этого промучилась весь день.

Когда рассвело, я пошел в Город, один, чтобы как-то время убить. Сначала подался в палестру, уработался там до полусмерти... Когда чистился и умывался после того, – подошли два-три человека, которые давно уже ждали (так они сказали) возможности со мной встретиться. Я их едва заметил – и только гораздо позже узнал, что именно в тот раз впервые прославился своей холодностью и надменностью.

Сразу после полудня вернулся домой; но там никаких новостей еще не было; а повитуха, увидав меня возле двери, резко меня отослала. Я подхватил ячменную лепешку и горсть маслин, пошел вниз к Фалерону и плавал до изнеможения. К вечеру добрался до Пирея, со странным таким ощущением в теле; я подолгу валялся на песке, загорал, и мышцы теперь были вялые от воды и от солнца. А на улице за Мунихийской гаванью увидел я женщину, она впереди шла. Тонкое, облегающее красное платье; тело стройное, красивое... Когда она свернула за угол, я заметил в пыли ее следы. На подошве одной из туфель были приделаны несколько букв металлических, так что при каждом шаге нога печатала: «Иди за мной».

Я еще раньше догадался, кто она; ведь только такие ходят в одиночку. Следы привели к низкой двери – я остановился, собираясь с духом, чтобы постучать. Ведь я никогда не бывал с женщиной. И боялся, что там у нее уже есть кто-нибудь, и они будут смеяться надо мной... Но внутри было тихо, – постучал. Женщина подошла к двери, уже распустив покрывало, так что видны были глаза, раскрашенные как у египтянки. Мне ее глаза не понравились, – хотел уйти, – но она потянула меня в дом, и убежать было стыдно. Стены комнаты были побелены с синькой; на той, что против кровати, нарисована была непристойная картина, красным мелом.

Когда я оказался там – она сбросила не только покрывало, но и платье тоже; и стояла передо мной совсем нагая. Я впервые в жизни видел такое, потому стеснялся – естественно – и в лицо ей не смотрел... Но когда она меня обняла – вот тут я его увидел, это лицо, только его. Хотя и десять лет прошло, хотя она накрасила и губы и глаза и груди – все равно я ее узнал. Родоска. Я отшатнулся. Словно сдвинул камень, – а под ним врата Аида. Она решила, что это я стесняюсь; и потянулась ко мне, зазывая словами, какие в обычае у этих женщин... Я вспомнил ее голос – и оттолкнул ее. С криком, с ужасом! Она разозлилась, разразилась проклятиями, – и по дороге к выходу я снова ощутил ее карающую руку.

По улице я мчался, словно по дорожке на состязаниях. Когда пришел в себя – одна только мысль осталась: вот вернусь после этого всего, а мама умерла... Но добравшись домой узнал, что она родила час назад. Девочку.

Я даже не глянул на дверь, настолько уверен был, что там оливковая ветвь. А теперь – словно кто из богов спустился на облаке изменить мою судьбу. Я стоял, как оглушенный, радуясь своему счастью, пока дядюшка Стримон не поднялся со стула, чтобы уведомить меня, что я его не заметил. Он сказал, мы все должны радоваться, что она благополучно разродилась, – и, мол, хоть отец конечно будет разочарован, но ничего, они еще молоды и могут надеяться на богов. «Жаль, однако... Он обещал назвать ребенка в честь Архагора, ее отца, чтоб не потерялось имя достойного человека...» Тут я сообразил, что не во мне же дело; это ж ее первый ребенок!..

Когда подходил к ее комнате, женщины сказали, что там еще не очищено, могу, мол, скверну на себя навлечь. Я сказал «Ну и пусть» – и вошел. Она лежала. Разметавшиеся волосы были спутаны и влажны от пота, как после долгой борьбы; а лицо изможденное, с синими кругами у глаз. Малышка была рядом, под рукой.

– Ну как, мам? – спросил я. Она подняла глаза и посмотрела на меня.



Если человека побили в панкратионе, то уж побили так, что он едва на ногах держаться может; и вот он отдирает себя от земли, чтоб подняться, и оттирает кровь, залившую глаза, — и встречается того, про кого знает, что тот рад его поражению... Если так — как бы ни был он стоек — все равно что-то мелькнет в глазах. Вот так теперь было между нею и мной. Когда я это понял — наверно впервые тогда ощутил я взрослое горе. Но если дождь пролился, его ж назад на небо не закинешь!

В этой горечи каждому из нас было жаль другого. Она почти сразу улыбнулась, и взяла меня за руку, и сказала, что ей уже гораздо лучше... Я знал, что надо ее поцеловать; но в комнате был запах женщин и крови, и тело ее казалось чужим, — не мог я к ней прикоснуться. Она сказала:

— Посмотри, вот сестра твоя.

О малыхе я как-то не подумал до тех пор. Теперь взял ее на руки... Я ж привык к щенкам; если их крепко держишь, они не скулят; так что не боялся. Она еще синяя была какая-то, но волосики блестели красиво, как тонкое серебро. Подумал, что раз не поцеловал мать, — хорошо бы поцеловать малыху. Как-то не хотелось; но когда поднес ее к лицу, — оказалось, она пахнет лучше, чем я ожидал. С моими детьми было то же самое.

На другой день я покупал провизию на рынке, когда какой-то человек сказал:

— Сын Мирона, один моряк тебя спрашивал. У него письмо от отца. Он сейчас в винной лавке Дурия.

Со мной был Состий, носильщиком. Не знаю, что меня тогда толкнуло, — я послал его спросить почем кувшины. Сходи, мол, вон к тому прилавку. Он пошел, послушно так; он очень легко превратился из педагога в слугу моего. А сам зашел в лавку и спрашиваю:

— Кто тут искал сына Мирона?

Поднялся какой-то моряк, вручает мне письмо. Я отблагодарил его, — скромненький такой подарочек, незаметный, чтобы ему и не прославлять меня и не проклинать, лишние разговоры ни к чему, — а сам отошел за угол и сорвал шнурок. Отец писал, что

Сиракузы вот-вот сдадутся; советовал матери беречь здоровье – чтоб ела хорошо и не простужалась, – а под конец такое: «Что касается ребенка, сохраните его, если это мальчик. Если девочка – выбросить».

Я стоял с письмом в руке. Ведь ей еще и дня нет, сейчас донести до дома отцовское распоряжение... Ясно было, что он это написал обдуманно, заботясь обо мне. После его отъезда я узнал кое-что о наших делах. Мы не могли раскошелиться на приданое; а если б он зашлатил – в конце концов это было бы за счет моего наследства. Смотреть, как малыш сосет грудь, мне было неприятно, и если б она умерла – я бы не сильно горевал. Но я уже видел, что она радует мать, утешает в ее беде... И теперь, когда мне самому предстояло забирать у нее девчущку, – я представил себе ее боль, и это меня мучило. Вспомнил, как оценилась моя сука, а Ксенофон сказал, что ни один из щенков не стоит того, чтобы его оставлять. Я их всех утопил; а она пришла ко мне – плакала, царапала колени – надеялась, что отдам...

Наверно как раз это и толкнуло меня на грех, который повис на мне так надолго. Я пошел во двор за лавкой – словно заранее это обдумал, – изорвал письмо и кинул его в уборную. Потом нашел Состия и пошел домой. А когда мать позвала, чтобы я написал ей письмо для отца, – начал так: «Надеемся по милости богов получить от тебя какие-нибудь вести, ибо с тех пор, как ты уехал, мы не имели ни слова».

8

Без юмора – какой нормальный человек выдержит политику или войну? Потому мы веселились; рисовали себе, как Алкивиад у спартанцев рыдает по своим парфюмерам и поварам. А он тем временем, на берегах холодного Эвроты, ни при какой погоде не заходил под крышу, ел просто, спал на жестком и говорил кратко. Через месяц, говорят, никто бы и не поверил, что он

не родился спартанцем. Должно быть, Ксенофон тогда правду рассказал, про то как он кусался в палестре. Но это было еще до нашего рождения, и самого главного в этой истории мы не поняли; главное же было не в слабости и не в трусости – а в том, что ради победы он пойдет на все.

Это он подсказал спартанцам, что одолжив аргивянам корабли мы нарушили перемирие. Тогда они тоже одолжили – одолжили Сиракузам генерала. Он прибыл без войска, в рыбацкой лодке, – только илоты были с ним, несли багаж его и щит, – Никий не принял его всерьез и пропустил.

Потом какое-то время никаких новостей не было. Если Ксенофона спрашивали об отце – отвечал, мол, у него все нормально. Он был воспитан в спартанских правилах; не говорить о том, о чем переживаешь. Но вообще-то он был веселый, лучше любого спартанца; а мы ж еще и друзья были... Он теперь учился у Горгия, и я часто видел его среди воспитанных юношей, которые слушали серьезно и никогда не говорили разом, только по очереди. О моих занятиях он разговора не заводил; знал наверняка, что я бы к Горгию не пошел. Над Сократом он больше не потешался, но порицал большинство его друзей, которых в доме Грилия на порог бы не пустили. Он мне это сказал однажды на Гиметте, мы охотились там. Настреляли дичи, собрали силки – и сидели завтракали, высоко на каменистом нагорье. Сидели на каменных плитах, а трава вокруг сверкала росой... Далеко внизу расстилался Город, золотой на солнце; за Эгиной через залив синели холмы Арголиды, а еще за ними вздымались горы Лакедемона. Собаки, получившие свою долю, облизывались и ловили мух... В такой обстановке разговаривать легко, и он спросил – вполне добродушно, – как это я могу общаться с такими людьми. «Ну, хоть Эврипид. Это правда, что он показывает все свои пьесы Сократу, прежде чем представляет в театр?» Я сказал, что слышал такое.

– Но как же Сократ пропускает такое неуважение к богам?

– Давай определим понятия, – возразил я. – Что такое уважение к богам? Эврипид, например, полагает, что некоторые старые сказки неуважительны к ним.

– Если начнешь сам решать, чему верить о богах, а чему нет, – чем же ты кончишь? И потом, он принижает женщин, оскорбляет их.

– Вовсе нет. Просто они у него живые, из плоти и крови. Я думал, это должно тебе нравиться.

В последнее время он на самом деле начал интересоваться женщинами.

Он подозвал собак и начал вычищать колючки из шерсти; а они толкались, чтобы быть поближе к нему. Это были касторские гончие, рыжие с белыми мордами; помню, их звали Психе и Авго. Оглядывая собачье ухо – нет ли клещей, – он сказал:

– Ну что ж, Алексей; все знают, что человек должен быть предан своему учителю. Но по тому, как ты держишься за Сократа, можно подумать, что он твоим любовником был. Если так – прости за все, что я тут наговорил.

Он говорил совершенно серьезно – видно было – и не хотел меня обидеть, если бы это оказалось правдой. Я уже начинал понимать, что такая любовь ему чужда. Могу добавить, что насколько знаю – у него никогда не было поклонника; не подпускал. Он всегда рвался стать взрослым, и быть может боялся – в отношении низких любовников это верно, – что они захотят держать его в юношах так долго, как только смогут. Тут его не поколебал даже пример Спарты. Иногда я думал, – быть может он вообще не способен любить мужчин? Но слишком хорошо к нему относился, чтобы оскорблять таким вопросом.

Чтоб яснее было, здесь пожалуй надо сказать кое-что и о себе самом. Дело в том, что я начал привлекать внимание в Городе. Теперь, когда я входил в палестру, все замолкали, – очень было заметно, – и начиналась дурацкая возня: каждый из соперников старался оказаться на виду и оттереть всех остальных. Нет ничего утомительнее и смехотворнее мужчины, который – уже на второй половине жизни своей – по-прежнему сует

тится ради таких «побед», словно не сделал ничего более примечательного. Обычно, все что такой человек может – это показать, что восхищается он не сотней юношей, достойных внимания сами по себе, а теми двумя-тремя, кто случайно вошел в моду. А этого бывает вполне достаточно, чтобы вдохновить пару каких-нибудь поэтов, или чтобы керамисты расписывали свои изделия словами «Прекрасный Алексей».

Чтобы у юноши от всего этого закружилась голова – возле Сократа такой опасности не было. Он часто шутил, что он беспомощный раб красоты. Точно так же храбрый человек будет смеяться после битвы и говорить всем, что он бы удрал – да некуда было. При нем никому не дозволялось дурачить нас сумасбродными комплиментами. Такого человека он отводил в сторонку и говорил: «Ты трубишь победу раньше времени, тебе не кажется? Хуже того, ты пугаешь дичь и портишь себе охоту. Ни один охотник так не делает». Так это было с Сократом; но у меня была еще и своя причина, чтобы не задирать нос.

Однажды я пришел поздно вато – Сократ уже вел свою беседу в колоннаде – и услышал слова молодого Фигия:

– Но, Сократ, по-моему мы не опровергли того, что сказал Лисий. Ты возразил, Лисий... Куда он делся? Он же только что был здесь!

Я давно уже удивлялся, что в последнее время никогда не вижу Лисия возле них. Мне казалось, что раз уж он не такой человек, чтобы ему не были рады, – у него должна быть какая-то причина держаться в стороне. В голове у меня застряли те слова Фигия, и позже я у него спросил, часто ли бывает там Лисий.

– Конечно, – сказал он. – Почти так же часто, как и ты. Ты просто случайно с ним не сталкиваешься.

Вскоре после этого я узнал, что Сократ гуляет по садам Академии, – пошел туда и увидел его; он сидел под священной оливой возле статуи героя Академа. Склон под статуей был в то время открытой лужайкой, так что хорошо просматривался, – я сразу увидел Лисия. И понял, почувствовал, как это бывает несмотря на

расстояние, что он тоже меня увидел. Но тут мне надо было обойти по тропе несколько олеандров, а когда снова вышел на открытое место – его не было.

Одно дело, когда кто-то в палестре выходит в толпу, в которой полно его друзей; но когда единственный новый человек это ты сам – тут по-другому. Я должен был подойти к ним, – ведь они меня уже видели, – но в дискуссии в тот раз не блистал. А возвращаясь домой говорил себе: «Что ж это такое? Не так давно Лисий не стыдился говорить со мной у Анакейона, при всех рыцарях. Отчего я так опротивел ему? Быть может, кто-нибудь меня оклеветал?» Я ведь, конечно же, заимел немало врагов; иных я и не знал, и рад был бы вернуть им их друзей, потерянных из-за меня. «Но нет, он не стал бы верить сплетням; это я сам его чем-то оскорбил. Я вел себя недостойно, я позволил себе обольститься никчемным вниманием, – и люди достойные избегают меня, я им противен...» Когда я в следующий раз увидел там Лисия – подходить не стал, даже не заботясь, видел он меня или нет. По крайней мере не настолько я плох, думал я, чтобы заставлять старших уступать мне дорогу.

Через несколько дней подошел праздник Зевса-Олимпийца, когда устраивают скачки с факелами. Я уговорил Ксенофона пораньше уйти с музыкального конкурса, и на Ипподром мы пришли так, что нам достались хорошие места; пришли даже раньше фокусников и продавцов инжира. Ипподром был украшен цветами и дубовыми венками; два громадных факела горели у линии старта и еще один на повороте. Ночь была ясная, ветерок как раз такой, что раздувал факелы, но не задувал; взошла луна, большая, темная словно золотой щит... В сполохах факельного огня стали съезжаться команды. При виде обнаженных мужчин на рослых конях вспоминались кентавры, что собираются на охоту при луне. Капитаны команд были уже на месте. Я услышал голос – «Стоять!» – это он коня сдерживал, – и увидел на старте Лисия. Лево́й рукой он держал поводья, а в правой, вытянутой вверх, горел факел. Затрубила труба, застучали копыта... Пламя факела откинулось назад, и крики приветствий полетели за ним, словно дым. Когда они

прошли поворот, Лисий был впереди. Заканчивая свой круг, он потянулся вперед, – передать факел, – пламя словно текло по его руке, и было очень хорошо видно, как он улыбался второму в команде и ободрял его. Ксенофон сказал после, его команда выиграла потому, что они лучше научили своих коней уходить со старта. Я ответил, мол, да, конечно, так оно и есть.

Транспорт, вернувшийся с Сицилии, привез еще одно письмо от отца. Мать позвала меня прочесть ей. «Прошлого письма я отправил с самосским кораблем, его должен был передать вам помощник кормчего. Когда это дойдет до вас, ребенок уже должен будет родиться. Если это мальчик, назовите его Архагором, как мы решили. Моему сыну Алексию, который будет читать тебе это, благословение мое. Пусть он не пренебрегает верховой ездой, а кроме того пусть найдет себе хорошего учителя по ратному делу. Я рекомендую Демей из Мантины и позволяю все расходы. По-моему, война закончится не так скоро, как думают в Городе».

Так что я записался на курс боя с оружием, верхом и пешим. Демей на своих уроках давал один панцирь. Отец прежде не говорил купить полное снаряжение; а это был слишком большой расход, чтобы без его позволения решиться. Но к следующей жатве я уже стану эфебом, пора в строй... К тому времени плечи у меня окрепли от упорной тренировки, так что были теперь в правильной пропорции с ногами и с поясницей; а за них я уже получил Пояс Бегуна. Примерно в это время один мужик начал преследовать меня в палестре настолько нагло, что я оскорбился и не стал с ним разговаривать. Однако он перехватил меня однажды, когда я чистился после борьбы, и оказалось, что это не поклонник, а скульптор, и ему нужен натурщик. Мне стало неловко за невежливость мою – позволил ему сделать несколько набросков, хотя и надоедали разные люди, остановившиеся поглазеть. Но когда он пригласил к себе в мастерскую – пришлось отказаться. Времени не было; я теперь каждый день работал с тренером. Панафинеи были уже совсем скоро; это был Великий

Год, когда Афине приносят новый плащ и устраивают Игры.

Священную процессию я видел три раза в жизни; в четыре года, в восемь и в двенадцать. За ладьей-каретой Богини шли девушки, расправив ее одеяние, чтобы видно было работу; потом волы с позолоченными рогами, увенчанные для жертвы, девы с культовыми корзинами, самые красивые эфебы и победители Игр. Дважды стоял я на улице, – в потных толпах, собравшихся со всей страны, – чтобы посмотреть на отца. Он с другими рыцарями сопровождал процессию. Плащ, окаймленный пурпуром, что всегда лежал в сундуке с душистыми травами, на голове миртовый венок... А конь был вычищен так, что блестел, словно бронза. На этот раз он не ехал. А я не смотрел; потому что выиграл длинную дистанцию среди мальчиков и шел вместе со всеми победителями.

Не так помню сам забег, как его начало. Как стоял у стартового камня – пальцы на линии – и ужасно боялся рвануть слишком рано или задержаться. Поспешись – судьбы палками отлупят, а засидишься – отстаешь... Жара стояла лютая; уже много дней Гелий иссушал поля, дождей все не было. Дорожка обжигала подошвы; пыль забивала ноздри и горло, облепляла язык, жгла легкие... На последнем круге казалось, что вдыхаю ножи, задыхаюсь, – и налит свинцом, едва двигаюсь. В ушах шумело от криков вокруг, от биения крови, от дыхания надрывного... Но потом стало как-то потише; и я услышал шедшего следом, он отставал. И я даже не заметил, как пробежал метку. Вдруг люди кинулись обнимать меня, смеялись, сняли с головы повязку от пота, вытирали мне лицо, вязали на руку и на бедро ленты победителя...

Меня передавали с рук на руки. Глаза разъедал пот; тело, покрытое слоем пыли, казалось вот-вот закипит; я задыхался от этой давки, сердце стучало как барабан... Я раскинул руки в стороны, если сейчас не вдохну – умру!.. Кто-то из судей закричал: «Эй вы, назад! Расступитесь! Отпустите мальчишку!» Толпа стала пореже, и в ней появился дед Стримон, с подходящими словами

разумеется. Я чуть отдышался и, оглядевшись по сторонам, увидел всех тех, кто постоянно толпился вокруг меня в палестре, каждый день; опять все те же лица. Пока в глазах был туман, и все эти руки вокруг, — я ждал сам не знаю чего. Какое-то счастье прилетит, привлеченное победой моей, как мотылек летит на факел... Но лица вокруг были все те же.

Я слышал, как глашатай прокричал мое имя; а потом в Храме Девы меня увенчали лавровым венком. И мне казалось, — как всегда всем кажется в такие моменты, — что принадлежу уже не себе, а Городу и его богам, и что меня покрывают золотом. Снаружи на Верхнем Городе белое солнце пекло и слепило, отражаясь от скал, — а в Храме было прохладно. Пока пели Гимн Победителей, мы стояли в строю. Автолик опять выиграл мужской панкратион, и теперь стоял предо мной, будто мраморная статуя. Но вот все закончилось, и мы пошли из Храма. На ступенях Автолика поздравлял его отец, Ликон. Теперь Автолик смеялся — куда его мраморная серьезность делась, — смеялся, обнимал отца... А я пошел домой с дедом Стримоном, унося в руках вазу с маслом. На одной стороне нарисован был бег, а на другой — Богиня. Священное масло я отдал матери; на базаре такого не купишь. Она рада была моей победе, и приготовила мне отличный ужин; тунца, запеченного с сыром. Так что я решил, что счастлив, — и пошел спать.

9

Если до сих пор я не назвал по имени никого из поклонников моих — вы поймете, почему. Меня, собственно, только их количество и радовало; как признак успеха, словно получил столько призов за красоту. Но все равно — венки, что добывал на беговой дорожке, радовали больше. Я с ними был вполне вежлив, даже с самыми дураковатыми, не хотел позорить имя свое... Так что люди говорили, восхищение, мол, меня не испортило; как раз этого я и хотел.

Только однажды нарушил я это свое правило. Критий, когда я вошел в моду, решил добратся до меня черезез; со стихами, где он собирался утонуть в моих глазах бездонных, — ну и со всем прочим, как обычно. К нему я просто повернулся спиной, без разговоров; и при свидетелях он ко мне больше не подходил.

Несколько месяцев за мной ухаживал Кармид. Как раз его внимание и принесло мне первые успехи. Он был чрезвычайно красив, — разве что осанка была плохая, тренировался мало, — и очень высокого рода; там и важительность была, и богатство, и прекрасное образование... Я не раз думал, что было бы очень удобно, если бы я мог прилепиться к нему; стань он моим официальным поклонником — все остальные сразу отступились бы. А чтобы вы не удивлялись, почему у меня такие мысли возникали, — надо рассказать о Полимеде.

Полимед был еще богаче Кармида, но ни воспитанием, ни умом не отличался. У Кармида было множество романов, так что он мог и подождать. Он был изящен, любезен — и уверен, что пройдет какое-то время, я сравню его с остальными, и все равно никуда от него не денусь. А Полимед, наверно, на самом деле в меня влюбился, как это понимают такие люди. Захоти я представить себе типичного влюбленного, от каких предостерегал меня отец, — чтобы презирал их, — Полимед был как раз «самое то». Если бы я стал вести себя постыднейшим образом, выпрашивая у него подарки в обмен на мою благосклонность, или если б он увидел, что я публично оскорбил какого-нибудь почтенного старика, — он все равно не отказался бы от меня, все равно валялся бы в пыли по моему велению и позволял бы себя топтать.

Во всяком случае, его выходки были уже нешуточны. Возле моего дома не осталось ни одной стены, на которой не красовалась бы надпись «Долгой жизни прекрасному Алексию». Однажды он нас разбудил серенадами своими; натура у него была широкая, и музыкантов он нанимал вдвое больше, чем любой другой... Кармид принес бы флейту и лиру; пел бы тихо и — надо сказать — не без приятности... Полимед устроил

такой концерт, что соседи подняли крик, а на утро мне пришлось извиняться перед матерью. Ничего обсуждать я с ней не стал; но страшно было – вдруг она думает, что я Полимеда поощряю. К счастью, она всерьез этого не приняла, только сказала, чтобы я не позволял ему больше приходить; шум, мол, ребенка будит. Я ему это передал, надеясь что он устыдится и исчезнет... Но он, похоже, был счастлив, что я с ним заговорил; хоть так. И словно мои желания вовсе ничего для него не значили, словно я какая-нибудь статуэтка золотая-серебряная, из-за которой он торгуется с остальными, – через пару дней он даже себя превзошел. Прихожу домой с тренировки, – еще утром дело было, – смотрю – лежит ничком на ступенях перед входом. И видно было, что он уже давно здесь.

Я слышал, что влюбленные навязываются подобным образом, – но думал, на самом деле такое бывает только в комических пьесах. Несколько мальчишек, маленьких совсем, остановились посмотреть – и удивлялись вслух, где это он успел так набраться с утра... Пока я стоял смотрел, подошел к нему наш сосед Фалиний, и, нагнувшись, участливо спросил, не плохо ли ему. Полимед закатил глаза, – я догадался, что он ответил; по тому, как Фалиний пошел прочь, бормоча под нос и качая головой. Что же делать-то? Рабы сейчас сплетничают в доме, и не знают, как себя вести. А я – знаю?.. Полимед тем временем приподнялся, опершись на одну руку, словно раненый, и стал озираться по сторонам: любитесь на него кто-нибудь или нет. Я спрятался за портиком и убрался оттуда.

Забегал на задний двор, вывел из конюшни Феникса. Конюха звать не стал; на случай, если он знает, что происходит. А сам думаю: плохо дело, раз до того дошло, что боюсь встречи с собственными рабами. Как был, босиком, прыгнул на коня и поехал прочь. Зол был чуть не до слез. Будь дед Стримон другим человеком – он мог бы мне помочь сейчас; но просить его было до того унижительно, что об этом и думать тошно... Достаточно скверно уже и то, что он мог зайти в гости и сам все увидеть.

Об этом я думал, когда въехал на улицу Герморезов и вдруг увидел там единственного человека, кому мог обрадоваться в то утро. Он с кем-то разговаривал; и чтобы его не тревожить, я придержал коня в отдалении.

Другой не был мне знаком. Сократ говорил с кем-то из горожан, – он часто это делал, – и сразу было видно, что тот уже на взводе. Пока Сократ расспрашивал этих людей о их делах, о работе, – все было прекрасно, потому что он очень внимательно выслушивал все, что они ему говорили. И если в конце концов он показывал им более широкое применение их собственных знаний, – это получалось потому, что он позволял им думать, будто это они его научили чему-то. Но иногда он нарывался на того, кому не нравится, что его думать заставляют; и тогда получался скандал.

Этот человек с виду был похож на плохого скульптора, который выбился в люди, принявшись лепить Гермов. Мешковатый мужик с жирными пальцами, покрытый белой пылью ремесла своего. А разговор дошел уже до такого тона, что звучал как склока, какую можно услышать у каменщиков. Быть может, Сократ слегка юность вспомнил... Вдруг тот взревел яростно – и бросился на Сократа. Схватил за волосы и стал трясти из стороны в сторону. Я ударил Феникса пятками – он рванулся вперед, люди на улице кинулись врассыпную... Я что-то не видел, чтобы Сократ пытался защититься, – но говорить он продолжал. Подъехав, я крикнул, чтобы тот отпустил Сократа; а Феникс, услышав мой крик, поднялся на дыбы и нацелил копыта тому в лоб, как отец учил его для боя. Это было неожиданно, но я кое-как удержался на коне. А тот мужик исчез – я не успел и подумать о нем.

Чуть успокоив Феникса, я спрыгнул на землю. Сократ шарахнулся от коня, а мне показалось, что он на ногах не стоит. Я обхватил его руками, спрашиваю, не ранен ли... Но тело его было твердо, как камень; мне даже неловко стало. А он хитро прищурился...

– Милый мой мальчик, – говорит, – что ты делаешь с моей репутацией? Одно дело, когда мне для пущей убедительности волосы выдирают. Но ведь завтра все

будет совсем по-другому; завтра все станут говорить: «Гляньте на этого старого мошенника, обманувшего всех соперников! Он нанял драчуна, чтобы тот на него напал, и теперь, единственный во всем Городе, может похвастаться, что прекрасный Алексей обнял его на улице».

Я рассмеялся:

— Если бы так оно и было! О жестокий Сократ, дразнить меня таким счастьем!..

Встреча наша была так необычна, что вся моя застенчивость куда-то исчезла. Я спросил, из-за чего тот напал на него.

— Видишь ли, их было несколько человек; и он внушал остальным, что египтяне варвары, потому что поклоняются зверям и птицам, как богам. Я сказал, прежде всего нам надо выяснить, правда ли это. И он уже подходил к тому, чтобы признать, что поклоняться статуе, — на самом деле веря, что бог похож на человека, — это большее святотатство, чем поклоняться божественной мудрости в образе ястреба. Но тут вдруг осерчал! Можно подумать, он что-то выигрывает, считая каждого египтянина большим варваром, чем он сам.

— У тебя голова в крови, — сказал я, и вытер его углом плаща. И тут увидел сына одного метэка, которого знал с виду. Я дал ему какую-то мелочь, чтобы отвел Феникса домой, а то вокруг стала собираться толпа; люди всегда собираются поглазеть на хорошего коня, если он появляется в Городе.

— Слушай, Сократ, — сказал я. — Я пойду с тобой, куда бы ты ни шел. Как ты теперь от меня избавишься? Весь Город будет осуждать твое непостоянство, после того что меж нами произошло.

И подмигнул ему, как Агафон.

Он ничего не ответил, но когда мы пошли — вижу, смеется про себя. Потом сказал:

— Не думай, дорогой мой Алексей, что я смеюсь от избытка храбрости, как человек пренебрегающий опасностью. Но кто бы узнал в этом воплощении красоты, что привлекает ко мне со всех сторон враждебные и завистливые взгляды, — кто бы узнал застенчивого паренька, стоявшего всегда позади всех и тотчас нырнувшего

и чье-нибудь плечо, едва появлялась опасность, что его сметят?

– С тобой, Сократ, – я говорил уже серьезно, – с тобой я и теперь чувствую себя все так же.

Он посмотрел на меня.

– Верю. Ведь тебя что-то тревожит: а когда доходит до дела и надо это высказать – оказывается, что твоя омаровательная храбрость это всего лишь оболочка, и очень тонкая... Уж не с любовью ль это связано? Но в таком случае новичок вроде меня едва ли сможет тебе помочь.

– Ты сам знаешь, если бы дело было в этом, – я б еще до рассвета к тебе примчался, как все остальные. Но тут дело в том, что меня преследует поклонник. Ты назвал бы меня холодным, как это уже бывало с другими, и прогнал бы меня, не дав никакой возможности доказать тебе, что ты не прав.

Я слышал однажды, как Калликл говорил ему что-то похожее, и его это вроде позабавило.

– А этот преследователь, он случаем не Полимед? Вы с ним не поссорились, часом?

– Поссорились?! – воскликнул я. – Да я с ним и не разговаривал даже. Сократ, ведь не мог же ты подумать...

– Конечно, в таком случае, как у тебя, всегда находят кретины, утверждающие, что поклонник никогда не зашел бы так далеко, если его не поощряют, пусть даже и не вознаграждают. Но я вижу, они к тебе несправедливы.

Это меня так ушибло, что я потерял голову – сказал, что сыт всей этой мерзостью по горло и что вообще надо мотать отсюда и пробираться на Сицилию, в Армию.

– Успокойся, друг мой, – ответил он. – Будь тем, кем ты хочешь казаться; это самая лучшая защита от болтовни. Успокойся и расскажи, что именно произошло.

Когда я умолк, он сказал:

– Знаешь, я напрасно позволил тебе отослать коня. Ведь ты, наверно, торопился за советом и помощью к кому-то из друзей; к Кармиду, например?.

Это я отверг с негодованием, пожалуй даже с излишним. На самом деле, к Кармиду я не собирался; но пока ехал – начал думать примерно так: «Я не стану просить его помощи, чтобы не быть перед ним в долгу; но теперь, когда я уже показал, что могу себя побересть, – теперь не мешало бы раз-другой показаться с ним на людях». Однако сказал я другое:

– Кармид только этого и ждет. Если это любовь, если так ведут себя любящие, – лучше дай мне врага.

Говорил я сердито; горько было. По правде, я как раз входил в тот возраст, когда начинаешь мечтать о любви. У каждого свои представления, какой она должна быть; но я уже начинал терять веру, что хоть где-нибудь есть то, чего ищю.

– Кстати, за что ты так не любишь Полимеда? – спросил Сократ. – Он выглядит, конечно, не блестяще, в сравнении с такими, как Кармид; и отец его разбогател на кожах... Эта вульгарность его тебе претит или что другое?

– Нет, Сократ. Наверно это тоже, но он сам по себе низок. Сначала он пытался купить меня подарками. Не цветы, не заяц какой-нибудь – всегда что-нибудь такое, чего мы себе позволить не можем, на что в доме денег нет. Потом он передал, что умирает; чтобы заставить меня поддаться из жалости. А теперь – уж это самая большая низость, до какой только можно дойти, – теперь он хочет, чтобы я поддался, просто чтобы его утихомирить. Если бы я потерял отца и мать, и все что только есть у меня; если бы я даже был опозорен перед Городом, так что люди отворачивались бы на улице, – он был бы только рад этому, потому что легче стало бы меня достать. И это он называет любовью.

Наверно, я высказал все это слишком бурно; но Сократ смотрел на меня по-прежнему ласково, и потому – дойдя до самой глубины – я добавил:

– Я всегда буду думать о себе хуже, из-за того что он выбрал меня.

Он покачал головой.

– Мальчик мой, ты ошибаешься, если думаешь, что ему нужна родственная душа. Он ищет как раз того,

чего лишен сам. Ведь духовно он калека; но он не знает, и не хочет знать, что достойного человека нужно тяжким трудом создавать из себя самого, как вытесывают статую из каменной глыбы. Так что, я полагаю, тебе нужен совет понимающего в таких делах.

Я чуть не спросил «Кто это?», но звон наковален напомнил, что мы подходим к улице Оружейников. После новостей из Сицилии они снова были при деле. Чтобы можно было говорить без крика, мы свернули в сторону.

– Наверно, где-то через год ты уже будешь заказывать себе доспехи, – сказал Сократ. – Как время-то летит! Ты к кому пойдешь?

– К Пистию. Если только денег хватит. Он очень дорого берет, девять-десять мин за комплект всадника.

– Так много? Так у тебя наверно золотая эмблема на нагруднике будет, а?

– У Пистия? Да он даже за двенадцать не станет ее делать; просто денег не возьмет, и все дела.

– Кефал может тебе сделать что-нибудь такое, что радовало бы глаз...

– Но, Сократ, а вдруг надо будет еще и драться?

Он рассмеялся, помолчал, потом сказал:

– Я вижу, ты хоть и молод, но понимаешь, что почем. Так, может, скажешь мне – сам-то я уже слишком стар становлюсь, чтобы разбираться в таких вещах, – может, скажешь, какую цену надо заплатить за верного и благородного возлюбленного?

Я удивился – за кого он меня принимает – и тотчас ответил, что за это вообще не платят.

Он глянул на меня испытующе, потом кивнул:

– Отлично, Алексей. Это ответ, достойный сына твоего отца. Однако, многое из того, что не продается на базаре, цену все-таки имеет. Давай-ка рассмотрим наш случай. Если мы встретим такого любящего – благородного и верного, – мне кажется, тут возможны три продолжения. Либо он преуспеет в том, чтобы сделать нас равными ему в благородстве. Либо – если ему не удастся ни возвысить нас до себя, ни избавиться от своей любви – он, чтобы доставить нам удовольствие,

станет хуже, чем был. Либо – если он достаточно силен – он вспомнит о своем долге перед богами и перед самим собой, возьмет себя в руки – и уйдет. Быть может, ты видишь другие варианты?

– Нет, Сократ. Едва ли они существуют.

– Следовательно, теперь очевидно – не так ли? – что цена благородного возлюбленного это собственное благородство. Мы должны быть благородны сами; и если предложим что-либо меньшее – не сможем ни привлечь его, ни удержать.

– Так оно и есть, наверно, – сказал я. А сам думал, до чего ж он добр, что так старается отвлечь меня от моих забот.

– И таким образом мы приходим к выводу: то, чем надо платить за любовь, оказывается дороже всего на свете. Тебе повезло, Алексей. Я полагаю, тебе это вполне по средствам... Но глянь-ка, мы уже пришли.

Мы как раз миновали портик царя Архона и были у палестры Таврия. Я не хотел мешать ему, – кому я тут нужен? – потому спросил, не ищет ли он кого из друзей.

– Да, – говорит, – постараюсь найти. Но ты не уходи, Алексей. Он мне нужен только для того, чтобы рассказать о твоём деле. Он тебе сможет помочь гораздо лучше меня.

Я знал его скромность. Но был настроен как-то решить с Полимедом, не откладывая; и теперь мне вовсе не улыбалось проболтаться все утро, выслушивая поучения Протагора или еще кого-нибудь из почтенных софистов. Так что я стал уверять Сократа, что он сам уже сделал для меня столько, сколько никто другой сделать не может.

– Разве что бог! – закончил я.

– Вот как? – удивился он. – Но ты же не считаешь меня непогрешимым!.. Только что ты говорил, что Пистий понимает больше меня.

– Только в оружии, Сократ. Ведь он же оружейник, как-никак.

– Вот именно. Так подожди, я сейчас приведу одного друга. Он здесь обычно борется в это время.

— Борется? — Я вытаращил глаза. Протагору было никак не меньше восьмидесяти, так говорили. — Что это за друг, Сократ? Я думал...

— Ты подожди в саду, — перебил он. И уже уходя добавил: — Мы спросим Лисия, сына Демократа.

Наверно я охнул, словно он выплеснул на меня кубшин воды. Забыв о манерах, схватил его за плащ и потянул назад.

— Сократ, прошу тебя! Что ты затеял? Лисий едва меня знает. Он сейчас работает, или с друзьями разговаривает — не отваскай ты его ради такой срунды.. Ему ж неприятно будет; он подумает, я просто дурак, раз не могу сам с этим разобраться; я ж никогда после не смогу в глаза ему посмотреть!..

— Это что за дела такие? — Глаза его округлились; я почти поверил, что он на самом деле рассердился. — Если человек настолько предубежден, что даже не желает выслушать квалифицированное суждение, — как ему можно помочь? Мы тратим день на болтовню. Пусти-ка...

— Сократ! Прошу тебя, вернись! Очень тебя прошу! Ты не знаешь, надо было сразу сказать — Лисий меня не выносит. Он всегда уходит, даже от тебя, лишь бы не столкнуться со мной. Ты не заметил...

Но я отпустил его; и оказалось, что говорю в пустоту.

Он прошел во внутренний двор и скрылся меж колонн. Был момент, я чуть не удрал; но знал, что никогда не прощу себе такого неуважения к нему, и потому остался. И ждал в небольшом огороженном саду, где под платаном, что сразу за входом, колодец для питья. В тени под навесом сидела компания стариков, вглоты времен Перикла; а ближе к середине, вокруг каменных скамей, которые всегда их ждут, отдыхали несколько увенчанных победителей. Кто был одет — сидели на скамьях; другие загорали после купания, растянувшись на траве. Хоть была уже поздняя осень, день был теплый. То, что я был возле них, казалось наглостью. И хотелось, чтобы Сократ пришел поскорее... Но тут же — чтобы подольше не приходил.

Но он появился очень скоро, разговаривая с кем-то через плечо. Я узнал Лисия, еще когда он был в тени;

по росту, и по тому, как голову держал. Он чистился там или купался – и вышел, как был, с полотенцем на левом плече. На выходе он чуть задержался, словно задумавшись, глядя прямо перед собой... Я сказал себе: «Он увидел, кого привел Сократ, – и ему тошно, как я и ожидал...» Но он тотчас пошел вперед. Автолик, лежавший на траве, что-то ему сказал, он обернулся ответить, – но не остановился, а быстро подошел ко мне, оставив Сократа далеко позади. На правом плече у него еще было масло и пыль; его при мытье всегда оставляют напоследок. А было ему тогда двадцать пять лет.

Он остановился, глядя на меня сверху вниз и не произнося ни слова. Я смотрел на него тоже молча, только снизу вверх. Я знал, что надо заговорить первым; надо извиниться, что побеспокоил его; но мне словно вол язык оттоптал. Тут подошел Сократ, веселый такой...

– Ну, Алексей, я рассказал Лисию о твоих трудностях.

Только было я собрался заговорить, Лисий сказал:

– Да. Все, что смогу... – Он умолк, а я судорожно искал, что бы такое сказать, пока он не потерял терпения.

– Лисий, прости пожалуйста, что я тебя потревожил, что помешал быть с друзьями...

– Ну что ты! – сказал он.

– Если, быть может... Может, мне лучше когда в другое время?..

– О, нет! – сказал он. И вдруг улыбнулся мне: – Сократ считает, что время самое подходящее. Пойдем-ка, давай посидим.

Он прошел к колодцу, кинул на каменную стенку полотенце и сел на него. Пригласил присесть и меня. Я стал искать глазами Сократа; думал, он тоже примет участие в разговоре; но его нигде не было видно. Так что я сел, на траву.

– Ну, – сказал Лисий. – Так Полимед по-прежнему к тебе пристаёт? В чем другом – но в стойкости ему не откажешь.

Я подумал, что разговоры в Городе превзошли мои опасения, раз даже до Лисия это докатилось.

— Честное слово, Лисий, я никогда не давал ему повода для этой стойкости. Но теперь наверно мне придется либо заговорить с ним и устроить публичную сцену, которой он так добивается, — либо велеть рабам, чтобы они его отвадили.

— Нет, клянусь Гераклом, это не годится, — сказал он. — Это привлечет всех на его сторону. Люди решат, что крайности в человеке возмутительны, и станут скорбеть о его отце, или о его единственном сыне, который допустил такое, как будто... — Он замолк, нахмурился, потом глянул вверх и сказал: — Но если я оскорбляю бога, то он меня накажет за это! — И улыбнулся, заглянув мне в глаза.

Я думал: «Он старается меня утешить, как в тот раз; ничего другого здесь быть не может», — а сам опустил голову и тянул какую-то травинку; слишком смущен был, чтобы улыбнуться в ответ или хоть что-нибудь сказать. Оказалось, что смотрю на его ногу; стопа была крупная, но очень хорошей формы, свод крутой как у орлуна.

А он сказал уже серьезно:

— Нет, Алексей. Это такое дело, что им должен заняться кто-нибудь из друзей. Ты знаешь, кого попросить? Есть у тебя такой человек? — И внимательно глянул на меня. Я поднял голову.

— Ну, я думал, может Ксенофон?.. Он всегда что-нибудь придумывает, находит выход какой-то. Но никогда не говорит мне все до конца.

— Ксенофон? — На этот раз он нахмурился гораздо сильнее. — Не знаю. Чей он сын?

Когда я рассказал, он ответил: «А, понимаю!» — и выглядел уже не так сурово; я даже подумал, что вот-вот рассмеется.

— Мне кажется, ради этого не стоит тревожить Ксенофона. Полимед все-таки мужчина; хотя бы возрастом, если ничем другим. Если хочешь, я это улажу. Давай? И любые подобные дела, если что-нибудь возникнет и ты меня позовешь. Хоть сейчас, хоть когда.

Я с трудом нашел слова, чтобы его поблагодарить, но все ж таки умудрился что-то сказать. Он ответил:

– Прекрасно. Значит, если мы пойдем сразу, то быть может уберем его с дороги еще до того, как появится твой дядюшка. Подожди, я только оденусь. Я быстро.

Пока я ждал его, несколько человек, уже достаточно остывших, подошли попить. Я доставал им воду; они меня благодарили, очень учтиво... Никто не делал мне авансов; никто не спрашивал, что я тут делаю... Я подумал, «Наверно они решили, что Лисий меня сюда пригласил». Тут как раз он вернулся, вымытый и одетый.

– Пошли?

Я вспомнил, что он только что боролся, и спросил:

– А может сначала достать тебе воды, Лисий? Ты остыл, тебе уже можно пить?

Он задержался у колодца и рассмеялся.

– Думаешь, мне надо рот от пыли сполоснуть? Лучше дай водички Эфистену, который боролся со мной... – Но увидел, что я растерялся. – Ты прав, – говорит. – Пить на самом деле хочется. Спасибо.

Так что я достал воды, налил черпаком в большую бронзовую чашу, что стояла там, – и подал ему, держа снизу, а ему оставляя свободными ручки, как меня учили подавать вино. Он чуть постоял с чашей в руках, потом высоко поднял ее и отплеснул возлияние, прежде чем пить. Когда он предложил чашу мне – я сделал то же самое; чтобы не упустить чего, чтобы все было как надо. Он хотел было что-то сказать, но тут же остановился.

– Пойдем, – только это и сказал, и мы вышли на улицу.

По дороге он говорил:

– Ты не слишком расстраивайся из-за Полимеда, даже если окажется, что его кто-нибудь видел там у вас. Это все через неделю забудется. Будь уверен, все до чего он может додуматься, – все это уже было. Я однажды слышал, один мужик...

История была до того смешная, что я хоть и стеснялся его – все равно расхохотался. Чуть не спросил, как звали юношу того, но вовремя вспомнил, что за ним тоже наверно бегали, даже когда он еще в школе был.



Едва мы свернули на нашу улицу, я увидел, что Полимед все там же. Подходить не хотелось; я был уверен, что как только он увидит зрителей – опять начнет вздыхать и стонать; или чего доброго еще и запоет какую-нибудь из своих скверных поэм, возле него на ступенях лира лежала.

– Лисий, я боюсь, что... – начал я.

Полимед, наверно, меня услышал. Голову повернул. Но вместо того, чего я боялся, – он вскочил на ноги, словно скорпион его ужалил, и, не поздоровавшись со мной, даже не взглянув на меня, закричал со злобой:

– Нет, клянусь Матерью, это уж слишком! Ты, Лисий, мог бы поучить критян мошенничать, а спартанцев воровать. Неужто ты думаешь, я лягу на лопатки?

Лисий ответил, не повышая голоса, что он уже достаточно полежал и доставил всем большую радость, поднявшись на ноги.

Полимед заревел еще громче:

– Даже слепому было видно, что ты замышлял! О да, я следил за тобой, когда ты думал, что я далеко... Я видел, как ты смотрел, стоя в сторонке; с этой невыносимой гордыней своей, которую боги сокрушат, если только они вообще есть на свете... Ты не обманул бы даже ребенка, не говоря уж о любящем. Так вот чего ты хотел? Ждал, словно конокрад у загона, пока кто-нибудь получше тебя объездит жеребенка, – а потом прокрался в темноте, чтобы увести его, пока тренер спит!..

Лисий ничего не ответил; непонятно было, рассержен он или нет. А я – я настолько был охвачен стыдом, слыша какими словами его обзывают, что готов был сквозь землю провалиться. Он не двигался, только серьезно смотрел на Полимеда. А Полимед нерешительно оглядывался вокруг. Я подумал: «Он, наверно, ображается, как это будет выглядеть, если снова лечь на ступени. Но если не ляжет – должен свою лиру поднять...»

Глянул на Лисия – увидел, как у него дрогнул уголок рта, – и вдруг живот мне свело смехом. Но я напрягся, чтобы заглушить его, хоть час назад счастлив был бы засмеяться. Наверно, я уже знал – хотя еще не решался полагаться на это, – знал, что боги послали мне бесцен-

ный дар; и что было бы низко оскорблять того, кто беднее меня. Лисий тоже подавил смех. Но чтобы не переглянуться – от этого мы не удержались. Полимед смотрел то на Лисия, то на меня – и судорожно застегивал плащ на плече, словно пытался гордость свою собрать, – потом вдруг повернулся и пошел прочь. Лира его так и осталась на ступенях.

Мы с Лисием смотрели ему вслед с серьезным видом. Лира эта была словно меч, что оставляет убитый на поле боя. Быть может, откровенный смех был бы не так жесток для него, как наша жалость. Нам надо было бы шить это... Но мы были молоды.

10

На другой день мы едва друг друга нашли. Лисий не просил меня назначить место или время; после он объяснил – не хотел показаться таким, кто сразу же гребует награды за мелкую услугу. Так что мы с ним потратили почти все утро, бродя по разным местам; а тогда еще никто не знал столько, чтобы сказать «Лисий только что был здесь, тебя искал, пошел вон туда». Но в конце концов, когда я уж и надеяться перестал и пошел на тренировку, – от финишного столба увидел, что он стоит и смотрит, с другого конца дорожки. Мне словно ветер в спину подул, словно крылышки на пятках выросли... Я едва чуял землю под ногами; и обогнал всех так, что мне кричали, будто на состязаниях. Голос Лисия я тоже слышал; и уже почти дышать не мог – от бега, и от того, что его увидел – и чувствовал, что сердце грудь разрывает, и даже небо будто почернело... Но это прошло; и когда он начал меня приветствовать, я уже мог говорить.

Оттуда мы пошли вместе. Он спросил, верно ли, что мой дед был бегуном; и мы заговорили об этом, и о родителях, и о всяком таком. Потом на другой стороне улицы показался его зять, Менексен. Заметив нас, он поднял брови, широко заулыбался, направился в нашу

сторону... Лисий мотнул ему головой, – он помахал рукой и прошел мимо. Хотя Лисий быстро вернулся к разговору, стало заметно, что он слегка покраснел. До сих пор мне в голову не приходило, что он тоже может стесняться. Мы гуляли по улицам, переходя с одной на другую; останавливались иногда, посмотреть работу горшечника или златокузнеца, – или прикидывались, будто смотрим... Наконец он остановился и спросил:

– А ты куда идешь?

– Не знаю, – ответил я. – Я думал, это ты куда-нибудь идешь.

Мы оба рассмеялись – он предложил пойти в Академию. Туда мы и пошли, и всю дорогу разговаривали; нам было еще не так легко друг с другом, чтобы можно было молчать.

Мы сели под ивой на травянистом склоне, на берегу Кефисса. Вода пахла опавшей листвой, как осенью... Слова у нас как-то кончились – мы примолкли и ждали; то ли знамения какого, то ли не знаю чего. И тут я увидел Кармида; он шел с парой друзей меж пожелтевших платанов. Он нас поприветствовал издали, мы оба ответили... Но когда я понял, что он идет к нам, – сердце у меня упало. Он всегда вел себя как благородный человек, но в такие моменты на людей рассчитывать трудно... Но тут я напрасно себе льстил. У него редко когда бывало меньше двух любовников разом, не говоря уж о женщинах. Во всяком случае подошел он с улыбкой и сказал самым любезным тоном:

– Лисий, это просто безобразие! Ты словно конь, которого привели на ипподром, когда все ставки уже сделаны. Ты так долго держался в стороне специально, чтобы посмотреть, как мы все останемся в дураках? Я уж не помню, сколько времени прошло с тех пор, как я – вместе с другими жертвами – свидетельствовал свои чувства, а в ответ, как обычно, получил что-то вроде «Спасибо, Кармид, твои стихи прекрасны, если только я могу судить об этом». А ты тем временем проходил по колоннаде и даже, как будто, не оглянулся. Думаю, Алексей тогда едва посмотрел на тебя, но я не совсем

слесн на знаки Эроса. И я тотчас сказал себе: «Вон идет победитель, если только он примет участие в скачке».

Это было хуже Полимеда, — меня бросало то в жар, то в холод, — но Лисий ответил с улыбкой и почти без заминки:

— Кармид, я вижу, это ты хочешь посмотреть, как я останусь в дураках. Спасибо тебе за приглашение — но акробат просит его извинить, кувыркаться не будет. Кстати, раз уж ты заговорил о лошадях, скажи пожалуйста, твой вороной выиграет на той неделе?

Хотя Кармид вел себя лучше, чем я ожидал, — все равно его ухода я боялся еще больше, чем только что его приближения. Но он почти тотчас ушел, вместе с друзьями. Я набрал горсть камешков и стал швырять их по воде. До сих пор помню их форму и цвет.

— Далеко они не пойдут, — сказал Лисий. — Берег слишком высокий.

— Обычно они у меня шли подальше.

— Наверно, — сказал он, — Менексен говорил о том же самом случае.

Я бросил еще камешек, но он сразу ушел под воду.

— Ну ладно, — сказал он. — Теперь мы знаем, что говорят. Если это кому-то из нас неприятно, то нам не стоит быть здесь вместе, как сейчас. Или я только о себе?

Я покачал головой; потом, подзавяв его храбрости, повернулся к нему и ответил «Нет». Он чуть помолчал, потом сказал:

— Как боги меня слышат, Алексий, так твое благо будет моим; и твоя честь для меня — как моя собственная, я за нее жизни не пожалею.

Я словно вырос.

— Не бойся, Лисий. Пока ты мой друг, я никогда не дойду до бесчестья. Я лучше умру, чем опозорю тебя.

Он обхватил меня за плечи и сказал:

— Да будет так!

И мы поцеловались.

Солнце садилось, тени от платанов стали уже длиннее самих деревьев... Мы еще поговорили немного, и пошли назад в Город.

По дороге я спросил, что я такого сделал, что так его оскорбило. Он удивился, с какой стати я вообще мог подумать такое:

– Я просто слишком тебя любил, мне от этого покоя не было...

– Но ты же всегда избегал меня, хоть я не давал повода!

– Это ты, правда, сам заметил? Или тебе кто-нибудь подсказал, чтобы навредить?

– А я что, похож на слепого, Лисий?

– Но когда я заговорил с тобой, весной, на Дионисии, – ты ж убежал от меня, как от прокаженного...

– У меня тогда дома кое-что стряслось. Я бежал до самых гор. И никогда не думал, что ты об этом вспомнишь.

– А все началось еще раньше, – сказал он. И рассказал, что почти два года назад, впервые увидев меня в палестре, стал думать обо мне неотрывно; собирался всерьез обратиться ко мне, как только представится случай... Но Сократ все это из него выбил. Он надеялся на понимание и сочувствие, а Сократ резко сказал, что любовь к маленьким мальчикам нужно запретить законом. Мужчина, мол, расточает свои старания неизвестно на что, и его ждет неизбежное разочарование; ибо пока душа мальчика податлива – нельзя предлагать ему роль, которую он еще не в состоянии понять; это лишь поощрит его тщеславие и безрассудство. «Если атлет станет бороться с человеком ниже себя классом, то победа его дискредитирует, а проигрыш опозорит. Разве не так?» Рассказав это, Лисий добавил: «На это я не нашел, что ответить!» Да, Сократ знал, где его зацепить.

Он признался, что потом – когда видел, как вокруг меня вьются, – горько ему было очень. Он слышал, что я симпатизировал Кармиду... Я постеснялся спросить, почему он не пытался это проверить. Вспоминая дурацкие выходки моих преследователей, я не удивлялся, что он считал ниже своего достоинства тягаться с ними. И не сомневался, что он слышал, как они называли меня холодным, заносчивым... Это он-то! Кого тянуло ко мне, когда никто другой меня еще и не замечал!..

– У меня до того душа болела, – сказал он. – Я даже какое-то время не мог простить Сократа, избегал его. Но потом огляделся вокруг, и увидел нескольких человек – из тех, кто когда-то отказался принимать его лекарства. Увидел, что они из себя представляют, – и на другой день вернулся к нему.

Говоря это, он широко зевнул. Извинился; он, мол, почти всю ночь пролежал без сна – не мог заснуть от счастья... Я признался, что со мной было то же самое.

На другой день он повел меня к себе домой и представил отцу. Дом был за городскими стенами, возле Священной Дороги. Отцу его, Демократу, было лет пятьдесят пять, но выглядел он старше, – борода длинная, почти совсем седая, – Лисий сказал, что давно уже беспокоится о его здоровье. Он принял меня очень учтиво, похвалил храбрость моего отца в боях... Ни о чем больше, кроме этой храбрости, он говорить не стал. Быть может, между ними была какая-нибудь давняя ссора, но он понимал, что было бы мелочно отыгрываться на мне.

Дом был основательно запущен, – у нас тоже, так что я к этому уже привык, – но большой был дом; и несколько замечательных статуй, мрамор и бронза. Про Демократа говорили, что в молодости он жил роскошно. Я припомнил, что именно в этот дом сбежал Алкивиад от своей охраны, будучи мальчишкой; это было первое свидетельство его распущенности, какое дошло до Города, хотя Перикл и старался замять дело.

Демократ долго распространялся о славных прежних днях; это обычно у стареющих людей, дела которых пошатнулись... Лисий слушал терпеливо – ясно, что заранее примирился с этим, – и видно было, что они друг друга любят.

– Двух других сыновей я потерял, – сказал отец. – Детьми умерли. Но боги смягчились и воздали мне Лисием; этот сын стоит троих. Теперь он уже достаточно взрослый, чтобы не возгордиться от этого, – так скажу. Мальчиком он меня вполне устраивал, я был доволен им без оговорок; и, став мужчиной, он меня не разочаровал. Я хочу только увидеть его женатым – и сына его,

что назовут моим именем. И тогда смогу уйти, как только боги меня примут.

Теперь я не знаю, почему он это сказал. То ли специально, чтобы посмотреть, не из тех ли я мальчиков, что встанут другу поперек дороги из ревности или из каприза; то ли просто потому, что больных людей тянет говорить о том, что их беспокоит... Но тогда – как и каждый в том возрасте, – тогда я считал себя центром мироздания; потому решил, что это испытание, что я его должен выдержать с честью, – и ответил спокойно, как спартанец, что сын Демократа волен выбрать себе жену, когда захочет. Когда Лисий вывел меня из дома – сад показать, – я чувствовал себя словно после трудного танца с мечами, когда уходишь наконец с судейских глаз. Лисий потянулся, словно только что снял доспехи, рассмелся и сказал:

– Отец не так уж торопится найти мне жену, как говорит. Одну сестру мы выдали замуж в прошлом году; а есть еще одна, и ей уже пятнадцать. После того как мы ее обеспечим, я очень не скоро смогу себе позволить обзавестись семьей. И он это прекрасно знает.

Лисий рассказал, что большая часть их богатства в прежние годы приходила из Фракии, где выращивали коней для колесниц и верховых мулов. Но сам он никогда не видел тех мест; во время войны они были захвачены и разорены, табуны угнали... Он тогда еще мальчиком был.

За садом было поле цветоводов, и даже теперь – осенью – воздух благоухал.

– Жениться надо, – сказал Лисий, – пока еще молод, чтобы иметь здоровых сыновей; но торопиться пока некуда. Если мне нужна женская компания – у меня есть чудесная девчушка, коринфянка. Она не берется декламировать Анакреона и лирических поэтов, как самые модные подружки, но зато очаровательно поет; голосок у нее не сильный, но чистый, как у птицы. Это мне в женщинах нравится.

Он улыбнулся своим мыслям и заговорил снова:

– Странные фантазии приходят, когда одиноко. Было время, мне часто хотелось стать настолько богатым,

чтобы я мог полностью содержать Дрозину, как Перикл Аспазию; чтобы ей никогда не приходилось развлекать кого-нибудь другого. И дело не в том, что она спит с другими; это меня как-то не трогало. Ведь если бы она не была гетерой, я бы вообще никогда ее не встретил; да и поговорить с ней было бы не о чем; как с теми девицами, кого в жены берут... Это звучит, конечно, глупо – но неприятно было знать, что свое поведение со мной она снимет, словно платье, и для другого мужчины станет совершенно иным существом. Ладно. Она очень мила по-своему – но не Аспазия, бедная малышка, не Аспазия. И я думаю, что те мысли никогда больше меня не потревожат.

Все это я уважительно выслушал, а под конец напустил на себя серьезный вид, словно мужчина, разбирающийся в таких делах. Лисий улыбнулся, взял меня за локоть, и мы пошли смотреть коней.

В кладовой, где по стенам собирала пыль старая колесничная упряжь, мы играли с выводком гончих щенков и делились старыми тайнами, как бывает в таких случаях, ради удовольствия сказать: «Этого я не говорил никому, только тебе...» Он признался мне, что впервые познал женщину, когда ему было семнадцать, но никогда не любил юношу; вообще никогда, пока не встретил меня. Иногда его даже беспокоило, когда он читал поэтов, что он вообще наверно не способен к такой любви, которую они восхваляют как самую благородную, говорят, что она вдохновила на множество великих подвигов... «Я не знал, чего жду, – сказал он. – Но бог знал».

Мне хотелось, чтобы вернулся отец, чтобы я мог познакомить его с Лисием. Тут он мог бы гордиться мной. С виду они друг друга знали, по кавалерийским учениям, потому что были из одного рода. Лисий заметил, что я не очень похож на отца; он думал, красота моя от матери. Я сказал, что тоже так думаю, но она умерла при моем рождении, так что я ее не видел. Он посмотрел на меня с изумлением:

– Но с тех пор как мы встретились, ты говорил о матери раз двадцать. Это что, мачеха твоя, что ли?

- Да. Но я никогда этого не замечал.
 - Она наверно вдовой была, когда отец взял ее?
 - Вовсе нет, Лисий. Ей еще шестнадцати не было.
- Он улыбнулся.

– Ты для меня полон тайн, Алексей. Не то чтобы я мог себе представить, что ты способен вести себя неучтиво с женой своего отца; но даже со мной ты ее называешь матерью, словно она на самом деле родная. А теперь говоришь, что мы с ней ровесники, – этак я почувствую себя стариком!..

Он говорил беспечно, весело, но меня его слова почему-то зацепили.

– Но она на самом деле мне мать, Лисий. Если она не... если она не мама – у меня вообще никогда мамы не было...

Он увидел, что я расстроен, и, обняв меня, мягко сказал:

- Ну конечно, дорогой. Конечно она тебе мама.

Я остался у него ужинать. Демократ ушел рано – плохо себя чувствовал, – так что мы остались одни. Летние цветы уже кончились, но мы сделали себе венки из цикламенов и плюща. Вино было хорошее, но пили мы только чуть-чуть; ни к чему было становиться еще счастливее, чем мы были. Поужинав, мы стали играть в коттаб, винным осадком; раскручивали его в чашах и плескали на пол – и каждый раз находили в кляксах буквы из наших имен. Он из моего, а я из его имени. На полу была мозаика – Афина борется с мидьями, – так она стала выглядеть, словно кровь лилась вовсю. И нам было смешно. У нас такое настроение было, что все веселило. А позже, когда взошла луна, мы вышли в сад; под одним плащом.

И все это время Лисий ни разу не попросил меня ни о чем сверх поцелуя. Я понимал: он хотел, чтобы я знал, что он любит душою, а не – как говорят – любовью Агоры. Что до меня, – мне казалось, что к моей радости, оттого что он рядом, ничего уже добавить нельзя; я и не хотел ничего, только, вот, иметь что-нибудь такое, что могло бы усилить его счастье и что я мог бы ему дать. Я чувствовал, что придет другое время, как весной

чувствуешь приближение лета... Но для таких вещей нам не нужны были слова. А говорили мы даже не знаю о чем. О детстве нашем; или о том времени, когда нам случалось видеть друг друга на праздниках, или в палестре, или на Играх... Когда стало совсем поздно, он выплеснул остатки вина в вазу. «За моего Алексия!» — сказал, и ваза ответила чистым звоном. Потом мы вынули чистой воды за Добрую Богиню; он крикнул, чтобы принесли факел, и проводил меня домой.

Прощаясь, он сказал:

— Всем этим счастьем мы обязаны Сократу. Нехорошо, что мы у него не показываемся; пойдем завтра к нему.

На другой день мы встретились рано и пошли его искать. У него дома сын его, Лампрокл, сказал, что он уже ушел. Я встречал этого парня и раньше; и никогда не питал к нему неприязни, за то что он смотрел на меня с обидой; а он только так и смотрел, всегда. Конечно, Сократ не мог наградить его особой красотой; но в нем уродливость отца утратила свою силу, а взамен ничего не приобрела. Его определили учеником к каменщику; похоже что на ремесло скульптора, которое оставил Сократ, его талантов тоже не хватало. Их дом был из тех бедных домов, до того чистых, что кажется даже порог прокликает ногу твою. Пока мы разговаривали с пареньком, раздался голос его матери; она только что из окна выглядывала. И теперь кричала ему, чтобы не болтал попусту, — ей, мол, и одного бездельника хватает... Ничего нового здесь для нас не было; часто уже издали слышно было, как она поносит Сократа, еще до того как к дому подойдешь. Промеж себя мы называли ее мегерой или пилой; — но ее обиду можно было понять: учил он бесплатно, а она постоянно слышала, как его ищет такое множество людей, которые вполне могли бы заплатить. Когда-то он работал; но Критон, шавший о его сбережениях, предложил вложить их так, чтобы они приносили доход, достаточный для его простой жизни. С мальчиком я разговаривал осторожно — мне его было жалко. И не только из-за матери, но и

потому, что он казался гораздо менее сыном Сократа, чем Лисий – или даже я, так я подумал.

Герм перед входом был работы Сократа. После того святотатства он достал свои старые инструменты – в знак благочестия – и сделал богу новую голову. Работа была из тех, что мы называем искренними; когда хотим сказать, что художника мы любим, хоть он не из самых лучших мастеров. Сделанная в строгом стиле времен Фидия, голова смотрелась слегка старомодно.

Сократа мы нашли в Ликейских садах; он уже беседовал, и вокруг было человек пять-шесть – как раз все из его старых друзей, такое совпадение получилось. Там были Критон, Эриксимах, Агафон и его друг Павсаний, и еще человека два. Сократ увидел нас первым – заулыбался и кивнул, не прерывая разговора. Остальные подвинулись и дали нам место с такой непринужденностью, какая бывает у людей уже наготове, заранее. Только Агафон широко распахнул синие глаза и откровенно одарил нас своей знаменитой улыбкой.

Они рассуждали о природе истины. Не знаю, как возникла эта тема. Но вскоре после нашего прихода Сократ сказал, что истине нельзя служить так, как раб служит хозяину, не объясняющему своих приказов. Мы, скорее, должны искать ее, – сказал он, – как истинно любящий ищет знания о своем любимом, хочет узнать досконально, что он из себя представляет и что ему нужно; не как низменные любовники, желающие знать только то, что они могут превратить в выгоду для себя. И так, начав с этого, он заговорил о любви.

Любовь, – сказал он, – это не божество, потому что бог не может в чем-либо нуждаться. Но она из тех великих духов, что служат вестниками между богами и людьми. К дуракам, довольствующимся своим низким состоянием, она не приходит. Она приходит к тем, кто, сознавая свои недостатки, хочет, обняв доброе и прекрасное, породить добро и красоту. Потому что творение – это бессмертие человека, приближающее его к богам. Все твари, сказал он, нежно любят детей своей плоти, но самое благородное потомство любви – это мудрость и славные дела; ибо смертные дети умирают,

и те живут вечно, и порождаются они не телом, а духом. Смертная страсть погружает нас в смертные наслаждения, так что крылья души слабеют; такие любящие тоже могут возвыситься до хорошего, но не до самого лучшего. А окрыленная душа поднимается от любви к любви; от того прекрасного, что рождается и умирает, к красоте вечной – к самой жизни, в которой смертная красота это лишь движущаяся тень, упавшая на стену.

Я слушал его густой, низкий голос – и душа моя рвалась из тела, и вроде вырвалась куда-то ввысь, ища бoga над богами. Я не помнил ничего из своей жизни, кроме тех моментов, которых коснулся этот бог. Так было, когда смотрел я с Верхнего Города на зарю над кораблями; или в горах иногда, когда Ксенофон уходил с собаками и оставлял меня караулить сети; или с Лисием на берегу Кефисса... Сократ не остался, как обычно, не предложил нам возразить на его аргументы, а тотчас попрощался и ушел.

Остальные уселись на траву, поговорить; и мы тоже сели. К нам никто не обращался. Много времени спустя Агафон сказал мне, что с таким же успехом мог бы заговорить тогда с пифией в божественном транс. Но я не думаю, что мы им как-то мешали. Мы были так погружены в свои мысли, – даже не глядя друг на друга, – что все разговоры шли мимо нас, словно мы статуи или деревья. Через какое-то время – надеюсь не слишком долгое – я начал слышать, что они говорят. Павсаний сказал:

– Когда-то давно Сократ уже говорил нам то же, что сегодня. Это было у тебя дома, Агафон, помнишь? Когда мы пили за твой первый веночек.

– Конечно, дорогой. Я этого до самой смерти не забуду.

– А как раз, когда он закончил, из сада ввалился пьяный Алкивиад.

– Его красота уже не выдерживает вина, так как раньше, – сказал Критон. – Мальчиком он выглядел, как раздумявшийся бог...

– А что тогда было? – спросил кто-то.

– Услышав, что все мы хвалим Сократа, он сказал: «О, я могу вам рассказать кое-что получше!..» И описал, как однажды после ужина он пытался соблазнить Сократа. Надо сказать, рассказывал он здорово, хоть и был пьян до безобразия. Но видно было, что даже через столько лет он все еще озадачен. По-моему, он высказал самую высокую похвалу, какую только можно придумать... Сократ превратил все это в шутку. Собственно, это и была шутка своего рода; я бы и сам смеялся от души, если бы не помнил, как он любил его мальчиком.

До сих пор мои мысли бродили повсюду и нигде, но при этих словах в голове прояснилось. Я вспомнил туповатого юношу дома у Сократа... И Алкивиад растратил его любовь; так из треснувшего кувшина вино уходит... Но, любя добродетель, думал я, он ведь постоянно стремится породить ее отпрыска. Это мы с Лисием – нет, не избраны им, никто не может возложить такое на другого – не избраны, а сами должны стать его сыновьями.

Я почувствовал взгляд Лисия и повернулся к нему. Поняв друг друга, мы поднялись, и через сады вышли на улицы. Мы даже не говорили – нам это было не нужно, – а пошли к Верхнему Городу; и по лестнице поднимались бок о бок. Облокотившись на северную стену, мы смотрели на горы. На вершины Парнаса выпал первый снег; день был яркий и голубой, редкие облака... Северный ветер сдувал нам волосы назад и шевелил одежду за спиной. Воздух был чист, пронзителен и наполнен светом; казалось, что стоит захотеть – и ветер поднимет нас, словно мы орлы, словно небо наш дом... Мы взялись за руки. Руки были холодные... И до сих пор мы не сказали ни слова; словами – не сказали. Потом мы отвернулись от стены, и увидели людей. Они приносили жертвы у алтарей, входили в храмы, выходили... А до сих пор нам казалось, что там никого не было, кроме нас. Когда мы подошли к большому алтарю Афины, я остановился и спросил:

– Принесем клятву?

Он на момент задумался, потом ответил:

– Нет. Если человеку нужна клятва, то он потом раскаивается, что поклялся, и его побеждает страх. А это должно идти от души. И от любви.

Подходя к Порталу, я сказал:

– Мне нужно принести жертву Гермесу, прежде чем уйти. Он ответил на мою молитву.

– А что за молитва была?

– Я просил, чтобы он сказал мне, если Сократу что-нибудь будет нужно.

Он на момент нахмурился, потом рассмеялся:

– Приноси свою жертву, после поговорим.

Я пошел искать мирру, а Лисий ушел в Храм Девы. Я управился раньше; и ждал его у маленького Храма Победы на бастионе, который в тот год почти уже закончили. Когда он подошел, я спросил, почему он смеялся.

– Честно говоря, – сказал он, – я подумал, кого же ты на самом деле любишь, меня или Сократа. Быть может я только жертва, которую ты убил на алтаре, чтобы иметь возможность пригласить своего друга поужинать с тобой?

Я хотел запротестовать, обернулся, – он улыбался.

– Прощаю тебя! Приходится; я сам был его пленником с пятнадцати лет. В школе был День Гермеса, и кто-то из гостей его привел. Наши наставники – мой и Менексена – улизнули на время, выпить, – и мы стали слушать. А он увидел, как мы тянем уши из-за спин взрослых, подозвал нас и спросил, что такое дружба. Мы с Менексом не смогли согласовать определение, нам тогда споров хватило на весь остаток дня... А после того я бедному отцу покоя не давал, пока он мне не позволил пойти к нему.

Перед уходом мы задержались, чтобы еще раз глянуть на горы. Воздух был такой чистый, что было видно до самой Декелеи, где спартанцы обычно спускались с гор до начала перемирия. Оттуда поднимался тонкий дымок; какой-нибудь стражник или пастух сидел у дневного костра.

Проходили недели. На поля ложилась зима, а во мне расцветала весна. Когда великий Гелий светит на скованный морозом водоем, то на него начинают садиться птицы, а по вечерам звери приходят напиться... Так и у меня, счастливого, вместо поклонников стали появляться друзья. Но я слишком был полон Лисием, чтобы заметить эту разницу; и когда он бывал занят – я просто не знал, как проходит у меня время.

С Сицилии пришла депеша, ее читали перед Собранием. Мы – кто по возрасту не мог там быть, – мы слонялись у подножья холма в ожидании новостей. И вот мужчины стали толпой спускаться с Пникса; лица у всех мрачные, кричат...

Никий писал, что Гилипп, спартанский генерал, собрал силы на другом конце острова, обучил, приучил к дисциплине, и бросил их на помощь Сиракузам. Он окопался на высотах и зажал нашу Армию меж собой и городом. Он объединил против нас всю Сицилию, а теперь ожидалось войска и из спартанской конфедерации. В заключение Никий просил еще одну армию, не меньше первой, еще такую же сумму на ее содержание, и генерала себе на смену. У него, мол, больные почки, и он не может управляться со своим делом так, как хотел бы. Зиму он продержится, но надолго помощь откладывать нельзя, подкрепления необходимы не позже весны; так он закончил.

Лисий рассказал мне все это, пока толпа еще волновалась вокруг нас. Все были сердиты, но я не помню у кого-нибудь какого-то предчувствия. Больше было похоже, что люди пришли на праздник – а им сказали, что раньше чем через неделю ничего не будет, так что надо возвращаться домой.

Вскоре появились списки мобилизованных – и мои тайные страхи кончились. Лисий оставался. Часть кавалерии оставляли для охраны границ, ее и так уже не хватало. Его забрали из родового эскадрона и назначили филархом пограничной стражи, вместо ушедшего

офицера. Хоть он был слишком молод для этого поста, они рады были найти кого-то, кто пользуется уважением молодежи и сможет с нею совладать. Это несколько отдалило нас друг от друга, и мне страшно было подумать, как не скоро еще я сам стану эфебом; он обещал попросить, чтобы меня зачислили в его часть. Военная подготовка была не самым любимым его делом; но, видя мое рвение, он часто отказывался от отдыха и брал меня на тренировки в поле. Демей этого не делал никогда.

Мы обычно выезжали с тупыми дротиками, и он учил меня, как бросать на скаку; а то мы съезжались и старались сбросить друг друга с коня... Я думал, он будет бояться меня поранить, но он часто бывал жестче Демей. Однажды он скинул меня на каменистой площадке, так что я ободрался с ног до головы. Он огорчился — на самом деле, — но сказал, ему мол легче самому меня поцарапать, чем увидеть, как другой убьет меня в бою.

Теперь мы редко могли проводить с Сократом по несколько часов кряду, да он и не хотел отвлекать молодежь от полезной работы. Но поскольку кто-нибудь всегда попадал под его чары — возле него были новые люди, кто появился, пока нас не было. Кто-то уходил, кто-то оставался; но никто меня так не удивил, как новый человек, которого я встретил, когда однажды утром нашел нашу компанию у Фоки-среброкузнеца. На противоположной стене висело зеркало из полированного серебра. Когда я подошел сзади, то первым делом увидел лицо Сократа, а потом человека рядом с ним. Сначала я глазам своим не поверил: это был Ксенофон.

Потом, когда мы остались с ним вдвоем, он сказал со смехом, что провел возле Сократа уже несколько недель — и все удивлялся, что меня там нет. «Но я решил, что с тебя достаточно и того, что у тебя самый знаменитый роман в Городе, и ты начнешь вспоминать своих друзей только через несколько лет». Видно было, что его на самом деле задело исчезновение мое; но объяснять ему, что к чему, было не легче, чем растолковать глухому, зачем ты ходишь в театр.

- Но что привело тебя к Сократу? – спросил я.
- Он сам.
- Как? Ты услышал его беседу?
- Нет, он пригласил меня приходить.

Я удивился и попросил рассказать. Он рассказал, что шел по узкой аллее и там столкнулся с Сократом:

- Я никогда не подходил к нему так близко, и хоть это не слишком прилично – не удержался, глянул ему в лицо. Да, подумал я, над ним можно смеяться, но это – мужчина! Я отвел взгляд и уже собирался пройти мимо; но он остановил свою компанию поперек дороги и задержал меня. «Ты можешь мне сказать, – спрашивает, – где купить хорошего масла?» Я подумал, странно что ему нужна такая подсказка, – но показал. Потом он спросил про муку, про ткани... Я назвал лучшие места, какие знаю. А он дальше – «А где взять добродетель и красоту?» Тут я конечно осекся. Подумал-подумал... «Прости, господин, – говорю, – этого я тебе сказать не могу». «Вот как? – а сам улыбается. – Ну тогда пошли со мной, давай поищем». Я повернулся, пошел за ним и пробыл с ним весь день. Алексей, почему ты мне не рассказывал о нем?

- Что?! – У меня просто слов не было.

- Я думал, софисты проводят жизнь, наблюдая луну и звезды – и споря, едина материя или разнородна. Ты сам, если простишь мне такие речи, склонен витать в облаках; потому я думал, что как раз с такими софистами ты и связался. Но теперь вижу, что он самый практичный человек, к кому можно пойти за советом. Я сам слышал, он говорил – никому нельзя пытаться читать вселенную, пока не прочтешь свою собственную душу и не овладеешь ею; иначе ничто не помешает тебе обратить все остальное знание во зло. Он говорит, душа слабеет без упражнений, так же как и тело, и богов можно познать лишь тренируясь в добродетели так же упорно, как тренируются к Играм.

- Он так сказал? Теперь понятно, почему он никогда не хотел, чтобы его посвящали.

— Но, Алексей!.. Это же неправда, что он не чтит богов! Я тебя уверяю, он в высшей степени религиозный человек!

— Ксенофон! Это ты меня уверяешь? Ты заступаешься за Сократа передо мной?!

— Извини, — сказал он. — Но людская несправедливость меня просто бесит. В чем его обвиняют? Даже мой отец, лучший из людей, верит этой аристофановой байке, будто Сократ учит молодежь презирать родителей и отвергать их богов. Неужто никто из его друзей, кто пишет и сочиняет, — неужто ни один не может показать его в пьесе? Таким, каков он на самом деле? Если даже не сделать ничего, кроме как привести несколько фраз из его обычных бесед, — люди могли бы судить о нем по справедливости...

— Сделай это сам, — сказал я.

Он покраснел.

— Ну вот, ты надо мной смеешься. Я ж только говорю, что рано или поздно кто-то должен это сделать!..

И был еще один, кто появился у Сократа примерно в это же время. Помнится, дело было ранней весной.

Я впервые его заметил, когда мы все зашли с Агоры в колоннаду Зевса. Он подошел тихонько и встал за колонной, почти спрятался за ней. Однако Сократ его заметил и обратился к нему:

— С добрым утром, Федон. Я надеялся, что увидимся сегодня; подходи и сядь, так чтобы нам друг друга слышать.

Парнишка вышел из-за колонны и сел у его ног. Лисий шепнул: «Силен с леопардом».

Трудно было бы сказать лучше. Этот юноша выглядел так, как часто слышишь у поэтов, но увидишь редко: очень темные глаза, а волосы светлые-светлые. Они ниспадали, словно тяжелый шелк, и были обрезаны над бровями, а резко очерченные брови поднимались к вискам. Рот был благородной формы, но странный — скорбный и тайный, — это была красота не Аполлона, а Диониса. На Сократа он смотрел неотрывно. В глазах, глубоких и пронизательных, видно было, как пробегают мысли, словно рыбы в темной воде... И очень странно

было, что он сидел, не раскрывая рта; а Сократ, казалось, иного и не ждал от него. Только один раз он сказал: «Это может быть тебе интересно, Федон. Мне кажется, это касается нашей вчерашней темы», – и парень ответил что-то утвердительное, так что я перестал удивляться, уж не немой ли он. Когда мы уходили, я спросил Лисия:

– Кто это, ты не знаешь?

– Нет. Он появился однажды, когда ты был у Демея. Подошел потихоньку, посмотрел на нас и ушел. Были почти те же, что и сегодня, только еще Критий.

Критий теперь не приближался ко мне на длину копья. Я пожалел паренька. Впрочем, тогда я жалел всех на свете, кого не любил Лисий.

Вскоре после того, когда Лисий был на учениях, я пошел в один из общественных парков; в тот небольшой, что у театра. Там Сократ дискутировал с Аристиппом: хорошо и приятно – это одно и то же или нет. Они стояли друг против друга – и каждый словно олицетворял позицию свою. Аристиппу было лет тридцать; человек достаточно красивый – только лицо помятое, – а надето на нем было столько, что по цене хватило бы на хорошего верхового мула. Сократ в своем старом шерстяном плаще был похож на крепкий коричневый орех. Легко было поверить, что во время похода во Фракию он простоял в медитации зимнюю ночь напролет, когда все остальные дрожали от холода, зарывшись в шкуры.

Сила человека, – говорил он, – зависит от тяжелого труда, чтобы поддерживать ее; свобода зависит от силы, чтобы ее защитить; а без свободы – какое удовольствие надежно? Не думаю, чтобы Аристипп нашел, что на это ответить; но я уже не слушал. Я заметил Федона, он что-то замешкался за деревьями. Когда Сократ глянул в его сторону, он подался назад; но как только Аристипп ушел – подошел к Сократу сам. Сократ поздоровался с ним, и он сел рядом на траву. Я не помню, о чем был разговор; наверно продолжали ту же тему. Федон сидел тихий, внимательный – голова возле коленей Сократа. Склоны вокруг театра ловят вечернее солнце, и этот свет сиял на волосах мальчика, подчеркивая их яркую

красоту. Сократ, разговаривая, бездумно протянул руку, коснулся этих волос и пропустил прядь сквозь свои пальцы. Точно так же он мог бы потрогать цветок. Но мальчик отшатнулся, и лицо его изменилось. Тёмные глаза уродливо заметались; он стал похож на полуприрученного зверя, который готов укусить. Сократ, ощутив это движение, посмотрел на него, на миг их глаза встретились... Вдруг Федон снова притих; лицо его стало спокойным, как прежде; он сидел и слушал, обхватив руками колени, а Сократ гладил его волосы.

Это усилило мое любопытство, и на этот раз я решил его удовлетворить. Когда Сократ ушел, я двинулся в сторону Федона. Но – удивляться тут было нечему – какой-то мужик, дожидавшийся своего шанса, оказался возле него раньше меня. Видно было, что это чужак; и что он этак вежливо подбивает клинья, на обычный манер. Юноша холодно улыбнулся и что-то ответил. Я не слышал, что именно; – но того словно ошпарило, и он моментально исчез.

Вы можете удивиться, что я – после этого – все-таки не изменил намерений своих. Но в те дни я думал о людях хорошо, доверчивости во мне хватало на двоих. Во всяком случае, я перехватил Федона, поздоровался с ним и сказал что-то по поводу минувшей беседы. Сначала он едва ответил. Но у меня было чувство, что он больше смущен, чем рассержен; потому я не отстал от него, и в конце концов он разговорился. Я сразу понял, что в смысле ума я против него ребенок. Он спросил о беседе, о которой он только слышал, но не был на ней. Я рассказал, как сумел; в одном месте он меня прервал, заметив ошибку, которую не заметил даже Критий... Я не смог найти верный ответ, но он – подумав немного – сделал это сам.

Я сказал, что он слишком скромн. Почему, мол, он всегда молчит у Сократа? До сих пор мы говорили уже совсем свободно, но тут он покачал головой и снова замкнулся. А на ближайшем перекрестке сказал: «Спасибо за компанию, но мне теперь сюда. До свидания». Ясно было – он не хотел, чтобы я видел, где он живет. Я подумал «Его семья обеднела; быть может ему даже

приходится заниматься ремеслом». Одет он был очень хорошо, и от волос его пахло ромашкой, – но ведь люди всегда сохраняют лицо, пока им это удастся. Во всяком случае, теперь он мне казался человеком замечательным; и мое общество его вроде не тяготило... А мы как раз шли мимо палестры, в которой я обычно занимался, и я сказал:

– Еще рано. Пошли поборемся, окажи мне такую честь.

Он отшатнулся:

– Нет, спасибо. Мне надо идти.

Я не мог поверить, что он боится показать мне, на что способен; он и стоял и двигался, как благородный человек. Но тут заметил глубокую рану у него на бедре, словно копьё прошло насквозь. Я извинился, спросил сильно ли тревожит рана... Он посмотрел на меня как-то странно.

– Нет, – говорит, – ничего. Теперь уже совсем не болит. – И добавил, медленно так: – Это я в бою получил. Но мы проиграли.

Шрам был старый, уже почти белый совсем, а он казался не старше меня. Говорил он на дорийском диалекте, с островным акцентом... Я спросил, что это за битва была, в которой он сражался, но он не ответил. Смотрел на меня молча; а глаза – будто зимняя полночь под сияющими волосами. Наконец я спросил:

– Откуда ты, Федон?

– Тебе надо было раньше спросить, афинянин. Я с Мелоса.

Я был готов протянуть ему руку и сказать, что война кончилась... Но не сказал ничего. Теперь я знал, почему он не может пойти со мной в палестру. До сих пор я никого из них не встречал, знал о них только понаслышке... Это победитель может сказать: «Война кончилась» – и пойти домой. Для раба она не кончится, пока он жив.

Он уже уходил – я вытянул руку, чтобы его удержать; сбитый с толку, словно увидел солнце, заходящее на востоке. Он был выше меня во всем; до тех пор я не верил, что такое вообще может быть в мире... Долго

думать было некогда; по лицу его я видел, как ему гажко. И я сказал:

– Разве можем мы оба быть друзьями Сократа и не дружить меж собой? Ведь недаром говорят «Судьба хозяин всех людей».

Он заглянул мне в глаза, пристально так.. И как ни был он молод – я ощутил не удовольствие от признательности его, а гордость от его одобрения.

– Мне очень жаль, Алексей, что нам с тобой нельзя бороться. Мы бы друг другу хорошо подошли. Говорили, что я и бегал неплохо.

Он улыбнулся. Это красиво, когда душа прорывается сквозь горечь. Словно сверкающий мрамор светится в черной земле.

– Будь уверен, – воскликнул я, – боги не станут терпеть это вечно!

Он посмотрел на меня, как старик на ребенка.

– Я пришел к Сократу не в надежде понять богов, а чтобы он, быть может, дал мне своей веры в то, что они добры.

– Ты не можешь сказать мне, кто твой хозяин? – спросил я.

Лицо его опять потемнело; мне стало больно, что я его обидел. Я попросил прощения, сказал, что это неважно... Он поднял глаза от земли и сказал:

– Сократа я встретил не там.

– Неважно, – сказал я. – Мы встретимся завтра? Или когда-нибудь скоро?

– Я прихожу, когда могу, – ответил он.

Я подумал, как ему удастся уходить; быть может, его бьют за это... И весь вечер он не выходил у меня из головы. На другой день я уже шел, чтобы рассказать все Лисию, когда встретил во дворе дядю Стримона. Он сказал самым веским тоном, что у него ко мне разговор; и когда я ввел его в дом – добавил, что это не для ушей матери. Теперь, совершенно озадаченный, я провел его в комнату для гостей. Прокашлявшись, огладив бороду, и напомнив, что он в ответе за меня перед отцом, он начал:

– Что ты делаешь за закрытыми дверями, Алексей, этого я проверить не могу. Но я очень огорчен, увидев развращенность в столь юном человеке. Ведь ты не можешь оправдаться хотя бы уродливостью или увечьем, которые могли бы тебе помешать наслаждаться радостями любви достойным образом.

– Развращенность? – Я посмотрел на него, как на сумасшедшего. На последней вечеринке, две недели назад, мы были вместе с Лисием; и чтобы не сделать ничего такого, что могло бы ему не понравиться, я ушел домой почти совсем трезвым. – Уверяю тебя, господин, ты ошибся.

– Если только глаза меня не обманули, я не ошибся. А я всю жизнь отличался прекрасным зрением. Гулять по улице с мальчиком из бани Гургия!.. Даже Алкивиад редко позволял себе такое бесстыдство. Честное слово, в твои годы я вряд ли знал, что такие люди вообще существуют.

– Какой еще мальчик? – спросил я.

Но он увидел, как у меня лицо поехало, и сказал:

– Я вижу, ты меня понял.

– Раб не выбирает себе хозяина; а война есть война!

Я был зол на весь мир. На Необходимость, на Судьбу... А он снова оглаживал бороду, готовя что-то еще. И родил:

– Что же мы скажем о человеке, взявшемся учить молодежь, который не только прибегает к услугам таких тварей, но и принимает их в число своих учеников?

Я едва не задохнулся от ярости. Но поборол ее, чтобы лучше управиться с ним.

– Я конечно виноват, господин, что заговорив с юношей о философии забыл спросить его, кто он такой. Но спасибо тебе за информацию. Кстати, как ты это узнал?

Узнал-то он наверно на улице, но приятно было посмотреть на его рожу. По крайней мере, он мог заметить, что учитель меня кое-чему научил. Однако когда я рассказал это Лисию – он не улыбнулся; сказал, что если мой дядя плохо думает о Сократе, то мой находчивый ответ его мнения не улучшит. Это был

первый случай, что он меня укорил. Когда он увидел, как я это переживаю, то смягчился.

После того он изо всех сил старался здороваться с Федоном поласковее; но в компании тот становился молчалив, как уже заметил Сократ. Он начинал говорить только когда мы оставались вдвоем, но всегда словно через невидимый щит. Он ждал, что я узнаю, кто он, и обращаю это против него, — и я это видел. Вас наверно может удивить, что я не испытывал отвращения. Но первая любовь, словно свет зари, придает какую-то красоту всему, на что ни посмотришь. И потом, хоть я и знал, какова его жизнь, — но знал, не понимая; так можно знать страну, в которой никогда не был. Для меня это только придавало ему загадочности.

Однажды я встретил его ранним утром по дороге в Академию. Проходя по улице Могил, мы заговорили о смерти; и Федон сказал, он мол не верит, что душа остается после смерти; будь то в подземном мире, в новом теле или в воздухе. Я ответил, что с тех пор, как полюбил Лисия, — мне кажется невероятным, чтобы душа пропала.

— Душа это выдумка сытых, — сказал Федон. — Если ты наелся, напился и насытил страсть свою — у тебя душа. А если тело в голоде, в жажде или в томлении, — что тогда твоя душа, если не собачий нос, влекущий к мясу! Собака подышает и гниет, и нос ее не чует ничего.

Говорил он так, словно ненавидел меня, и хотел не оставить мне ничего, что могло бы дать радость. Но я вспомнил, как однажды не сумел защитить Сократа, — и как укорил меня Лисий, — и прежде чем ответить — подумал. А потом сказал так:

— Если ты поставишь толстого старика на длинную дистанцию, то он умрет на дорожке. Разве это доказывает, что ее нельзя пробежать? Вот почему, Федон, я думаю, что душа переживает тело: я видел, как тела продают и покупают, хуже того — принуждают к тому, что им ненавистно, на что никогда бы не согласились они. Но душа может оставаться свободной, и сохранять отвагу, и побеждать свою судьбу. Потому я верю в душу.

Он помолчал немного; а шел так быстро, что стала заметна хромота от раны... И наконец сказал:

– Я бы в жизни не поверил, что ты знаешь.

Я ответил, что никогда бы не коснулся этого, если бы молчание не отдаляло нас.

– От Лисия я ничего скрывать не могу, – добавил я, – но на него ты можешь положиться, как на меня. Он болтать не станет.

Он хохотнул коротко и ответил:

– Об этом не беспокойся. Критий знает.

Вскоре, узнав что он никогда не выходил из Города, я повел его на прогулку по сосновым лесам у подножия Ликабетта. Там он и рассказал мне, как попал в рабство. Когда их город был в осаде уже несколько месяцев, его отец – стратег – повел отряд добровольцев на штурм афинской осадной стены. Это была отчаянная попытка, и она чуть не удалась... Федон сражался рядом с отцом, тогда и получил свою рану; а заживала она плохо, потому что к тому времени они уже начали голодать. Афиняне послали за подкреплениями и замкнули кольцо осады; провиант вообще перестал поступать, и им ничего больше не оставалось, как сдаться на милость победителей. Федон, который не мог сам ходить, лежал в постели и слушал, как открывали ворота, как входили в город афиняне. А потом услышал вопли женщин, предсмертные крики мужчин... Вбежавшие солдаты вытащили его из кровати, приволокли на агору и бросили в толпу молодых ребят и детишек, собранных в овечьем загоне. А на другой стороне площади была навалена гора свежих трупов, и к ней добавлялись все новые – а из нее торчала голова его отца. На агоре было возвышение аукциониста – так на нем, где было хорошо видно и не было грязи и толкотни, стоял Филократ, афинский командующий, и руководил истреблением мужчин. Так приказали афиняне. Это заняло немало времени. Федон успел увидеть, как привели его любимого – со связанными руками – и перерезали ему горло, у него на глазах. Когда подошло время уводить женщин на корабли, Филократ спустился вниз, чтобы выбрать пару для себя. Остальных увели на продажу. Так Федон в послед-

ний раз увидел мать, женщину едва за тридцать, еще красавицу.

На рынок рабов в Пирее его привели еще совсем мальчиком, но Гургий рискнул, ради его красоты, и лечил его хорошо. Поначалу он не понял куда попал; думал, надо будет работать банщиком. Когда узнал, – отказался от пищи и питья, решил умереть...

– А потом, – сказал он, – как-то вечером старый Гургий зашел и оставил возле меня чашу вина. Кувшины только что выгнали из колодца, чаша запотела... Я был слаб, и пить хотелось ужасно; и я сказал себе: «Для кого я это делаю? У меня нет ни отца, ни друга, кого я мог бы опозорить; я не верю ни в людей, ни в богов. Птицы и звери живут с часу на час – и ничего, живут...»

Он освоил тонкости своего ремесла и заслужил хорошую оплату. Но однажды, затосковав, он запер дверь, как будто у него кто-то есть, – выбрался в окно, и пошел бродить по Городу. Так он наткнулся на Сократа и остался послушать.

– Алексей, а это правда, что есть один афинянин, который ненавидит людей и живет в пещере?

– Есть. Тимон.

– Когда я пришел к Сократу, я был почти таким же. В душе, я имею в виду. Я научился отвлекаться от них, как пастух сидит на скале с наветренной стороны от коз. Я не хотел делить свою скалу ни с кем. Если кто-то из моих скотов пытался прикинуться человеком – я научился ставить их на место.

Мне очень хотелось познакомить его с Лисием; но поначалу Федон все время находил какой-нибудь повод уйти. Однако, вскоре я их все-таки познакомил; и ясно было, что они друг другу понравились. А чуть спустя, когда Лисий собрался устроить ужин для Сократа и его ближайших друзей, я сказал:

– Жаль, что Федон не сможет прийти; Сократ был бы рад ему.

– Почему нет? – сразу ответил Лисий. – Это хорошая мысль. Я схожу заранее и заплачу за его вечер.

Я хотел тоже пойти, но он возразил:

– Ты что, серьезно? Ты ж потом за всю жизнь не отмоешься. Мальчишки твоего возраста приходят к Гургию не покупать, а продавать.

Вечер удался на славу; и Федону, похоже, было хорошо с нами. Когда все ушли, а мы с Лисием зевали вовсю, но не хотели расставаться, хоть уже рассветало, – я спросил его, что это за место, баня Гургия.

– Очень фешенебельно!.. Сначала тебя встречает Гургий, жирный фригиец с крашеной бородой. Расспрашивает о твоих вкусах, сам при этом ручки потирает... Когда спрашиваешь о Федоне – складывается пополам; как торговец тканями, если закажешь пурпур. Потом тебя провожают через баню; там ты видишь все те тела, которых никогда не увидишь в палестре, – ну и мальчиков, тех, что в данный момент свободны и оказывают мелкие услуги, пока не понадобятся в другом месте. Это по большей части рабы, так что для них это наверно не самое скверное место... Но когда малыш лет девяти, или около того, подошел и стал строить мне глазки, – вот тут я подумал, что заплатил бы самую высокую цену, какая там есть, за удовольствие сунуть этого Гургия башкой в котел, отстирать ему бороду. А комнаты за баней. У Федона почетные апартаменты, на двери имя его и цена. У него был клиент, когда я пришел. С его клиентами обращаются как с благородными, их не торопят; поблизости маячит человек Гургия, чтобы какой-нибудь слишком нетерпеливый не попробовал дверь взломать. Дитина такой – при нем не попробуешь. Я постучал, как полагается, Федон открыл... Кроме краски на лице, на нем ничего не было, – и тут я понял, что мне не надо было приходить. Он тотчас попытался захлопнуть дверь; чуть не опередил меня, но я все-таки посильнее, успел придержать. «Иди, – говорит, – в соседнюю. Я занят». Я начал было «Подожди, Федон...», – а он вдруг распахнул дверь, так что я едва не упал внутрь. И стоит хохочет... А выглядел, знаешь, – на такое можно в дремучем лесу напороться. «Входи, – говорит. – Входи, Лисий! Окажи честь порогу моему! Кто я такой, чтобы клиенту перечить?! Я ждал тебя здесь с тех самых пор, как Алексей пропел мне гимн о твоих

добродетелях. Чем могу услужить?..» Ну и добавил пару таких фраз, что рядом с ним и Гургий показался бы школьным учителем. И все равно видно, что воспитывался он в благородной семье; он и извиниться умеет, и достоинство свое не уронить. Это была ошибка: нельзя мне было к нему заходить, надо было вызвать. Но я ж никогда раньше в таких домах не бывал... Я сказал ему, что каждый, кто готов разозлиться ради тебя, — мне друг. Хотел бы я быть настолько богатым, чтобы иметь возможность выкупить его; это было бы лучшее посвящение богам, какое может сделать человек за свою жизнь. Но один его вечер обошелся мне в два золотых статера; а чтобы отдать его совсем, Гургий потребует цену призового коня.

После того они стали добрыми друзьями; но Лисий никогда не оставался подолгу наедине с Федоном, а тот никогда не обижался за это, во всяком случае виду не подавал. Наверно, он чувствовал свою власть, а воспитан был слишком хорошо, чтобы дать мне это заметить; и он пожалуй прав был. Даже я испытывал его притягательность, Эрос наверняка улыбнулся на рождение его. Но для него все это превратилось в такую же скуку и мерзость, как весло для гребца; так что с ним мне грозило не больше, чем с собственным отцом.

Сократ пробудил его разум, и в этом разуме была теперь вся его жизнь. Я следовал за Сократом из любви к его естеству, и потому казался Федону его другом только наполовину; он был безжалостен к моей податливости. Он постоянно принуждал меня к логике встречных доводов, нападая на все, во что я верил, пока — выбитый из последнего окопа — я не говорил:

— Но, Федон, мы же *знаем*, что это верно!

— О нет! Быть может, наше мнение на самом деле и верно, но разве это знание? Знаем мы лишь то, что доказано.

Однажды я разозлился на него и, пытаясь это скрыть, шел молча. Вдруг он сказал:

— Ты сегодня какой-то ободранный, Алексей. Тебя кто-нибудь бил, что ли?

– Нет конечно, – ответил я. – Лисий бросил меня на тренировке; я поцарапался слегка, вот и все.

– Он называет себя другом, и вот так с тобой обращается?

Я уже рот раскрыл для сердитого ответа, но тут же опомнился и попросил прощения.

– Не за что, – сказал он. – Я, пожалуй, не хуже Лисия знаю, что такое хороший воин.

Я ни разу не слышал, чтобы он пожалел себя, чтобы пожаловался на то, к чему приходилось ему возвращаться. Но тем временем за его дело взялся друг получше меня. Сократ рассказал о нем Критону; тому человеку, который в молодости побудил его бросить свою мастерскую и заняться философией. Критон был богат, и тотчас предложил выкупить Федона.

На сделку ушло какое-то время. Слава Федона разошлась, и цена его поднялась еще выше. Сначала Гургий подумал, что Критон потерял голову из-за мальчика и готов заплатить сколь угодно. Но вскоре ему пришлось убедиться, что речь идет не о страсти – о деле. Критон спросил его, уж не поит ли он своих мальчиков из фонтана вечной молодости, и пообещал подойти уточнить цену через год-другой. Гургий перепугался и пошел на попятную.

Федон так счастлив был сменить хозяина – ему не сразу смогли втолковать, что он вообще свободен. Критон увидел, что он хорошо пишет, и дал ему работу у себя в библиотеке, книги переписывать; да еще и порекомендовал его другим ученым людям, так что работая он мог и учиться. И скоро уже никто из нас не мог вспомнить, что представлял собой наш кружок без него. В его поведении было что-то такое, с чем приходилось считаться даже самым бесстыдным; его прежние клиенты на улицах с ним не фамильярничали. Он, со своей стороны, никогда их не выдавал; говорил, что в каждом деле есть своя этика. Но иной раз, когда какой-нибудь высокопарный оратор разглагольствовал на Агоре, бичуя заморскую роскошь или удивляясь, куда идет нынешняя молодежь, – иной раз я видел иронию в темных глазах Федона.

Приближалась весна. На большом учебном поле в Академии каждый день тренировалась армия, под командой Демосфена. Это был человек, твердый, как скала, но не такой холодный. Лицо красное – но это больше от свежего воздуха, чем от вина, хоть в театре и проводились на его счет, – голос громкий... И был он сердечен, энергичен; уверен в себе, но без бахвальства... И думал, отец будет рад его появлению.

А тем временем малыха у нас подрастала. Мать назвала ее Харитой, по матери отца моего, раз уж он сам не выбирал ей имя. Она уже ползала; и стоять пыталась, держась за мои пальцы... Однажды я подумал «Если тот, кто дает жизнь, отец, – то ей отец я». От этой мысли стало как-то сладко на душе, но она нечестивой показалась, и я ее оттрнул. А потом еще подумал: «Она об этом никогда не узнает. Никому не придется из-за меня выстрадать то, что довелось мне». Пошел к домашнему алтарю – и сжег шафран, посвятив его Зевсу Милосердному. Мысли о малыхе не раз мешали мне заснуть, но даже с Лисием я держал свою клятву. Быть может, когда-нибудь темной ночью я и мог бы ее нарушить; но в то время каждый из нас держал себя перед другим, словно актер, назначенный носить маску бога.

Однажды утром, когда даже в Городе пахло весной, я проснулся счастливым; мне надо было в поместье, и Лисий обещал поехать со мной. Сквозь листву под окном пробивались первые лучи солнца, ворковали голуби, а Кидила за своей работой пела старую песню про невесту. Через двор слышно было малыху; она щебетала в доме словно птенец... Я подхватил песню и спел куплет за жениха; Кидила рассмеялась, потом занела снова... Вдруг возле ворот застучали копыта. Я вскочил, почти уверенный, что это отец вернулся, – но это был Лисий. В полном вооружении, в шлеме, из него дрякали торчат...

– Алексей, у тебя доспехи есть? – спрашивает. А сам даже с коня не спрыгнул.

– Доспехи? – У меня еще не хватало двух мин, чтобы заплатить Пистию, так что с меня даже мерку еще не снимали. – А когда они мне понадобятся, Лисий?

– Сейчас.

Голуби продолжали свою любовь, малыха пела...

– Спартанцы нарушили перемирие, – сказал Лисий. – Они уже в Аттике. Вчера вечером взяли Декелею, подошли к Ахарнам. С Верхнего Города видны пожары. Что у тебя есть из оружия? В моем отряде не хватает трех человек.

Я посмотрел на его гребень синей эмали, на нагрудник и ножные латы с золотыми заклепками...

– Подожди, Лисий. Я соберусь мигом...

Уже вбегая в дом, я услышал его окрик. Это меня остановило на месте, словно я уже его подчиненный. Но ведь так оно и есть, подумалось. Я обернулся к нему:

– Да, Лисий...

– Так у тебя есть доспехи или нет?

– Охотничья кожа почти так же крепка, – сказал я.

– Это война, а не скачка с факелами! – Но увидев мое лицо он нагнулся с коня и похлопал меня по плечу. – Не расстраивайся так. Всех нас захватили врасплох. Откуда взяться у тебя доспехам за год до срока? Но мне пора; я первым делом к тебе заехал.

Я подумал: «Кто-то из богов должен мне помочь!» – и помощь пришла. Я схватил его за ногу и заторопился:

– Нет, Лисий, подожди. Я знаю, где их взять. Не уезжай, погоди.

Я крикнул конюху, чтобы приготовил Феникса, – и помчался в дом. Мать уже встала. Она еще иногда сама кормила малыху и как раз дала ей грудь. Она стянула платье на груди, встала мне навстречу с малыхой на руках, смотрит...

– Мама, – говорю, – спартанцы идут. Они уже под Ахарнами. Не бойся, мы их скоро выставим. Но я должен уходить сразу, а оружия у меня нет, только меч. Дай мне доспехи твоего отца.

Она отняла малыху от груди, уложила в колыбель – и выпрямилась, прижимая плащ к горлу.

– Ты, Алексей? О нет, ты же еще мальчик!..

– Если я не буду мужчиной сегодня, то завтра будет поздно. Лисий приехал за мной, взять в свой отряд.

Она все смотрела на меня, молча. Я сказал:

– Мама! Ты же говорила, что я тебе настоящий сын.

Все с тем же неподвижным взглядом, она ответила:

– Ты и есть сын, Алексей. – В этот момент от Анакейона донесся звук фанфары, играли сбор всадников. – Конечно, они твои. Но слишком рано...

Она взяла из шкатулки ключи и открыла сундук. Доспехи хранились прекрасно; все было отполировано, промаслено, только ремешков не хватало кое-где, но отец оставил часть своих.

– Я еще зайду, когда снаряжусь, – сказал я. – Мне нужно еду собрать, скажи Кидиле.

Лисий оставил коня у ворот и ждал меня в гостевой комнате. Я разложил доспехи на диване... Уже много лет я их не видел, и теперь ужаснулся. В старину, во времена Архагора, если человек что-то из себя представлял – он не считал нужным это скрывать. Золотые накладки смотрелись вполне прилично, но голова Горгоны со змеями по всему нагруднику – это было уж слишком.

– Это слишком роскошно, – сказал я. – Надо мной смеяться будут.

– Сегодня? Один из моих ребят надел мидянскую тунику с рыбьей чешуей, она шестьдесят лет на стене висела.

Он помог мне вооружиться. Пистий, конечно, подошел бы лучше, – эти великоваты были, – но у Деменя тренировочный комплект мне меньше подходил. Так что я решил – пойдет. Лисий отошел на вытянутую руку и сказал:

– Теперь, на тебе, это уже не слишком роскошно, так что никто смеяться не будет. Поцелуй мать, возьми провизию и пошли. Нам пора.

Меч Архагора был лучше моего. Я прицепил его и пошел в столовую. На столе лежал старый отцовский всецовой мешок.

– Я готов, мама. Позволь, надену шлем.

Он был у нее в руках, она его полировала напоследок. Гребень был тройной – три морских коня, а хвосты сходились сзади. Она надела его мне на голову – подошло в самый раз. На стене за ее спиной было серебряное зеркало; подвинувшись, я увидел в нем отражение мужчины – и обернулся, удивленный, посмотреть, кто это вошел в женские комнаты. И тогда только понял, что этот мужчина – я сам.

– Плащ возьми, – сказала она. – Ночи еще холодные.

Мой теплый был уже у нее наготове.

– Я буду каждый день молиться за тебя, сынок. И жертвы приносить, Афине-Нике и Матери.

Она не подошла, но я сдвинул с лица боковые пластины шлема... Все ведь когда-то бывает впервые, и это естественно, словно вдох... Я уже давно ее не обнимал; когда привлек ее к себе – оказалось, уже настолько высок, что она мне даже до подбородка не достает... Я вспомнил, как она была добра со мной, с маленьким, когда я был слаб и беспомощен; странное было чувство, что вот теперь она такая маленькая, и дрожит, словно птица, когда положишь руку на нее... Теперь я пойду защищать ее, мужчина! Я взял ее за подбородок ладонями, хотел поцеловать... Но наверно поцарапал ее об доспехи – я ж их никогда раньше не надевал, – она меня оттолкнула. Взяла плащ, повесила мне на руку и снова сказала:

– Я буду молиться за тебя.

Я взял ее за руку:

– Когда будешь молиться за меня, мама, молись и за Лисия.

Она подняла глаза и отодвинулась.

– Да, – сказала, – конечно. И за него тоже.

Так что мы с Лисием все-таки поехали в поля в тот день. Правда, когда для нас распахнули городские ворота – я видел только гребень его шлема, да слышал сквозь топот и ржание коней голос его, когда он команды отдавал. Мы шли колонной по три, я ехал в середине. В хвосте колонны ехал заместитель Лисия, ветеран отряда, ему уже девятнадцать с половиной было... А Лисий был единственным из всех нас, кому довелось бывать в



настоящем бою. Мы двигались по Ахарнайской дороге, рысью, и старались разговаривать, как солдаты. Из Города доносились сигналы сбора, – гоплитов созывали, – а впереди и позади по дороге поднимали белую пыль отряды конницы.

На ходу, паренек слева от меня сказал, он мол слышал, что дозорный отряд встретил спартанцев и был жестоко порублен. Я ответил, что уже знаю это от Лисия.

– От Лисия? – спросил он. – Ты имеешь в виду филарха? Ты с ним знаком?

Я сказал, знаком мол, но распространяться не хотелось; что хорошо его знаю – не сказал. И тогда тот паренек – в отряде совсем новый – начал расспрашивать, что он за человек, наш командир. Гоняет ли всех, как спартанец, или покладист, смотрит за всем лично или перекладывает все на заместителя; любит женщин или захочет, чтобы с ним спал кто-нибудь из нас?.. Тот, что ехал справа, вмешался:

– Эй ты, дурень! Ты ж говоришь с его другом; это Алексей, сын Мирона. Что еще хочешь узнать о филархе? Можешь у него спрашивать все-все, не стесняйся!

Первый выглядел довольно сконфуженно. Второй рассмеялся:

– Это пограничные манеры, скоро привыкнешь. – И рассказал что в Страже он уже год или около того, и что Лисий самый лучший офицер, с кем ему довелось иметь дело. Этого было достаточно, чтобы я с ним подружился. Звали его Горгионом.

Мы то сжали, то вели коней в поводу, чтобы дать им отдохнуть. Все было спокойно, спартанцы еще не спустились с гор. В полдень Лисий увел нас в сторону от дороги, напоить коней и поесть самим. Когда мы расположились, он сказал:

– Прежде чем двигаться дальше, я расскажу вам, в чем наша задача. О Декелее позаботится Демосфен. Мы царя Агида искать не будем. Наше дело – ударить и уйти, и по возможности защищать деревни. Там, где они разбредутся в поисках добычи, мы будем нападать на те группы, с которыми можем справиться. Вот сигнал

тисшины. Повторите все, чтобы я знал, что вы его усвоили. Отлично. Те, кто более или менее подготовлен, — присматривайте за новичками. Если мы атакуем — пеан вы все знаете. Подхватывайте мне в тон, и чем громче — тем лучше, во славу Города. Спартанцев это не испугает. Они боятся только своих женщин, дома. Они скорее умрут, чем позволят компании голых девчонок распевать о них грязные песни на ближайшем празднике. Но нам надо сделать так, чтобы те песни были. Я надеюсь, что нам, афинянам, и одной чести достаточно, чтобы взяться за дело мужчин; нас не надо принуждать к храбрости побоями и голодом. Мы сражаемся за наш Город, где каждый гражданин имеет свое мнение и высказывает его, и люди живут, как хотят, и некому держать их в страхе. Давайте же будем достойны наших отцов, чтобы друзья и любимые наши могли нами гордиться.

И мы принесли жертву, чтобы заручиться поддержкой богов.

Когда он подошел со своей едой и сел среди нас, я стеснялся его почти так же, как в тот раз, когда мы шли с ним в Академию, в первый день. Он глянул на меня искоса; я понял, ему хочется, чтобы я сказал ему, как он говорил, но все остальные слишком близко... Мы улыбнулись, поняв друг друга.

Ветер поменялся, и в воздухе появился запах дыма; тяжелого дыма войны, с привкусом гари от тех вещей, которые гореть не должны. А когда мы поднялись в долину меж холмов, — я понял, что первый дом, к которому мы подойдем, это дом моего отца, и что дым идет оттуда.

Этот запах я помнил с детства; и подумал: «Оливы горят». А обогнув холм, мы увидели, что их не только подожгли, но и срубили; меж горящих ветвей и стволов торчали свежие пни. У них не хватило времени, чтобы вырастить все до конца, — вот они и подожгли. Думаю, они хотели и в этот раз уберечь священную рощу, но ветер поменялся, так что огонь попал и туда. Мы проехали к дому. Солома под черепицей уже горела; на стыках черепиц дым вырывался тонкими струйками, а

из-под карнизов валил густыми клубами... Как раз, когда подъехали – лаги прогорели, и крыша рухнула внутрь.

Домашнюю утварь свалили в кучу во дворе и тоже подожгли. На самом верху горела моя кровать. Видны были буквы моего имени, которые я мальчишкой вырезал на раме... По другую сторону костра собака что-то ела. Там лежал управляющий; голова расколота, мозги растеклись по булыжнику... Никого из людей больше не было видно. Куда бы ни сбежали рабы, ясно было, что назад они не вернуться.

Наша земля была самой лучшей в долине. Среди цикад мы, отец и сын, вытаскивали с полей камни и строили из них террасы... Я сам сделал одну новую на склоне горы, и виноград посадил.. Они прогнали по нему своих коней, несколько раз, так что вся молодая зелень была втоптана в землю. Я мог бы с тем же успехом доставить удовольствие дядюшке Стримуону, тренируя своих коней, как он учил. А от всей живности не осталось ни шерстинки, ни перышка.

По отряду пробежал шепот; ребята передавали друг другу, чей это дом. Все смотрели на меня с торжественным участием, как смотрят на человека в беде. Лисий подъехал и положил руку мне на плечо.

– Они воры с рождения, – сказал он, – но за это они заплатят, клянусь Гераклом.

Я ответил весело, словно актер в пьесе:

– Ничего, Лисий. Это у нас не последнее.

Они все подумали, что я проявил великую силу духа; а на самом-то деле до меня просто еще не дошло. Когда за ужином стол перевернется, то кавардак получается великий; но потом вино подтирают, кладут чистую скатерть, ставят новые чаши и тарелки – и все становится, как было. Так мне и тогда казалось; мол, в другой раз приеду – все будет на месте.

Оставаться было незачем. Забравшись повыше, мы увидели наконец целую крышу, из-под которой дым пошел у нас на глазах. «Хорошо», – сказал Лисий, и приказал двигаться туда.

Мы миновали еще два горящих дома. Редко когда попадалась хотя бы курица, сумевшая удрасть. Как сказал

целнажды Лисий, спартанцы самые лучшие воры в мире. Они держат своих мальчишек постоянно голодными, так что те никогда не могут насытиться, если не украдут; тем их и приучают жить за счет страны. А если их ловят на этом деле, — порют немилосердно. Есть известная история на этот счет; и важная сторона ее, по моему, в том, что мальчишка был настолько голоден — собирался лисицу съесть.

Спартанцев мы догнали в небольшой долине между Фрией и Филой. Этот хутор они еще не сожгли; был уже вечер, и они остановились здесь на ночлег. Разведчик доложил, что они разложили костер во дворе и сидят ужинают. Пехоты там не было, только несколько безоружных илотов. Один парень в нашем отряде был из этих мест и показал Лисию узкую тропу над оливами, где мы могли обойти часового, что они поставили у ручья.

Мы вышли к хутору и ворвались на него через загоны, с боевым кличем. Спартанцы бросились прочь от костра, призывая к оружию, побежали к коням своим... Нескольких мы настигли между костром и околицей; но остальные, кто добежал, пришпорили коней и встретили нас врукопашную.

Я, было, все думал: вот, когда дойдет до дела — смогу я поверить, что это война, а не очередное занятие у Демее? Можно было не сомневаться. Вы наверно знаете, что у спартанцев класс рыцарей состоит не из тех, кто может купить себе коня и вооружение; это привилегия, которая дается за заслуги. Ксенофон — он-то наверняка попадал, хоть так хоть этак, — Ксенофон часто говорил мне, как мол хорош этот обычай. Пожалуй на самом деле хорош. Только вот каждому из простых, кто хочет туда попасть, приходится следить за рыцарями и докладывать о каждой их ошибке, какую он увидит. Если сможет доказать — займет место того человека. Можете себе представить, что несколько лет такой жизни оставляют след хоть на ком. Не скажу, что они выглядят так, словно никогда не смеются; но что хорошенько подумают — над чем смеяться, а над чем и не стоит, — это уж точно. На них были простые круглые шлемы и

красные тунтики, на которых кровь не видна... А длинные волосы свисали до плеч – и были умаслены, расчесаны и украшены; на войне они всегда так. Я увидел, что один из них пошел на меня, и подумал – без подсказки – «Этот меня сейчас убьет, если я не убью его раньше».

Но – на войне это часто случается – что-то отклонило его коня в сторону, и я вдруг оказался лицом к лицу с другим. Он словно из-под земли вырос; но смотрел на меня так, словно я уже успел ему сделать что-то худое. Я метнул дротик, как учил меня Лисий, и попал ему в горло. Он так и упал, с дротиком. Потянувшись за другим, я увидел что Лисий бьется чуть поодаль. Он на момент отвлекся, оглянулся вокруг, – я подумал «Это он меня ищет»... Закричал наш пеан – и кинулся в свалку, где он мог увидеть, на что я годен.

Как все это закончилось, я плохо помню. Ведь дрался в десятках подобных стычек и в тот год, и потом... Но помню, что мы убили четверых, не то пятерых из них; а они только двух наших. Нас и больше было, и напали мы внезапно. А еще мы убили одного илота. Он схватил оружие и дрался за них. Он был храбрый человек; так что если бы остался жив – в Лаконии его бы все равно наверно убила Криптия. Это у них особый корпус из молодежи, обученной следить за такими людьми.

Остальные ускакали. Они же в рейде были, у них не было приказа стоять насмерть. Лисий распорядился собрать их оружие и доспехи, и сложить трофей. Так что я пошел к своему, которого дротиком сбил, – лежит на спине, а дротик так и торчит, из горла. Я подошел, взялся за древко – и тут увидел, что он еще жив.

Лицо его узнал только по бороде; мягкая была, молодая еще, ему наверно чуть за двадцать было. Руки его царапали землю, зарываясь в грязь; зубы стиснуты, губы растянуты, глаза закатились вперед белками, и спина прогнута аркой... Он старался то ли вдохнуть, то ли не дышать, от боли; в горле у него булькало... Вдруг он поднял одну руку и потрогал дротик, около шеи своей. Я бросал его вниз, за ключицу, как Демей

учил; а что из этого получается – этого мне никто не говорил.

Я стоял и смотрел, сумерки уже были, и тут он повел глазами и посмотрел мне в лицо. Бывает, что в какой-то миг, совсем короткий, успеваешь подумать сразу о многом; так и я тогда. О трудах, какие он вытерпел, чтобы стать сначала мужчиной в Спарте, потом рыцарем, – и вот всему конец. Рука его упала и снова заскребла землю, а он смотрел на меня и улыбался. То ли он мне бросал вызов, то ли храбро встречал свою смерть, или это конвульсия была от боли – этого я не знал. Кто-то подошел и встал рядом; я обернулся – это был Лисий. Он посмотрел вниз и сказал:

– Выгнати дротик, тогда он умрет.

Я протянул руку и увидел, что тот все еще смотрит мне в глаза. Но непонятно было, слышал он слова Лисия или нет. Рука моя тронула древко, но как-то сама отдернулась. Лисий повторил:

– Тяни!

Голос его изменился, теперь это был приказ филарха... Я думал было, что он мне поможет, но он стоял и ждал.

Так что я наступил спартанцу на грудь – и потянул. Чувствовал, как наконецник рвет мышцы и царапает кость; и слышал дыхание, свистевшее у него в горле; то ли само по себе, то ли он старался не вскрикнуть... Он закашлялся, кровь брызнула изо рта мне на руки и на колени – и он умер, как и сказал Лисий. Лисий молча кивнул мне и ушел. Я снял с тела доспехи и бросил их в общую кучу; а потом пошел за забор – и вырвало меня. Уже темнело, так что когда вернулся, – вряд ли кто-нибудь заметил бледность мою. Кто-то спросил меня: «Сколько мы взяли?» Я посмотрел на тела – человек, которого я убил, тоже был телом среди них, – посмотрел и ответил: «Пять».

Вскоре появились спартанские глашатаи, чтобы забрать их под защитой перемирия; а мы сложили свой трофей, раз остались хозяевами поля. А потом соорудили погребальный костер, сжечь своих павших; потому что никто не знал, когда мы смогли бы привезти их

Домой. Это тоже нелегко видеть в первый раз. По правде сказать, я и сегодня смотрел бы куда-нибудь в сторону, когда огонь съедает человека, с которым ты еще сегодня в полдень хлеб делил, – смотрел бы в сторону, если бы не помнил постоянно о своих людях.

Но когда все было закончено, и оружие сложено, и посты выставлены, и мы сидели вокруг костра и уплетали провизию, отбитую у спартанцев, – вот тогда пришло чувство победы, и радость ощущения жизни, когда враг побежден. Мы сменили часовых, дали им поесть; а потом вернулись, сняли с себя доспехи и одежду – оттирались от грязи, натирались маслом в тепле у костра... И вспоминали наш бой. Теперь Лисий в первый раз подозвал меня сесть с ним рядом; мы сложили вместе свою еду и разделили, как делали это всегда. Я знал, что это значит. Ради эскадрона, он не хотел выделять меня, пока я сам себя не показал. Когда после бега стоял я у ног Афины, и на меня надевали венок, – я был очень горд; но теперь то казалось мелочью по сравнению с этим.

Я смотрел на лица и тела своих товарищей в отблесках огня и думал: «Если сейчас подошли бы чужие, хогь Лисий и обнажен – никто не стал бы спрашивать «Кто у вас главный?» Потом из костра выпало обгоревшее полено, и я вспомнил сожженный дом, вытоптаные виноградники, вырубленные оливы.. Стадо и отара угнаны, рабы разбежались... И подумал: «Мы теперь бедняки; и это надолго, если не навсегда». Но я был молод и полон настоящим – и вспомнил все это, словно чей-то рассказ; и не мог представить себе, что когда-нибудь почувствую это острее, чем в тот момент.

Мы собрали сена и соломы себе на постели; и пока Лисий обходил часовых, я ему тоже постелил. А после мы завернулись в плащи и легли рядом. Поговорили немного... Он сказал, что если поместье его отца уцелеет – он даст нам рабов, и скота на развод, когда спартанцы уйдут; так что наше скоро начнет приносить какой-то доход. «Они никогда не остаются дольше двух месяцев, – сказал он, – а часто и того меньше...» И

как-то незаметно уснул, словно лампа погасла. У меня все тело ломило от усталости — весь день в седле, впервые в жизни, да и на земле никогда прежде не спал... Какой-то момент казалось, что вообще глаз не сомкну, а в следующий — было уже утро.

После того у нас было много таких же дней, или очень похожих. Иной раз мы спасали весь скот на куторе — держали спартанцев до тех пор, пока его не успевали увести; иной раз они нас били, и удерживали то, что сумели захватить... Тем временем часть крупного скота, по военному обычаю афинян, переправили на Эвбею, где было безопасно. То, что делал наш отряд, — это, по правде сказать, были мелочи. Главная работа была у Демосфена; его армия вышла в поле и заперла спартанцев в крепости Декелее. Ими командовал сам царь Агид. У них царей двое; потому они всегда свободнее с ними, чем любой другой народ. Это был тот самый Агид, который после землетрясения целый год не подходил к постели своей жены. Это я уже рассказывал. Войну он вел с такой ожесточенностью, словно у него была какая-то причина ненавидеть афинян; в подходящем месте мы к этому вернемся. Но Демосфен не давал ему особо развернуться. В Декелее его взять было невозможно; это сильная крепость, сам он ее захватил только потому, что в расчете на перемирие там гарнизона почитай что и не было. Однако он уже натворил столько, сколько обычно они успевали за весь сезон; потому мы думали, что скоро он уйдет домой и даст Демосфену возможность отплыть на Сицилию. Ну а пока работа Пограничной Стражи стала полегче, так что в иные дни мы даже вообще не видели дела.

Что до нас с Лисием — каждый, кто был на войне с любимым, поймет, что я имею в виду, когда скажу, что никогда мы не были вместе так много и в то же время так мало. Редко мы проводили хотя бы час, ни разу не увидев друг друга, потому что после того первого дня я всегда ехал с ним рядом и дрался бок о бок с ним; и ни у кого, я полагаю, не возникало вопросов по этому поводу. Но мы всегда были на людях, потому научились

разговаривать по-новому; и иногда, оказавшись наедине, почти лишались дара речи – только улыбались друг другу молча, не зная как начать. Лучше всего бывало, когда я стоял в ночном карауле; обходя посты, Лисий мог оставить меня напоследок; и мы могли поговорить тихонько, пока он не уходил спать. Но на маршах мы иногда пытались исследовать какой-нибудь вопрос и найти истину с помощью логики; потому что – говорили мы – какой толк выгонять спартанцев из Аттики, если мы сами станем не лучше их? Тогда мы вспоминали и Сократа, и всякое другое.

В отряде к нашей дружбе относились хорошо; ведь видели, что я и работаю и в ночных караулах стою, как все. Конечно, были обычные шутки, но по-доброму. Теперь, когда в стране стало спокойно, мы иногда уходили на прогулку, во время вечернего костра. Однажды, возвращаясь по траве – наших шагов не слышно было, – мы услышали, как Горгион объясняет наше отсутствие. Непристойности у него звучали остроумно, весело – и тут мы как раз появились в свете костра. Конечно же, присоединились к общему смеху... Но когда уходили в следующий раз – было как-то неловко. Мы знали, что они думают, но не хотели об этом говорить; может быть от скромности, а может и по другой причине. Ведь я уже не первый день был на войне; уже успел увидеть, как смерть трогает любовь за плечо и говорит ей: «Поторопись».

Наконец наши рейды кончились, нас сменил другой отряд. По всей стране было спокойно; последний лагерь мы разбили возле Сунийского мыса. Я сомневаюсь, что гарнизон в крепости потом говорил нам правду, будто нас слышно было за четыре стадии от нашего костра; но нам на самом деле было весело. Помню, что всех по очереди хватали за руки-ноги, раскачивали и швыряли на кучу-малу. Под конец половина отряда навалилась на Лисию, и когда мы его одолели – закинули тоже. На следующий вечер нас должны были разместить в Сунии, а тот день был наш.

Мы с Лисием поехали верхом вдоль берега. Море синело совсем рядом, скалистый красный берег изрезан

на мелкие бухты... Возле одной такой мы натянули поводья после долгой скачки и, глянув на чистую голубую воду, разом, не сговариваясь, скинули одежду. Вода сначала обожгла, но потом оказалась теплой, и мы поплыли далеко в море; плыли пока не видно стало Храма Посейдона в Сунии. Лисий плывал быстрее, — он же борец, руки и плечи у него очень сильные были — но он ждал меня, как я его ждал при беге. Мы отдохнули на воде, потом поплыли к берегу, и там стали ловить руками рыбу в мелких впадинах меж камней. Веселились, смеялись... Но выходя из воды я ощутил острую боль сбоку стопы и увидел кровь. На обломок раковины наступил или на черепок какой — рана была глубокая. Лисий опустился на колено, стал ее осматривать, а я облокотился на его плечо.

— Скверно будет, если наберешь туда песка, — сказал он. — Это может стоить тебе венка. Промой хорошенько, а я тебя отнесу, куда можно коня подвести, — это он к тому, что берег скалистый был.

Я сел на плоский камень и стал болтать ногой в воде. Вода была прозрачная, и кровь расходилась, словно дым в голубом небе. Я сидел и смотрел на это, пока Лисий не тронул меня за плечо:

— Пошли?

Я откинулся назад, чтобы он мог поднять меня, схватил его за шею... Но он меня не поднял, а я его не отпускал. И мы беззвучно звали друг друга. Над нами кричала чайка, — словно чтобы сказать нам, что мы на берегу одни...

Я сказал сердцу своему: «Какой могущественной силе сопротивляюсь ты!» Право же, любовь похожа на Сфинкса египтян: лицо улыбчивого бога, а когти как у льва... Когда она меня поранила, я ни о чем больше не мечтал — только броситься в ее глубину, и чтобы поглотила без остатка. Я зывал к душе своей, но она ускользала от меня, словно соль, смывая назад в океан. Она таяла и уносилась; вытекала из меня, как кровь, что капала на мокрый камень.

Я лежал между морем и небом, сраженный Охотником; бессмертные огненные гончие Эроса сорвались с

привязи, вцепились мне в горло, рвали меня изнутри.. Теперь мне казалось, что душа моя здесь, если она вообще где-нибудь была; во мне ничего не осталось от того, кем я был; одно только я помнил – я обещал дар Сократу. Но тот, кого любил я, знал мои мысли; быть может то были и его собственные... Мы понимали друг друга без слов – и замерли, не шелохнувшись.

Он отпустил меня, встал возле камня на колени, закрыл рану губами и держал так, пока не остановилась кровь. Мы молчали; он стоял на коленях в воде, а я лежал, словно жертва на алтарном камне, и яркое небо слепило мне глаза. Чуть погодя, он нагнулся, ополоснул лицо и поднялся, улыбаясь.

– Фракийцы, когда клянутся в дружбе, смешивают кровь – или пьют – я не помню. Теперь мы на самом деле один человек.

Он отнес меня на берег к коням, порвал свою тунику и перевязал мне ногу. Она зажила чисто, так что через пару недель я снова бегал.

Вскоре, когда мы вернулись в Город, я впервые увидел его с коринфянкой, с Дрозией; он попрощался с ней возле ее дома. До начала боев он как-то раз приглашал меня поужинать с ней, чтобы послушал ее песни. Я отказался. Рассмеялся и сказал, что пока мы не встретились – ему легче верить, что мы все трое могли бы любить друг друга. Не надо знать о жизни слишком много, чтобы успеть услышать – женщина всегда или недолюбливает друзей любовника своего, или слишком уж любит. Мысли о ней меня вообще никогда не тревожили. Но теперь, когда я ее увидел точь-в-точь такой, как представлял себе, – маленькая, нежная, за руки его держит... – сейчас я и огорчился и рассердился... И спрятался за колонной, чтобы он меня не увидел, уходя от нее.

Так я пошел искать Сократа; и хотя в тот раз я только слушал – сам молчал у него, – вскоре мне удалось подавить те мысли и отогнать их от себя. Я чувствовал, что если дам им волю, – нам с Лисием станет только хуже.

Когда, вернувшись, я въезжал во двор – мать смотрела на меня молча. Я был слишком молод и беззаботен, чтобы подумать, что она чувствовала, увидев вдруг человека в доспехах ее отца и на коне ее мужа. Я спрыгнул с седла, обнял ее со смехом, спросил, не приняла ли она меня за чужого...

– Я приняла тебя за солдата, – сказала она. – И вижу, что не ошиблась.

Это меня порадовало. Мне не хотелось, чтобы она думала, что доспехи достались не тому, кому следовало бы. А теперь нечего было и мечтать о новых, от Пистия.

В конюшне Коракс, второй отцовский конь, выглядел ужасно; на одной ноге даже язва была. Я возмутился, стал звать конюха, собираясь задать ему взбучку, какую задал бы отец, – старый конь показался мне вконец добитым, – но мать сказала, что конюх сбежал. В сельской местности такое началось уже давно; но что в Городе тоже – это была новость для меня. Она сказала, что разбежались тысячи рабов, так что ремесленники и торговцы в Городе бедствуют. Спартанцы всегда пропускали рабов через свои линии, чтобы подтолкнуть к побегу и других; они знали, как это нам навредит. Это была война; и мы с их илотами поступали так же, когда могли.

Из-за спартанцев наше состояние было наполовину порушено. У нас оставалось только небольшое имение на Эвбее – хорошая пашня, оттуда еще мог быть какой-то доход, – да кое-что в самом Городе, что в аренду сдавали. Так что Коракса надо было продавать, как только копыто заживет. Дядя Стримон зашел предостеречь меня от расточительности... Лицо у него было такое же длинное, как свитки со счетами. Он до смерти перепугался, когда сбежало поддюжины его рабов, и не успокоился до тех пор, пока не продал всех остальных.

– Наверно царь Агид скоро двинется домой, – сказал я однажды Лисию. – Он и так уже болтается на границе дольше обычного.

Лисий покачал головой.

– Разведчики поднимались к Декелее. Ты говоришь, ему пора уходить, а он укрепляет стены и окапывается.

Поначалу я попросту его не понял.

– Что? А как же мы вырастим что-нибудь и соберем урожай?

– А зачем выращивать то, что соберут спартанцы? Нам надо перековать плуги на мечи.

– Но почему, Лисий? Ведь спартанцы никогда не меняют своих обычаев. Они никогда прежде не делали такого.

– Ты думаешь, какой-нибудь спартанец до этого додумался? Нет, дорогой, на это у них ума не хватило бы; тут нужен афинянин. А никто никогда не скажет про Алкивиада, что он не окупается хозяевам, давшим ему приют.

До меня все это дошло не сразу.

– Но, Лисий, – сказал я, – если Демосфену придется сдерживать спартанцев – как же он попадет на Сицилию?

Лисий рассмеялся. Мы с ним шли по Городу; он был в чистом плаще и в сандалиях, но мне на миг показалось, что мы снова в походе.

– Как? А ты как думаешь? Он туда попадет, дорогой мой, потому что спартанцев будем сдерживать мы.

Я не мог себе представить, что Демосфен отплывет, пока спартанцы в Аттике. Да и сам Демосфен наверно тоже. Мы начали войну на Сицилии, как преуспевающий человек может затеять новый дом, который ему не по карману. Если все в порядке – такая стройка поднимет его репутацию. Мы привыкли побеждать; слава стала для нас таким же капиталом, как корабли и серебро, – и мы слишком резво пустили в расход и то, и другое, и третье.

Пару недель мы пробыли в Мунихийской крепости в Пирее, гарнизонную службу несли. Для большинства – для тех, кто попадает сюда в мирное время, записавшись в эфебы, – это первое приобщение к воинской жизни. Для нас это был лагерь отдыха. Но даже и так – странное было чувство, когда идешь мимо галерных ступеней или

находишь в старом арсенале – и видишь надписи, оставленные на стенах отцами, когда они сами эфебами были. У нас было очень много свободного времени, но мы его честно заработали.

Однажды мы были в палестре Аргива, смотрели как мальчишки тренируются. Лисий показал мне одного и сказал:

– Из этого парня получится нечто замечательное. Я его уже раньше заметил.

– Ты так думаешь? – спросил я. – По-моему он тяжловат.

Лисий рассмеялся.

– Нет, – говорит. – Я имею в виду борьбу.

Я еще раз посмотрел на мальчишку. Он боролся с противником намного больше себя; так получилось или сам выбрал... На вид ему было лет пятнадцать, но силен был для своего возраста – просто невероятно. Проводя захват бедра, он поскользнулся, его чуть не бросили... Схватку он все-таки выиграл, но Лисий сказал:

– Он уже делал эту ошибку. Не понимаю, как тренер не замечает. Мальчикам со взрослыми бороться нельзя – так ему просто не с кем работать... Сделай одолжение, Алексей. Пойди за ним, и скажи – вместе с приветом от меня – что он делает неверно и как это исправить. Если я сам с ним заговорю, то его наставник побелеет от страха.

Мы пошутили на эту тему, посмеялись... Он объяснил мне, что надо сказать.

Я пошел вслед за парнем в раздевалку; он уже чистился. Он на самом деле слишком был квадратен, чтобы красивым быть; а к тому времени, как повзрослеет, – если будет и дальше заниматься борьбой, – у него и вовсе пропорций не останется... Из-за тяжелых, нависающих бровей глаза казались посаженными очень глубоко; но когда он глянул на меня – они меня поразили. Яркие, бесстрашные... Я поздоровался с ним, передал совет Лисия... Он выслушал очень внимательно, потом сказал:

– Пожалуйста, поблагодари Лисия за меня. Скажи, это честь для меня, что он обо мне побеспокоился; и я его совета не забуду.

Голос у него был слабоват для такого телосложения, но приятный и тренированный.

– Спасибо и тебе, Алексей, что принес мне его совет. Я уж начал беспокоиться, не случилось ли что с тобой на войне; мы так давно не имели удовольствия тебя видеть...

Он сказал это как-то очень просто, скромно – но с изысканностью, какой я никогда не видел у таких молодых ребят. Но что поразило меня еще больше – как он при этом смотрел на меня. Он любовался моим лицом откровенно, но без дерзости; с таким спокойствием, словно ему уже лет тридцать.

Никогда прежде не получал я такого комплимента от мальчишки, на добрых два года моложе меня. Но обидеться было невозможно, и рассмеяться тоже; это был явно серьезный человек. Тут я заметил, что у него уши проколоты, и догадался, что он из какого-то очень древнего рода. Некоторые из них до сих пор носили старинные украшения, что передавались по наследству еще со времен Троянской войны. Серьги он конечно снял, чтобы бороться не мешали. Но даже если половину его самообладания можно было отнести на счет рождения его – все равно оно было замечательным. Я признался, что у него преимущество предо мной, и спросил, как его зовут.

– Аристокл, сын Аристона, – ответил он.

Все это я рассказал Лисию. Лисий развеселился; сказал, он мол надеялся, что меня можно послать к школьникам, не боясь, что там найдется соперник, готовый меня отбить... Но когда я назвал ему имя отца того парня – нахмурился.

– Знаешь, в смысле родовитости едва ли бывает выше. Его отец происходит от царя Кодра, а мать от Солона; божественное семя Посейдона с обеих сторон. Если бы Аттика до сих пор была царством, то старший брат его был бы наверно наследником. Но эта семья слишком часто вспоминает свое прошлое, Городу это не на пользу. Это, по сути, гнездо олигархов; и парнишка, вроде бы, племянник нашего изысканного Крития, который наверно уже обучает его риторике и политическим искусст-

ним. Впрочем ладно, во всяком случае бороться он может, этого не отнимешь.

Говорить больше не хотелось, потому что переваривать Крития стало еще труднее, чем обычно. Возле Сократа недавно появился молодой паренек, Эвфидем. Ему было лет шестнадцать, и был он беспокойным фантазером; постоянно куда-то рвался, к чему-то стремился, и был переполнен массой нелепых планов, которые он собирался воплотить, хотя не имел ни малейшего понятия, как к ним подступиться. Мне самому, к примеру, вряд ли хватило бы терпения на него. Но Сократ угадал, что под всей этой бессмыслицей парнишка был влюблен в совершенство, — и возился с ним без устали. Дразнил, высмеивая его напыщенность; поощрял, когда он начинал стесняться; закладывал солидные основы на место его легкомысленных замыслов... К тому времени, когда я его увидел, он уже начинал походить на человека... Но это все к Критию не относится.

А Критий ценил совершенство все меньше и меньше; и вместе с тем начал терять искусство его симулировать. На этот раз он уже не тратил время на какие-то церемонии, не пытался хотя бы изобразить благородную привязанность, — а сразу заявил свои претензии. Ясно, что его грубость шокировала паренька; я уже говорил, что он был застенчив. После неудачного начала, Критий теперь пробовал по очереди то лесть, то омерзительную назойливость, то — самое опасное для таких ребят — обещания познакомиться со знаменитыми людьми... Я узнал все это от Федона. Он ненавидел Крития больше, чем кто бы то ни было, и о причинах лучше было не спрашивать.

Став свободным, Федон перестал уходить от Сократа, чтобы не встречаться с Критием. Он оставался; но выглядел всегда так, будто лицо его на него надето. Такую приятную маску носит Дионис; в той пьесе, где посылает царя Пентея на растерзание менадам.

Однажды я сказал ему:

— Слушай, Федон. Надо же сказать Сократу. Я понимаю, почему никто этого до сих пор не сделал. Ему

конечно же будет больно, что человек, пробывший с ним так долго, может оказаться такой дрянью. И все-таки лучше, чтобы он знал правду.

— Да, — ответил Федон. — Я думал то же самое.

— Ты сказал ему? А он что?

— Он ответил, что уже говорил с Критием. Вроде, спросил, почему Критий приходит, словно нищий, к тому, кому сам хочет показаться сокровищем; да и клянчит при этом не чего-то достойного, а низменного.

После этого меня изумляло, что Критий вообще может хотя бы смотреть на Эвфидема в присутствии Сократа. Впрочем, он почти и не смотрел. Но я сам от него натерпелся — и очень скоро понял, что там происходит. Отец паренька доверял Сократу и обычно отсылал сына одного, без наставника. А ему было стыдно заговорить, как и мне когда-то.

Вскоре после того случилось так, что с войны освободилось больше людей из нашей компании, чем обычно. Только что со своим отрядом вернулся Ксенофон; выглядел он так, словно провел в походах несколько лет... Незадолго до того они потеряли несколько человек, и их заместитель командира тоже погиб. Ксенофона назначили на его место; и он так здорово управлялся, что гипшарх утвердил его в звании. Он был наверно самым молодым заместителем в Страже. Федон там тоже был. Агафон — он был где-то в деле гоплитом, и заявился пропитанный духами, чтобы отбить, сказал он, запах лагеря, — Агафон пришел вместе с Павсанием; Лисий со мной, а Критий приклеился к Эвфидему. И вот Сократ разговаривал с Ксенофоном о его делах — и тут, вдруг, Эвфидем дернулся в сторону; это к нему Критий притиснулся втихую. Сократ умолк на полуслове.

Наступила удивительная тишина, насыщенная беспокойством тех, кто знал в чем дело, и удивлением остальных. Даже маска Федона стала потоньше, и сквозь нее показалось его лицо с чуть приоткрытым ртом. Эвфидем, бедный мальчик, — он наверно уже давно боялся чего-нибудь в этом роде, — Эвфидем выглядел так, словно вот-вот умрет от стыда. Но нам всем довелось увидеть и кое-что еще. Между Сократом и Критием

образовалось свободное пространство, и теперь они пристально смотрели друг на друга. Я часто видел, как Сократ притворяется сердитым; он тогда выглядел очень забавно – наполовину страшно, наполовину смешно... По настоящему рассерженным я его никогда прежде не видел, и тут смеяться совсем не хотелось. Но при всей силе духа – виделось в нем что-то от коренастого старого каменщика. Если бы он подобрал молоток и швырнул Критию в голову, я бы в тот момент не удивился; только потом. Но он сказал:

– Критий, ты что, чесотку подхватил, что ли? Что ты трешься об Эвфидема, словно свинья о камень?

Можете себе представить, какая наступила тишина. Ведь Сократ никогда не укорял при всех даже самого младшего из нас; а Критий был старше всех остальных, и самый влиятельный, самый богатый, самый родовитый... Если бы сам Зевс поверг его своим громом к нашим ногам, мы наверно были бы поражены не больше, чем в тот момент.

Критий словно вмиг похудел, вокруг рта у него пожелтело... Но я не мог оторваться от его глаз. Он почти задыхался от ярости, но не дал ей выплеснуться, и использовал как орудие воли своей. Я подумал: «Он старается запугать Сократа». Мужчина во мне был потрясен, а мальчик стоял разинув рот, словно смотрел на пожар.

Я глянул на Сократа. Лицо его еще было красно от гнева, но этот гнев уже умер. Он стоял, как скала, – и у меня вдруг волосы зашевелились. Это было не от страха; я долго еще не мог понять, что это такое, пока однажды не почувствовал то же самое в театре. Там тоже мужественный человек смело встречал свою судьбу.

Кое-кто наверно ощутил это еще острее, чем я. Агафон вдруг как-то странно, скрипуче хохотнул и прикрыл рот рукой... Глаза у Крития распахнулись, потом снова сузились – он резко повернулся и пошел прочь.

– Скажи мне, Ксенофон, раз ты уже сам офицер...

Наверно из всех нас только сам Сократ и помнил, о чем он говорил перед тем. Даже Ксенофон не сразу

смог подхватить нить беседы; но тут же спохватился и продолжил разговор – так спокойно, словно это был марш по вражеской территории, – пока все остальные не пришли в себя и не присоединились.

Уходя, мы с Лисием долго шли молча. Наконец я сказал:

– Лисий, Критий убил бы его, если бы мог. Ты видел его глаза?

– Да, зрелище не из приятных. – У него такая манера была; поменьше говорить о том, что его тревожило. – Но ты не расстраивайся так уж слишком. У нас цивилизованный город; Сократ политикой не занимается, за свои уроки платы не берет – Критию его зацепить нечем, судебного иска не получится. По-моему, так оно и лучше; наконец мы от него избавимся.

Я едва зашел домой в тот вечер и только собирался переодеться – пришел Федон. Такого еще не бывало, чтобы он приходил без приглашения. Позвал со двора: «Пошли погуляем»... Я хотел предложить ему поужинать; но глянул на него повнимательнее – и вышел вместе с ним в вечерние сумерки. Он очень быстро повел меня в сторону Пникса и вверх, на холм. На вершине никого не было, кроме нескольких влюбленных, да еще детишки играли. А мы сидели на плите ораторской трибуны и смотрели на Верхний Город. На фоне нежно-зеленого неба колонны казались черными, в храмах желтели лампы... Роса увлажнила пыль и опавшие листья; появились летучие мыши, трещали цикады... Федон рвался в гору, словно леопард на цепи, но теперь сидел совсем неподвижно, опершись подбородком на ладонь. «Он успеет состариться, – подумал я, – прежде чем позволит утешить себя в страдании, как принимают утешение другие люди». Он выглядел, словно шедевр, какой можно изваять, отрешившись от всех страстей. Наконец я сказал:

– Зверям приходится истекать кровью молча, но людям боги дали речь...

Он улыбнулся мне, как улыбаются ребенку, что дергает за одежду. Потом спросил:

– Ты никогда не удивлялся, почему я ненавижу Крития?

– Нет, Федон. Не скажу, чтоб удивлялся.

Он кивнул.

– Ты наполовину угадал. Я был новичком у Гургия, самый первый раз... И настолько был зелен – показал ему, что он мне не нравится. Я даже ждал, что он пожалуется хозяину...

Я обхватил себя руками; холодно стало.

– Все берут плату за обучение, а Критий сам заплатил за привилегию учить меня. Я узнал, как он бьет... Как сказал недавно Сократ, дар знания у нас не отнять никогда.

Я вовремя вспомнил, что если кто-нибудь к нему прикасался – он всегда шарахался в сторону. И ждал. В мертвенном свете казалось, что на нем серебряная шапка; а блестящие темные глаза были старыми-старыми, словно у змей Аполлона.

– Сначала я приходил к Сократу, – сказал он, – ради его умения отрицать ложные авторитеты. Приятно было смотреть, как он подрывает самодовольство дураков. Я думал – вот человек, который не станет смягчать истину, а пойдет за ней до конца. Так и я пошел за ним; а он завел меня туда, куда я заходить не собирался. Когда он разрушает все понятия и ничего не оставляет вместо них – это мне не страшно. Справедливость, святость, истина... – пусть их нельзя определить, но показать их можно! Что ж, сегодня я могу сказать, что я его лучший ученик во встречах доводах. Я превзошел своих соперников, Крития и Алкивиада.

Я молчал, стараясь не сердиться на него, за то что он и меня затягивает в омут своих страданий. Вдруг он повернулся ко мне:

– А ты все еще мыслишь нутром, Алексей. Не позволяй Лисию размягчать тебя. Он тебя любит – и сам не ведает, что творит; слишком он наивен. Если ты в бою повернешь спину, он умрет от стыда... Думай головой, даже если это больно. Вот скажи, если человека освободить от догмы и обычая – куда он пойдет? К

тому, что любит, или к тому, что ненавидит? Как ты думаешь, много людей ненавидят Лисия?

– Лисия? По-моему, его ненавидеть невозможно!

– Вот так же и Сократ думает. О том, что любит он сам; о мудрости, о боге... Потому он открыл клетку общей морали и выпустил на волю Алкивида. А теперь и Критий бежит в горы; и станет ограничивать свои желания не больше, чем любой волк. Я уже долго слежу, как Критий освобождается от души – если тебе нравится это слово – или от чего бы то ни было, что удерживает человека на двух ногах вместо четырех. Я прошел весь его путь, шаг за шагом, потому что его разум зеркало моего, – пока не оказался на пороге его выводов. На самом краешке стоял. Говорят, дар истинного учителя, в том, чтобы открыть человеку его самого... У Гургия я однажды лежал без сна, думал как его убить. Но было уже поздно.

14

Вскоре мы снова пошли воевать. Царь Агид сидел в Деклее; и уж если Фивы освободили его спартанцев – он следил, чтобы они без дела не болтались. Однако с ними стало полегче. Отчасти потому, что они вообще склонны к медлительности (хоть и не настолько, насколько изображают писатели-комики), а еще и потому, что мы столько встречались с ними за время перемирия – стали относиться друг к другу больше как к соседям, а не врагам. Я особенно помню двоих раненых, которых мы подобрал. Один из них мог спастись, но рванулся назад, увидев что второй упал. На другой день мы передали их через глашатаев; потому что снова начать воевать они могли не скоро – а убивать беспомощных людей всегда неприятно, тем более если они проявили мужество. Ночью я принес им поесть – и спросил, верно ли, что они любовники. Они сказали, верно; и рассказали, что у них в городе есть обычай, чтобы друзья приносили клятву на могиле Иолая, которого любил

Геракл. После того они всегда сражаются рядом, и их ставят в первую шеренгу, чтобы усилить фронт; потому что они, как никто другой, предпочитают смерть бесчестью. «Когда-нибудь, — сказал младший, — из нас соберут целый полк, и тогда мы победим весь мир». Он повернулся к своему другу, и тот — хотя и слаб был очень — улыбнулся ему. Мне хотелось поговорить с ними подольше, но они оба страдали от ран — не стал их беспокоить.

В начале лета Демосфен отплыл на Сицилию. На этот раз флот уходил без ликования, без праздничных церемоний, — только жертвы и возлияния богам. Мы с Лисием, и со всем отрядом, выехали на холм и смотрели, как паруса уходят за горизонт. Мы с ним переглянулись, улыбнулись друг другу... Потом он обернулся к отряду и крикнул: «Слава нашим отцам, и удачи Демосфену!» Мы все подхватили... И были очень горды от мысли, что когда Армия вернется с победой — никто не скажет, мол, мы сидели без дела среди женщин.

Да, в следующие месяцы эта гордость нам ох как пригодилась! Я был силен — и в расцвете молодости, — но мало когда в жизни уставал так, как в то время. В полях созревали остатки урожая, и только кавалерия могла их спасти. Вся пехота, какая осталась, была на стенах; захватчики были слишком близко. В дневное время по очереди дежурили горожане; часто люди и занимались своей работой, и на базар ходили за покупками, не снимая доспехов. А по ночам все мужчины, годные к службе, спали в местах сбора возле храмов, чтобы Агид не мог застать нас врасплох.

Всадники располагались возле Анакейона. Теперь пришла наша очередь смотреть на поводыя Блинецпов на фоне звезд; и я не раз стоял на посту на той самой стене, где стоял с отцом, когда мне было пятнадцать. В небе занималась красная заря, и мы — часовые — начинали ждать сигнала трубы, который и звучал вскоре... Мы выводили своих измученных коней, растирали им ноги, одеревеневшие со вчерашнего дня, — и снова уходили в рейд. Но нередко ночевали и в горах; под любым кровом, какой могли найти, а то и под открытым небом.

Иногда, когда ночи были холодные или дождь шел, мы с Лисием прижимались друг к другу, чтобы согреться; но никогда не укрывались одним плащом, потому что если сделаешь это зимою — сделаешь и весной. Вспоминая те дни, я не знаю, за счет чего держалось наше целомудрие. Нам было некогда вспомнить о философии или задуматься о богах — разве что когда эскадрон совершал утреннюю или вечернюю молитву... Наверно больше всего остального нам помогала постоянная усталость. Но иногда, на ночном дежурстве, когда Галактика разворачивала свою книгу по безлунному небу, — я знал, для чего мы друг другу, и куда посылаал нас Сократ. Когда Лисий уходил спать, я часто чувствовал, что любовь — это словно гора, на которую поднимается душа моя. У подножия горы широкие склоны с разными скалами и ручьями, лесами и полями... Но наверху — один только пик; и если ты идешь вверх, то все дороги ведут на него; а над ним — голубой эфир, в котором мир плывет, словно рыба в своем океане, и свободно парит окрыленная душа. И вернувшись отсюда — я какое-то время любил всех на свете. Товарища, на которого сердился днем; спартанцев, сидевших в Декее... Даже Крития мне было жалко; и я понимал, почему Сократ не выгнал его раньше. Но я при этом не тонул в мечтах; я видел хрустальное сияние ночи, и движение каждого кролика, и бесшумный полет совы.

К концу лета мы получили донесение с Сицилии; но ради краткости я приведу письмо отца, которое прибыло с тем же кораблем. После нескольких распоряжений, что делать в поместье, он писал: «Твой выбор друга я одобряю. Это молодой человек с хорошей репутацией, и отца его я тоже знаю. Не пренебрегай его наказаниями, будь то в добродетели или в боях, чтобы ваше товарищество почитали и боги и люди. Что касается войны, раз уж я не могу написать ничего получше, то прими как мужчина то, что пишу. Никий из-за нерешительности упустил победу. Демосфен хорош, но ему не везет. Он уже знает, что игра проиграна, и намерен вернуть нас домой, с тем что осталось, что сумеем спасти. Никий все тянет. Надеется то на знаменья, то

и демократов, которые откроют ему ворота Сиракуз, но не вмешательство богов. Но Сиракузы не Троя. Помню, он просто боится вернуться в Афины, потерпев поражение. Демосфен, однако, мужчина, и сделает все, что нужно. Держитесь до нашего возвращения, освободить Аттику будем вместе».

Я был почти готов к этим новостям; потому что пришли они с большой задержкой, а звуки победы летят быстро... И не думаю, что хоть кто-нибудь сильно удивился. Люди выглядели довольно мрачно, но повсюду было слышно: «Вот когда Армия вернется...» Все думали о своих деревнях; по горло были сыты царем Агидом, сидевшим на нашем горизонте.

Однако именно он облегчил нам один тяжкий вечер в Анакэйоне. Я полировал доспехи возле костра. Мы уже поужинали, но есть все равно хотелось; продовольствие поступало только морем, так что паек был скудный. Ксенофон подошел посидеть возле нашего костра; и дал ему свою флягу с маслом, мы с ним сравнивали раны... Кавалериста в палестре сразу видно по шрамам на руках, на бедрах – повсюду, где кончаются доспехи. Ксенофон пытался растолковать мне свое изобретение; длинную кожаную защиту для левой руки и кисти, которая не будет мешать с поводьями, как щит. Вдруг от одного из костров донесся оглушительный хохот. Потом у другого так же, у третьего... Смех разлетался от костра к костру, словно кто-то бежал с факелом и разжигал его. Мы уже поднимались на ноги, чтобы пойти узнать, в чем дело, когда Горгион явился с новостью. Хохотал он так, что едва не свалился в огонь.

Когда он смог, наконец, говорить – сказал:

– Хотите знать правду про царя Агида? Вы наверно думали, что он торчит тут у нас, потому что ненавидит и желает нам зла? Вы ошибались, друзья мои! Это родственные чувства не позволяют ему покинуть нас; он с нами связан, можно сказать, самыми священными узами!.. Он может гордиться, что послушался знамения и оставил свою жену нетронутой. Если бы не это – он стал бы отцом еще одного спартамца, только и всего; а теперь он отец афинянина!

– Афинянина? – Я не решался поверить подступавшему знанию, пока не вспомнил общий смех. – Но не скажешь же ты, что все это время Алкивиад грел постель царю Агиду?

– Да кому нужна та постель?! Наверно ему частенько бывало прохладно после купания в Эвроте – теперь мы знаем, почему он ни разу не простудился...

Несколько лет назад, когда я был в гостях у Ксенофона в его новом доме возле Олимпии, я в разговоре с ним вспомнил этот случай. Он сказал, что всегда считал в высшей степени возмутительным, если злословят по поводу благочестия достойного человека, и не в состоянии себе представить, как можно найти в этом что-либо смешное. Конечно, за долгие годы воспоминания у людей расходятся... Но я помню, что тогда он смеялся так же громко, как и я.

– Ну что ж, – сказал я. – Во всяком случае, Эврот он себе подогрел. Быть может ему даже жарко было.

– Да уж конечно! Ведь спартанские дамы не так застенчивы, как наши. У них ведь привилегия оповещать город, если мужчина уронит щит... И если о них говорят, – им это только славы прибавляет... Когда он подарил ей мальчика, она этим хвасталась повсюду.

– Расскажи, – сказал Лисий, – как он доказывал свою невиновность?

– Говорят, ребенок его точная копия. Но он вывернулся с обычным изяществом – научил ее выставять его дурачком. А сам отвечал всем, что он мол, со своей стороны, никогда не был беспомощной жертвой Афродиты. Им, мол, двигали благородные мотивы, он хотел, видите ли, основать династию царей!..

Мы отдышались, вытерли глаза... И кто-то сказал:

– Говорите, что хотите, но другого такого никогда не будет.

Так мы веселились, делились остатками вина, начали рассказывать похабные истории, потом спать пошли... Наверно, я потому так запомнил тот вечер, что вскоре всякому веселью в Городе пришел конец.

Мы гнали спартанцев от одного хутора возле Марафона, когда Феникс споткнулся и скинул меня на землю; но Лисию показалось, что меня сбили копьем. Как бы то ни было, я сломал ключицу; и меня оставили на том хуторе, отлеживаться. Но я так боялся за Феникса, что каждый день поднимался приглядеть за ним. А кроме того, хозяин был стар, а жена его – вовсе нет. Платы за обучение она не брала, как Сократ; но размотала повязку, которой Лисий закрепил мне плечо. Я из-за этой повязки неуклюж был. Хорошо, что он захал через несколько дней посмотреть, как я поправляюсь, а то бы я остался кривобоком по сей день. Мне пришлось ехать в Город и снова сращивать кость.

Он сам тоже был ранен. Когда отбивал меня у спартанцев, ему руку прокололи. В тот момент он не обратил внимания, но теперь стало не до шуток, перевязка нужна была каждый день. Большинство из нас обнаружило, что все заживает хуже, чем прежде; питание было скверное, да и измотаны все были вусмерть... Мы с Лисием впервые были ранены одновременно, и считали это отпуском.

Однажды мы гуляли на Агоре; оба были слабы, у обоих болело... Лисия еще лихорадило, а я только-только начал выходить из дому. На другой стороне площади послышался шум – мы пошли посмотреть. Впрочем, особенно не спешили; давка в толпе тревожила раны. Однако получилось так, что человек, вызвавший эту суматоху, двигался в нашу сторону и тащил ее за собой. Это был метэк, фригиец, в фартуке цирюльника. Он воздевал руки, призывал богов в свидетели и требовал, чтобы его отвели к архонтам.

Я хорошо помню, как он выглядел; низкорослый, гладкий, пузатый, с рубином в ухе и с бородой, завитой в знак его ремесла. Он очень торопился и теперь был блит потом от волос до бороды; и был похож на коротышку, что вызывает хохот в комедии, представляя будто обделался со страху. Но никто не смеялся. Разве

что боги, сидящие над облаками. Они, быть может, говорили: «Мы посылали вам Перикла, чтобы учил вас, – этой чести мало было вашему Городу? Мы посылали вам знамения и предсказания, и писали в звездах; и боги на улицах ваших были поранены, чтобы предупредить вас, – но вы, афиняне, решили по-своему. Вам хотелось топтать пурпур, вам хотелось быть выше Необходимости и Судьбы. Ну что ж, раз так – получайте!»

Он запыхавшись шел нам навстречу; а толпа вокруг кричала, словно он порезал клиента во время бритья или затребовал чрезмерную плату. Увидев нас, он вырвался от окружавших его людей и выпалил, задыхаясь:

– О господин!.. Я вижу, ты благородный человек, господин, и солдат к тому же... скажи им, господин, Город дал мне вид на жительство на эти семь лет, господин... и кто же пойдет ко мне если брошу свою цирюльню в такое утро, и корабль как раз пришел... и чтобы я выдумал такое?.. Я клянусь, господин... человек ушел от меня меньше часа назад, и я сразу кинулся сюда... пусть боги будут свидетели!.. Защити меня, господин, ты и этот благородный юноша, друг твой... отведите меня к архонтам, потому что люди себе позволяют... с иностранцами, господин, хотя я уже семь лет...

Лисий повернулся к людям и сказал, что они должны отдать того человека в руки закона, что бы тот ни сказал, – и каждый может прийти и увидеть правосудие. Они чуть притихли; но какой-то старик в кожаной одежде, оружейник наверно, закричал:

– А сколько он еще наболтает по дороге? Заткнуть ему рот смолой, говорю! Тебе не трудно сдержаться, сын Демократа, а у меня три сына в Армии. Три сына! И сколько еще таких, как я, не сомкнут глаз нынче ночью из-за выдумок этого лжеца? Все ради того, чтобы стать кем-то хоть на день – ублюдок заморский! – и прославить свою вонючую лавчонку!..

Тут шум поднялся еще громче, чем прежде. Коротышка втиснулся между мной и Лисием, как цыпленок прячется под крылом курицы, и нам пришлось пойти с ним. Он стрекотал нам в уши, а за нами шумела

толпа; и все звали прохожих вскруг, а те кричали в ответ и присоединялись к этой давке... А цирюльник сопел, пыхтел и хрипло выдыхал свой рассказ, перемежая его именами покровителей, которые замолвят за него слово, и обещаниями постричь и побрить нас бесплатно.

Такого посланника избрали боги, чтобы принес афинянам весть, что наша Армия на Сицилии исчезла с лица земли.

У него было заведение в Пирее, возле причала, куда приходили торговцы из Италии. Колонисты забегали к нему, сойдя на берег, чтобы привести себя в порядок после дороги. Сегодня пришел корабль; один из пассажиров зашел и сел на скамью, подождать свою очередь... И, заговорив с соседом, сказал: «Когда я в прошлый раз был у вас в Городе, было время празднеств; гирлянды на улицах, факелы по ночам, вино рекой лилось... А теперь боюсь встретить тех, с кем подружился тогда. Что можно сказать людям в такой беде? Сам-то я считал войну ошибкой. Я из Регии и кое-что о Сицилии знаю; я сомневался, что афиняне так уж много чего добьются. Но – клянусь Гераклом – если бы мне тогда сказали, что будет такая катастрофа!.. Две огромных армии, два флота... Что славный Никий и герой Демосфен – оба погибнут бесславно, как воры... Да что в конце концов они оба в сравнении с таким множеством храбрецов – и все перебиты или, хуже того, в рабстве...» Тут весь народ в цирюльне закричал, – о чем, мол, он толкует, – а он, оглядываясь вокруг в изумлении, сказал: «Так вы еще ничего не знаете? Никто ничего не слышал? Вся Италия только об этом и говорит!» И тогда цирюльник бросил свою бритву, и бежал всю дорогу от Пирея, и вот он здесь... Но мы с Лисием верили ему не больше остальных.

Мы проводили его в пританий. Ведь нельзя же, чтобы элины, живущие по законам, наказывали человека на основании уличных слухов. Мы оставили его там и ушли. У Лисия скулы горели и глаза блестели от лихорадки.

– Ты слишком много ходил, – сказал я.

– Это ничего, но рана горит.

Я заставил его пойти домой, промыл ему рану настоем, что доктор прописал, отжал теплую ткань и забинтовал. Пока работал, плечо у меня опять разболелось, как не болело уже давно... И все это время мы обсуждали, как примерно надо покарать цирюльника за то, что будоражит народ ложными вестями... Но было так, словно больные тела наши знали правду лучше нас.

Архонты обошлись с цирюльником сурово. Слухи росли, как на дрожжах; а он не мог ни назвать своего информатора – ни сказать, куда тот делся. В конце концов его подвергли пытке, – он не был гражданином, – но никакого толку от него не добились, решили что он уже и так достаточно наказан, и отпустили. А дней через десять из Италии пришел другой корабль; и люди, которых он привез, не стали заходить к цирюльнику, хоть им это было бы очень нужно. Это были беглецы из нашей Армии; те, что побросали щиты свои и попрятались в лесах. Тогда мы узнали, что цирюльник еще пощадил нас, не все рассказал.

Демосфен прибыл к Армии, словно человек, навестивший друга после долгой отлучки. Семья говорит: «Ему в этом году нездоровится», – но свежий глаз видит смерть, стоящую за спиной. Сиракузцы держали оба рога бухты и высоты над ней. Он выбрал смелую тактику и атаковал высоты. Какое-то время бой шел на равных, но темнота помогает тем, кто знает местность... Даже после этого Никий был готов тянуть дальше, видя что вся его славная жизнь заканчивается позором. Но Демосфен, будучи здоровее телом и благороднее в мыслях, устыдил его и заставил решиться. Он согласился уходить. Все было подготовлено тщательно и тайно – сиракузцы ни о чем не подозревали, – нужна была только темная ночь, чтобы выйти из бухты; но как раз подошло полнолуние праздника Афины. Здесь, у нас, ночь была облачной, а там луна ярко освещала море и скалистые высоты. И когда она была уже в зените – лицо ее стало уменьшаться, пока все не погрузилось во тьму, словно она закрылась большим щитом.

Вы бы подумали, что Никий возденет руки к небу и пообещает Афине гекатомбу быков, за то что так позаботилась о своем народе. Ведь это случилось в ночь ее праздника, когда к ней возносились молитвы всех афинян... Мне всегда казалось, что отвергнуть ее дар, тень ее прита, — это было, по своему, не меньшее богокульство, чем заявления Анаксагора, будто Гелий это всего лишь раскаленный камень. Но Никий не увидел в этом знаменении ничего кроме бедствия, и уговорил столько, что Демосфен не смог настоять. Решили ждать новолуния.

И вот они ждали. А сиракузцы снова напали на корабли; и потопили столько, что уже не хватало вывезти всю армию. Пока они рассуждали, что теперь делать, — враги выстроили свои корабли поперек выхода из бухты и связали их в плавучее заграждение. Тут уж не нужны были никакие оракулы, чтобы понять, что если не прорыв, то смерть. Стали готовиться к битве.

Вот теперь Никий работал за двоих, словно пробудившись от наркотического сна. Следил за подготовкой кораблей, наставлял триерархов и солдат... Напоминал им знаменитые слова Перикла, что они принадлежат к самому свободному народу в мире; а сиракузцы — подданные тирана, — но даже они решили сражаться за свою свободу насмерть... Два года над ними висела судьба Мелоса. Теперь они посадили людей на корабли вдоль берега бухты — и ждали.

Наши корабли повел на заграждение Демосфен. Они напали с таким мужеством, что захватили заграждения, и уже начали сбрасывать цепи и канаты, — но тут сиракузский флот ударил им в спину.

Говорят, что в тот день в Большой Бухте сражалось две сотни кораблей. Вода была забита ими; они таранили друг друга и сходились в абордаже — и не могли разойтись; рули ломались в давке; корабли, потеряв управление, наваливались на чужих и на своих, сбивались плотной массой, так что отдельные схватки сливались в сплошное побоище; гоплиты прыгали с палубы на палубу — и попадали под дротики с собственных кораблей; шум был такой, а противник так близко, что люди

часто не знали, чьи команды они слышат – своих или чужих триерархов.

Тем временем, на берегу афиняне беспомощно следили за битвой; словно это была игра в кости, где на кон была поставлена их жизнь. Они то ликовали, то впадали в отчаяние – в зависимости от того, как колебалась чаша весов в морском бою... Но четыре пятых побережья бухты было у сиракузцев, – если прижимало, они могли выбраться на берег где угодно, – а у афинян осталась лишь крошечная полоска, что оставил им Гилипп; они были заперты со всех сторон. Наконец, те корабли, что не были потоплены, стали возвращаться; и люди повернулись от моря, усеянного обломками и мертвыми телами, к враждебной земле.

В конце концов они прорвались по суше, оставив убитых непогребенными. И словно мало было упреков бездомных теней – им пришлось бросить раненых и больных. Так получилось; иначе пришлось бы оставаться на смерть вместе с ними. А те тащились следом, цепляясь за друзей своих, пока еще могли идти или ползти, – и падали, и умоляли, проклинали, или выкрикивали последние приветы, – и их голоса висели над Армией вместе с тучей коршунов и воронья. Те, кто остались в строю, шли по каменистой бесплодной земле. Мучили голод и жажда, сиракузцы наседали со всех сторон, не давая передохнуть, – так они шли к своему концу. Подошли к реке. Берега крутые. Они спустились вниз – напиться и перейти реку, – сиракузцы их окружили и заперли там. Афиняне бились в воде, а сверху на них градом летели камни, дротики, стрелы... Река стала мутной от грязи и текла кровью умиравших; но жажда была такая, что тот, кто доходил до воды, – падал в нее и пил, пока другие не затапывали его. Многие там утонули.

Демосфен упал на собственный меч, но был взят еще живым, так что доставил врагам удовольствие убить его. Никия они тоже убили, но как это было никто не знал. Из рядовых многие тысячи погибли на месте; многих уволокли сиракузские солдаты, чтобы продать и заработать на этом; остальные стали общественной добычей

Государства. Беглецы, спрятавшись в лесах, видели, как их угоняли, словно голодный скот... Что было дальше, они не знали.

Когда они уходили из Города, женщины рыдали, а по улицам были разбросаны цветы. Но, когда умирает Адонис, плакать можно – ведь слезы облегчают сердце, а боги возвращаются...

На притихших улицах – человек, увидевший знакомого, переходил на другую сторону, чтобы не пришлось разговаривать. Идешь мимо домов – то и дело слышишь, как женщина плачет в одиночестве, и этот заунывный плач ходит по дому вместе с ней... Я слышал его и у нас, и наконец сбежал в Город. Мы с Лисием тянулись друг к другу, как звери зимой; иной раз даже и не разговаривали часами, просто надо было быть вместе...

Через пару дней, вечером, я пошел в Анакейон. Кони фыркали и топтались, тишина их тревожила... Там и сям возле костра кто-нибудь играл в кости, чтобы время скоротать... Я подошел сзади к человеку, которого искал. Он выбросил две шестерки, но не заметил этого, пока кто-то не пододвинул ему выигрыш. Я тронул его за плечо и позвал: «Ксенофон!»

Он обернулся, поднялся от костра и отошел со мной в сторону. Глаза его смотрели пытливо и тревожно; но он сказал спокойно, будто при случайной встрече:

– Рад тебя видеть, Алексий. Ты уже можешь сесть в седло?

– Нет еще. Но я принес тебе новость. Твой отец погиб.

Он вздохнул – длинно и бесшумно, – словно с него свалилось тяжелое бремя.

– Ты это точно знаешь?

– Я говорил с человеком, видевшим его смерть. Он погиб при штурме высот, за месяц до конца. Их всех похоронили тогда у берега бухты, в общей могиле.

Он взял меня за руку; никогда в жизни он этого не делал.

– Спасибо, Алексий. Не уходи. У меня тут есть чуток вина.

Я часто задумывался, что я смогу сказать Ксенофону, как смогу утешить его, если погибнет его отец. Вот так Случай опрокидывает все помыслы наши. Он разделил со мной свое вино, настаивая, чтобы я выпил, как угощают тех, кто принес добрую весть. Когда я уходил, он спросил:

– А у тебя, Алексий? Никаких вестей?

– Пока нет.

– Прости. Будем надеяться на лучшее.

Однако, хоть я расспрашивал каждого уцелевшего, кого удавалось разыскать, – узнать ничего не мог.

Вот так созвали Собрание, и мужчины пошли на Пникс. Они там пробыли не очень долго. Я ждал Лисия в мастерской седельщика на ближней улице. Там пахло старой кожей и конским потом; в мастерской почти не было новых седел, – мало кто из рыцарей мог себе это позволить, – все была только ремонтная работа. Сам седельщик был на Собрании; я заговорил с мастером-метэком о воспаленных поджилках и о примочках для коней. Наши почти все время хромали – отдохнуть им было некогда, – а мое плечо уже позволяло оседлать Феникса. Пришел Лисий. Выглядел он лучше, чем все это время после ранения. С ним был и седельщик, они смеялись чему-то. Лисий сказал:

– Все в порядке. Мы не сдаемся.

Седельщик похлопал мастера по плечу:

– Воспрянь, Бригий! Пока что из тебя не сделают илота.

– Не три руку, Лисий, – сказал я. – Ты же знаешь, что от этого хуже.

– Чешется, – ответил он. – Теперь начнет заживать, я чувствую, что яд ушел.

Наступила осень. Во дворе на винограде выросло несколько гроздьев, а на холмах Аттики, в разоренных виноградниках, одни сорняки. Война опять затихала, как все войны с подходом зимы. Мы несли свою патрульную службу; фиванцы иногда переходили границу, чтобы нам не слишком вольготно жилось... Половина кавалерии стояла в готовности у Анакейона, остальные небольшими отрядами объезжали страну и возвращались... По

утрам стало прохладно; так, что когда прибежишь в палестру – видно, как от борцов пар идет... Но я большую часть своего отпуска бегал. Коринфяне прислали глашатая, и тот объявил священное перемирие Посейдона и пригласил послать участников на Истмийские Игры. Я не говорил Лисию о своих надеждах, на случай если из них ничего не получится. Городу приходилось посылать свою команду морем, в объезд, так что взять могли лишь немногих.

Мы снова вышли в дозор. Было несколько дней чудесной погоды; морозные ночи, серебряный иней по утрам, золотистые дни... Однажды вечером проезжали мы через тот хутор, где я лежал когда-то со сломанным плечом. Пока наши покупали сыр, хозяйка поманила меня за угол. После всего, что было в прошлый раз, – я лучше всего помнил, как плохо она меня лечила. Но при встрече все оказалось по-другому, и она мигом уговорила меня, что раз с больным плечом было хорошо, то со здоровым будет еще лучше. Она была светловолосая, стройная, плотная... Лицо загорело, но тело белое-белое. Закончилась наша беседа тем, что я еще забегу к ней нынче ночью – если встанем лагерем не слишком далеко, – а она, на всякий случай, заночует в амбаре.

Если я и скрывал что-нибудь от Лисия, – очень недолго это у меня получалось; так что давно уже рассказал о прошлом своем приключении. Возможно, ему и не понравилось – он был не настолько мелочен, чтобы это показать; но сказал, что мне не надо бы ходить за замужними женщинами, словно у мужа нет никаких прав.

– Это со всяким может случиться, – сказал он, – как с тобой. Но это же воровство, тут никуда не денешься. Тебе ведь было бы стыдно выехать на чужом коне, верно? Почему же позволять себе вольности с другой собственностью? В следующий раз, когда тебе понадобится женщина, – купи...

– Но, Лисий! Ему это совершенно безразлично. У него все это в прошлом, ему только хозяйка в доме нужна; она сама мне сказала!

Я выдал эту старую сказку настолько искренне, что он не удержался от смеха. Но сами понимаете, что на этот раз мне вовсе не хотелось говорить ему, куда я собираюсь. Этой ночью я был свободен от дежурства; так что едва он уснул – я улизнул из лагеря.

Я знал – или думал, что знаю, – короткую дорогу через гору; потому оставил коня и оружие. А вот меч взял; хотя надо бы знать, что это гораздо глупее, чем не брать ничего вовсе. Ушел я, когда луна еще не взошла; так что в темноте потерял дорогу, и какое-то время бродил, пока не нашел ориентир свой, скальный выступ. И в тот же момент услышал голоса и звон оружия. Скала отбрасывала эхо и искажала звук; я обошел ее – и наткнулся на фиванского гоплита. Выхватил меч – еще двое навалились на меня сзади... И теперь уже я не мог выдать себя за кого-то другого.

Думал, убьют на месте; но они повели меня к своему лагерю на склоне холма. Пока сам не почувствуешь, трудно понять разницу между борьбой с другом в палестре – и тем, как обращается с тобой враг. Это был небольшой отряд, человек двадцать-тридцать. Подойдя к костру, где сидел их командир, они резко толкнули меня вперед, так что я споткнулся; а руки были связаны – подстраховаться не мог, – упал больно... Все вокруг засмеялись. Я поднялся сначала на колени, потом встал. Волосы были опалены, лицо в крови... Офицер был коренастый мужик с густой черной бородой, а голова лысая. Они ему сказали, что я шпион; они, мол, на меня наткнулись, подходя к лагерю. Он подошел, повернул меня и посмотрел на мои руки. На левой была пара шрамов, каких вы не найдете у гоплитов, закрытых щитом.

– Пограничная Стража? – спросил. Я не ответил.

– Где твой эскадрон?

– Не знаю. У меня конь пал, я отстал от своих, весь день один. – Я надеялся, что он мне поверит. Страшно было.

– Так где ж твое оружие? – спросил он.

Человек, захвативший меня, сказал, что у меня был меч.

– Я пленных не беру, афинянин, – сказал офицер. – Но если скажешь, где твой эскадрон, я тебя отпущу. Посмотри, как нас мало. Мы только хотим не погибнуть сами...

Двое из его людей переглянулись; а из-за скал я услышал голоса, и виднелись сполохи других костров.

– Скажи, – повторил офицер. – Жизнь свою спасешь!

Я подумал, что если сокру что-нибудь, то меня потащат заложником, а конец будет еще хуже. Потому вообще не ответил.

Кто-то предложил:

– Давайте, посадим его в костер.

– Мы эллины, – ответил капитан. – Ты будешь говорить, афинянин?

– Я ничего не знаю.

– Ну что ж... Кто захватил этого человека?

Тот гоплит шагнул вперед.

– Доделывай свою работу.

Двое схватили меня за плечи, а третий ударил сзади под колени древком копья. Я упал на колени, и так они держали меня. Была ясная, холодная ночь; костер трещал и кидался пламенем, а звезды в небе были похожи на искры с наковальни, белые и голубые. Пока не окажешься один среди врагов – никогда не узнаешь, насколько храбрость твоя зависит от желания оставить доброе имя среди людей, от того, что тебя видят любимые и друзья. Если б я думал, что просьба о жизни сможет их тронуть, – попросил бы; но не хотелось стать для них посмешищем. Я подумал о матери – она теперь одна останется с малышкой... Язык во рту стал сухим и горьким... Еще подумал, как долго придется умирать, когда меч уже во мне будет... Потом вспомнил Лисия.

Капитан поманил того, кто захватил меня, и махнул рукой. Тот кивнул и скрылся из виду. У меня за спиной послышался звук его доспехов. Сердце прыгнуло к горлу, и я сказал:

– погоди!

Кто-то засмеялся. Один из державших меня за плечо сплюнул и сказал:

– Ты что, испугался, афинянин? Мой сын был в Микалесе, который вы разорили вместе с фракийцами. Ты слишком еще молод, эфеб, чтобы храбрым быть, а? Ему было всего восемь...

– Оставь в покое тень ребенка, – сказал я. – Кровь за кровь смывает все. Тот человек позади меня – пусть он встанет спереди.

– Тебе что, легче будет? – спросил человек за спиной.

– Конечно. Мне говорили, что вы, фиванцы, понимаете такое. Разве тебе все равно, как тебя найдут друзья – убитым в грудь или в спину?

Они замешкались, переговариваясь друг с другом. И тут человек, подошедший от другого костра, сказал:

– Что-то голос знакомый. Дайте-ка, я на него гляну...

Он вытащил из костра горящую головню и поднес мне к лицу. Его я рассмотреть не мог, – пламя слепило, – но что-то показалось знакомым. Он сказал:

– Да, тот самый! Мне с ним надо рассчитаться. Все остальные могут не беспокоиться, дайте его мне.

– Забирай на здоровье, – сказал офицер, – если это доставит тебе удовольствие. Только сделай, как он просил.

Человек поднял меня на ноги, показал мне свой меч...

– Пошли, – говорит.

Я подивился, что он такого собирается со мной сделать, что стыдится остальных, не хочет чтобы видели. Он повел меня мимо скал, потом мимо каких-то деревьев... Ярko мерцали звезды; после костра было холодно... Наконец он остановился. Я сказал:

– Твоих друзей здесь нет, фиванец, но боги есть.

– Вот пусть они нас и рассудят. Ты меня знаешь?

– Нет. Что плохого я тебе сделал?

– Прошлым летом я попал в плен к Пограничной Страже, я и мой друг. Там был парень по имени Алексей; говорили, что он возлюбленный капитана.

– Правильно говорили. Если у тебя счеты с Лисием – я за него. Но тебя он убьет.

– Он прислал нам еды ночью, а ты ее принес. Мой друг не мог есть, чтобы напиться, так ты ему голову держал, помнишь?

Теперь я вспомнил.

– Его звали Талмид, – говорю. – Он еще хотел собрать полк из любовников и победить весь мир. Он тоже здесь?

– Он умер на следующий день. Если бы ты с ним плохо обошелся тогда, я бы сегодня вырвал тебе сердце.

Он завел меч под мои путы и перерезал их одним рывком. Меч был острый, да и он не слаб.

– Ты не тот Алексей, что увенчан был за длинную дистанцию?

– Да, я бегун.

– Все афиняне хвастуны, – сказал он. – Покажи-ка, как ты бегаешь.

Я вернулся в лагерь где-то за час до зари. Часовой, когда я сказал пароль, – он и глядеть на меня не хотел. Сказал, что Лисий не спал всю ночь. Он лежал на своем месте, возле сложенного оружия, доспехи его рядом с ним; а сам с головой в плащ завернулся. Когда я подошел, он не пошевелился; но я знал что он не спит, мнится. Всю дорогу назад я думал о нем. И сказал себе: «Если заговорю, то мы поссоримся. Сейчас мне надо быть рядом с ним, а утром пусть ругается». Я взял свой плащ и лег возле него. Усталый был, но заснуть не мог; и не знал, спит он или нет. Наверно в конце концов я задремал все-таки; потому что проснулся в холодных сумерках зари – и увидел, что надо мной склонился Лисий.

Остальные все еще спали, потому он спросил шепотом:

– Ты сильно побился?

– Побился? Нет, – ответил я.

– Ты весь ободран и в крови.

Я успел забыть, как меня швыряли фиванцы. Мы поднялись и пошли к ручью умыться. Серый туман заполнил долину и висел над водой. Все тело ломило, было холодно... В этот час жизнь едва теплится, больные умирают... Лицо у него было серое от усталости. Я подумал, что он наверно был готов бросить отряд и идти искать меня.

– На волосах тоже кровь, – сказал он. Нашел ссадину и промыл.

Я подумал: «Вот такая любовь, как сейчас, – на самом деле должна быть любовью души».

– Если бы он убил тебя, застав со своей женой, то закон поддержал бы его, – сказал Лисий. – Тебе холодно?

– Вода была холодная.

Он накрыл мне плечи своим плащом и обхватил рукой.

– Так ради этого мы приносили жертву богу?

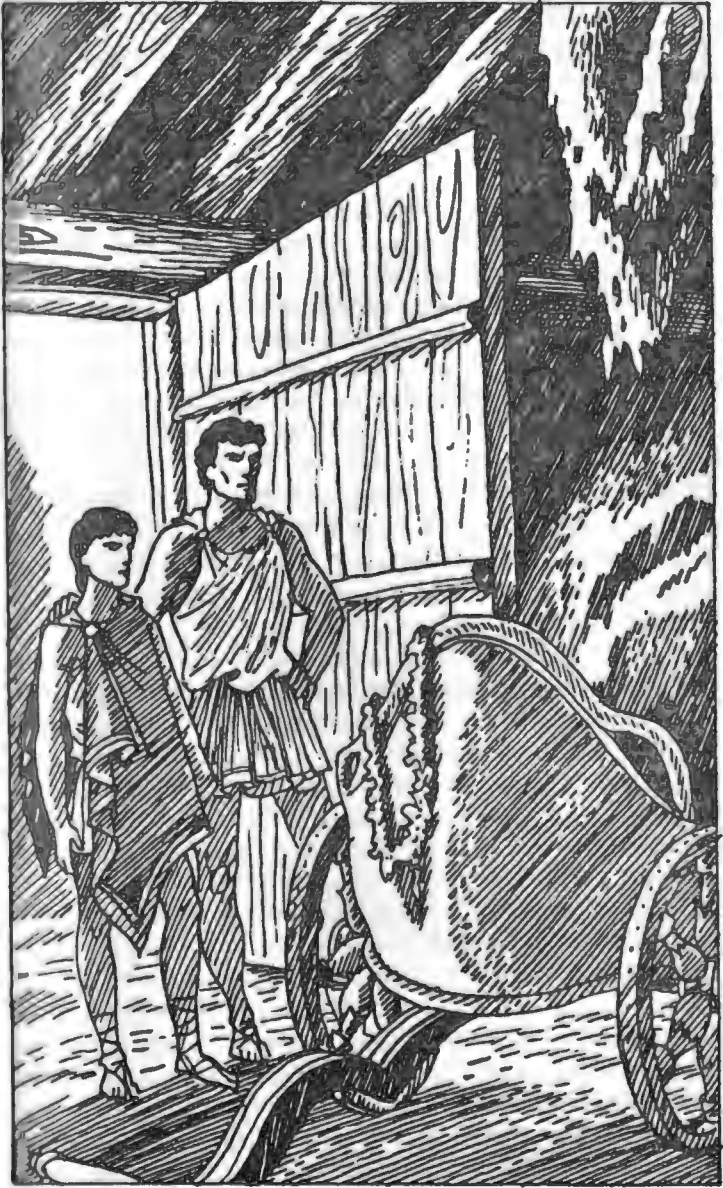
– Да, Лисий.

Мы стояли у ручья – было слишком холодно и сыро, чтобы сесть, – и я рассказывал ему, что со мной произошло. Просыпались первые птицы, сквозь туман серел склон горы, по черному терну стекала роса... Потом на вершине засветились красные лучи солнца, и мы услышали, что наши просыпаются. И пошли назад. Вытирать коней и готовиться к новому дню.

16

Лесной царь Агид вернулся в Декелею и снова, сразу, вторгся в Аттику. На этот раз они спалили все, что пропустили прежде, – или нам удалось отстоять, – и поместье Демократа пострадало одним из первых. Лисий узнал об этом, когда мы были в Городе, и пришел рассказать мне.

– Чем жаловаться, – сказал он, – мы должны благодарить богов за то, что сумели спасти. Тут отец может и меня поблагодарить. Мы уже месяц назад забрали оттуда все; но он не мог снять черепицу с крыши, пока я не приехал на несколько дней. На Эвбее у нас мыза осталась, коней там выращивают, и кое-что она давать будет, пока мы сможем их перевозить. Голодать нам не придется. Но человеку в его возрасте трудно принять перемены судьбы, так что теперь он снова болен... Пошли к нам, я тебе кое-что покажу.



Мы пошли, и он открыл одну из конюшен. Ворота на ржавых петлях скрипели... А внутри стояла колесница, покрытая паугиной. Работа была великолепная, в старом стиле; роспись фигурами из Гомера, позолоченная резьба... На колеснице висела засохшая гирлянда с выцветшими лентами; Лисий снял ее, из-под нее побежал паук...

– Это наверно с Пифийских Игр осталось, – сказал он. – Лет десять прошло, или даже больше, с тех пор как мы держали коней для нее. Да, давненько!.. Когда я мальчишкой был, наш колесничий часто брал меня с собой покататься; давал мне подержать руки на вожжах и думать, будто сам правлю. А я всерьез собирался когда-нибудь выиграть гонку, сам, как мой дед Лисий. Не хочу, чтобы отец видел ее, пока не почистим. Но завтра мы ее продаем.

А немного погодя я узнал, наконец, о смерти отца.

Это Сократ подготовил меня к тому, что мне предстояло услышать, и привел в дом к Эврипиду. У него на самом деле был дом, как у всех, недалеко от нашего; хотя потом все стали рассказывать дурацкую сказку, будто он в пещере жил. Это наверно потому получилось, что у него была маленькая каменная лачужка на морском берегу; он там прятался, чтобы работать не мешали. А что до разговоров, что он, мол, мизантроп, – я думаю, он скорее сокрушался о людях. Жалел их так же сильно, как Тимон ненавидел. Но ему иногда попросту приходилось сбегать от них, чтобы вообще иметь возможность писать.

Он поздоровался немногословно, но мягко; и смотрел на меня – будто извинялся, словно я могу упрекнуть его за то, что ему больше нечего сказать. А потом провел меня к человеку – я бы принял его за нищего, которого он отмыл и одел, если бы меня не предупредили. Кости его торчали из-под кожи, ногти на руках и ногах были обломаны и полны грязи, глаза утонули в глазницах; и весь он был покрыт гнойными ссадинами и болячками. На середине лба у него горело рабское клеймо – лошадь, – еще красное, со струпьями по краям... Но Эв-

рипид меня представил ему, а не его мне. Это был Лисикл, он командовал отцовским эскадром.

Он начал свой рассказ вполне внятно: но потом потерял нить, стал путаться в том, что не имело никакого отношения к делу, – пока Эврипид не напомнил, кто я такой и кто был мой отец. Но очень скоро он снова забыл обо мне – и замолк, глядя перед собой... Потому я передаю его рассказ не так, как он говорил тогда.

Мой отец, как я узнал, умер в каменоломне. Туда сиракузцы загнали после битвы государственных пленников, и там большинство из них закончило жизненный путь.

Карьеры у Сиракуз глубоки... Они там жили без крова, без защиты от палящего солнца или морозных осенних ночей. Те, кто мог работать, – добывали камень. Они все посерели от каменной пыли, которую смывали только редкие дожди. Пыль забивала волосы, и раны умиравших; и засыпала рты умерших, которых сиракузцы оставили гнить на месте. В скале негде было вырыть для них могилы, если бы даже нашлись у кого-нибудь силы на это. Но мертвый человек занимает больше места, чем стоящий на ногах; потому они их складывали штабелями; иначе живым негде было даже прилечь: а они и жили там же, и делали все-все... Скоро от них не стали требовать работы, потому что не было надсмотрщиков, способных вынести ту вонь. Им давали по десять горстей вареного зерна и по пять горстей воды на человека в день. Но стража не раздавала пайки, а опускала все разом, – и начинались драки из-за пищи и воды. Поначалу из Сиракуз приходило много людей, чтобы заглянуть в карьер и посмотреть этот спектакль; но со временем им это надоело, да и запах... Надоело всем, кроме мальчишек; эти приходили регулярно, и швыряли в них камни. Если снизу видели какого-нибудь горожанина, – те, кто еще не примирился со смертью, звали их, умоляли купить и забрать отсюда куда угодно... Страдали они так, что ничего уже не боялись; хуже было некуда.

Примерно через два месяца сиракузцы отобрали среди них солдат-союзников, поставили им клеймо на лоб и продали. Афинян по-прежнему держали в каменоломне: но к этому времени мертвых убрали. Среди них был и мой отец. Его тело пролежало там несколько недель, но Лисикл видел его еще свежим.

Тут он умолк и свел брови; словно пытался вспомнить, что же он пропустил. Когда лоб морщился, ноги лошади-клейма, казалось, двигались... Потом вспомнил – и высказал мне соболезнование по поводу потери отца; как любой учтивый человек говорил бы с сыном своего друга. Если не знать – можно было бы подумать, что это все я ему рассказал. Я поблагодарил его... И мы оба умолкли. И смотрели друг на друга, – но перед глазами у нас была та каменоломня; мы ее словно видели – и мечтали ослепнуть.

О себе самом он мне не рассказывал, но я услышал позже. Он немного освоил дорийский диалект, так что сумел выдать себя за аргивянина, был заклеямен вместе с ними и продан. Хозяин, купивший его по дешевке, был груб и жесток; в конце концов он предпочел голодать в лесах, и бежал. Но был слишком слаб, не мог идти, и его нашел какой-то сиракузец, ехавший к себе в поместье. Этот сиракузец догадался, что он афинянин, но накормил и напоил его, даже отвел ему спальное место... А потом, когда он немного пришел в себя, – спросил, не видел ли он в Афинах в последнее время какую-нибудь новую пьесу Эврипида. Из всех современных поэтов сицилийцы больше всех ценят как раз его. А живя в стороне от главных путей, они узнают что-нибудь новое самыми последними.

Лисикл ответил, что за год до того, как они отплыли, Эврипид получил венок за новую трагедию о разгроме Трои и о судьбе плененных женщин. Сиракузец спросил, не может ли он вспомнить что-нибудь оттуда.

Эту пьесу Эврипид написал сразу после падения Мелоса. Сам я ее не слышал; отец решил, что в его пьесах вредные мысли, и меня не взял. Но Федон рассказал мне однажды, что слышал эту трагедию; и что с того момента, как был повержен в бою, – и после

всего, что видел на своем острове, и пока был рабом у Гургия, — это был единственный раз, когда он плакал. И никто не заметил этого, потому что все афиняне вокруг него плакали тоже. Лисикл и слышал эту пьесу и читал; так что он научил сиракузца всему, что знал, а тот дал ему за это мешок провизии и одежду — да еще и дорогу показал. Это был не единственный такой случай. К Эврипиду пришли потом несколько афинян, чтобы рассказать ему, что один из его хоров служил им платой за еду и питье; а некоторые, поначалу проданные в качестве домашних слуг, становились наставниками, если знали его пьесы, — и в конце концов снова увидели родной Город.

Но отец мой любил смеяться вместе с Аристофаном, так что для него не было дороги назад. Я даже не знал, рассыпана ли над ним хоть горсть земли, чтобы успокоить тень его. Мы совершили жертвоприношение для него на домашнем алтаре; дядя Стримон и я; и я срезал для него свои волосы. Совсем скоро, став мужчиной, я должен был отдать их Аполлону; этого бога отец всегда почитал больше всех остальных. Укладывая на алтаре венок, в который были вплетены мои черные локоны, я вспоминал, как сияла его голова в солнечном свете, словно чистое золото... Хотя ему было уже сорок, когда он уехал на Сицилию, этот цвет почти не поблек; и тело у него было, словно у тридцатилетнего атлета.

Я сказал Стримону, что отец умер от раны в первые дни плена. Такую историю я сочинил для матери; и не хотел, чтобы он проболтался.

А вскоре я снова вернулся в строй — и оказалось, что это утешает. Когда рискуешь жизнью — чувствуешь, что приносишь жертву; и кажется, что боги, причинившие человеку боль сожалений, умиротворяются, хотя быть может это и не так.

Теперь, с приходом весны, верфи работали целыми днями. Повсюду на стапелях стояли оребренные кили: там и сям виднелись уже готовые суда, и возле них до полуночи горели факелы, чтобы светить корабелам... Это было прекрасное и вдохновляющее зрелище: радостно было видеть, как сходят на воду новые корабли. Теперь

мы боялись только одного: что союзные острова восстанут.

Все это время я ждал, когда гимназиархи начнут отбирать участников на Истмийские Игры. Если бы я мог выступать по группе мальчиков, то был бы уверен в успехе; но ко времени Игр мне уже будет восемнадцать, так что придется бежать с эфебами... Однако в отборочных забегах боги дали мне такую скорость, что она возместила недостаток искусства, и я оказался в числе избранных.

Я стоял, не помня себя от радости, – но тут подошел государственный тренер и сказал:

– Твое тело теперь посвящено богам; доложи своему командиру, что ты освобожден от воинской службы до конца Игр, и завтра утром будь здесь.

Через стадион на улицу я выходил, едва волоча ноги; не подумал заранее – и не знал, что разлука будет так тяжела. Это меня растревожило; казалось, что тут какое-то излишество, в котором мне стыдно было бы признаться даже Лисию. Я шел к его дому – и все гадал, как бы это ему рассказать, чтобы не слишком глупо получилось, – и тут встретил Ксенофона. А он сказал со смехом:

– Слушай, когда вы с Лисием будете праздновать сегодня – не забудьте долить побольше воды. Вы ведь теперь оба на сборах!..

Я уже входил в такой возраст, когда люди оглядываются, если бежишь по улице, – но не останавливался, пока не нашел его. Это была правда: он вместе с Автоликом был выбран на соревнования по панкратиону. Он тоже не говорил мне, что пойдет на отборочные: боялся, что из этого ничего не выйдет... Мы обнимались и смеялись, как дети.

На другой день тренировка началась всерьез. Все утро работа, после ужина прогулка, на одну часть вина всегда две части воды; и чуть стемнеет – спать. Отряд Лисий сдал другому рыцарю. До конца Игр мы могли братья за оружие, лишь если враги пойдут на стены.

Однажды, встретив меня после занятий, Лисий спросил:

– Помнишь того племянника Крития, Аристокла, борца? Ты как-то передавал ему привет от меня в палестре Аргива.

– О да! Сын Аристона; парень, который разговаривает, словно принц. Я его с тех пор ни разу не видел.

– Скоро увидишь. Он едет с нами на Игры, бороться по группе мальчиков.

– Значит ты был прав, когда сказал что о нем еще услышат?

– Еще как!.. Я представляю себе его шансы, если только другой город не выставит кого-нибудь вовсе невероятного. Он родился борцом, на нем это написано с головы до пят; даже портит его слегка, с виду разумеется. В палестре у него теперь прозвище, все зовут его Платон.

– И как ему это нравится? – спросил я. Я помнил, как он рассматривал мое лицо; словно сравнивал с каким-то представлением о красоте, которому я в тот момент соответствовал.

– Если у него с телосложением не ахти, – сказал я, – он не похож на человека, которому надо об этом напоминать.

– Пожалуй, ты прав. Он бегает в доспехах, чтобы держать себя в форме. Однако, немного подразнить его не вредно; а то уж слишком он серьезен всегда. А прозвище свое он принимает вполне нормально; по крайней мере манерам в этой семье учат... И это приятное разнообразие, увидеть одного из них в палестре вместо Ареопага.

Я собирался пойти посмотреть, как парень работает, если время будет; но как раз тут произошло такое – мелочи вылетели из головы. Пришел домой – сестренка, Харита, плачет во дворе. Она все время спотыкалась, падала и ударялась; как раз бегать училась в это время. Я взял ее на руки... Ей было всего два годика; она всегда голенькая бегала, если не было холодно, и тельце у нее было, словно свежее яблоко. Я ее развеселил, стал искать ссадину – нигде нет ничего, так что понес ее в дом. И тут увидел мать; сидит разговаривает со Стримоном, лицо покрывалом закрыто... Я еще подумал, до чего ж

она скромна, что так беспокоится с таким старым мужчиной... Но что-то здесь мне не понравилось; опустил я малыху на пол и вошел к ним. Тут мать сбросила покрывало и повернулась ко мне; так ведет себя женщина с мужчиной, под защиту которого отдали ее боги. Я подошел и встал с ней рядом. А потом взглянул на Стримона, увидел его глаза – и подумал: «Это враг».

Однако поздоровался с ним, как обычно. А он сказал:

– Я говорил твоей матери, Алексей, – и уже не в первый раз, – что не годится ей оставаться здесь одной, раз отец твой погиб и хозяйство без мужчины. Боги дали мне достаточно средств, чтобы позаботиться о ней. Будь добр, убеди ее в этом; она наверно боится стать обузой в моем доме.

Я подумал... Мне уже почти восемнадцать, – совсем скоро смогу стать ее законным защитником, – но в данный момент он глава семьи, так что его предложение вполне правильно, хоть и слегка навязчиво. Сначала меня больше заботило, как бы ему не захотелось взять к себе и меня. Но потом увидел, как она отвела глаза от его взгляда, – и понял.

Ему всего шестьдесят пять, здоровье крепкое... Конечно же, он предложит ей замужество; и многие женщины на ее месте приняли бы это с радостью... Тот ужас, что я ощутил, был конечно же только от молодости моей. Словно лишившись разума, я не высказал ни единого разумного возражения против ее ухода, а выкрикнул:

– Клянусь Зевсом, она останется здесь! И посмотрим, кто ее заберет!

Он поднялся со стула. Мы глядели друг другу в глаза, – мне и поверх щита доводилось видеть взгляды поласковее этого. Никогда не разрушайте бездумно претензий врагов ваших; обычно это лучшее ваше оружие против них. Мы оба вдохнули, чтобы заговорить, когда мать сказала:

– Алексей, помолчи! Ты забываешься.

Я почувствовал себя преданным; словно я ее защищал – а она мне нож в спину. Но, повернувшись и увидев ее глаза, понял, что она испугалась. Это было вполне естественно; ведь открытый разрыв с ним очень

осложнил бы нашу жизнь. Ее резкость привела меня в чувство. Я попросил у него прощения и начал говорить кое-что из того, с чего надо было начать.

– Прошу тебя, не затрудняйся извинениями, Алексей. Я представляю себе, что в кругу твоих друзей нет ничего необычного в том, что мы сейчас услышали. Там, где учитель не почитает даже бессмертных богов, а заменяет их новыми божествами, – трудно ожидать от ученика слишком много почтения к возрасту или родству, если речь идет всего лишь о людях.

У меня с детства была манера, – когда злился, – голову назад закидывать. То же самое я сделал и сейчас, и ощутил какую-то странность. Привык к весу своих волос, а их не было. Словно руку мне на голову положили, чтобы напомнить: «Ты уже мужчина!»

– Виноват только я, господин, – сказал я. – Учитель отчитал бы меня еще прежде, чем ты. Спасибо за твое предложение; но я не хочу, чтобы мать покинула дом, где я очень скоро стану хозяином.

– Через несколько лет, – сказал он, – когда ты приведешь в дом невесту, у мачехи твоей останется мало оснований тебя благодарить.

– Господин, я выберу себе только такую невесту, которая будет с почтением относиться к матери моей.

– Матери у тебя нет, – сказал он. – Эта женщина – жена твоего отца.

Я изо всех сил смотрел на его седую бороду, чтобы не взорваться, а то бы не знаю что было. Я и в бою редко когда так заводился. Мать заговорила – я ее поначалу почти не слышал... А она сказала, как говорят женщины отшлепанному ребенку:

– Хватит, Алексей. Попрощайся с дядей и иди.

Я ему так и не ответил. Ее несправедливость уязвила меня – но и отрезвила. Так что через момент я сказал:

– Хорошо, господин. Я полагаю, никто из нас не хочет демонстрировать наши семейные дела в суде. Вдобавок, к тому времени, как дело будет слушаться, я уже стану взрослым, так что ты его проиграешь. Мы отняли у тебя достаточно много драгоценного времени; можно предложить тебе что-нибудь перед уходом?

Когда он ушел, мне не хотелось заходить в дом. Наверно, чувствовал, что вел себя неправильно, и боялся упреков матери. Вместо того вышел на улицу – и в голове у меня осталась только одна мысль. Каждого знакомого я спрашивал, не знает ли он, где Лисий. Кто-то сказал, что он еще в гимнасии. На борцовской площадке его не было; но я нашел его на поле, он диск бросал. Как раз уравновесил диск в руке, – но увидел меня, задержался при раскручивании, бросок не получился.. А остальные видели, как это вышло, засмеялись над ним, – он снова взял диск и на этот раз метнул хорошо. Вскоре он закончил, вышел чиститься.. А мне казалось, никогда еще я не был так рад его видеть; едва смог поздороваться с ним. Когда он оделся и мы уходили, он спросил:

– Что с тобой? Ты на себя не похож; что-нибудь случилось?

– Нет, Лисий. Но я иногда удивляюсь, как я обходился, пока не узнал тебя. Сейчас мне кажется, если я вообще цеплялся за жизнь – это только потому, что не знал, чего был лишен. И если бы ты не ехал в Коринф тоже – я бы лучше отказался участвовать, чем нам с тобой разлучаться так надолго.

Он посмотрел на меня с улыбкой.

– Отказался бы? В Играх?.. Моя репутация в Городе лучше не стала бы, честное слово, если бы ты такое учудил.. Знаешь, я кажется понял, в чем дело; перетренировался ты, оттого и дергаешься. Послушай моего совета, не трать время на переживания – а вдруг другой город выставит кого-нибудь быстрее тебя. Ты этого знать не можешь; а если бы и знал – что толку?.. Как сказал мне однажды Сократ, ты можешь сделать со своим телом только то, что можешь; а выберут его боги или нет – это уже от тебя не зависит. Если бы мы не знали, что венок отдадут самому лучшему, то могли бы избавиться от тяжелого труда – сидели бы дома и пили.. Так что будь в мире с собой, дорогой мой; во всем нужна мера. Пошли купаться?.. Или скачки смотреть?.. Или говорить в колоннаде?.. – Он посмотрел на меня, нахмурившись в раздумье. – Автолик рассказывал, он

обычно проводит ночь с девушкой на середине подготовки. Не совсем то, что советуют тренеры; но он говорит, хорошо помогает.

– Я уж лучше не буду отвлекаться от тренировки, – сказал я. – А с этим подожду до Коринфа.

Я знал, чем славится этот город, и думал, что это звучит достаточно по-мужски. В конце концов мы пошли на скачки. Что бы ни творилось во мне, пока я его искал, – домой я шел в тот вечер, словно избавился от лихорадки.

Через несколько недель мне исполнилось восемнадцать, и я пошел на присягу. Дядя Стримон пошел со мной, ради приличия. Когда я удостоверил свой возраст и происхождение, стратег привел меня к присяге. Он сказал – очень искренне, – что, мол, полагает, я с нетерпением жду начала воинской службы, – потом взял меня за руку, посмотрел на шрамы и засмеялся.

Дома на моей кровати меня ждал мужской, взрослый плащ. Мать давно уже его соткала, и теперь от него пахло душистыми травами, в которых она держала свои вещи. Лисий уже научил меня, как его надевать. Я надел и пошел показаться.

– Мама, – сказал я. – Улыбнись, пожалуйста. Отныне тебе нечего бояться.

Она улыбнулась мне и попробовала заговорить, – но потом глаза ее наполнились слезами. У женщин это естественно; поддаваться вот так, от радости. Я шагнул к ней, вытянув руки, чтобы ее утешить, – но она воскликнула, нельзя мол мочить плащ слезами в первый раз как надел, не к добру... И так, уклонившись, ушла.

17

В назначенный день мы собрались в Пирее. Жрецы и видные горожане, что должны были возглавлять процессию, два тренера, – ну и атлеты, мужчины и мальчики. Аристокл приветствовал меня на причале, со своей старомодной учтивостью... Прозвище к нему прилипло;

теперь и мальчишки, и тренер, и все остальные звали его только Платоном. Он принимал это весело, и скоро я тоже привык звать его, как все.

Город посылал нас в Коринф на государственной галере «Парал». Это было мое первое знакомство с людьми, которых впоследствии мне предстояло узнать гораздо лучше. Но интересно, как быстро замечаешь разницу – на корабле, где вся команда свободные люди: и гребцы и все прочие. Место на «Парале» – самое почетное из всех, какие доступны человеку, не имеющему возможности приобрести доспехи гоплита. Часто это бывает главной причиной, толкающей людей в море; но со временем такая необходимость превращается в собственный выбор. В той команде все были великие демократы и с любым разговаривали только на равных: иные из пассажиров, кто сочувствовал олигархам, жаловались на их дерзость, даже наглость... Что до меня – я после болтовни в палестре готов был слушать их часами. Признаться, я не понимаю, почему моряк не может так же гордиться собой, как солдат, или даже атлет. Ни один не скажет, что это низкое занятие; как у тех, кто стиснут взаперти на рабочем стуле, калечащем тело и душу.

Автолик был у них фаворитом, как впрочем и у всех остальных. Я слышал, высокомерные люди говорили про него, что он, мол, не умнее породистого быка; и не стану врать, что он когда-нибудь блистал в разговоре. Но он был скромен в успехе, хороший товарищ и очень порядочный человек. Однажды, когда Лисий в очередной раз расхваливал его, я сказал:

– Не представляю себе, как вы, панкратиасты, можете соревноваться. Бегуну надо только оставить соперников позади. А вы с Автоликом через пару дней, если жребий вас сведет, будете бить друг друга по лицу, швырять наземь, пинать, ломать, душисть... Будете калечить друг друга, как только можно, – хорошо хоть кусаться не станете и глаза выдавливать, – а так будете калечить, как только можно, если без оружия. Неужели тебе это нравится?

Он рассмеялся.

– На панкратион выходят не для того, чтобы покалечить другого, а чтобы его победить. Можешь мне поверить, Автолик в бою – не очень подходящий объект для нежности.

Мы сидели ужинали в харчевне. На Саламине дело было, ветер встречный нас там запер на ночь. Автолик тоже там был, угощал кормчего. Я сказал Лисию:

– Он за последний год ужасно отяжелел. Это его даже портит внешне. Я в жизни не видел, чтобы кто-нибудь съедал столько, сколько он сейчас.

– Он всего лишь соблюдает свою тренировочную диету. По-хорошему, ему надо бы съесть еще больше; два фунта мяса в день.

– Мясо каждый день?.. Так ведь от этого станешь неповоротливым, как вол!

– Ну, знаешь, вес тоже кое-что значит. Тренеры в Городе думают по-разному... Так нам позволили продолжать, как кто привык, со своим тренером. А мой полагает, что панкратион был задуман как состязание людей, и панкратиаст должен весить столько же, сколько нормальный человек; и я с ним согласен.

В зале зажгли лампу; и казалось – весь Саламин собрался под окнами со стороны гавани посмотреть на нас. Уже прошел слух, кто мы такие. Я уже почти забыл, как это бывало – смотреть на Лисию со стороны, как на чужого; но глядя, как нас рассматривали эти люди, – постарался это сделать. Посмотрел – и подумал, что сам Тезей, выходя бороться на Истме, не мог выглядеть лучше. Плащ его был распахнут, и в свете лампы блики играли на гладких буграх мускулов, тело походило на масленую древесину. Шея и плечи его были тверды, как камень, но не раскаты вширь; он был легок и грациозен, словно скакун. Ясно было, что люди снаружи заключали пари на его победу – и завидовали мне, что я рядом с ним. А он по своей скромности думал, что они на меня смотрят.

На другой день мы увидели порт Истмии, а на фоне неба – гору с круглой вершиной, на которой стоит Коринфская крепость. Когда рассеялся туман, стало видно, как стены обвивают верх горы, словно лента на

голове. На самой вершине я рассмотрел крошечный сверкающий храм и спросил Лисия, знает ли он, что это такое.

– Это должен быть храм Афродиты, – сказал он. – Этому храму принадлежат девы Богини.

– Они там живут? – спросил я. Мне очень понравилось, что Афродита держит своих девушек, как голубей на высокой сосне, чтобы их нелегко было достать. Я представил себе, как они просыпаются на заре и облачают одеждami цветущие тела свои, – по утрам прохладно, – как спускаются к источнику на горе... Девушки белые, как молоко, золотистые, как мед, и темные, как вино, – присланные в дар Киприде из всех земель, какие есть под солнцем.

– Нет, – ответил Лисий, с улыбкой наблюдая за моим лицом. – Храм для таких, как ты, кто любит любовь на вершинах. А девушки – в городском святилище, иначе Богине трудно было бы разбогатеть. Но ты не расстраивайся; после Игр мы с тобой сходим и туда, и туда. Ночью к девушкам, а на рассвете – на гору. Посмотрим, как приносят утреннюю жертву Гелию, когда он поднимается из моря.

Я согласился. Решил, что это очень подходит людям, которые боролись за славу перед лицом бога. И в мыслях уже видел, кого себе выберу; она раскрывала мне объятия при свете маленькой лампы, а густые блестящие волосы тяжело лежали на подушке.

Все вокруг нас тоже смотрели на приближавшийся берег; и разговаривали – мужчины же, на жестком тренировочном режиме, – разговаривали о радостях Коринфа. Вспоминали названия бань и публичных домов, имена знаменитых коринфских гетер, начиная с Лаисы... Увидев поблизости Платона – серьезного, как всегда, – я хлопнул его по плечу и спросил:

– Ну, друг мой, а что ты хочешь сделать в Коринфе?

Он обернулся ко мне и тотчас ответил:

– Напиться из фонтана Пирены.

– Из Пирены? Из источника Пегаса? Ты что, собираешься стать поэтом?

Он посмотрел на меня испытующе, не смеюся ли над ним, – я уже говорил, что он был не дурак, – и, удовлетворившись, ответил:

– Да, собираюсь. Надеюсь.

Я посмотрел на его тяжелые брови и мощное тело. В лице его было какое-то своеобразие, не позволявшее назвать его уродливым; мне пришло в голову, что когда повзрослеет – внешность у него будет даже заметная, впечатляющая. Я с подобающей серьезностью спросил, сочинял ли он уже что-нибудь. Он сказал, что написал несколько эпиграмм и элегий, и почти закончил трагедию, про Ипполита. Потом понизил голос – отчасти, наверно, от мальчишеской застенчивости, но и от взрослой осмотрительности тоже, – понизил голос и сказал:

– Я вот думал, Алексей. Если бы вы с Лисием оба победили здесь – какая тема для оды!..

– Замолчи, дурак! – Я хоть смеялся, но и сердит был тоже. – Победные гимны сочинять до состязаний, это же к неудаче. Бога Аполлона ради, не надо твоих од!

Тем временем, приближаясь к порту, мы увидели среди сосен громадный храм Посейдона, а вокруг него гимнасии и палестры, стадион и ипподром. Когда сошли на берег, нас с величайшей учтивостью встретили люди из Совета Игр, прочитали нам правила, разместили, показали где кормят... Все раздевалки и бани были гораздо красивее, чем у нас дома; мрамор повсюду, и оголовки водяных труб из фигурной бронзы. Вокруг уже было полно участников, которые приехали раньше нас. Когда я вышел на тренировочную дорожку – увидел там ребят из всех городов Эгейского моря, до самого Эфеса.

Само занятие проводилось очень разумно, но мне не понравилось, как они позволяли разным зевакам толпиться вокруг; там и разносчики были – продавали талисманы и мази, – и зазывалы из борделей, и игроки... Те выкрикивали ставки на нас так звонко, словно мы не люди, а лошади. Трудно было сосредоточиться на том, что надо делать. Но когда я ко всему этому привык и осмотрелся – оказалось, что из всех соперников мне там бояться некого, кроме двух-трех человек.

Один из них был спартанец, Эвмаст его звали; я с ним заговорил. Из любопытства: ведь никогда ни с одним не разговаривал, если не считать разговором, когда кричишь друг на друга через щиты. На дорожке он вел себя отлично, но вообще-то манерами не блистал. Он никогда не выбирался из Лаконии, был не уверен в себе при такой конкуренции – и пытался это спрятать подчеркнутым достоинством. Наверно он позавидовал моим боевым шрамам – стал показывать рубцы на спине. Это его пороли перед Артемидой-Ортией, как в обычае у них. Он мне сказал, что победил в соревновании: выдержал дольше всех, а следующий за ним – тот и вовсе умер. Я не знал, что ему ответить, но поздравил его. В общем, он нормальный был парень, разве что туповат слегка.

Гораздо меньше мне понравился юноша из Коринфа, некий Тисандр. Выиграть он, по сути, не мог – но сам он этого не знал; уж очень хорошо о себе думал, даже лучше чем его поклонники. Услышав, что про меня говорят – я, мол, ему опасен, – он проявил свою досаду с откровенностью, настолько же смешной, как и неприятной. Я сделал при нем пару рывков, но всю скорость показывать не стал, чтобы не пугать его до времени.

Лисий, когда мы встретились, рассказал, что в палестре толпа еще хуже, чем на стадионе: коринфяне обожают борьбу и панкратион. Я не стал спрашивать, как смотрятся его соперники. Ясное дело, ни один панкратиаст не станет работать в полную силу перед самыми Играми; а то ведь и на Игры не попадешь из-за травмы. Он был тихий какой-то, – но я не успел спросить его, почему. Внимание отвлек шум вокруг.

Мы с ним собирались идти через перешеек в Коринф. Но, казалось, не только сам Коринф пришел сюда к нам, а и большая часть Эллады, и вся Иония. Толпы на Панафинейх ни в какое сравнение не шли с тем, что творилось здесь. Каждый лавочник в Коринфе выставил сюда свой ларек или палатку; из них получились целые улицы. И продавали тут не только фляжки с маслом, ленты и прочую мелочь, как на любых Играх, но и дорогие предметы роскоши из города: бронзовые фигу-

ры и зеркала, шлемы с золотыми и серебряными заклепками, прозрачные шелка, драгоценности, игрушки... Богатые гетеры, окутанные ароматом духов, прогуливались со своими рабами, прицениваясь к другим товарам и предлагая свой собственный... Скоморохи глотали мечи и змей, жонглировали факелами, прыгали в кольца из пожей; танцоры, мимы и музыканты ссорились из-за площадок... Я думал, что никогда не устану бродить в этой толчее; каждый миг здесь появлялось что-нибудь новое. Мы зашли в храм – в портике спорила толпа софистов, – зашли и увидели громадного Посейдона из золота и слоновой кости. Он почти до самой крыши был. А потом снова пошли бродить меж лавок. Я стал невольно приглядываться к вещам: меч в серебряных ножнах, золотое ожерелье – оно словно специально для матери сделано, – прекрасный кубок для вина, расписанный подвигами Тезея, как раз такой я всегда хотел подарить Лисию... Неожиданно для себя я обнаружил, что впервые задумался о ста драхмах, которые Город дает истмийским победителям: что на них можно купить?

На следующее утро я всерьез взялся работать; до Игр оставалось всего три дня. В любом чужом гимнасии – хоть никого и не знаешь – всегда к кому-то тянет больше, чем к остальным. С этим человеком и чистишься, и полощешься в умывалке... Так получилось у нас с Эвмастом. Ну, во-первых от любопытства, а во-вторых – мы оба невзлюбили Тисандра; какие причины еще были, если были, я и сам не знаю. Я никогда прежде не знал человека, настолько сурового, а он – ясное дело – никогда не встречал такого разговорчивого. Но когда я уставал говорить за двоих, он каким-нибудь коротким замечанием ухитрялся снова втянуть меня в болтовню. Один раз, во время отдыха, он спросил, у всех ли афинян такие же гладкие ноги, как у меня. Он думал, это от природы так; мне пришлось объяснить ему, что умеют цирюльники. Сам он был худой, внешность у него была грубая, как у всех спартанцев – от суровой жизни, – а на голове копна волос. Они начинают отращать длинные волосы как раз в том возрасте, когда

мы их срезаем. Однажды я даже попытался рассказать ему о Сократе. Но он сказал, что если бы кто-нибудь в Спарте стал учить мальчиков спорить – такому человеку пришлось бы скоренько мотать отсюда.

Я думал, что Эвмаст мне будет опасен выносливостью, Тисандр быстротой, а Никомед из Коса – непредсказуемостью своей; про таких никогда не знаешь, что он учудит во время забега. Как раз это и вертелось у меня в голове на второе утро, когда пришел флейтист задавать такт прыжкам. В ожидании своей очереди, увидел я человека, который стоял сбоку и подзывал меня, рукой махал. Его можно было бы принять за плохо воспитанного поклонника, но тех я знал – и понял, что здесь что-то другое. Потому подошел к нему и спросил, чего ему надо.

Он сказал, что он тренер и интересуется афинской системой подготовки, а из-за войны не может приехать к нам. Задал мне несколько вопросов... Вопросы были как-то не по делу, и скоро я засомневался, что он тот, за кого выдает себя. Когда он спросил, как я оцениваю собственные шансы, я решил было, что это обыкновенный игрок, ответил какой-то избитой поговоркой и повернулся уходить. Но он меня задержал – и начал что-то крутить про Тисандра: как он высокороден, как богат, как его любят в семье... Я уж совсем было уверился, что это ошалевший влюбленный, – но тут он вдруг понизил голос и как-то слишком пристально стал глядеть мне в глаза:

– Его отец сказал мне, – говорит, – как раз сегодня, что готов отдать пятьсот драхм, чтобы увидеть победу своего сына.

Наверно, мы рождаемся с памятью о плохом, как и о хорошем; иначе я просто не знаю, почему так быстро понял его. Я только что прыгал в длину, с грузами в руках, и эти грузы так и были у меня. И вот правая стала подниматься – сама собой, я это почувствовал как бы со стороны, вроде и не собирался бить его. Мужик отскочил... Но даже сквозь страх его был виден расчет какой-то. И я вовремя вспомнил, что если сейчас его зашибу – меня арестуют за скандал в священных преде-

лах и на дистанцию не выпустят, так что бежать уже не смогу.

– Ты, сын раба и шлюхи, рожденный в канаве! – сказал я – Передай своему хозяину, пусть найдет меня после перемирия; я ему покажу, сколько стоит афинянин.

По возрасту он был примерно как мой отец, но проглотил это с глупой улыбкой.

– Не будь дураком, – говорит. – Никомед уже согласился, и Эвмаст тоже. Но если ты не вступаешь в сделку, то она отменяется, а любой из них может тебя побить, и ты не получишь ни обола. Я буду на этом самом месте в полдень. Подумай!

Я кинул ему непристойную фразу, что была тогда в ходу у мальчишек, и ушел. Флейта играла по-прежнему... Вы, наверно, видели в бою, как раненый поднимается, еще не почувствовав раны, еще думая, что сможет сражаться дальше. Так и я вернулся на свое место в строю, и в свою очередь прыгнул – и удивился, что прыжок получился такой скверный; на этой площадке, я думаю, никогда еще такого не видели. Я решил, что одной такой попытки достаточно с меня, – и ушел вовсе. Я не знал, что делать дальше, да и не видел смысла вообще что-нибудь делать. Весь мир, какой я знал, казалось растекся омерзительной грязью, словно сгнивший плод в руках.

В строю прыгавших выделялась блестящими розовыми рубцами на загорелой коже высокая спина Эвмаста. Если бы мне кто сказал, чуть раньше, что я его считаю другом своим, – я бы расхохотался; но теперь меня наполняла тошнотворная горечь. О спартанцах всегда говорят, что их купить легче, чем всех остальных. Дома-то они денег вообще не видят; а увидев впервые – особенно трудно устоять. Вы, конечно, можете спросить, с какой стати я так переживал за честь человека, который на будущий год, быть может, убьет меня или еще раз подпаит то, что осталось от дома моего. Но я подумал: «Сейчас подойду и скажу ему. Если он на самом деле согласился на подкуп, то он просто откажется. А если ему только предлагали, а он уже отказался, – он согласится пойти со мной и рассказать все это в Совете Игр.

Тогда я буду в нем уверен, а Тисандра отстегают и вычеркнут из забега... Но нет, стоп! Там, где люди подкупают своих соперников, клевета должна быть еще обычнее, да она и дешевле!.. Если мы заявим, а нам не поверят, — эта грязь прилипнет на всю жизнь. А если Эвмаст испугается и не пойдет со мной, то у меня нет свидетеля, и я так и не узнаю, подкупали его или нет. Не надо, ничего не надо... Надо только хорошо пробежать. И сохранить чистыми собственные руки. Какое мне дело до чужих?»

Я немного успокоился, и мысли прыгать перестали, — и показалось, будто слышу, как тот коринфянин шепчет мне на ухо: «Умница! Ты угадал: я лгал, когда говорил тебе, что другие тоже откажутся, если откажешься ты. Я это сказал, чтобы ты не почувствовал возможности легкой победы. Ну что ж, ты оказался сообразительнее, чем я думал. Эвмаст с Никодемом подкуплены, теперь тебе осталось побить одного Тисандра. Выходи на дорожку и получай свой венок».

Я пошел прочь от гимнасия, куда глаза глядят.казалось, что нет ни одной дороги, куда я мог бы свернуть с достоинством, и что я никогда уже не очищусь от этой скверны. И вот так, в настроении таком, ноги сами принесли меня к мужской палестре. Я подумал: «Вот он будет знать, что мне делать». И сердцу сразу стало легче. Но оно тут же замерло — и сказала мне: «И это ты называешь дружбой, Алексей? Игры вот-вот начнутся, он выступает в панкратионе, — своих забот ему мало?»

Он вышел раньше, чем обычно. Я не стал спрашивать, как у него дела, чтобы он не задал мне тот же вопрос. Говорил он мало, и это меня радовало, потому что мне самому нечего было сказать. Но чуть погодя он предложил:

— Погода отличная, ветерок... Давай поднимаемся на гору?

Я удивился. У него всегда все время было расписано; и вот так вдруг менять — ни с того, ни с сего — это было на него не похоже. Я испугался, что он заметил мое скверное настроение, но, по правде сказать, рад был такому развлечению. Полуденная жара уже спала, и

увенчанная башней вершина Акрокоринфа на фоне мягкого весеннего неба казалась золотой. Мы начали подъем. Другие горы, вокруг нас, словно становились выше, внизу сверкал Коринф и широко расстилалось синее море. Когда мы подошли под самые стены, я сказал, что может быть коринфяне не пустят нас в свою крепость, раз мы их враги. Ведь перемирие кончится... Но человек у ворот встретил нас вполне дружелюбно, поболтал с нами об Играх, и пропустил.

Когда пройдешь стены – там еще порядочный кусок остается, чтобы подняться на Акрокоринф. Это так высоко, что нет толчеи, как у нас на Верхнем Городе. Потому тихо; так, что слышно пчел в асфодели, и колокольчики пасущихся коз с окрестных гор, и дудочку пастуха... А стоит крепость на высоких скалах, словно крыша на колоннах храма, так что за стенами виден только необъятный голубой простор.

Священная дорога вьется меж алтарей, часовен и святых источников... Там было одно святилище, из серого камня; – мы зашли. После яркого солнца, внутри было очень темно. Посередине, где должен стоять бог, висел пурпурный занавес. Жрец в темно-красном одеянии сказал:

– Чужеземцы, ближе не подходите! Это храм Необходимости и Силы; изображение этого бога не для того, чтобы на него смотреть.

Я бы ушел сразу, это место меня как-то тревожило, но Лисий задержался и спросил:

– Можно нам принести жертву?

– Нет, – ответил жрец. – Этот бог принимает лишь назначенные жертвы.

– Раз так, пусть так, – сказал Лисий. И повернулся ко мне: – Пойдем?

Когда мы вышли, он молчал так долго, что я не выдержал и спросил, уж не тревожит ли его что-нибудь. Он улыбнулся, покачал головой и показал вперед. Мы как раз вышли на самую вершину и увидели перед собой храм.

Статуя Афродиты там вооружена щитом и коньем, но я в жизни не видел места, которое так наполнено

миром и покоем. Храм небольшой, изящный; из-под его террасы расходятся мягкие, пологие склоны. Далеко внизу остались стены и башни, горы вокруг словно висят в небе серыми и пурпурными покровами, и шелково блестят два моря; далеко-далеко, насколько хватает глаз. Я вспомнил, как мы с Лисием пошли от Сократа на Верхний Город. Казалось, что это воспоминание было здесь уже до нашего прихода, поджидало нас, словно всегда живет на этой горе.

Чуть погода Лисий показал вниз и сказал:

– Глянь, какое все крошечное.

Я посмотрел. Стадион и храм – все было, как на ладони, а будки торговцев вокруг – меньше детских игрушек из крашеной глины. На душе было легко и свободно, утренней мрази не осталось. Лисий обнял меня за плечи, и мне казалось, что сомнения и тревоги никогда больше не смогут затронуть нас. Мы стояли, глядя вниз; я рассматривал длинную Истмийскую стену, что разделяет юг и север Эллады. Лисий вроде собрался что-то сказать, но я в этот момент увидел такое, что закричал:

– Лисий, посмотри! Корабли идут по земле!

Через перешеек тянулась дорога; от нас она казалась узенькой, словно ребенок прутиком прочертил, и по ней двигались корабли. Очень медленно, движение было едва заметно. Вокруг каждого корабля была толпа моряков и каталей, крошечных как песчинки; тянули канаты или шли впереди с катками. Мы насчитали четыре на волоке и еще восемь в Коринфском заливе, ожидавших своей очереди. Они переходили из западного моря в восточное.

Я повернулся к Лисию. Он выглядел, словно перед боем, и на меня не смотрел. Я схватил его за руку, спросил в чем дело...

– Я слышал об этой дороге, – сказал он. – Тут нет ничего особенного, но кораблей что-то слишком много.

Тут я понял.

– Ты думаешь, это спартанские корабли крадутся в Эгейское море за спиной наших?

– Где-то на островах восстание. И спартанцы его поддерживают. Я уже подумывал, что Алкивиад слишком долго не дает о себе знать.

– Надо идти вниз, – сказал я. – Надо, чтобы все знали.

Змея, проспавшая всю зиму, начинала шевелиться. Но это казалось мелочью по сравнению с тем расстройством, что я чувствовал из-за необходимости уходить отсюда. Я сказал Лисию:

– Мы еще придем сюда после Игр, ладно?

Он не ответил, а показал на восток. Свет косо падал с запада, и вокруг было очень ясно.

– Я вижу до самого Саламина, – сказал я. – Вон горы на нем, с седловиной посередине.

– Верно, – ответил он. – А дальше видишь?

Я прищурился. За той седловиной что-то блестело, словно осколок хрустала на солнце.

– Это Верхний Город, Лисий! Это Храм Девы!

Он кивнул, но ничего не сказал. Стоял и смотрел, словно хотел врезать все, что видел, в память свою.

Когда мы спустились в Истмию, было уже темно; но мы пошли прямо в гавань и окликнули «Парал». Большая часть команды развлекалась в Коринфе, но Агий, кормчий, был на месте. Коренастый, обветренный, седой... Он угостил нас вином, под факелом, что горел на корме; а когда услышал наш рассказ – свистнул сквозь зубы.

– Так вот откуда они берутся в Кенхреях!

Он рассказал, что они с помощником пошли на прогулку вдоль берега – и увидели там в гавани тьму кораблей. Но ближе подойти не смогли, какая-то стража их развернула.

– Наверно, спартанская стража, – сказал он. – Я никогда не видел, чтобы коринфяне утруждали себя соблюдением тайны.

– Наверно, – сказал Лисий. – Но тогда почему мы вообще здесь? Они правильно сделали, пригласив нас и всех наших приехать, раз основателями Игр были оба города. Но странное время они выбрали для священного перемирия, когда тут такое происходит.

– Они всегда соперничали с нами в торговле, – сказал Агий, – так что рады будут разорению нашему. Но не говорите мне, что им нужна спартанская Эллада. Забавы, удовольствия, роскошь – это для них не образ жизни, а сама жизнь. Очень может быть, что они сейчас балансируют между нами, у них положение сложное. Я пошлю людей погулять по Коринфу, пусть послушают повнимательнее. Но всему свое время, ребята. Вам сейчас надо спать, скоро Игры.

На обратном пути мы встретили Автолика, ему по режиму полагалась прогулка после ужина. Он окликнул Лисия, спросил, почему, мол, он не был на ужине.

– Сейчас пойду, – ответил Лисий. – Мы поднимались на Акрокоринф.

Автолик удивленно поднял брови. Вид у него был совершенно озадаченный, но он только пожелал нам доброй ночи и пошел дальше.

Проснувшись на другое утро, я чувствовал усталость в мышцах после вчерашнего восхождения; так что час провел с массажистом. А потом делал только упражнения под музыку, чтобы расслабиться и взбодриться к завтрашнему дню. Ведь Игры открываются состязаниями в беге. Встретив Эвмаста, я не подал виду, а говорил с ним, как всегда. Правда, я заметил один раз его о-очень внимательный взгляд; но если я и был молчаливее обычного, спартанец этого заметить не мог.

Вдобавок ко всему, появились критские атлеты. Самыми последними приехали, их шторм задержал. Крит славится своими бегунами, так что мне было о чем подумать и кроме Эвмаста. И на самом деле, разминаясь на дорожке, я встретил там гибкого смуглого юношу, который вполне мог побить любого из нас; это было видно с первого взгляда. По стадиону мигом разнеслась весть, что он бежал в Олимпии и пришел там вторым. Как я ни волновался за себя самого – не смог удержаться от смеха при мысли о Тисандре. Сегодня ночью он спать не будет!

Проснулся я от звука, который не похож ни на что другое. Это шум стадиона, когда скамьи и склоны заполняются людьми. Наверно, они начали собираться

задолго до рассвета. А теперь уже слышны были «Хоп!» фокусников и акробатов, призывы разносчиков, продававших ленты, цветы и печенье, крики водоносов... Иногда вдруг доносилась ругань людей, поссорившихся из-за места; игроки выкрикивали ставки... А над всем этим висел монотонный гул бесчисленных разговоров, словно пчелы жужжали в старом храме. От этого звука сводит живот, и по спине мурашки.

Я поднялся и побежал к водопроводу. Кто-то догнал меня – это оказался Эвмаст. Он поднял кувшин и окатил меня с ног до головы. Он и на себя всегда швырял воду резко, всю разом, не переводя дыхания. Я его тоже облил; капли катились по спине, спотыкаясь на рубцах. Вдруг я не выдержал и сказал:

– Я собираюсь выиграть, Эвмаст.

Он глянул на меня и ответил коротко, в обычной своей манере:

– А как же иначе?

На лице его никогда не было видно удивления или вообще каких-то чувств. Я не знал, то ли он на самом деле ни при чем, то ли осторожничает, то ли врет... и так и не узнал никогда.

При выходе участников афинян приветствовали так же, как и спартанцев: люди пришли порадоваться и забыть о войне. Забеги мальчиков я смотрела, сидя рядом с Лисием. Афиняне выступили очень прилично, но ни одного забега не выиграли. Потом был перерыв, вышли акробаты и флейтисты... И вдруг по всему стадиону эфебы начали подниматься на ноги. Лисий положил мне руку на колено и улыбнулся. Я сделал знак рукой – это был наш маленький секрет, – поднялся вместе с остальными... И, кажется, уже в следующий миг стоял возле критянина, ощупывая пальцами ног выемки стартового камня, и слышал команду судьи:

– Бегуны! Ноги на линию!

Был один из тех свежих весенних дней, когда поначалу кажется, что можно бежать без конца; и новички толпой бросаются в таком темпе, как ни за что не стали бы на летних Играх. Этих я пропустил спокойно; но когда вперед пошел Эвмаст – это уже другое дело.

Трудно было смотреть на его исполосованную спину и не рвануться следом. «Не зарывайся, Алексей, – подумал я. – Беги сам, как знаешь». Тисандр тоже бежал расщепливо, мы шли почти вровень.

После тех, кто вообще не в счет, первым сломался Никодем. Я уже накануне видел, что он потерял все надежды, заранее сдался критянину; да и на самом деле он не мог с ним тягаться.

Тисандр, чуть обойдя меня, мотнулся в сторону. Я думал, он сейчас пойдет поперек, чтобы меня притормозить: это означало бы его дисквалификацию – и тогда можно было вообще о нем забыть. Но он передумал, не решился. Потом случился сюрприз: какой-то чудаки из хиленьких рванул ускорение и выскочил вперед, повел бег... И все это время я знал, что критянин висит у меня за спиной; я ни разу не видел его, обегая столбы. А теперь он выстрелил вперед и пошел первым, мягко и ровно, как волк. Мы шли уже шестой круг. «Алексий! – подумал я. – Пора».

Ну а дальше я думал только дышалкой и ногами. У стартового поворота я обошел Эвмаста. Я был уверен, что он меня не выпустит так просто, – но нет, он был уже готов; слишком рано он разбежался, словно зеленый неопытный мальчишка. Остались только Тисандр и критянин. На старте я заметил, что у Тисандра на шее висит лошадиный зуб, талисман, – и презирал его за это; но бегун он был такой, что вполне заслуживал уважения. Он знал себя и шел своим темпом, сбить его было невозможно. А перед нами был критянин; бежал ровно, спокойно – отлично бежал. Мы пошли последний круг. Люди, до сих пор молчавшие, – закричали; те, кто уже кричал, – заревели, завопили... И вдруг, поверх всего, я услышал голос Лисия: «Алексий, давай!..» Таким голосом он начинал наш боевой клич во время битвы: он разносился, как фанфара. И словно что-то подняло меня – я ощутил, как дух мой хлынул через край и наполнил все тело, все мышцы... Тисандра я обошел сразу после поворотного столба, а критянина достал на половине последней прямой. Глянул на его лицо – вид у него был удивленный. Какое-то время мы бежали вровень, но

потом он начал понемногу отставать, и больше я его уже не видел.

У самого финишного столба сгрудилась толпа, и я влетел прямо в нее. Она расступилась сначала, потом снова сомкнулась вокруг... Голова у меня звенела, кружилась, шум был невыносим; в груди словно большое копьё торчало, так что я схватился за нее обеими руками. Миртовые ветви падали мне на плечи и били по лицу, а я изо всех сил старался вдохнуть – но то копьё не давало. Потом появилась рука, освободить мне место и прикрыть от давки. Я оперся спиной о плечо Лисия, и копьё стало полегче. Через некоторое время я стал различать людей вокруг, и даже смог говорить с ними... Лисию я ничего не говорил, и он мне тоже. Я повернулся, чтобы он мне ленты завязал, и мы посмотрели друг на друга. Белый плащ, что он надел в то утро для жертвоприношения Посейдону, был спереди сплошь измаран маслом и пылью. Он был так грязен, что я рассмеялся; но он потихоньку сказал мне на ухо, что сохранит этот плащ, как есть. «Сейчас можно было бы умереть, – подумал я. – Ведь боги наверняка не подарят мне большей радости». Но тут же мелькнуло: «А Олимпия?»

Когда я принял поздравления афинских атлетов, Лисий увел меня, отмыться и отдохнуть перед тем как смотреть бег на стадию. Он принес мне охлажденного вина с водой и медовых пряников; знал, что после бега я с ума схожу по сладкому. Мы с ним лежали под сосной, прямо над стадионом; к нам поднялись несколько друзей, принесли ленты, повязали их на меня – и остались поболтать. Кто-то сказал:

– В конце концов Тисандру повезло, что занял хоть второе место.

– Тисандру? – удивился я. – Он же третьим пришел, вторым был критянин!

Лисий рассмеялся:

– Конечно! Победитель всегда видит забег хуже всех остальных.

Кто-то сказал:

– Ты из критянина сердце вынул, когда обошел его. После того он уже драться не мог.

– Я думал, он выносливее Тисандра, – сказал я.

– Осторожно, – сказал Лисий, придерживая кувшин. – Ты его чуть не опрокинул, тебя до сих пор руки не слушаются.

Я наклонился и разгреб небольшую ямку в хвое, чтобы кувшин не падал. Ленты, что они повязали мне на голову, закрыли лицо, но я их не убирал. Вспомнил, как критянин рванулся вперед – и я подумал тогда: «Вот идет победа, настоящая победа, от богов». Он на тренировочной дорожке казался таким гордым, таким уверенным в себе – дальше некуда; да и прибыл он так поздно... Впрочем, ночь в Истмии он все-таки провел. Вспомнилось его удивленное лицо, когда я поравнялся с ним. В тот момент я подумал, он изумился, что кто-то здесь может с ним тягаться...

Я потом видел в архивах, что длинную дистанцию у мужчин выиграл тогда кто-то с Родоса, а стадию фиванец. Сам же из всего того помню только, что громко кричал вместе с остальными; не хотелось, чтобы про меня говорили, что мне, мол, безразличны все победы, кроме собственной.

На следующий день были кулачные бои и метания, а потом наступил день борьбы. Погода ясная была, солнечная... Очень скоро у афинян появилась победа: юный Платон выиграл состязания по младшей группе. Он провел несколько очень хороших, умных схваток; работал не только своими мощными руками, но и головой, – зрители его приняли очень хорошо. Лисий тоже высоко его оценил; и я видел, как его это порадовало. Когда глаза Платона светились из-под тяжелых бровей, он становился даже красив по-своему. Уходя, он пожелал Лисию удачи. Я после сказал:

– Лисий, до чего же вы с этим Аристоклом хорошо понимаете друг друга! Вы так серьезно улыбались, глядя друг другу в глаза, что я до сих пор все думаю, не пора ли мне возревновать.

– Брось дурака валять, – рассмеялся он. – Ты же знаешь, что он всегда такой. А как насчет тебя самого, а?

Но я на самом деле чувствовал в тот момент, что у них есть что-то общее, чего я не знаю.

В Пограничной Страже у ребят была поговорка: «Спокоен, как Лисий». Он всегда вел себя так, чтобы соответствовать этой легенде, как и любой хороший офицер. Ему удавалось обмануть даже меня, но не всегда. Когда он становился слишком уж невозмутим – я знал, что он на грани.

И вот, глашатай вызвал панкратиастов. Лисий сделал мне наш знак и пошел в раздевалку. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду, но и потом не двинулся с места; ждал, когда вытащат жребии. Он попал в третью пару, против Автолика. «Если он выиграет у Автолика, – подумал я, – венки, считай, уже на нем». У меня был свой план. Теперь я вскочил со скамьи и побежал вверх по священным ступеням к большому храму; а там достал из-за пазухи свой подарок, что купил для бога в одной из лавок снаружи. Это был маленький конь, из тонкой бронзы, с серебряной гривой, серебряным хвостом и золотой уздечкой. Я купил еще ладана и пошел к алтарю. В присутствии Посейдона мне всегда тревожно; такой старый бог, и землетрясения в руке его и штормы... Но коней он любит, а это был самый лучший, какого я смог найти. Я отдал своего коня жрецу, и он при мне пожертвовал его богу; а я сотворил молитву.

Хотя состязания проводились прямо перед храмом, – когда я вернулся на свое место первый бой уже закончился и атлеты ушли. Толпа была вроде возбуждена схваткой, и я пожалел, что пропустил ее. Вдруг Лисию придется работать с этим победителем? Во второй ничего интересного не было. Выиграл ее неуклюжий малый из Мантиней; у него был неплохой захват, но захватить Лисию он бы попросту не успел. А потом глашатай объявил:

– Автолик, сын Ликона, – Лисий, сын Демократа; оба из Афин!

Я задержался взглядом на Автолике и подумал: «Куда подевалась его красота?» Когда он был одет, вы смотрели на его лицо – приятное лицо – и не видели, насколько огрубело тело. Теперь ни один скульптор даже не глянул бы на него, выбирая себе натурщика. Толпа приветствовала его выход; но видно было – это всегда видно, – что Автолика они оценивали по тому, что о нем слышали, а Лисия – по тому, что видели своими глазами. Он стоял – словно бронза Поликлета, ни одного изъяна не найти. А Автолик выглядел грузным, будто деревенский силач, что на спор бычков на плечах таскает. Но я был не настолько глуп, чтобы его недооценивать. При всей его массе резкости ему хватало, и он знал все уловки этой игры. Когда они обменивались ударами в стойке, я видел, насколько он тяжелее, – и молился, чтобы при падении Лисий оказался сверху.

Но несмотря на все мои страхи, схватка оказалась совсем короткой. За это время можно было бы всего пять стадий пробежать, а я – я охрип от крика, так ликовал. Потом пробился через толпу и подбежал к Лисию. В схватке он почти не пострадал. Только ухо опухло, несколько ушибов, да еще руку растирал, левую, возле кисти, где Автолик захватил и чуть не поломал, пытаясь вытянуть его на бросок через спину. Но в общем он был в отличной форме. Мы вместе пошли в раздевалку к Автолику. Лисию пришлось ему помогать подняться на ноги после решения судей; он порвал мышцу на спине, и это его доконало. Ему было здорово больно, но уже сколько лет подряд он никому не уступал венка... Но он пожал Лисию руку и поздравил с красивой победой, он всегда был благородным человеком.

– Так мне и надо, – сказал он. – Слишком много советов я слушал во время подготовки. Ты был умнее, Лисий. Запасайся петрушкой – и удачи тебе!

Мое место заняли, но Платон освободил мне местечко возле себя, растолкав всех своих соседей в стороны. Ни одного такого сильного мальчишки в его возрасте я в жизни не видал. В остальных схватках не было никого, кто мог бы сравниться с Автоликом. Подошло время

полуфиналов. Осталось всего четыре участника, так что все они были заняты теперь. Глашатай объявил:

— Лисий, сын Демократа, из Афин, — Сострат, сын Эвпола, из Аргоса!

Имя было мне незнакомо: я догадался, что это должен быть победитель первой схватки, которую я пропустил, пока был в храме. Но вот они вышли, и я его увидел.

Поначалу я просто глазам своим не поверил: тем более, что узнал его. Я на самом деле видел пару раз это чудовище, оно по торговым рядам прогуливалось. Я не сомневался, что это какой-нибудь бродячий циркач, который на своих представлениях камни поднимает или железные брусья гнет; у него было поразительно тупое лицо, дышавшее дурацким чванством. Один раз мы были вместе с Лисием, я показал ему этого человека и спросил со смехом:

— Что за отвратительный малый? Кем бы он мог быть и за кого сам себя принимает?

— Да, не красавец, верно? — ответил Лисий, и заговорил о чем-то другом.

И вот он стоял здесь, гора грубого мяса; огромные мускулы выпирали из торса его и рук, он был похож на узловатый дуб. Шея, как у быка; ноги его, хоть толстые и мускулистые, казалось подгибаются под тяжестью этого неуклюжего тела. Впрочем, для чего описывать облик, который знаком теперь каждому? Сегодня даже в Олимпии они появляются безо всякого стыда, а когда-нибудь какому-нибудь скульптору наверно придется сделать портрет, на который люди смогут смотреть без отвращения.

Вам сейчас должно показаться, что мы в те дни были наивны. Потому что при виде человека, слишком тяжелого для бега или прыжка, человека, который упал бы замертво, если бы ему довелось совершить марш-бросок в доспехах, которого не смог бы нести ни один конь, — при виде такого, мы считали его хуже раба, раз он сам себе это выбрал. Мы ждали, что его изгонят из общества свободных эллинов, — и кричали Лисию, чтобы он это сделал. А он стоял против этой уродливой туши, словно

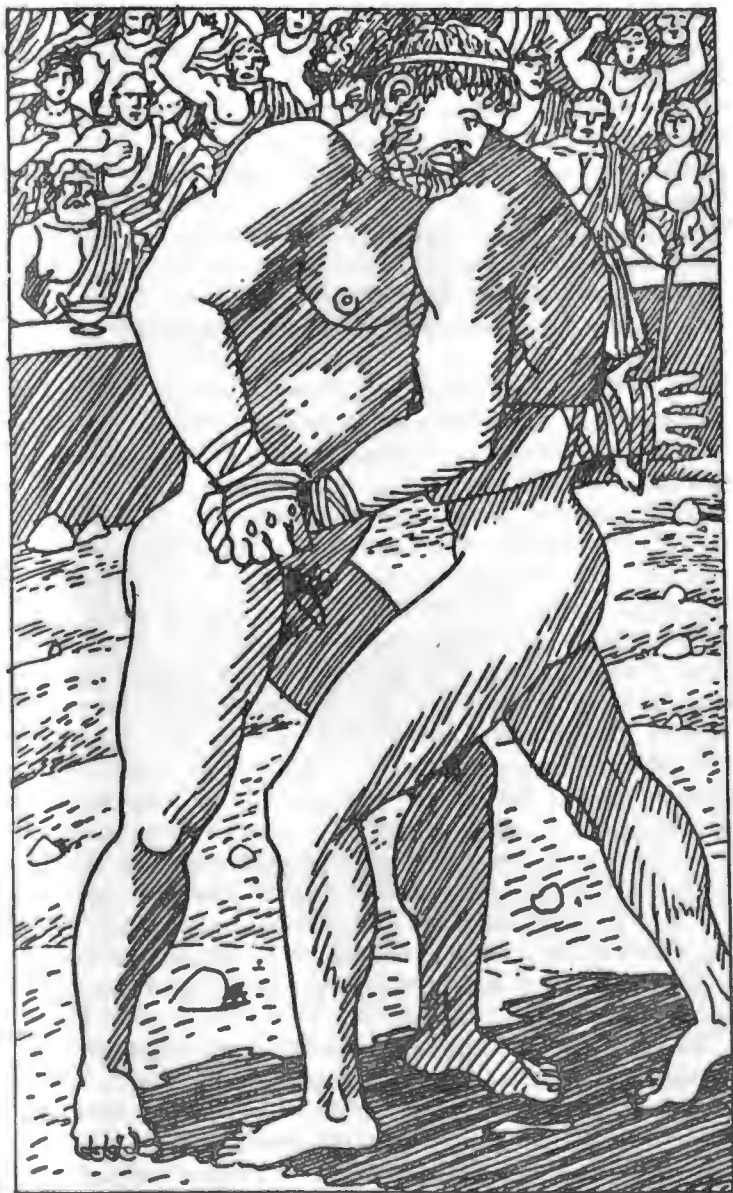
изваяние победы: герой против чудовища, Тезей против Зверя.

Но вот начался бой; голоса изменились, и я очнулся от своих грез.

Я не видел первой схватки Сострата, но остальные все видели. И все, быстрее чем я, смирились с тем, что Лисий нырками уходит от его ударов. Никто его не освистывал, а кое-кто даже одобрительно кричал. Когда он сам провел удар, они словно обезумели от восторга... Но видно было, что это – все равно что по скале стучать. Громадные кулаки Сострата летали, словно булыжники; один зацепил Лисию щеку, чуть-чуть зацепил, вскользь, но тотчас пошла кровь. И тогда – словно мне только что принесли эту новость – тогда я впервые подумал: «А ведь это чудовище – тоже панкратиаст».

Лисий пошел на сближение первым. Он захватил руку Сострата, в момент, когда тот нес удар, и эта рука поддалась его крепкой хватке. Я знал, что сейчас будет. Он быстро повернется, потянет, подсядет... Я видел, как он начал, – и мог точно сказать, когда, в какой момент он понял, что не в состоянии поднять эту гору мяса достаточно высоко для броска. А Сострат тем временем тянулся к его шее... Если бы Лисий не был гибок, как кошка, ему бы не вывернуться. Толпа так бурно приветствовала его уход, словно он бросок провел. Теперь он уже знал, насколько резок противник, и начал рисковать, как может себе позволить более быстрый боец; но здесь риск был двойной. Вот он попал в голову, – я слышал, как чудовище заворчало, – ускользнул от захвата головы и сам захватил корпус... Потом подцепил ногой колено Сострата – и они оба упали. Звук был такой, будто рухнул каменный монолит.

Толпа ликовала. Но я видел, что при падении Сострат навалился Лисию на руку, и теперь он лежал, словно придавленный горным обвалом. Сострат начал надвигаться на него сверху, но Лисий вовремя поднял колено... Однако он был по-прежнему приколот за руку. Я вскочил на ноги и кричал ему; старался, чтобы до него долетел мой голос; но в таком шуме он вряд ли мог меня услышать. Он уперся ладонью в широкую свиную



1912

морду Сострата, оттолкнул его и освободил, наконец, руку. Она была изодрана, в крови, но он еще мог ей работать. Он молниеносно вывернулся, и теперь они сражались лежа, обмениваясь ударами. И Лисий все время был быстрее; но быстрота в панкратионе – это только защита, победу приносит сила.

Кто-то бил меня по колену – оказалось, что это Эмаст, спартанец, хочет привлечь внимание мое. Он никогда не тратил слов зря. Когда я оглянулся, он спросил:

– Он твой любимый?

– Кто? – спросил я. Мне было не до него.

– Он.

Я кивнул, уже не оборачиваясь. Чувствовал, как он наблюдает за мной, готовый одобрить, если бы я смог сохранить деревянную морду, глядя, как избивают Лисия. Мне хотелось убить его на месте.

Как раз тут Лисий на мгновение оказался сверху. Волосы его слиплись от крови и пыли; все тело было в кровавых рубцах, а лицо кровь закрывала сплошной пеленой, словно маска. Он поднялся, потом вроде стал падать назад – толпа застонала... Но когда Сострат бросился на него – быстро подставил стопу и перекинул его через себя, так что тот с грохотом ударился об землю. Шум стоял такой, что я едва слышал свой собственный крик. Но в этом шуме появилось что-то новое. Сначала я этого не заметил, но оно все росло и росло. В те дни панкратион был состязанием для воинов. Наверно, там всегда бывали и рабские душонки, получавшие от этих состязаний и другое удовольствие, но их было мало и они были достаточно осторожны, чтобы держать это при себе. А теперь они вышли на свет – словно духи, что набираются сил, напившись крови, – и слышны были их голоса.

Когда Сострат шел через него, Лисий захватил его лодыжку – и начал выкручивать стопу, стараясь заставить Сострата сдаться. Но Сострат ухитрился сбить его другой ногой, и теперь эта громадная масса снова наваливалась на него. Лисий успел выскользнуть, и при этом прихватил его руку. А в следующий миг он уже

был на спине Сострата – ноги в замке вокруг поясницы – с таким удушающим захватом, что чище я никогда не видел. Одна свободная рука – вот все, что осталось Сострату; на нее он еще мог опираться, другую Лисий прижал. Все вокруг повскакали на ноги; юный Платон – я вообще забыл о его существовании – Платон вонзил свои пальцы мне в руку... Казалось, что бой уже выигран.

И тогда Сострат начал подниматься. У него на спине был вес сильного мужчины, он был наполовину задушен, – но огромное тело его поднялось на колени. Я слышал чьи-то кровожадные вопли, хоть не видел, кто это вопил..

– Брось его, Лисий! – кричал я. – Отпусти!..

Но сил у него наверно почти не осталось, и он знал – теперь или никогда. Он стиснул зубы и еще сильнее сдавил рукой бычью шею Сострата... Но Сострат еще приподнялся – и опрокинулся назад; рухнул на него, словно дерево. Наступила жуткая тишина. А потом раздался радостный вой тех, кровожадных.

Первое время Лисия вовсе не было видно, только одна рука. Сначала она лежала в пыли, ладонью кверху, потом начала ощупывать опору... Сострат перевернулся. Я в первый раз увидел маленькие глазки на его широком лице; не такие, как у разъяренного вепря, нет, – спокойные, холодные глаза ростовщика. Лисий начал подниматься на одной руке. Я думал, что он поднимет руку судь. Может быть он был слишком зол, чтобы сдаться, – но я думаю, он просто слишком был оглушен, чтобы оценить свое состояние. Как бы то ни было, Сострат сбил его обратно на землю; так, что слышно было, как ударилась голова. Даже после этого мне показалось, что он еще пытается пошевелиться, но судья опустил свой вильчатый жезл и остановил бой.

Я вскочил на ноги. Платон держал меня за руку и что-то говорил – я потрянул его и полез через толпу. Люди, на которых я наступал, кричали, проклиная меня... К раздевалке я примчался как раз, когда его вносили. Его занесли в небольшое помещение за общей раздевалкой; там на полу лежала соломенная циновка, а из пасти

бронзовой львиной головы лилась вода в бассейн. Снаружи начался следующий бой; слышны были крики зрителей.

Человек, стоявший рядом с ним, спросил:

– Ты друг его?

– Да, – сказал я. – Он убит?

Я не видел в нем признаков жизни, даже дыхания не замечал.

– Нет, жив. Оглушен, – сказал тот. – И, видимо, несколько ребер сломано. Но он может умереть. Его отец здесь?

– Мы афиняне, – сказал я. – А ты доктор? Скажи мне, что делать.

– Ничего. Только успокоить, если он очнется не в себе. Дай ему воды, если попросит, но ни в коем случае не давай вина.

Потом он поднял глаза от Лисия и, будто впервые, увидел меня. И сказал:

– Дрался он отлично. Но я не понимаю, что заставило его состязаться, при его весе.

Он ушел смотреть, и мы остались одни.

Лисий дышал; но очень медленно, и так тихо, что я едва слышал. С одной стороны лицо его было сплошной синяк, из носа шла кровь, и кожа под волосами рассечена... И на лбу над бровью тоже; видно было, что шрам останется на всю жизнь. Они набросили на него старое одеяло, я его стянул. Тело его было так избито и запачкано, что не мог я понять, где что может быть сломано. Я взял полотенце, висевшее на стене, и смыл с тела запекущуюся кровь, масло и пыль; смыл, где мог достать, поворачивать его мне было страшно. Разговаривал с ним, звал его, – он не шевелился. Потом я понял, что его не надо было обмывать; вода из трубы шла холодная, а вокруг камень. Тело его под моими руками стало холодным, словно мрамор, а губы посинели. Я подумал, что он сейчас умрет у меня на глазах. В углу лежала чья-то одежда – я набросал всю ее на него, но он оставался все таким же холодным. Тогда я добавил и свою, а сам забрался под эту кучу и лег рядом.

Обнимая его, стараясь вдохнуть в него хоть каплю жизни, я вспоминал долгие рейды нашего отряда в горах, зимой, когда даже волки в логове грели друг друга, а мы с ним лежали поодиночке. Вспоминал и думал: «Ты давал мне храбрость в боях; когда меня сбили с коня, ты спас меня и был при этом ранен. После всего этого – кто другой на твоём месте не потянулся бы к дуплу за мёдом? Но ты пожертвовал это богам, тебе досталась только кровь да солёная морская вода. Что же такое справедливость, если даже боги несправедливы? Они отобрали у тебя венок, и надели его на зверя».

Я целовал его – словно статую, так холодны были губы его; он не открывал глаз, не говорил, не двигался... И я сказал в сердце своём: «Слишком поздно я здесь под твоим плащом. По своей собственной воле я никогда и ни в чём не отказал бы тебе. Время и смерть ничего не прощают: любовь, упущенная в юности, не вернется никогда».

Кто-то к нам шел, так что я поднялся. В дверном проеме потемнело – это Сострат его загородил. Спросил:

– Как он?

Странно было слышать, что из него исходит человеческая речь, а не ворчание кабана. Я рад был увидеть, что Лисий оставил на нём заметные следы.

– Он жив, – сказал я.

Сострат подошел поближе, посмотрел на Лисия, вышел... Я снова лег с ним рядом. Сердце наполняла горечь. Вспоминалась его статуя в школе, сделанная, когда я еще не знал его... Я думал о том, как с самого детства он бегал и прыгал, метал диск и дротик, плавал, боролся, ездил верхом на учениях; как сам я трудился, крутя кайло, – сбрасывал вес, чтобы держать в правильной пропорции плечи и ноги; как Платон бегал в доспехах; как все мы приносили в гимнасии жертвы Аполлону, владыке меры и гармонии... Этот человек продал и грацию, и ловкость, и честь воина; он вовсе не стремился быть прекрасным в глазах богов – ему был нужен только венок – но победу отдали ему.

Закончился очередной бой. Снаружи доносились разговоры в толпе, кто-то играл на двойной флейте... Лисий

шевелинулся и застонал. Он стал чуть теплее на ощупь. Вдруг он попытался сесть, его вырвало... Я прибрал, подтер, — опять зашел доктор. Он ушипнул Лисия за руку, увидел, что Лисий вздрогнул, и сказал:

— Хорошо. Но ему нужен покой. После контузии случается, что умирают, если начинают напрягаться раньше времени.

Когда он ушел, Лисий начал метаться и говорить всякую чепуху. Ему казалось, что он на поле боя, что в боку у него копьё, — и приказал мне не трогать, а позвать Алексея, чтобы тот его вытащил. Помня слова доктора, я чуть с ума не сошел от страха. Пытался уложить его, успокоить... Снова зашел Сострат, спросил, как он. Я ответил коротко, но начал думать о нем немного лучше, увидев его заботу.

Вскоре снаружи снова поднялся крик; начиналась финальная схватка — но тут же и закончилась. Я подумал, что Сострат прикончил противника одним ударом; но на самом деле тот, видевший, как уносили Лисия, почти тотчас лег сам и отказался от борьбы. Я слышал, как глашатай объявлял победителя. Приветственные крики были прохладны: в этом бою не было ни красивой борьбы, ни крови, так что он не понравился никому.

Толпа разошлась. Снаружи, в раздевалке, болтали и смеялись... Потом вошел человек, одеждой которого я укрыл Лисия, надо было отдавать... Тем временем стало еще прохладнее, но я не решался оставить его, чтобы найти что-нибудь взамен; только надеялся, что хоть кто-нибудь зайдет. Наконец приблизились чьи-то голоса — в дверном проеме снова появился Сострат, разговаривая с кем-то через плечо. Он был украшен лентами и похож на быка, что идет на жертвоприношение. Когда он умолк, я услышал голос того, кто приходил за одеждой:

— Да не волнуйся ты, Сострат. Я только что его видел — он разговаривал. До конца Игр он дотянет, а потом уже все равно.

Я же забыл, что за убийство в панкратионе дисквалифицируют; всюду, кроме Спарты!..

Я сидел, глядя на Лисия, – и тут услышал, что кто-то подошел и остановился за моей спиной. Сострат вошел к нам все-таки. Посмотрел внимательно в лицо Лисию, снова спросил меня, как он... Я слишком плохо держал себя в руках, чтобы ответить ему, – но тут он стал смотреть на меня. И заговорил, с учтивостью, которая шла ему, как свинье венок из фиалок:

– Почему ты так удручен, прекрасный юноша? На Играх правят Судьба и Удача. Неужели ты проведешь часы своего триумфа, тоскуя здесь, словно арестант в тюрьме? Выходи, познакомься с другими победителями. Нам с тобой пора познакомиться поближе.

Есть один такой жест отказа, который все знают, хоть ни один порядочный человек себе не позволит. Но я хотел выразиться поточнее.

– Ты получил свой венок, – говорю. – Иди и играй с ним.

Когда он выходил, Лисий позвал:

– Алексей!

Казалось, он на меня сердится. Я не знал, как много он понял. Я наклонился:

– Вот я, – говорю. – Что скажешь?

Но глаза его снова затуманились, и вид был смертельно утомленный. К вечеру сильно похолодало; но я боялся, что если уйду искать какую-нибудь одежду – он может попытаться встать. Слезы просились наружу неудержимо, словно рвота; но я не решался плакать, чтобы он не услышал.

В раздевалке никого уже не осталось, так что шаги в ней прозвучали очень громко, хотя Платон и постарался подойти потихоньку. Когда мы смотрели бой, он был украшен лентами, но теперь их не было.

– Платон, – попросил я. – Ты не можешь найти какой-нибудь плащ? Лисию холодно.

– Похоже, что тебе тоже не жарко, – сказал он, и вышел.

Чуть погодя он вернулся с двумя пастушьими одеялами; теплыми, шерстяными. Я укрыл ими Лисия, а сам оделся. Пока я занимался этим, Платон молчал, а потом сказал:

– Они присудили венок Сострату.

– Вот как? – спросил я. – И война в Трое уже кончилась... Какие еще новости?

– Для меня это новость, – сказал он. – Интересно, что думает сам Сострат? Чего он добился? Чего хорошего? Какая от этого радость? Чего он хотел?

– Не знаю, Платон. С тем же успехом ты можешь спросить, как боги допустили это.

– Боги? – Он поднял свои тяжелые брови и снова опустил, точь-в-точь как делает это сегодня. – Какой смысл богам делать что-нибудь, если не достаточно того, что они существуют? Но ты ведь не ужинал, правда? Я тут принес тебе кой-чего, поешь.

От еды я немного согрелся. Когда он ушел, я рассмотрел, что оба одеяла совсем новые; он наверно сам купил их на рынке.

Поздно вечером Лисия отнесли в святилище Асклепия. На следующий день он пришел в сознание, мог говорить и даже поел; только двигаться было больно из-за сломанных ребер. Разговаривал он мало, и я его не тревожил. Хотел остаться с ним, но он сказал, что я должен посмотреть гонки колесниц. Казалось, для него это важно, – потому я пошел. Гонки проводились с великой пышностью, во славу Посейдона, который так любит коней. А вот моя бронзовая лошадка его не тронула. Я понял, что это главный день Игр: все коринфяне были на ипподроме – и никто уже не вспоминал ни о беге, ни о панкратионе.

Когда я вернулся, Лисий выглядел лучше. Сказал, что собирается завтра подняться, чтобы пойти на церемонию награждения; хочет, мол, увидеть, как на меня будут надевать венок. Тут я не выдержал – и рассказал ему историю с моим бегом. Он слушал молча, слегка нахмурившись, скорее задумчиво, чем сердито или удивленно. Потом сказал:

– Не расстраивайся. Ты бежал замечательно, и, скорее всего, никого там не подкупали. Каждый дурак мог понять, что ты там лучше всех; так что начали с тебя, чтобы зря не выкидывать деньги на остальных. Я следил

за критянином. По-моему, он совершенно сломался под конец.

– Может быть. Но теперь я никогда этого не узнаю.

– Да зачем вообще об этом думать? Надо принимать мир таким, каков он есть, Алексей. – Помолчал и снова повторил: – Но ты отлично бежал. Ты с ними делал, что хотел.

На следующий день была процессия к Храму, и победителей награждали венками перед Посейдоном. Очень много было музыки и разных церемоний – гораздо больше, чем дома. Жрецы в больнице не позволили Лисию вставать. Я потом вернулся к нему, и он заставил меня показать венок. Меня уже тошнило от этого украшения из петрушки; но когда я швырнул венок в угол – Лисий резко сказал мне не валять дурака, а идти в Коринф и праздновать вместе со всеми.

Был уже вечер. Под лучами солнца сияла гора со своим венком из крепостных стен... Он наверно знал, что если отложит до окончания Игр – никогда на нее не поднимется.

– А чего я не видал в Коринфе? – спросил я.

Но он разволновался, рассердился – и сказал, что обо мне станут болтать, если меня там не будет. Тогда я понял; если не пойду, то могут сказать, что он из зависти не пустил меня на празднества. И пообещал что пойду.

В Коринфе великое множество крашенных статуй мраморных, и бронзовых тоже, некоторые даже позолочены; у входов в лавки благовония жгут... А у харчевни, где мы пили, снаружи была клетка с говорящей птицей; идешь мимо – она свистнет и скажет: «Зайди!» Я был с бегунами и с кулачными бойцами; потом появились и несколько борцов. Я постарался напиться поскорее, и на какое-то время Коринф стал вполне сносным, даже весело стало. Мы бродили по улицам, распевая песни, покупали венки и гирлянды, цепляли их на себя... Потом зашли в какую-то баню, но это оказалось приличное заведение и нас попросили отсюда... Кого-то столкнули в глубокую ванну – теперь он шел, и с него вода лилась... И нас сопровождала пара девушек-флейтисток, которых мы подхватили по дороге, так что со своей музыкой

шли. Подошли к высокому портику с изящными колоннами – резба по камню, голуби, гирлянды, – кто-то сказал:

– Вот куда мы идем, к девам Афродиты! Пошли!

Я не захотел, он стал тянуть меня силком, я его по лицу ударил... Тут кто-то другой, в ком от вина добродушие прорезалось, разнял нас и сказал, что нам всем надо пойти не сюда, а в дом Каллисто. Там во внутреннем дворе фонтан интересный: девушка держит свою грудь, а из нее вода льется. Каллисто нас встретила, словно родных. Юноша с девушкой разыгрывали мим про Диониса с Ариадной, а мы тем временем пили дальше. Чуть погодя, человек пять-шесть борцов вскочили, потребовали музыку и пошли плясать кордакс, скидывая с себя одежду. Они звали и меня, но я уже для танца не годился, даже если бы и захотел. Одна из девушек прилегла возле меня, потом увела отсюда. Когда я проснулся, она долго меня расхваливала, рассказывала каким я был молодцом, – но это они всегда так с молодыми ребятами, чтобы заплатили получше. А я и вспомнить не мог, что я с ней делал, и делал ли что-нибудь вообще.

А через два дня мы возвращались в Афины. Лисий не мог сесть в седло, так что к кораблю ему пришлось добираться на носилках. Плаванье было не из легких, и он весь день страдал от боли. Агий, кормчий, подошел нас навестить и сказал, что те спартанские корабли идут на Хиос; он использовал время в Коринфе с большей пользой, чем я. Так что мы торопились домой изо всех сил, чтобы поскорее доставить в Город эту новость.

Это все, что я могу рассказать об Истмийском празднестве, о первом событии девяносто второй Олимпиады. С тех пор как Тезей основал эти Игры в честь отца своего Посейдона, их проводили каждый второй год на одном и том же месте, перед одним и тем же богом. А если вы спросите, почему в этом году Игры проводились как-то иначе, не так как прежние, – тут я вам ничего не скажу. Не знаю.

Те корабли, что мы обнаружили в Истмии, нацеленные на Хиос, наши встретили, побили и загнали на мель; но Алкивиада и друга его, кормчего Антиоха, это не напугало и не остановило. Каждый день до нас доходили все новые рассказы о ловкости его и храбрости. На Агоре теперь частенько можно было услышать, что мы лишились большего, чем думали, когда изгнали Алкивиада; что перед отъездом на Сицилию он требовал суда, как человек ни в чем не виновный... Широко разошелся и такой слух, что он очень вовремя подался в море: мол, царь Агид уже дошел в своей ненависти до белого каления и распорядился убить его, так что в Спарте Алкивиад никогда не спал без охраны.

Но однажды, когда я зашел к Лисию домой, он попросил меня:

– Сходи к моему отцу, Алексий, поговори с ним хоть немного. О чем-нибудь, о лошадях например. О чем угодно, кроме войны. Сегодняшние новости его ударили очень больно. Не могу понять, почему; хоть они на самом деле скверные.

Я уже побывал в Городе; и заметил, что с другими стариками было то же самое. У Демократа я старался, как только мог. Он принял меня приветливо, но выглядел лет на пять старше; и не хотел говорить ни о чем, кроме последних вестей.

– У меня такое чувство сегодня, – сказал он, – как будто у меня на глазах Персей продал Андромеду дракону за мешок серебра. Спарта и мидяне! Дожить до такого – увидеть, как потомки Леонида ведут переговоры с Великим Царем и отдают ему Ионию за деньги! Неужто под солнцем вовсе не осталось никакой чести?

– Это чтобы платить гребцам, – сказал я, словно меня назначили их защищать. – Их слишком мало, чтобы грести самим, даже если бы они могли подавить свою спесь и взяться за весла. Не могут же они доверить свою судьбу илотам.

— Когда мой отец был еще мальчиком, — сказал он, — дед мой повез его к Фермопилам после того боя, чтобы он учился у павших, как надо умирать. Он часто рассказывал мне, как там было. Друзья лежали рядом, на том месте, где живой стоял, защищая тело павшего, как это бывало во времена Гомера; а те, кто дрался, пока не сломалось оружие в руках, — те и мертвыми не выпускали мертвых варваров из сжатых пальцев и зубов. А теперь вот до чего дошло. До чего ж вы, молодые, легко это принимаете!

Я ему сочувствовал, но тогда меня больше волновал его сын. Кости у Лисия зажили хорошо. Если не считать того шрама на лбу, бой с Состратом не оставил следов на его теле. Но панкратионом он больше не занимался. Какое-то время он это скрывал от меня; тренировался он достаточно, чтобы быть в форме; но часто бывало так, что он говорил, мол, идет в палестру, — а я встречал его в колоннаде или вовсе не мог найти. Когда я понял, как обстоит дело, — не скажу, чтобы сильно удивился. Вспомнилось, как он уходил в сторону, когда Полимед и прочие приставали ко мне: не мог он унизиться до недостойных противников. Мне он ничего не говорил, чтобы я не подумал ненароком, будто моя победа ему неприятна. Честен он был, как всегда, но не так откровенен, как прежде. Часто впадал в молчание; а когда я спрашивал, о чем он думает, — отвечал неохотно.

Война шла в основном на море, так что в Страже у нас забот поубавилось. Я нашел одного свободного человека, который взялся кое-что делать в имении; за небольшую плату и часть урожая. Сажали мы только разную скороспелку.

Однажды летом в Городе было чудесное утро. Я только что закончил белить дом, последние мазки наложил. Я этим занимался каждый день спозаранку, пока людей на улице нет. Хоть все знали, что соседям нынче приходится самим браться за такие дела, какие надо бы выполнять рабам, — никому не хотелось, чтобы это было заметно. Но теперь, когда работа была закончена, мне нравилось. Матери тоже; особенно изнутри, со двора, где я покрасил верхушки колонн красным и синим. Я

выкупался, причесался, надел чистый плащ... И взял посох, с которым ходил по Городу; хороший посох, из черного дерева, отцовский. Приятно было чувствовать себя нарядным, после возни с известкой. В портике я остановился еще раз оглядеть свою работу, потом повернулся в сторону улицы – и увидел, что к нашему дому кто-то идет. Чужой.

Это был костлявый старик. Когда-то он был высок, пока не согнулся; шел он, хромя и опираясь на палку, срезанную где-то в лесу, одна нога поранена и замотана грязной тряпкой. Седые волосы торчали клочьями, словно он сам их обрезал ножом; на нем была короткая туника из какой-то грубой бесцветной ткани, какие носят бедняки-ремесленники или рабы. Он был достаточно грязен, чтобы сойти за любого из них, но держался иначе; шел прямо к нашему дому и неотрывно смотрел на него. И когда я это увидел – почувствовал, как в меня вливается какой-то непонятный страх; показалось, что это вестник какой-то беды. Я шагнул со ступеней ему навстречу, ожидая, что он заговорит; но он только смотрел на меня – и молчал. Изможденное костлявое лицо, покрытое месячной щетиной, загорело почти до черноты, и на нем пронзительно выделялись серые глаза. Я уже готов был окликнуть его и спросить, кого он ищет, – поначалу так и не понял, что удержало меня; просто почувствовал, что спрашивать нельзя.

Он отвел от меня глаза, задержался взглядом во дворе, потом снова стал смотреть на меня... От его молчаливого ожидания мороз по коже пошел.

– Алексей...

Тут ноги сами вынесли меня на улицу, и голос мой – тоже сам, без меня – произнес:

– Отец!

Не знаю, как долго мы простояли там; наверно, всего несколько мгновений...

– Войди, господин мой, – сказал я, еще не соображая, что говорю. Потом, немного опомнившись, вознес благодарность богам за его спасение.

На пороге он споткнулся, зацепился пораненной ногой; я потянулся поддержать его, но он управился и сам.

Он стоял во дворе, оглядываясь вокруг. Я вспомнил Лисикла – и теперь казалось странно, что я принял его слова безо всякого сомнения, несмотря на то как сломен он был и как блуждал его рассказ. Что мне о нем напомнило – это руки отца. Огрубевшие, мозолистые, корявые; с грязью, набившейся в трещины и шрамы. Я так растерялся, что соображал плохо. Не мог найти слова, чтобы сказать ему. Такую болезненную немоту я уже испытывал; на войне, при виде храброго врага, падавшего передо мной в пыль; но в юности не осознаешь этих мыслей, да и не надо в них копаться. Я снова, только другими словами, повторил свою речь о богах, произнесенную только что; сказал, что мы уже и не надеялись на такое счастье... Потом, начав приходить в себя, сказал:

– Я пойду вперед, господин мой, предупрежу мать.

– Я сам ей скажу, – ответил он, и похромал к двери. Двигался он достаточно быстро. В дверях он обернулся и снова посмотрел на меня: – Я не думал, что ты вырастешь таким высоким.

Я что-то ответил... Я и на самом деле сильно вырос, но только его согбенная спина уравнила нас.

Я дошел вслед за ним до входа в дом, но там задержался. Сердце колотилось, колени были как ватные, и в животе бурчало почему-то. Слышал, как он вошел на женскую половину, а потом – ни звука. Постоял чуток – и ушел. Потом, когда решил, что уже достаточно времени прошло, вернулся и вошел в гостиную. Отец сидел в своем хозяйском кресле; ноги в тазу, а от воды пахло травами и загнившей раной. Перед ним на коленях стояла мать, с тряпкой в руках, дол вытирала. Она плакала, слезы текли по лицу и падали на пол; вытереть их она не могла, руки были заняты. Тут мне впервые пришло в голову, что я его не обнял при встрече; нехорошо.

Его посох до сих пор был у меня в руках. Я вспомнил, в каком углу взял его в самый первый раз, и поставил на место.

Потом подошел к ним и спросил, как он добрался. Он сказал, из Италии, на финикийском корабле. Нога у него распухла вдвое, из нее сочился зеленый гной. Мать спросила, как его взяли на корабль: хозяин поверил в долг? Нет, сказал он, им не хватало одного гребца.

— Алексей, — сказала мать, — посмотри, готова ли ванна для отца. Проверь, чтобы Состий ничего не забыл.

Уже выходя, я услышал приближавшийся звук — и перехватило дыхание. Это я, я забыл!

Малыха, Харита, вошла в комнату, щебеча и напевая. Она держала в руках куклу из раскрашенной глины, что я привез из Коринфа, и разговаривала с ней, так что вышла уже на середину комнаты, не оглядываясь по сторонам. Тут она, наверно, почувствовала запах. Потому что огляделась удивленно, круглыми как у птицы глазами. Я подумал: «Сейчас он увидит, какая она прелесть, — и будет рад, что у него такая дочь»: Он подался вперед, сидя в кресле. Мать сказала:

— Вот наша маленькая Харита. Мы ей столько рассказывали о тебе!..

Отец нахмурился. Но выглядел не слишком расстроенным или удивленным, так что меня слегка отпустило. Он протянул руку и позвал:

— Харита, иди ко мне.

Малыха не двинулась с места; потому я подошел, чтобы взять ее и подвести к нему. Но как только попытался потянуть ее за руку, она покраснела, суксилась — уткнулась в мой плащ и заплакала с испугу. А когда попытался поднести ее — обхватила меня за шею и раскричалась. Я не решался глянуть на него.

— Девочка у нас пугливая; всегда плачет, как новое лицо увидит, — сказала мать. Никогда прежде я не слышал, чтобы она сказала неправду.

Я унес сестренку и пошел проверить ванну. Бедный старик Состий был в такой растерянности, что ему пришлось помогать. Я нашел бритвы, расческу, пемзу;

и занес в ванную комнату чистые полотенца и плащ, что мать уже достала из сундуков. Она сказала:

— Я пойду с тобой, Мирон. Состий слишком неуклюж, сегодня он не управится.

— Я сам управлюсь, — ответил отец.

Я успел заметить, что в голове у него полно вшей.

Он вышел, опираясь на свой посох; я ему подал. Мать, убирая тряпки и таз, быстро говорила мне, как он плох, чем его надо будет кормить, какого врача позвать, чтобы посмотрел его ногу... А я думал о несчастьях, какие ему пришлось пережить, и удивлялся, что сердце у меня наверно каменное, раз не заплакал, глядя на него, как она. Я сказал:

— Но он позволит мне хотя бы подстричь его? Не захочет же он, чтобы цирюльник видел его голову такой, как сейчас.

Когда я вошел, вид у него был такой — сейчас выгонит. Но в конце концов он согласился, поблагодарил, и сказал, чтобы я обрил голову; иначе ее невозможно было отмыть. Я взял бритву, зашел со спины — и тогда увидел эту спину. Спартанец Эвмаст устыдился бы и признал бы себя нетронутым младенцем. Не знаю, чем они так поработали; наверно, в плети были ввязаны свинец или железо. Рубцы заходили со спины на бока.

Увидев это, я ощутил ту ярость, какую и должен ощутить сын.

— Отец, — сказал я. — Если ты знаешь имя того человека, кто это сделал, — скажи. Быть может, я когда-нибудь его встречу.

— Нет, — ответил отец. — Имени я не знаю.

Я работал молча. Он тоже молчал какое-то время; потом сказал, что один надсмотрщик сиракузец забрал его из каменоломни и продал, а деньги взял себе. Он побывал у нескольких хозяев...

— Но об этом, — сказал он, — как-нибудь потом.

Голова у него была настолько грязная, в таких стружьях, что меня едва не тошнило; по счастью, он меня не видел. Закончив, я протер его своим душистым маслом. Отличное было масло, из Коринфа, мне его Лисий

подарил; сам я его брал только если шел в гости. Он понюхал и спросил:

– Что это такое? Я не хочу, чтобы от меня пахло как от женщины.

Я извинился и убрал. Когда он оделся, так что не видно стало торчащих ребер, он стал выглядеть вполне прилично и даже не очень старо, слегка за шестьдесят.

Мать наложила ему на ногу сухую повязку и поставила перед ним еду. Видно было, что ему очень трудно не наброситься на нее по-волчьи: но насытился он очень скоро. Начал расспрашивать меня об имении... Я там делал все, что только мог, но он плохо представлял себе положение в Аттике. Очевидно, он считал, что я могу посвящать поместью все свое время. Я собрался было объяснить, что у меня есть и другие обязанности, – и тут, словно в ответ на мои мысли, над Городом разнесся звук фанфары. Я вздохнул и поднялся на ноги.

– Извини, господин мой. Я надеялся, мне позволят побыть с тобой подольше; мы всего несколько дней назад вернулись из рейда.

Выбежал, крикнул Состию приготовить коня, потом вернулся уже одетый, снял со стены оружие... Я видел, как он провожает меня глазами, и надеялся – после того что он сказал про масло, – что теперь выгляжу достаточно по-мужски, чтобы ему понравиться... Но в то же время в голове крутился будущий рейд: думалось, каким путем могут подходить спартанцы и где мы сможем их отразить. Мать, привыкшая к таким тревогам, вышла – я ее ни о чем не просил, – вышла собрать мне еду. Теперь она вернулась, и видя, что я воюю с перевернутой наплечной пряжкой, – подошла мне помочь.

– Где Состий? – спросил отец. – Он должен быть здесь и помогать тебе.

– В конюшне, господин, – сказал я. – У нас больше нет конюха.

Эта была слишком длинная история, чтобы ее начинать. Тут вошел Состий:

– Твой конь готов, хозяин. – Это он мне сказал.

Я кивнул и повернулся к отцу, попрощаться.

– Как Феникс? – спросил он.

Вдруг я вспомнил, как он стоял и вооружался, на том же самом месте, где теперь стоял я. Казалось, полжизни прошло с тех пор.

– Боюсь, что перетрудился, – сказал я. – Но я берег его для тебя, как только мог.

Очень хотелось хоть чуток задержаться, и собраться с мыслями, и сказать еще многое, – но фанфара уже была, а отряду еще ни разу не приходилось меня ждать. Я поцеловал мать; потом, видя его взгляд – и радуясь, что на этот раз не забуду своего сыновнего долга, – обнял его. Ощущение было странное; костлявый и жесткий, напряженный какой-то. Наверно, я не обнимал его с тех пор, как бабушка умерла; кроме того раза на причале, когда он уезжал на Сицилию.

В тот раз рейд был трудный, хотя и длился всего несколько дней. Пекло несусветно, горы выгорели досуха, мухи тучей висели над лагерем и изводили коней. Мы отстояли небольшую долину – две-три деревни, – но при погоне погиб Горгион. Трудно было смотреть, как наш веселый шутник, душа отряда, умирал в муках – и, вроде, в изумлении, что встретил нечто такое, над чем не может посмеяться. Сообщать отцам погибших ребят о смерти их сыновей – это был жребий Лисий. Наверно, с Горгионом это было особенно тяжело; он, казалось, подавлен был больше обычного. Мы не могли привезти тело в Город из-за жары, пришлось сжечь его в предгорьях. Жарко было так, что пламени вовсе не было видно; только горячий воздух струился кверху, а в нем дымилось и потрескивало тело. Когда оно сгорело, Лисий спросил:

– У него был возлюбленный?

– Нет, – сказал я. – Только любовница, маленькая флейтистка. Я отвезу ей что-нибудь из его вещей, на память. Она будет рада.

– Ни к чему это, – ответил Лисий. – Что у них было, то было.

Когда мы вернулись, Лисий пришел отдать дань почтения моему отцу. Они поговорили о войне... Потом отец сказал:

– А Алкивиад до сих пор у спартанцев? Теперь его уже не тяготит, наверно, их суровая жизнь; привык, должно быть.

– Нет, господин мой, уже нет, – сказал Лисий. – Он катится все ниже. Теперь он в Персии.

Мы об этом узнали уже несколько месяцев назад, но я не успел сказать отцу; просто к слову не приходилось. Отец изумился:

– В Персии? Как его захватили? Что он затеял такого, что попал в руки варваров?

Лисий улыбнулся.

– Он к ним попал, как кот попадает в горшок со сметаной. В Спарте ему стало жарковато, царь Агид хотел его смерти. Но, говорят, сатрап Тиссаферн души в нем не част, а персидские князья рядом с ним выглядят серыми, словно петухи против фазана.

– Неужели? – сказал отец. И заговорил о другом.

В тот вечер, проходя по двору, я увидел, что отец кидает в колодец какие-то черепки. Через какое-то время я проходил там случайно и увидел возле колодца маленький осколок. Роспись показалась издали такой изящной, что я его поднял. На нем был бегущий заяц и пальцы вытянутой руки: кусочек чаши от кубка Бакхия.

Если бы даже я и мог догадаться, что теперь дома станет трудно, – все равно постарался бы не думать об этом. Ведь это ж какая низость, иметь хоть какие-то претензии к человеку, который столько выстрадал! Но долго так продолжаться не могло.

Первые трудности начались из-за Хариты. Будь она хоть на годик-два постарше – ей бы можно было что-нибудь объяснить. Но она столько наслушалась рассказов о замечательной красоте и замечательных подвигах отца... Я часто видел, как она показывает пальчиком на какого-нибудь героя на вазе или на стене – или даже на бога – и говорит «Папа». А теперь, вместо того папы, мы предложили ей уродливого и сурового старика. Наверно, с тех пор она никогда уже не верила людям так, как прежде. Через четырнадцать лет после того, как я уже устроил ее помолвку с одним замечательным человеком, она слушала все мои рассказы о нем с

полным безразличием, пока не увидела его сама. Я едва не рассердился на нее – но вовремя вспомнил тот случай. Отец, казалось, не сомневался, что его письмо потерялось; и, думаю, принял бы ее со всей душой, если бы она его не ранила каждый день своей враждебностью. Это было достаточно скверно и само по себе; но еще хуже – что она каждый раз убегала от него ко мне. От нее никак нельзя было добиться, чтобы она назвала его папой; и это было тем заметнее, что меня она называла «Тата», с тех пор как начала говорить. Едва только отец появился, я сразу стал отучать ее от этого; и слышал, что мать ведет себя так же.

Я знал, что ей было еще хуже, несравненно хуже. Вы могли бы подумать, что после таких лишений даже самые простые удобства будут для него счастьем; но он не выносил ни малейших отклонений от нашего прежнего образа жизни. Она объясняла, каковы наши дела, почему у нас не хватает работников, – он соглашался, но был по-прежнему недоволен. Она никогда не жаловалась мне; и вообще лишь однажды заговорила об этом: попросила, чтобы я не говорил отцу, что пока его не было я научил ее читать. Она была способной ученицей, и наши уроки были для меня большой радостью; думаю, для нее тоже. Сейчас она могла уже читать стихи – те, что полегче, – и я начал было учить ее писать... Но теперь нам вообще редко удавалось поговорить: он требовал, чтобы она все время была рядом, и всегда звал ее, стоило ей хоть чуть отойти.

Я старался как можно меньше замечать все это, но мне было больно, так что не всегда мог совладать со своими мыслями. Через какое-то время я обнаружил, что мне трудно смотреть, как она бинтует ему ногу. Это было последнее, что она делала перед тем, как они уходили к себе; а я в это время исчезал из дому и бродил по улицам.

Даже Лисию я мало что мог сказать; и не только потому, что понимал, какими низкими покажутся ему мои чувства. Была и другая причина: в последнее время наши отношения складывались не так счастливо, как прежде. Что после Игр настроение у него будет тяже-

лое — это я понимал. Но когда выяснил, что он начал меня ревновать, — просто растерялся. Я был слишком молод, чтобы понимать такое; я только знал, что не дал ему ни малейшего повода, даже в мыслях своих. Чтобы он мог заподозрить меня в такой подлости — что я изменился к нему из-за его неудачи, — это меня ранило до глубины души; но обвинить его в этом казалось еще подлее. Прежде никто лучше его не умел проигрывать, если побеждал более достойный; я не понимал, почему он был так подавлен проигрышем менее достойному. Я чувствовал только собственную обиду; как глупый крестьянин, что горюет о своем разбитом горшке, когда землетрясение рушит храмы.

Если бы я пришел с этой бедой к Сократу — он бы помог не только мне, он сумел бы помочь и Лисию. Но у меня все это было переплетено с таким, чего я не мог доверить никому.

Когда Стримон впервые навестил отца, я в рейде был. С тех пор как я возмужал, он редко нас тревожил, и я о нем не вспоминал почти. Только постепенно стало выясняться, как сеял он раздор в нашем доме. Сначала отец вытащил на свет наши свитки с делами поместья и не нашел в них ничего, кроме ошибок. Ясно было, у кого он почерпнул свои неверные сведения, и эти недоразумения я скоро вроде бы уладил, — но чувствовалось, что он все-таки не успокоился. Будучи в Городе, я услышал, что Стримон снова у нас; и тотчас после этого отец обвинил меня в том, что вожусь с дурной компанией. Когда всплыло имя Федона — сразу стало ясно, кого мне за это благодарить.

— Господин мой, — сказал я, — Федон мелосец. Ты лучше меня знаешь, какой жребий выпал ему. По рождению и воспитанию он ничуть не ниже нас, и сейчас живет соответственно. Ведь не станешь же ты осуждать пленника за то, что ему пришлось испытать на войне?

Тут я попал по больному месту. Он рассердился и, назвав Сократа, сказал о нем такое, чего я не стану здесь приводить из почтения к умершему, даже через столько лет.

Чуть погодя я застал мать возле станка в слезах. Она была одна – я попросил рассказать, в чем дело. Она покачала головой и ничего не ответила. Я подошел совсем близко, так что наши одежды касались и ее выбившиеся волосы щекотали мне лицо. Я чуть не обнял ее, но вдруг застеснялся – и стоял неподвижно, затаив дыхание. А она отвернула лицо, стараясь скрыть слезы. Наконец я сказал:

– Мам, что нам делать?

Она снова покачала головой и, слегка повернувшись ко мне, положила мне руку на грудь. Я накрыл ее своими ладонями и чувствовал через нее удары сердца своего. Она начала мягко забирать руку – и вдруг оттолкнула меня, резко и сильно. Тут и я услышал снаружи стук отцовской палки. Я стоял, как громом пораженный. Остаться было невозможно, невыносимо; бежать – тоже... И вдруг, совсем неожиданно, услышал ее голос: она посылала меня с каким-то поручением по дому. Уходя, я слышал, как он резко спросил, что у нее стряслось.

После того я почти постоянно видел его глаза: он неотрывно следил за мной. Ясно было – он уверен, что мы с ней друг другу жалуемся на него. В доме стало ужасно, и все свое время я проводил в Городе. Однажды, бродя по колоннаде, я случайно встретил Кармида. Теперь я был так далек от того зеленого юнца, за которым он ухаживал когда-то, что мог себе позволить взрослое удовольствие побеседовать с ним; ведь под его легковесностью скрывался утонченный ум. Мы с ним прошли два-три раза по колоннаде, пока он мне рассказывал, как Сократ учинил ему разнос: он, мол, растрчивает впустую свои способности в праздной болтовне, когда мог бы применить их с пользой для Города. К несчастью, Лисий увидел нас вместе и воспринял это очень болезненно. Я защищался с негодованием, но был при этом не вполне справедлив: ведь мне самому было ясно, что Кармид не стал равнодушен к моей персоне и отыскал меня не для того, чтобы разговаривать о политике.

Дома мне все опротивело. Нога у отца поджила, он начал выходить в Город и восстанавливать прежние связи... Появилось у него и несколько новых друзей, меня они просто ужасали... Вся его умеренность испарилась; он часто высказывался против демократов с такой резкостью, какой прежде я в нашем доме не слыживал.

Я заговорил об этом с Лисием, во время одного из наших перемирий.

– Не обращай внимания, – ответил он. – Неудивительно, что сейчас только прошлое кажется ему светлым. Стареющий человек не осознает, что сладость его воспоминаний – это вкус его собственной молодости и силы.

– Но, Лисий, ему ведь нет сорока пяти!..

– Не обращай внимания. Он сейчас просто не может иначе. Вспомни, как погибла наша Армия. Простолюдины дали Алкивиаду завлечь себя в такую авантюру, в которой только у него самого был хоть какой-то шанс на успех. Потом они позволили его врагам запугать их, так что командование было передано другим. Я и сейчас уверен, что тут годится только одно средство – лучше учить народ. Но я не заплатил за их ошибку такую цену, как твой отец.

Мы были счастливы в тот день, и нежны друг с другом больше обычного, как это теперь всегда бывало между нашими ссорами.

Но дома солнце после грозы не светило; все время висели тучи, обещая новую грозу. Совсем недавно я спокойно проспал даже последнюю ночь перед Играмми; а теперь часто лежал без сна в непонятном страхе – не знал, чего боюсь, – знал только, что дела становятся все хуже и хуже. Я не понимал, что со мной творится. Однажды, после очередной ссоры с Лисием, я даже пошел в бордель – такого никогда со мной не случалось, кроме того случая в Коринфе, – но там мне стало противно до омерзения.

Как-то вечером, вскоре после ужина, я услышал, что отец зовет Состия. Тот не откликнулся. У меня сердце упало; я выскользнул из дому – знал, где его искать.

Так оно и было: Состий лежал пьянехонек в винном погребе. Я тряс его, кричал, ругался – но так и не смог привести в чувство. С тех пор как он состарился, такое повторялось регулярно, каждые месяц-два. Конечно, я всегда бил его за это, но наверно не так сильно, как следовало. Он был добрый, старательный, и любил нас... А в тот момент я не знал, что он напился совсем недавно, когда я был на войне. Он боялся отца и от этого стал совсем неуклюж, как никогда раньше; он, наверно, и пил-то для поддержки духа. Я только-только успел поднять его на ноги – вошел отец. Увидел нас и сказал:

– Состий, я предупреждал тебя, что будет, если еще раз увижу тебя пьяным. Ты сам навлек это на себя.

Он ударил Состия – сильно, я не ожидал, что он так сможет, – ударил и запер в пустой чулан возле конюшни. Когда наступила ночь, я попросил его выпустить.

– Нет, – сказал отец. – В темноте он от нас сбежит. Завтра я продам его в рудники, как обещал в прошлый раз.

Я был настолько ошарашен – даже не ответил ничего поначалу. Состий был у нас всегда, сколько я помнил. Ни один из наших знакомых никогда не продал в Лаврион домашнего раба, разве что за какой-нибудь совсем уж невероятный проступок. Наконец я сказал:

– Ведь он не молод, господин мой. В серебряном руднике он долго не проживет.

– Это смотря из чего он сделан, – ответил отец.

Позже, в ночной тишине, я слышал, как его упрасивала мать. Он ответил сердито, она замолчала... Ночь была жаркая, душная; я метался по кровати и думал о недавних прежних днях, когда старый Состий был как бы членом нашей семьи, с сестренкой играл... Вспомнилось и детство мое, как он прятал меня от родоски, когда та собиралась меня бить... В конце концов я не выдержал. Тихонько поднялся, достал еды из кладовки и пошел к нему. Прокравшись к двери чулана, я услышал внутри странный шуршащий звук. Открыл – и в лунном свете, проникавшем сквозь зарешеченное окно, увидел

Состия. Он оглянулся посмотреть, кто вошел, а в руках у него был конец веревки, уже закинутой на балку над головой его.

Сцена была душераздирающая, мы оба обливались слезами. Я даже не знаю, что собирался сделать сначала; быть может, только принести ему поесть и попроситься с ним. Но теперь сказал:

– Состий, если я забуду запереть дверь за собой – ты же знаешь, куда идти. В горах можешь встретить всадников. Прячься, пока они не заговорят. Услышишь, что по-дорийски, – скажи им, кто ты, и они тебя пропустят. А в Мегаре или в Фивах ты себе работу найдешь.

Он опустился на колени и стал целовать мне руки, мокрые от его слез:

– Хозяин! А что он тебе сделает за это?

– Неважно. Во всяком случае в Лаврион не продаст. А ты впредь держись от вина подальше. Счастливо!

На следующее утро я оделся постарательнее, чтобы получше себя чувствовать, и стал ждать возле дома. Отца уже не было; он вернулся с представителем рудника – на это я не рассчитывал – и открыл чулан в его присутствии. Тот был очень разочарован – нехватка рабов становилась все острее, – стал ворчать, что, мол, понапрасну ташился сюда, и с отцом говорил непочтительно. Отец не ответил, словно не слышал. Когда тот человек уходил, я почувствовал, как у меня на ладонях пробивается холодный пот.

– Иди к себе, мама, – сказал я. – Мне надо поговорить с отцом наедине.

Наверно, она до сих пор не догадывалась, что это я натворил, и только теперь поняла. Охнула:

– О, Алексей!..

Мне вдруг стало жарко, и страх прошел.

– Пойди к себе, – повторил я. – Одному мне будет легче.

Она еще раз посмотрела на меня, ушла.

Отец вошел в дом, повесил ключ от чулана обратно на гвоздь... Потом, молча, повернулся ко мне. Я не дрогнул, не отвел глаз.

– Да, – говорю. Да, господин, это моя вина. Вчера вечером я заходил к Состию попроситься и, как видно, забыл запереть его.

Лицо у него налилось кровью, отяжелело, глаза расширились...

– Забыл?!.. Ты, пес паршивый, ты за это заплатишь!

– Я и сам хочу того же, – сказал я. И выложил на стол деньги, я их наготове держал – За человека в его возрасте, господин мой, да он бы еще и повесился там, если бы не я, тридцать вполне достаточно по-моему.

Он напряженно посмотрел на монеты, потом закричал:

– Ты смеешь, мерзавец, предлагать мне мое в уплату за мое же?!.. Хватит разыгрывать хозяина в моем доме!

– Эти деньги дал мне Город, – сказал я, – за бег на Истмийских Играх. Считаю, что это дар богам.

Какой-то миг он стоял неподвижно – потом ударил по монетам, так что они со звоном раскатились по плитам пола. Мы не обращали на них внимания, а смотрели друг другу в глаза.

Он вдохнул... По глазам его я видел, что он сейчас меня ударит, может быть даже проклянет, – он был вне себя. Но он вдруг замер молча. И в тишине этой – какой-то страх словно вытянул руку и потянул меня за волосы, но лицо у этого страха было спрятано: я еще не знал, чего боюсь.

Он сказал:

– Пока ты не стал взрослым, дядя Стримон предлагал твоей мачехе защиту дома своего. Почему ты воспротивился этому?

Он никогда прежде не называл ее моей мачехой. От этого я похолодел, еще не понимая почему – так что побледнел наверно даже, – а он неотрывно смотрел мне в лицо. Потом, вспомнив от какого возвращения я спас его, я разозлился и ответил:

– Потому что мне казалось, слишком рано считать тебя мертвым...

Я хотел продолжить, но прежде чем успел сказать еще что-нибудь – он, словно сумасшедший, почти уперся головой мне в лицо и выплюнул:

– Слишком рано?.. Вы оба так и посчитали! Рано!..

Я смотрел на него молча. Смысл сказанного стучался в двери разума моего, а душа старалась удержать их на запоре. И в этой паузе – под столом раздался звук. Отец быстро повернулся и нагнулся туда. Раздался крик – он выволок Хариту. Она наверно играла на полу, когда мы вошли, и заползла туда, чтобы не быть на виду. А теперь он тряс ее и спрашивал, чего это ради она взялась подслушивать, – будто она могла хоть слово понять из всего, что было сказано. Обезумев от страха, девчушка с криком билась у него в руках; потом увидела меня и потянулась ко мне:

– Тата! Тата!..

– Перестань, отец, – сказал я. – Ты ее напугал, отпусти.

Вдруг он отбросил ее, так что она упала возле моих ног. Я поднял ее, старался успокоить, – а она всхлипывала, рыдала...

– Ну так забирай ее, – сказал он, – раз говоришь, что она твоя.

Малыха кричала мне в ухо; так что я даже не поверил сначала, что верно его расслышал. Он шагнул вперед и схватил нас обоих за волосы, прижав друг к другу щеками, так что лица наши были рядом. Сжатые зубы его были оскалены, как у разъяренной собаки:

– Она слишком мала для трехлетней!

Я видел немало зла; и знал, что такое ужас, как знает каждый, кому довелось жить в наше время. Но такого как в тот раз, – такого я не испытывал никогда; с тех пор голова Горгоны для меня уже не детская сказка. Я чувствовал, как кровь отлила от сердца, как похолодели руки и ноги... И голос звучал во мне, голос умопомрачения: «Уничтожь его, и это кончится!»... Не знаю, что я мог бы натворить, если бы не малыха. Кто-то из богов подсказал ей прижаться горячим мокрым личиком к моей шее и схватить меня за волосы. Я погладил ее по спинке, чтобы успокоить, и немного пришел в себя.

– Господин мой, – сказал я. – Ты очень много пережил, и наверно до сих пор еще не здоров. Ты должен отдохнуть, так что мне лучше уйти.

Я вышел во двор, с сестренкой на руках, и там остановился, глядя прямо перед собой. Казалось, что если буду неподвижен, то смогу стать каменным и обо всем забыть... Но это длилось недолго; малыха нарушила этот сон, заговорив мне в ухо: она хотела к маме.

Я наклонился и поставил ее на ножки. Подозвал Кидилу – та мимо шла, – велел ей забрать малыху в дом и найти ей маму... Имела же она право на свое!.. А сам пошел на улицу.

Поначалу, если у меня и была хоть одна ясная мысль – так это найти какое-нибудь место, где никого нет. Но пока я мотался по Городу в тщетных поисках такого места, мне стало необходимо само движение; я шел все быстрее и быстрее – словно тот человек, что старался убежать от тени своей. И вот уже оказался я за Ахарнайскими воротами... А там, подчиняясь этой непонятной силе, намотал плащ вокруг пояса – и побежал.

Я пробежал равнину между Городом и Парнасом... Шел не слишком быстро; как-то чувствовал, что бежать придется далеко, и тренировка работала во мне сама, хоть я о ней и не вспоминал. Потом передо мной поднялась высокая стена Парнаса, бледная от летней засухи; побелевшая трава, и темный кустарник, и серые скалы – врезаны в темно-синее, сапфировое небо... Потом добрался до нижних склонов и бежал меж полей в оливковых рощах, где маки забрызгали кровью щетину ячменя... Услышав внизу, в расщелине, шум ручья, я почувствовал жажду и спустился туда по скалам напиться. После жары на дороге там, в тени, было прохладно; и вода холодная, свежая; и я задержался, хоть надо было торопиться дальше. И вот тут я узнал, что убежал от безумия; потому что на этом месте оно меня догнало.

А вид у него был такой. Как будто грех, в котором обвинили меня, я на самом деле совершил, по крайней мере в душе. В ужасе от этой мысли я выкарабкался от ручья к дороге и побежал в горы, – но тут вовсе потерял рассудок. Теперь мне казалось, что не только в душе, но и на самом деле я это совершил. Иногда мысли чуть прояснялись, и я отбрасывал наваждение это, но никак

не мог избавиться от него совсем. Кто может усомниться, что это было наказание за непочтительность мою: за то, что уничтожил отцовское письмо и не выполнил его приказа? Ведь я не понимал того, что должен был бы понять любой человек в здравом рассудке: что, будучи вне себя, он договорился до нелепости, которую наверняка сам уже заметил; что не меньше дюжины наших соседей и знакомых могли бы засвидетельствовать, когда родилась Харита; что сам Стримон – хоть вредный мужик, но не мерзавец же! – сам Стримон, хотя бы в этом, свидетельствовал бы за меня... А я только чувствовал себя проклятым – и небом и людьми. И вот я мчался все дальше и дальше, все выше и выше в горы, в дикие безлюдные места; где карабкаюсь по скалам, где бегом. Ноги были изодраны об вереск и кусты, подошвы изранены о камни... Один раз меня заметил спартанский патруль; но они решили, что это беглый раб идет в Мегару, и проехали мимо.

Наконец я забрался так высоко, что вокруг ничего уже не было видно, кроме сухих каменистых вершин и глубоких ущелий, и дальних гор, дрожавших в горячем мареве. Голода я не чувствовал, только пить иногда хотелось. Задержаться и утолить жажду я не решался – знал, что за мной погоня, – но начал оглядываться, чтобы увидеть, что же меня преследует, и избавиться от него. Выжженная солнцем гора была цвета волчьей шкуры; и один раз показалось, что вижу, как кто-то шевелится... Но то не волки меня преследовали – ветер играл кустом.

Солнце светило ярко; но после полудня ветер пригнал небольшие темные облака, и их тени взлетали и бросались вниз по склонам гор, словно вороны. Когда я увидел, что за мной что-то летит, – сначала подумал, одна из этих тучек подходит сзади. Я уже долго бежал по жаре, и поднялся уже высоко; дыхание стало тяжелым, ноги начали отказывать, язык был сух, словно запыленный башмак... Увидев очередной родник, я все-таки бросился на землю и стал пить, как зверь. И лежа там – почувствовал холод, летевший перед облаком; а поднял глаза – увидел их.

Они были не в самом облаке, а в тени от него; мчались ко мне через камни и кусты. Лица и ноги у них были синие, темные как ночь; а сквозь бесплотные одежды просвечивали то тела их, то земля позади. Я закричал от ужаса, вскочил и кинулся бежать. Теперь я знал: то, что прежде принимал я за хрипы собственного трудного дыхания своего, — это змеи шипели; змеи, что извивались и бились у них в волосах. Я бежал и молился, но молитва моя падала назад, словно непопавшая стрела; я знал, что отдан им за мой грех, как был отдан Орест, и ни один бог меня не спасет. Но я все равно бежал; так волк бежит от охотников — не потому что надеется спастись, а просто потому, что так он создан.

Не знаю, как долго бежал я. Когда они меня догнали, их голоса зазвучали вокруг, словно вой смешанной стаи — одни высокие, другие низкие, — эти голоса и шипенье змей со всех сторон... Потом — я уже сбегал под гору — одна из них закричала: «Пора!» — и потянулась ко мне. Я прыгнул в сторону, потерял почву под ногами и покатился вниз по склону. Наверно, какое-то время без сознания был; но падение мое задержала ровная площадка. Я поднялся, удивляясь, что могу стоять, — думал, у меня все кости переломаны, — и стоял так, качаясь, с трудом держась на ногах. За спиной у меня темнел склон горы, а впереди было что-то светлое, озаренное последними лучами солнца. Тех, кого лучше всего называть Почтенными, я больше не видел; но чувствовал, что умираю. Я догадался, что светлое передо мной это храм какого-то бога, и пошел туда; и шел, пока не добрался до ступеней перед святилищем; а там в глазах у меня потемнело, я упал.

Первое, что ощутил очнувшись, — вода на лице. Потом увидел рядом с собой какого-то старика. На седых волосах его был лавровый венок; придя в себя, я понял, что это жрец из храма. Поначалу говорить я не мог; но он дал мне воды с вином, я напился и вскоре уже смог сесть и ответить на его приветствие. Потом оглянулся на дорогу, по которой пришел, — Почтенных не было, они оставили меня.

Он заметил, как я обернулся, и сказал:

– Ты бежал далеко. Одежда на тебе изорвана, ты изранен, в крови, и забрызган грязью... Ты пролил кровь и искал святилище? Если так, то войди в храм: Аполлон не сможет защитить тебя снаружи.

Он нагнулся поднять меня. Руки у него были старые, но сухие и теплые, и была в них целящая сила.

– Крови я не проливал, – сказал я. – Лучше бы мне пролить свою собственную. Потому что глаза мои увидели сердце мое, и свет его превратился теперь во тьму, навсегда.

– В сердце каждого человека свой лабиринт, – сказал он. – И для каждого наступает день, когда ему придется дойти до центра и встретить своего Минотавра. Но ты не оскорбил чего-нибудь священного перед богами, не убил вероломно, не совершил кровосмешения?

Я вздрогнул.

– Нет, – говорю.

– Тогда пойдем, бедный мальчик, – сказал он, и поднял меня на ноги.

Он был очень силен для своих лет, иначе не смог бы провести меня к дому своему, хоть это было совсем недалеко; колени у меня подгибались, и если бы не его руки – я бы упал. Потом появилась его жена, тоже старая, и помогла ему уложить меня на кровать. Она напоила меня супом, сняла с меня одежду... Они вымыли меня, очистили раны вином и маслом, и плащом укрыли. Это было – словно я снова маленький, в бабушкином доме. Напоследок он дал мне горячего молока с вином, пряностями и маком; как только раны перестали саднить, я уснул.

Проспал я весь вечер и всю ночь, и почти до полудня. Потом надел плащ, под которым спал, и вышел. Чувствовал себя усталым и вялым; ноги и руки едва двигались, но не болели. Святилище стояло на краю глубокого ущелья, над ним был крутой склон, поросший соснами... А вдоль ущелья было видно далеко-далеко вниз, до равнины и моря. Аполлон любит такие места. Но красота этого утра была мне чуждой: я чувствовал, что это все для других, не для меня.

Жрец, увидев, что я поднялся, вышел из храма ко мне. Храм был совсем маленький, из какого-то серебристого камня. Он завел меня обратно в дом, поставил передо мной еду... И ни о чем меня не спрашивал, а стал рассказывать, как был основан этот храм: построил его человек, которому здесь Аполлон явился. Когда я поел, он спросил, не хочу ли я посмотреть святилище.

– Статуя бога у нас замечательная, – сказал он. – Хотя к нам не так легко добраться, люди, прослышав о ней, специально приезжают издалека, чтобы ее увидеть. Она не такая старая, как храм; я уже был здесь, когда ее освящали; ее сделал Фидий, скульптор из Афин.

Мне все на свете было безразлично; но ради его доброты, из вежливости, я пошел с ним, заранее заготовив слова похвалы той статуе. Однако когда увидел ее – решил, что сам он хвалил ее слишком холодно. Бог был изображен на пороге мужественности: великолепный юноша лет девятнадцати-двадцати, с чрезвычайно благородным лицом, в котором смешивались изящество и сила. На плече у него висела голубая хламида, а левая рука держала лиру. Глядя на эту статую, я даже забыл на время, что меня сюда привело.

– Ты восхищен и изумлен, не правда ли? – сказал жрец. – На самом деле, статуя не так известна, как надо бы. Но то же самое происходит и с теми, кто приходит сюда, полный ожиданий. Тебе наверно говорили, что когда Фидий довел свое искусство до полного совершенства – он больше не работал с живыми моделями. Он ждал вдохновения от богов. Но когда он ваял эту – был один молодой рыцарь, красоты, как говорил он, почти божественной; и этого рыцаря он несколько раз просил прийти к нему и постоять в нужной позе; для рыцаря это было служением богу. Потом, отпустив юношу, он погружался в медитацию, молился Аполлону – и тогда только брался за работу.

Я посмотрел еще раз – и решил, что и Фидию, и этому юноше было какое-то видение; потому что, казалось, именно так, никак иначе, выглядит бог и телом и лицом. Я спросил жреца, не знает ли он, кто позировал для этой работы.

– Конечно знаю, – ответил он. – Это все знают; и хотя ты слишком молод – ты наверняка слышал об этом человеке, ведь несколько лет назад его имя было на устах у каждого. Это Мирон, сын Филокла, по прозвищу Прекрасный.

В голове у меня было тихо-тихо, словно снег падал в безветренную ночь. Я стоял и смотрел. Потом, как зимняя белизна обрушивается с горных склонов и уносится водой – так обрушилась на меня печаль по всем смертным людям; такая печаль, что не было сил ее вынести. Я не обращал внимания, что жрец стоит рядом; но потом вспомнил, что там и бог рядом, – поднял руку и закрыл лицо плащом, чтобы он не видел моих слез.

Так прошло какое-то время. Потом жрец тронул меня за плечо и спросил, почему я плачу. Но я не мог найти, что ответить ему.

– Ты заплакал, когда я назвал имя того юноши, – сказал он. – Быть может, он умер? Или погиб в бою?

Я покачал головой, но сказать ничего не мог.

Он помолчал, потом заговорил снова:

– Дитя мое, я стар, и время для меня остановилось. Я боюсь умереть не больше, чем ты боишься уснуть после трудного дня. Молись, чтобы в каждое время жизни твоей желания твои соответствовали природе, – и ничего не бойся. Старость придет не к тебе; к другому, кого боги успеют подготовить. А что до юноши, о котором ты скорбишь, – ему повезло, раз красота его стала обиталищем бога и теперь продолжает жить в этом храме, как и в его сыновьях.

Я склонил голову, почитая его мудрость, но он не рассеял мою печаль. И по сей день, хоть я прочел много книг, не нашел я, чем ее можно утешить.

Весь тот день я оставался у них; и еще следующий, и еще ночь после него; силы возвращались медленно. В последний вечер, когда уже зажгли лампу и старушка готовила ужин, я сказал ему, в чем меня обвинили; сказал, что не знаю теперь, куда пойти. Он ответил, что я должен идти домой, и что бог защитит меня, раз я невиновен. Увидев, что я опустил глаза, он добавил:

– Один человек уезжал в далекое путешествие, а деньги свои оставил на хранение другу. Вернувшись, он получил назад все, что оставил, и был доволен. Если бы обнаружилось, что тот его друг, пока деньги были у него в доме, испытывал нужду, бедствовал, – люди стали бы думать о нем лучше или хуже?

– Это не одно и то же, – сказал я.

– Для богов это одно и то же. Верь в свою честь сам, тогда и другие поверят.

На следующий день, спозаранок, я двинулся в Город. Путь оказался не ближний, но не так далеко, как я шел к ним: я ж тогда по горам мотался. Вернулся я к вечеру, чуть раньше чем лампы зажигают. Старушка из храма зашила дыры на моем плаще и выстирала его, так что я стал более или менее похож на себя, хоть и был слегка побит после падения того. Входя во двор я увидел, как в доме засветилась лампа. Хотел подождать немного снаружи, но собаки кинулись меня встречать, подняли шум, – я пошел в дом.

Отец сидел у стола и читал. В тот момент, когда он поднял глаза, вошла мачеха. Она смотрела на него – не на меня, – смотрела и ждала.

– Входи, Алексей, – сказал он. – Ужин почти готов, но ты наверно успеешь принять ванну.

Потом повернулся к ней и спросил:

– Успеет?

– Да, – сказала она. – Если только не слишком долго.

– Так поторопись. Только зайди к сестре по дороге, пожелай ей доброй ночи. Она все время тебя искала.

Потом мы сели ужинать, и говорили о делах Города... А о происшедшем не заговаривали больше никогда. Что он сказал мачехе, когда меня не было, – или что она ему сказала, – этого я так никогда и не узнал. Но со временем стал замечать, что у них что-то изменилось. Иногда я слышал, как она говорит ему: «Вечером будет холодно, возьми плащ потеплее» или «Не позволяй им угощать тебя наперченным мясом, ты от него не спал в прошлый раз»... Он отвечал всегда: «Это что еще за новости!» или «Ладно, ладно!..» – но слушался. Прежде я не замечал, что он обращался с ней, как с девочкой;

только теперь это понял, когда он стал обращаться как с женщиной.

Как это получилось, я не знал; и не узнал никогда, да наверно и не хотел узнать. Достаточно было того, что прежнее никогда больше не повторится.

19

После того я чаще бывал в Городе, чем дома. Одолевала какая-то пустота; одиночество было невыносимо, и я не всегда ждал, пока найду самую достойную компанию.

О том, что случилось, я не мог заговорить даже с Лисием. Наверно, мог бы как-нибудь намекнуть ему, если бы он спросил по-человечески. Но он набросился с упреками – где, мол, был, почему не предупредил. Это было вполне естественно; но я еще не в себе был в тот момент, и почувствовал себя преданным, вроде он меня бросил в беде. Потом ответил коротко, что был на охоте.

– Один, что ли? – спросил он.

– Да, – ответил я.

Раз уж я врал, нечего было обижаться, что он мне не верит; но меня это поранило.

После того – хотя теперь он был мне нужнее, чем когда-либо, – после того я стал не просто невнимателен, а жесток. Я часто мучил его, и прекрасно понимал, что делаю; но говорил себе, что он заслужил такое наказание за беспочвенную ревность. Потом, одинокий, несчастный и полный стыда я возвращался к нему, как будто это могло стереть прошлое, как будто он вовсе лишен гордости и с ним можно обращаться, как угодно. А когда он встречал меня холодно, я снова удирал, и все начиналось снова. Иногда, тоскуя по нему, я просил прощения или начинал крутиться возле него, не спрашивая его согласия, и мы снова мирились... Но это было похоже на помраченное веселье лихорадки. Расставаясь, он с вымученной беззаботностью спрашивал, что я со-

бираюсь делать на следующий день, с кем встречаться... Я смеялся, что-нибудь отвечал небрежно... А потом, в ночном одиночестве, готов был все отдать, чтобы только быть с ним: и не мог понять, что на меня нашло, когда он был рядом. Ведь часто, когда вокруг были люди – в компании какой-нибудь или в отряде, – я смотрел на него, и знал, что в мире нет никого дороже: казалось, если бы в тот момент мы остались наедине, все у нас было бы безоблачно. И я даже думал, что он чувствует то же самое.

Бывая у Сократа, я всегда мог глянуть на себя со стороны и разглядеть свое безрассудство. Но за советом к нему не шел. И когда в один прекрасный день стал себе невыносим – обратился к Федону.

Мы случайно оказались рядом с ним в парной бане. Это было заведение Кидона, с репутацией безупречной. Банщик с нами уже закончил, мы ждали массажиста – и вот, сдвинули кушетки и заговорили. В таком месте легко разговориться, и мои тревоги полились из меня вместе с потом, неожиданно для меня самого. Он слушал, положив голову на скрещенные руки и глядя на меня сквозь упавшие волосы. Один раз показалось, что хочет меня прервать, – но нет, промолчал и дослушал до конца. Потом сказал:

– Алексей, это ты всерьез говоришь, что не можешь всего этого понять?

– Конечно, всерьез! Я не верю, что кто-то из нас на самом деле стал относиться к другому хоть на волос хуже. Право же, я думаю...

Он смахнул волосы с глаз, чтобы посмотреть на меня, потом отпустил их обратно.

– Ну что ж. Если не можешь понять – значит не хочешь. И если я что-нибудь соображаю – правильно делаешь, что не хочешь. Нет, Алексей, я тебе не скажу, что принимать против этой болезни. Я не тот доктор, какой тебе нужен: ты же знаешь, я всегда говорил, что ничего не понимаю в любви. Почему ты не спросишь Сократа?

Я сказал, что подумую об этом. Мне не хотелось спрашивать, что он имел в виду.

Вскоре после того я встретил в палестре Кармида. Мы какое-то время смотрели борьбу, потом разговорились... Я как-то случайно, без умысла, заглянул в раздевалку и увидел там Лисия. Он вроде собирався уже снимать одежду, но увидел меня и задержался. Я быстро отвел взгляд, как будто не заметил его. Это было не со зла, а по дурости: я испугался, что он не ответит на мое приветствие – так разозлится – и люди увидят, что у нас нелады. Когда я заглянул еще раз, его уже не было. Только тогда – слишком поздно – до меня дошло, что он должен был подумать. Что я намеренно его оскорбил в присутствии Кармида, или даже что Кармид сам толкнул меня на это.

Теперь я не просто это понял – я перепугался. Тотчас ушел и кинулся искать Лисия по Городу. В конце концов пришел к нему – он был дома; сидел у письменного стола, обложившись бумагами. Когда я вошел, он какое-то время продолжал писать, словно слуга его ждал, потом поднял голову и сказал:

– Я занят. Зайдешь как-нибудь в другой раз.

Никогда прежде до такого у нас не доходило. Я забыл о гордости своей и начал оправдываться, объяснять... Он холодно выслушал и ответил:

– Все это мне совершенно безразлично. Как ты видишь, я занят; и я просил тебя уйти.

Он вернулся к своей работе, оставив меня стоять. Я начал отчаиваться; но не мог я унижаться еще больше, потому что еще и презрение его выносить – это было бы уже слишком. Потому, уцепившись за первое, что пришло в голову, я сказал:

– Прекрасно. Я приходил спросить, не поедешь ли ты завтра на охоту. Но если тебе это не интересно, я поеду один.

– Да ну? – сказал он. – Как в прошлый раз?

– Поехали, сам увидишь. Но будь у меня на рассвете, дольше я ждать не стану. – И добавил, решив, что заставляю его заметить меня: – Если соберешься, то захвати копыя на кабана. Ну а если сильно занят – оставайся.

Как я и надеялся, при этих словах он оторвался от бумаг и посмотрел на меня.

– Ты шутишь или на самом деле рехнулся? Кто ходит на кабана в одиночку?

– От тебя зависит, один я пойду или нет. Если тебя не будет, я не стану тратить утро на поиски кого-нибудь другого.

С этими словами я вышел.

На другой день я поднялся затемно, чтобы хоть как-то подготовиться. Можете себе представить, насколько обдуманно было предложение мое, если у меня даже своих копий не было, на кабана, и всего два раза в жизни бывал я на такой охоте. Первый был много лет назад; в тот раз отец Ксенофона послал нас, мальчишек, на дерево, когда они погнались зверя. А второй – в отряде пограничном, нас тогда было человек десять-двенадцать. Правда, копыя я одолжил, у Ксенофона. Он думал, что иду с компанией, и я не стал его убеждать.

Когда начали бледнеть звезды, я услышал на пустынной улице стук копыт. Потом на фоне неба показались копыя Лисия. Возле него бежала его тройка спартанских гончих, а позади раб вез на муле колья и сети, о которых я даже не вспомнил.

Он посмотрел на меня угрюмо: мол, как мне нравится, что меня поймали на слове. Раз так – я поздоровался с ним повеселее, поблагодарил, что он взял с собой сети, словно я на это и рассчитывал... Я думал, теперь он пойдет на мировую, но он спросил, каких собак я беру. Я свистнул их. Одна крупная молосская и две касторских; конечно, совершенно нелепая свора для такого дела. Он посмотрел на них, подняв брови. Молоссец тут же затеял драку с одним из его псов – это и раньше случалось, – мы бросились их разнимать... Я думал, хоть теперь он отгадет, но он оставался холодным и далеким-далеким. И я сказал:

– Ну что ж. Двинемся?

Мы поехали к Пентеликону. В том году там была прорва кабанов; из-за войны охотились мало. Уже рассветло, было чудесное свежее утро, ветерок с моря; с гребня хребта хорошо было видно Декелею и еще с

подюжины мест, где мы сражались бок о бок. Я не удержался – показал и спросил:

– Помнишь?

Я по природе быстро взрываюсь, но и отхожу быстро. Лисия трудно было рассердить; но уж если рассердится – его хватало надолго. Он сухо ответил «Помню» и, показав на лесистый склон, сказал, что надо попробовать там.

По дороге мы встретили мальчишку-козопаса; я спросил его, есть ли кабаны у них в лесу.

– Да, – говорит, – есть! Большой! Он прогнал другого, что жил здесь раньше; я только вчера слышал, как он корни роет.

Когда он ушел, Лисий повернулся ко мне. По глазам его было видно, что ему наша затея не нравится; но заговорить ему было трудно, а я теперь тоже разозлился, из-за того что он не отвечает на мои попытки примирения... И я сказал:

– Ты что? Думаешь, я теперь спасую, чтобы ты потом всю жизнь мог мне в глаза этим тыкать? Если ты за этим пришел – мог не приходиться, не выйдет!..

Он ответил невозмутимо:

– Прибереги свой пыл для дела, Алексей.

Мы спешили молча, сели поесть; каждый со своей едой, со своими собаками рядом, все так же молча... Потом он поднял голову и сказал:

– Раз уж мы взялись за мужское дело, давай делать его по-мужски, а не по-детски.

Он объяснил, что и как надо; коротко и четко, словно отдавал приказ на поле боя. Потом взял на сворку гончую суку, которая должна была идти по следу, и пошел в чащу, оставив рабу коней и остальных собак. После яркого солнца, в лесу было сумеречно. Кое-где солнечный свет проникал сквозь листву; и словно золотые монеты лежали на черной влажной земле, пахнущей прелыми листьями. Скоро стали попадаться кабаньи рытвины и следы, очень крупные. Я украдкой глянул на Лисию – но лицо его ничего мне не сказало, сейчас он выглядел точь-в-точь как на войне.

Потом мы подошли к дубу, на котором кора была вся изодрана клыками. Собака натянула сворку, оцети-нилась и зарычала... А перед нами была темная, непролазная чаща, и следы уходили туда. Лисий сказал:

– Это его тропа. Сети поставим здесь.

Мы отвели суку обратно и привязали ее вместе с остальными; потом поставили сети в ложбинке перед логовом, натянув их на крепкие колья и на деревья. Чуть позади была крутая скала; там, в безопасном месте, мы поставили раба, с кучей камней, чтобы не давал кабану пойти не в ту сторону, в какую нам надо. Потом взяли копыя. Лисий сказал:

– Будь наготове и не спускай глаз с чащи ни на миг. Кабан – зверь быстрый.

И вот мы привели собак, уже яростно лаявших на ненавистный запах, и спустили их в чащу. Лисий встал справа от сетей, я слева. На путевой охоте и там и там стоят по четыре-пять человек с копыями, а чуть позади – еще и с дротиками. Но раз нас было всего двое – мы подошли поближе к сетям. По нашему сигналу раб поднял шум, начал швырять камни... И меж двух черных кустов показался кабан.

Я еще подумал: «А не такой уж он большой». Он стоял среди истошно лаявших собак, опустив голову; на черной мохнатой морде желтели клыки. Маленькие глазки озирались вокруг – и я сразу понял, что он не собирается слепо рвануться в сеть: это был старый и хитрый зверь. Мы с Лисием стояли на своих местах, нацелив копыя вперед и вниз: правая рука держала, левая направляла. Но вот Флегон, самый крупный пес Лисия кинулся на кабана. Тот мотнул головой – Флегон взлетел, дергая лапами, упал и затих. Когда я увидел его мертвым, увидел, как стоит Лисий, – только тут пришел наконец в себя и понял. Его собаки лучше моих, они погонят зверя на него – и он это знал с самого начала!.. И я закричал, чтобы кабан посмотрел на меня, а потом и шагнул ему навстречу. Лисий тотчас закричал тоже, и его крик был громче моего, – но кабан уже смотрел на меня. Я даже не успел подумать: «Вот он», – как он уже был у меня на копые.



До тех пор я вообще не знал, что такое сила. Красные глаза его горели, он с визгом рвался ко мне, стараясь меня достать; а весу в нем было побольше, чем во мне. Я стиснул зубы и налег на древко – и смотрел вдоль копы на его клыки, на ощерившуюся морду... Длилось это несколько мгновений, но показалось – часы. Вдруг он молниеносно поддался назад и в сторону; копые, словно живое, вырвалось у меня из рук.

Я не испугался – удивился. Зверь какой-то миг был неподвижен; я даже подумал, что запросто успею снова подхватить копые свое, – но вовремя услышал голос Лисия: «Падай! Ложись!» По привычке подчиняться его команде, я не раздумывая бросился наземь – и только потом вспомнил, зачем это, и ухватился за корни, прижимаясь плотнее. Клыки у кабана загнуты кверху; он должен их подсунуть, чтобы пустить в ход.

Я не только пальцами зарылся в землю под корни – я даже зубами ухватился за какие-то горькие стебли. А кабан толкал меня мордой в бок, и ощущалась его горячая вонь. Потом совсем рядом раздался крик Лисия, и зверь исчез. Какое-то время я вообще ничего не соображал, потом огляделся. Лисий подхватил кабана на копые и теперь сражался за жизнь свою. Тот метался, словно демон, мотая его туда-сюда среди торчащих корней, где споткнуться можно было в любой момент. Мысль у меня сработала ясно и как-то не спеша, словно чужая. Я подумал: «Если он погибнет – это я его убил. А я не стану жить с таким грузом на сердце».

Копые мое так и торчало у кабана в плече. Я вскочил на ноги, выдернул его... А когда он повернулся ко мне – вонзил пониже, у основания шеи. Он надавил так – чуть руки мне не вывернул. Рядом тяжело дышал Лисий. Мы с ним налегли на копыя, разом, – кабан замер, словно валун, скатившийся с горы... Потом пасть у него раскрылась, он захрипел и испустил дух.

Лисий наступил на него ногой, выдернул копые и воткнул в землю. Я сделал то же самое. Мы с ним постояли, глядя друг на друга через убитого зверя, потом он подошел, обхватил меня за плечи... Что мы говорили сначала – это не для записи. Потом пошли посмотреть

убитого пса. Тот пал достойно: с громадной раной на сломанной шее – он и мертвый скалил зубы для боя.

– Бедный Флегон, – сказал Лисий. – Он стал жертвой нашей гордыни. Пусть боги примут его и умрутворяются.

Мы позвали раба к себе вниз. Он был ужасно взволнован: наверно думал, что кабан, убив нас обоих, съедет под скалой дожидаться его. На нас с Лисием веселье напало, мы посмеялись над его страхами. Потом освежевали зверя, отрезали от него божью долю и принесли жертву Артемиде с Аполлоном... А добычу отослали домой; раб увез на муле.

Весь остаток дня просидели мы на склоне горы над родником. Под нами плескались волны Марафонской бухты, а дальше из моря вздымались хребты Эвбеи, цветом как темное вино. Когда мы уже попросили друг у друга прощения, сказали друг другу, что простили, – и хоть с трудом, но уже поверили, что разлад наш позади, – я рассказал ему, почему ушел в тот раз в горы. Не все рассказал; сказал только, что отец обвинил меня в таком, что и произнести невозможно. Он пристально посмотрел на меня, потом быстро вдохнул – словно охнул – и взял меня за руку. И ничего не сказал. А потом был так добр со мной, – вы бы подумали, я только что совершил что-то замечательное, а не жизнью его рисковал.

Синева моря начала темнеть; в воздухе стал сгущаться золотистый свет, и по восточным склонам поползли тени... Я сказал:

– Сегодняшний день не уйдет от нас, как те, что не заполнены ничем. Напрасно говорят, будто только несчастья удлиняют время.

– Да, – ответил Лисий. – Однако день кончается, слишком скоро.

– А как ты думаешь, в конце жизни то же самое бывает?

– По-моему, нет такого человека, который не говорил бы когда-нибудь в сердце своем «Дайте мне то или то – и я смогу уйти».

– А чего бы ты попросил, Лисий?

– День на день не приходится; когда одного чего-то, когда... Вот, Софокл, состарившись, сказал, что избавиться от любви – все равно что рабу от хозяина-тирана.

– А сколько ему лет?

– Лет восемьдесят наверно, или около того... Нам надо собирать собак, они где-то за горой.

– Лисий, а нам надо в Город? Мяса осталось много, давай приготовим его и останемся в горах. И день этот будет длиться столько, сколько сами захотим.

– Смотри, как Эвбея близко кажется, – сказал он. – Ночью дождь будет.

И пригласил меня поужинать у него, как я и надеялся.

Добравшись до Города, я поехал домой помыться и переодеться. Причесался, надел свой лучший плащ, узорчатые сандалии... Когда пришел к нему, увидел, что он тоже нарядился. И только мы сели ужинать – на Город обрушился летний ливень. Он шелестел в винограднике на террасе, барабанил по крыше: воздух стал мягким, запахло прибитой пылью и мокрой листвой, и орошенными цветами с плантации за садом... Слышно было, как иссушенные солнцем горы, с которых мы только что пришли, теперь напиваются всласть, – и мы поднимали наши кубки за компанию с ними. Когда ушел раб, прислуживавший нам, мы поставили бронзовую чашу для коттаба и стали кидать друг за друга, с тостами при каждом броске. Сначала выиграл Лисий, и стал потешаться надо мной. Я заявил, что не признаю такого, и налил себе еще, чтобы сыграть снова. На этот раз выиграл я; но теперь он не хотел уступать победу – и так далее. Дошло уже до того, что чем лучше я целился – тем хуже попадал... Лисий отобрал у меня кубок и сказал:

– Дорогой мой, тебе пора остановиться.

– Что? – Я рассмеялся и забрал кубок назад. – У меня что, язык заплетается? Или я начал чепуху молотить? Неужто я из тех, кто теряет облик после третьего кубка?

– Тут ты близок к истине.

– Ну так пей сам тоже! Ты выше меня; в тебя больше поместится, пока наполнишься. Вся земля сейчас пьет и становится прекрасной; а разве мы – нет? Ведь люди

сажают виноград и дают сок из него как раз затем, чтобы чувствовать себя, как я сейчас. Сейчас не только ты прекрасен, Лисий, – ты для меня всегда прекрасен, – но посмотри, как прекрасен весь мир! Для чего же еще бог дал нам вино?

– Вот и оставь все, как есть, – сказал он. – Выпьешь больше, станет хуже. Не надо портить.

– Еще по одной, Лисий. За нас, друг за друга. Ты не подумал, что теперь моя жизнь принадлежит тебе? Если бы не ты – где бы я был сейчас? Был бы тенью; дрожал бы вон там под дождем, или порхал бы на берегу Стикса и пищал бы: «Лисий! Лисий!»... Тоненьким голоском, как у летучей мыши, так высоко что и не расслышишь...

– Остановись, – сказал он. – Ни слова больше, Алексий. Смерть и так слишком скоро разъединит друзей.

– Но ведь я о жизни, Лисий! Ты мне ее подарил. Вот этот свет лампы, запах цветов и дождя, вино и венки, а самое главное – ты сам. Ведь я должен восславить твой дар, не хочешь? Чтобы стать счастливее всех людей на свете, мне не хватает только одного: чего-нибудь такого, чем я мог бы отблагодарить тебя. Но чем?

– А пить все равно больше не надо. Я ж сказал, даже еще одна – уже лишняя.

– Я ведь только дурачился, Лисий. Глянь, я не пьянее тебя, даже трезвее. Вот скажи, как ты думаешь, куда уходит душа, когда мы умираем?

– А кто вернулся оттуда, чтобы рассказать? Быть может, как учил Пифагор, обратно в лоно... В будущего философа, если мы того заслужили; или в женщину, если были слабыми... Или в птицу, в зверя, если вообще не смогли быть людьми. Я хотел бы верить в это, это справедливо. Но я думаю, мы просто засыпаем, чтобы никогда больше не проснуться.

Его печаль дошла до меня сквозь винные пары, и я упрекнул себя за этот разговор.

– Сократ говорит – нет! – сказал я. – Он всегда считал, что душа бессмертна.

– Его – может быть. Нет сомнений, что она сделана из более прочного и чистого материала, чем у других людей; ей труднее исчезнуть. – Он поднялся на ноги и

улыбнулся. – А быть может боги хотят обессмертить его и поселить на небесах в виде созвездия?

– Он бы посмеялся такой идее. И нарисовал бы в пыли Созвездие Сократа: две маленькие звездочки – глазки, пять-шесть больших – рот...

– Или обругал бы меня, за то что непочтителен с богами. Ему не все можно сказать, он не понимает слабостей обычного человека.

– Да, – согласился я. – У него львиное сердце; ничто его не испугает, ничто не собьет. Знать, что хорошо, и делать так – для него едино...

Я чуть было не добавил: «Но он говорит, что это от ежедневной тренировки, как победа на Играх». Вовремя вспомнил, умолк, и поднес свой кубок к губам. А потом сказал:

– Наверно он знает, что таких как он больше нет, и не оглядывается на других, чтобы быть самим собой.

– Тут он человек бескомпромиссный...

– Да, с самим собой. Но других он прощает; привык не ждать от людей слишком многого.

– Наверно, Алкивиад его этому научил, – сказал Лисий.

Он встал со своего ложа, подошел к выходу на террасу и остановился, глядя наружу. Я подошел и встал рядом.

– Не сердись на меня, Лисий. Сегодня не надо, ладно? Что случилось?

– Ничего. Я и так слишком часто сердился на тебя без причины. Смотри, дождь-то кончился...

Из-за туч выглянул белый молодой месяц, показалось несколько звезд... В саду воздух был свеж; а позади нас, в трапезной, пахло привядшими цветами, дымом от лампы и пролитым вином.

– Я тоже дразнил тебя без причины, – сказал я. – А дождь будет еще, ты чувствуешь?

– Засуха была долгая, – сказал он.

– Слишком долгая. Если земля сейчас не напьется досыта, то будут страшные бури, и горные леса гореть будут.

– Конечно... А если бы мы тебя послушались, то сидели бы сейчас на Пентеликоне.

– Надеюсь, – сказал я, – мы бы нашли там какую-нибудь пещеру, чтоб хватило места на двоих.

С мокрых листьев падали капли, шелестели по винограду.

– Поздно уже, – сказал он. – Я скажу, чтобы тебе приготовили факел.

– Поздно? До полуночи еще не меньше часа. Ты теперь со мной, как с ребенком, потому что я копье выпустил?

– Ты что, не понимаешь?! – воскликнул он. А потом заговорил почти шепотом: – Я же видел, как смерть тебя доставала. А я не философ...

– Как ты со своим копьем управлялся – мне ничего не грозило, – сказал я, пытаясь заставить его улыбнуться. – На войне мы оба видели, как другого касалась смерть, но по вечерам пели вместе со всеми.

– Так мне и теперь запеть? Петь легко. Но ведь я уже видел тебя мертвым; а потом – ничего. И все труды горят вместе с урожаем, а весна и лето – как не было их... И вот теперь говорю все это, хоть никогда раньше не позволяя вину развязать мне язык. Достаточно услышал? Лучше тебе пойти.

Он отвернулся от меня и пошел к дверям позвать раба. Но я догнал его, бегом, и схватил сзади за руку.

Венок мой сбился назад, пока я бежал; он поднял руку, тронул его – венок свалился на пол у меня за спиной...

Я слышал, как последние капли падают с винограда на террасу, как заливаются лягушки в пруду за ней; и еще – стук собственного сердца.

И я сказал:

– Вот я.

20

Зимой того года мы с Лисием подались в море. Отплыли на Самос. Отец у него умер, зимняя простуда унесла; и Лисий, который уже много лет защищал его от забот разорявшегося хозяйства, не мог теперь эконо-

мать на его похоронах. В могилу ему положили все его призы с колесничных гонок. А когда все было кончено — Лисий уже не мог себе позволить держать коня; разве что обратился бы в налоговый фонд кавалерии, но для этого он слишком был горд.

А мой отец поправлялся. Скоро ему мог понадобиться Феникс; и мне совсем не хотелось дожидаться, пока он скажет, что надо отдавать коня. В те дни мы с ним ходили на цыпочках, словно в доме после землетрясения.

Он теперь очень сблизился с группой олигархов, про которых было известно, что их объединяет не только тоска по прошлому. Они собирались не ради веселья, а как люди, занятые общим делом; я часто обнаруживал, что они сидят, закрывшись в трапезной, и слуг к себе не впускают. Все это мне не нравилось; тем более, что среди них был и Критий. Ходили слухи, что в Городе есть люди, готовые впустить спартанцев, если те позволят им править; и мне казалось, что эти тоже были из их числа. В моем возрасте я уже вполне мог бы себе позволить поговорить с отцом, но мы с ним больше не разговаривали о серьезных вещах. Если он упрекал меня — это бывало между прочим и касалось только быденных дел: почему, мол, бороду не отращиваю или зачем в лавке благовоний опять сидел. На самом-то деле я туда заходил, только если там уже был кто-нибудь из друзей; а зачем вообще ходить по Городу, если не встречаться и не разговаривать? Но и на самом деле, если Лисий бывал занят — я часто предпочитал проводить время с кем угодно, лишь бы только не идти домой.

Лисия это тревожило, но он не решался меня корить. У нас с ним была своя собственная жизнь, которая не касалась никого больше. Но когда двое теряют покой, это бывает заметно. Было в нас в то время какое-то безумство, которое прорывалось то в неумном веселье, то в безрассудных выходках на вечеринках или в излишней храбрости в боях.

Сократ никогда об этом не заговаривал. На самом-то деле — вряд ли наши отношения были для него секретом. Ведь любовь хвастлива в сердце своем: она не может

прятать краденого коня так, чтобы не видна была хотя бы уздечка. В те дни никто не был с нами ласковее чем он. И без единого слова, просто бывая с ним рядом, я понял вот что: когда мы полагали, будто делаем что-то для него, — это он, из любви к нам, уделял нам толику своего богатства; и теперь был добр с нами, как с друзьями, перенесшими утрату.

Об этих утратах мы тогда знали умом, но не чувствовали их в душе. Все тяжелое осталось как бы за пределом; а то, что пришло потом, — было для нас и утешением и радостью. Мы выполняли долг перед богами, и были верны друг другу, и каждый дорожил честью другого. Как раз в это время я стал замечать, что видения детства становятся не такими частыми и не такими яркими, как прежде, что они превращаются в воспоминания. Впрочем, мне говорили, что с возрастом это естественно.

Вот так и шли у нас дела, когда я однажды обратился к Асклепию, сыну Аполлона.

Из-за войны нельзя было поехать в Эпидавр, да и вообще это было бы слишком уж торжественно. Так что я пошел в небольшой пещерный храм в скале Верхнего Города, сразу под стеной. Пошел я вечером. Угасавший солнечный свет еще падал на колонны портала, но внутри было темно; капель священного источника звучала громко и торжественно. Жрец взял медовое печенье, что я принес с собой, и дал его священному змею; тот в небольшом углублении лежал. Змей расправил свои кольца и принял печенье; жрец спросил, из-за чего я пришел. Он был смуглый, худой, с длинными пальцами... Пока я говорил, он ощупал меня и завернул мне веки куда-то вверх.

— Я хочу на следующих Олимпийских Играх бежать длинную дистанцию по группе взрослых, — сказал я.

— Так возблагодари богов за отличное здоровье, — ответил он. — А если тебе нужна диета, то посоветуйся с тренером. Здесь место для больных.

Я уже выходил, когда он остановил меня:

— Подожди. Так что тебя беспокоит?

– Ничего особенного, – сказал я. – Мне не стоило тревожить Аполлона, дыхание бегуна мелочь для него. Но иногда, на последнем круге или у самого финиша, когда воздуха не хватает, у меня бывала такая боль, словно нож вонзается. Иногда это в груди, иногда в левой руке; а иногда вместе с болью еще и в глазах темнеет. Но после бега это проходит.

– Когда это у тебя началось? – спросил он.

– На Истмийских Играх, тогда не сильно. Но недавно я пробежал большой кусок по горам, и с тех пор боль появляется даже на тренировках.

– Ясно. Вот что, беги на Агору. Поклонись Алтарю Всех Богов и быстро возвращайся, не останавливайся и не заговаривай ни с кем.

Бежалось легко, но на подъеме в конце я запыхался и ощутил ту боль, слегка. Он ощупал мне шею и кисти рук, потом приложился ухом к груди... От бороды было щекотно, но я знал, что смеяться нельзя. Он принес мне чашу и сказал:

– Выпей и усни. А когда проснешься – вспомни, какой сон посылал тебе бог.

Я выпил и лег на циновку у входа. На другой циновке спал еще один человек, а остальные были свободны. Ко времени когда зажигают лампы, я уснул. Проснувшись, ощутил запах мирры и увидел жреца на утренней молитве; уже рассветало, близился восход. Человек на другой постели еще спал. Голова у меня была тяжелая, вялый был, и какой-то странный. Вскоре жрец подошел и спросил, послал ли бог сон мне.

– Да, – сказал я. – Счастливый сон. Мне снилось, что лба моего коснулось что-то холодное, я открыл глаза и увидел себя вот здесь; и мне явился бог. Он был такой же, как в храме, только чуть постарше, лет тридцати, и бритый, как атлет. С белой хламидой на плече, с луком за спиной. Он стоял вон там.

– Да, – сказал жрец. – А что потом?

– А потом сам бог протянул мне лавровый венок с лентами Олимпии.

Жрец кивнул и погладил бороду.

– В какой руке он держал венок, в левой или в правой?

Я вспомнил и сказал:

– Ни в какой. Он вытащил стрелу из колчана, и венок висел на наконечнике стрелы. И так он держал его для меня.

– Подожди, – сказал он.

Пошел к алтарю, бросил на него ладана и стал смотреть на дым. Капли священной воды тяжело шлепали в чашу, высеченную в скале, сухие кольца змея шевелились в песчаной яме... Утро было туманное, холодновато... Жрец вернулся ко мне с венком на голове.

– Вот что говорит Аполлон: «Сын Мирона, до сих пор я был другом тебе. Даже Олимпийский венок дам я тебе, если станешь добиваться его изо всех сил. Но лучше не надо, ибо вместе с венком придет и стрела. Мгновенно, с безоблачного неба».

Он внимательно посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я понял. Я помолчал, обдумывая его слова; потом спросил, почему так.

– У тебя сердце слишком велико для твоего тела, Алексей, – сказал он. – Так говорит бог.

Солнце уже взошло. Я обогнул скалы, прошел на Верхний Город и стал смотреть на высокие синие горы Лакедемона, за которыми лежит Олимпия. Вспомнилось, как после самых последних Игр, когда победитель-бегун вернулся в родной город, – его сограждане решили, что городские ворота недостойны впустить его, и разобрали стену, чтобы ввести его в проем. Когда я впервые услышал о спартанце Ладанте, который упал замертво в венке, еще не успевшем завянуть, – я думал, что человек вряд ли может мечтать о более счастливом конце. Но с тех пор я побывал на Истме; и теперь мне казалось более достойным благородного человека отдать жизнь, как Гармодий и Аристокитон, за свободу своего Города и за честь друзей своих. Однако, когда я шел домой, на душе было пусто и тоскливо. Ведь я так долго мечтал об Олимпии: о зеленых холмах у реки, о темных дубравах на Холме Кроноса, о стадионе у его подножия... И о стоящих вдоль аллей статуях победителей, от времени

героев и до вчерашнего дня. Когда скульптор в палестре попросил меня позировать ему, я подумал и сказал в сердце своем: «У меня еще будет время для этого»...

Вот почему я перестал тогда бегать. Наверно, подходит время, когда мне придется платить и за свои старые венки. С тех пор как исполнилось пятьдесят, после подъема на гору или после долгой скачки я снова стал чувствовать в груди стрелу Далекоразящего Аполлона. Потому и записываю все, пока могу.

Вскоре после того мы случайно встретили одного афинянина из самосской эскадры; он служил на корабле голиахом морской пехоты. Мы все были навеселе; и он спросил, как бы шутя, чего ради таким замечательным парням, как мы, голодать самим, чтобы кормить своих лошадей. Вместо того, сказал он, мы могли бы жить как благородные люди в прекраснейшем городе всех островов – и участвовать в делах, достойных мужчин: в боях против кораблей Спартанской Лиги, что базировались в Милете, прямо через пролив.

– Нет лучшей базы, чем Самос, – говорил он. – Самосцы для афинян на все готовы, с тех пор как они свергли своих олигархов и наши дрались в гавани на стороне демократов. Вы там будете иметь все, что захотите; или всех. И, кстати, им нужен каждый демократ, кто туда приедет, потому что обстановка там тревожная.

От этого мы отказались сразу. Лисий сказал, что только последний дурак может ввязаться в политику в чужом городе. Но все остальное нам понравилось. А тот рассказал, что в Пирее заканчивают новый корабль, «Сирену», и команда на него еще не укомплектована. Триерарху нужен был лейтенант морской пехоты, и он рад был приобрести человека с послужным списком Лисия; а поскольку мы с триерархом были из одного рода – нетрудно было попасть в команду и мне. Я был еще слишком молод для заморской службы, но делать больше чем положено на войне обычно позволяют, тем более если это такой случай, когда надо помочь любящим.

Когда «Сирену» оснастили, была еще зима, но триерарх торопился на Самос. Причины этого мы позже

узнали. Теперь настала очередь отца стоять на причале и провожать.

— Ну, Алексей, — сказал он, — если бы ты уделял хоть немного времени городским делам, я сейчас мог бы для тебя кое-что сделать; но ладно, это уже прошло. Ты хорошо показал себя на войне; я не боюсь, что нам придется стыдиться за тебя. Но на Самосе смотри в оба; и когда увидишь, в каком состоянии страна, — думай. Афины слишком долго управлялись жребием и подсчетом бестолковых голов. Пора показать себя тем, кто хоть чего-то стоит.

У меня не было времени спросить, что он имел в виду. Мысли мои были уже на корабле. Я вдыхал запахи пеньки и смолы, бочек с соленой рыбой и маслом, и холодного зимнего моря... А над нами в ожидании висели чайки; знали, что у нас в кильватере им будет сытно.

«Сирена» была боевой триерой, не транспортом, так что на ней был лишь ее собственный отряд из пятнадцати человек. Мы размещались на носовой палубе под навесом из бычьих шкур, как раз над передней скамьей гребцов; а боевые посты у нас были на узком помосте, что шел вокруг корпуса корабля. В команде было двадцать пять матросов, а гребцы располагались в три яруса; на нижнем были рабы. Там внизу свободный работать не станет: проемы для весел затянуты кожей, чтобы брызги не залетали, так что гребец весь день ничего не видит, кроме спины сидящего впереди; а во время отдыха еще и ноги соседа с задней скамьи у себя по бокам. Но в дождливую и ветреную погоду, когда мы жались друг к другу под своей кожаной крышей, им было лучше, чем нам. Я думал, даже зимнее плавание не сможет быть тяжелее иных наших ночевок в горах, когда в Пограничной Страже служил. Я забыл, что на коне не укачивает. Но на другой день ветер поменялся, и мне стало полегче.

На корабле как-то узнали, что мы с Лисием любовники, хоть мы и держали это в секрете. После кавалерии, где к этому относятся с пониманием, трудно было мириться с вульгарными шуточками, какие можно ус-

лышать в пехоте. Быть может, я слишком легко обижался тогда? Большинство из гоплитов хорошие были парни – я это после узнал, – просто привыкли болтать, а выбирать выражения их никто не учил.

Мы везли плату для нескольких кораблей, стоявших в Сесте. Ветер был хороший, так что туда мы добрались за шесть дней. Но в гавани тамошней на нас навалился неповоротливый зерновоз – несколько гребцов были ранены, а в обшивке проломаны некоторые доски. Нам пришлось болтаться в Геллеспонте, пока делали ремонт, а потом еще и из-за погоды застряли... В результате, путь до Самоса отнял у нас несколько недель, и все это время мы вообще не получали никаких известий.

После безделья в крохотном колониальном городишке хорошо было увидеть большой город на Самосе, сверкающий между горами и морем. Город выдается в море, будто шпора, а в изгибе ее располагается гавань. К западу от бухты храм Геры, самый большой во всей Элладе, к востоку – широкой лестницей спускаются к морю террасы ячменных полей... А через пролив, совсем близко, высокий берег Ионии; на самом деле фиолетовый, как она и названа.

Гавань была забита кораблями. Мы в первый раз увидели новый афинский флот, потому что корабли по большей части посылались сюда сразу, как только сходили со стапелей. Блестящие клювы на форштевнях и тараны, борта со свежей краской из киновари, вымпелы триерархов на кормовых флагштоках – прекрасное было зрелище. Спартанцы были совсем рядом, потому с некоторых триер были сняты мачты – на берегу лежали – на случай боевых действий, если нападут на гавань. А несколько стояли на песке, им днища отскребали; и рядом были расстелены их паруса, с эмблемами, сверкавшими свежей краской.

Изогнутый берег бухты был запружен народом. Под платанами толпились горожане и моряки, солдаты и торговцы... Сидели перед харчевнями, прогуливались взад-вперед, или торговались с финикийцами, которые поставили свои корабли у самой кромки воды и разложили товары прямо на них.

Афинский лагерь располагался у берега возле стоянки кораблей, между городом и храмом. Он был здесь уже так давно, что палаток в нем не осталось. Получился как бы городок из дерева или из обмазанных плетней, крытый тростником. Мы отыскивали свои квартиры и пошли смотреть город.

Нынче просто скучно пересказывать, что мы там увидели. Любой человек моих лет, да и моложе, видел что-нибудь похожее. После долгих недель хитроумных интриг – ходов и контрходов – город был на пороге переворота. Уже через пару часов стало ясно, почему отец предупреждал меня смотреть и думать. Афинская армия тоже раскололась снизу доверху: олигархи снюхались со своими на Самосе, демократы сплотились с горожанами. Но все это пахло особенно скверно потому, что самосские олигархи – по большей части – это были не те люди, кого прежде высылали, а те, кто совсем недавно стоял во главе восстания демократов. Чуткий нос мог унюхать гниль в самой сердцевине: кое-кто здесь хотел не свободы и справедливости, а только чужого добра.

Как все это отражалось на нашей боеспособности, мы увидели уже на второй день по прибытии, когда показался спартанский флот с явным намерением пройти мимо острова. Запели фанфары, с кораблей снимали мачты, скатили корабли на воду, все гребцы были на местах... Оружие и щиты сложили на палубах, уже стояли на корме чаши для возлияний... Оставалось только запеть пеан и двинуться в море. Во время вынужденной стоянки на Геллеспонте Лисий не терял времени даром, и наши бойцы уже успели кое-чему у него научиться. В ожидании сигнала мы пели, песню подхватили гребцы; я слышал, даже рабы стали подпевать. Но мы все ждали, ждали... Песня выдохлась, люди устали и забеспокоились... Спартанский флот прошел мимо храма и завернул за мыс, – а мы пошли на берег заливать вином свой позор. Наши генералы не врага боялись. Был еще другой враг. О некоторых триерархах потом открыто говорили, что они могли бы помешать во время боя

или просто перейти на другую сторону. То, на что в Афинах едва намекали, здесь считалось в порядке вещей.

Самос — древний и прекрасный город. Даже его прежние тираны украшали его своими дарами, как увешивают драгоценностями любимого раба. Теперь он был в расцвете; каменщики, скульпторы и художники трудились, не покладая рук; улицы, словно усики винограда, разрастались по склонам гор, расцветивая их розовым мрамором, или желтым или зеленым, с резьбой и позолотой в изящном ионийском стиле. Но среди всей этой красоты человек ходил, как по вонючему болоту, не зная куда ступить и не веря никому. Мы сомневались даже в собственном триерархе. Это был бледный человек с тонкими губами; на Геллеспонте он из-за задержки ногти грыз, однако когда нетерпение было вполне естественным — тут он старался его скрывать.

А поверх всего этого мрака огоньком мелькало имя Алкивиада. Из дворца Тиссаферна он перебрался на побережье и жил теперь прямо напротив нас, через пролив. Олигархи распускали слухи, что если бы демократия, несправедливо изгнавшая его, была свергнута в Афинах, то он простил бы нас и вернулся, — а персы у него с рук едят, — вернулся бы и выиграл нам войну. Это было очень похоже на правду, потому что в Магнезии он сидел на пиру, не снимая меча. Если спартанцы овладеют всей Элладой, то мидяне — чтобы не портить отношений с ними — наверняка его выдадут; а пока царь Агид жив, в Спарте ему рассчитывать не на что, кроме смерти.

Тяжесть всего этого придавила нас настолько, что мы стали молчаливы даже друг с другом, — но тут нам повезло: мы встретили нашего давнего друга Агия, кормчего с «Парала». Оказалось, что они на Самосе. С ним можно было разговаривать свободно, в нем мы были уверены; и вскоре он нас слегка успокоил. Сказал, что все моряки — убежденные демократы, все как один. Он мог себе позволить ручаться за них: ведь «Парал» был не простой галерой, а он — главный кормчий флота.

На другой день мы с ним встретились снова, уже не случайно. Он привел нас в одну харчевню, под знаком

золотого треножника на вывеске. За харчевней был небольшой побеленный дворик, тенистый от винограда. А там у стола сидел высокий, худощавый человек, в юбке морского пехотинца и в кожаной безрукавке. Он был тонок, но широкоплеч, с большим твердым ртом, а его карие глаза смотрели прямо в душу. Агий сказал:

– Вот мои друзья, Фразибул.

Этот человек прибыл на Самос простым гоплитом, но он был вождем по натуре и быстро нашел свое место; теперь все демократы равнялись на него. И велик он был не только телом; с первого взгляда становилось ясно, что он запомнит лицо твое и имя, и не оставит тебя в беде.

Он уже знал от Агия, что нам можно верить, и заговорил с нами очень откровенно. Сказал, что наш триерарх погряз в заговоре, и если дойдет до сражения – Лисий должен быть готов взять на себя командование кораблем. Теперь было ясно, что самосское дело было лишь верхушкой чего-то более глубокого. Афинские олигархи собирались использовать его, чтобы захватить контроль над флотом, а потом и в самих Афинах. После того они станут договариваться со Спартой об условиях мира. Неважно, насколько позорны будут эти условия, – лишь бы сами они могли жиреть на мертвечине, хоть это и будет труп их родного города. Тогда Афины станут всего лишь еще одним вассалом Спарты, а правление будет таким деспотичным, какого ни один спартанец не спес бы у себя дома. Это чтобы подчинить вождей и ослабить народ. Нас собирались продать спартанцам, как когда-то тиран Гипсий продал мидянам.

Но как раз теперь, сказал он, изменники получили удар, от которого еще не оправались. Алкивиад сорвался у них с крючка.

Либо он никогда и не собирался их поддерживать, а только испытывал заговорщиков – как заявлял теперь, – либо, по каким-то своим соображениям, передумал. В конце концов, он всю жизнь был демократом. Во всяком случае, теперь он работал на нас и уже успел это доказать; помилование он себе уже заслужил, когда спас свободу Города. В полной мере его талант полководца

проявился уже после его изгнания, и он был самой большой приманкой, на какую олигархи в Афинах ловили себе сторонников.

— Так что, — сказал Фразибул, — вам надо теперь быть в Самосе неотлучно, нельзя уходить даже на час. Если я не дурак, они постараются ударить, пока эти новости не дошли до Афин.

Когда мы уходили оттуда, разговаривать нам не хотелось. Я размышлял о том, что если отец мой ввязался в это дело, зная что к чему, — я уже никогда в жизни не смогу людям в глаза смотреть. Думал, что даже Лисия коснется этот позор. Посмотрел на него — он шагал рядом, замкнувшись в своей беде: он был не из тех солдат, кто легко избавляется от веры в командира. Он думал о своей чести, а я о нем.

Прежде я не обращал внимания на болтовню, обычную в лавке благовоний или на пьяной вечеринке. «Как поживаешь, друг мой? Сколько же мы с тобой не виделись? А как тот красавец Имярек, которого ты так превозносил в тот раз?» — «Ну, знаешь ли, время идет. Ему уже должно быть за двадцать, где он теперь — понятия не имею». Раньше я просто не замечал таких разговоров, а теперь они били меня по ушам. Они были той шпорой, что подгоняла меня, когда я смеялся слишком громко, или пил слишком много, или глупо рисковал в бою. Теперь, на пороге взрослой мужественности, когда пора было бы возникнуть новым стремлениям, манящим меня вперед, — я беспрерывно думал только о том, что время неумолимо, что оно несет мне неизбежную утрату.

Впрочем, на Самосе у времени были заботы и поважнее, чем я.

На следующий день мы с Лисием пошли на прогулку недалеко за стены; посмотреть развалины крепости Поликрата, прежнего самосского тирана. Ему всегда везло; везло так долго, что он сам уронил в море громадный изумруд — специально, — чтобы нарушить беспрерывную цепь удач, дабы этого не сделали боги. Но они вернули тот изумруд в брюхе у рыбы, чтобы он знал, что от судьбы не уйдешь; и теперь его стены стояли

такими, как их оставили мидяне. Внутри развалин был загон для овец, росли мелкие цветочки какие-то. На Самосе была весна; на террасовых полях под нами молодой ячмень закрыл землю нежной зеленью, а черные лозы распускали почки... Мы загорали вместе с ящерицами на больших теплых камнях, когда Лисий вдруг сказал:

– Как долго мы здесь пробыли? Пора возвращаться.

– Почему? – спросил я. – Все спокойно. Нам не часто удастся выбраться вдвоем.

– Я чувствую предупреждение. Быть может я видел какое-нибудь знамение, но не обратил внимания в тот момент...

– Предупреждение, что ты от меня устал? Тогда это знамение для меня.

– Шутить не время, – сказал он. – Что-то происходит. Надо идти в город.

Когда мы пришли на Агору, там было полно народу, но обстановка вполне обычная, все как всегда. Я уже собирался упрекнуть Лисия, но и сам почувствовал какую-то тревогу. Чтобы как-то себя занять, мы смотрели на работу среброкузнеца, который чеканил кайму из раковин на блюде для рыбы. Лисий стоял ближе к двери и время от времени поглядывал наружу. И вдруг сказал:

– Клянусь Гераклом, это же Гипербол!

Я вытянул шею, поглядеть. Почти готов был увидеть змея, покрытого чешуей. Его изгнали, когда я был еще совсем маленьким, а отец всегда отзывался о нем не иначе, как о чудовище. Я забыл, что он обрновался на Самосе. А теперь увидел его – он выглядел как любой старый демагог с сомнительной репутацией; из тех, кто зарабатывает обвинениями и разоблачениями, пока им верят, а когда это проходит – доносами или судебными жалобами с примесью лжесвидетельства. У него было бледное лицо с вялым ртом и жидкая бесцветная борода; при разговоре он брызгал слюной и похлопывал себя по руке свитком, который носил напоказ, для пущей важности, как все подобные люди. С ним было несколько друзей, слушавших его вполуха. Даже издали этот старый жулик казался отмеченным печатью непобеди-

мой скуки; и было тем более странно, что здесь, на Самосе, у него еще находятся слушатели.

У него за спиной непонятно откуда возникла странная группа, человек пять-шесть. Некоторые выглядели, как неуклюжие подмастерья; из тех, кто скорее разобьет свою работу, если мастер обругает его за неряшливость, – скорее разобьет, чем сделает ее как следует. И было там еще человека два постарше, которые казались их компанией, но с ними не разговаривали.

Несколько горожан мельком глянули на Гипербола и его свиту – и быстро прошли мимо. Он стоял возле статуи какого-то атлета, там у пьедестала было несколько ступеней. На одну из них он поставил ногу, словно по привычке; и, чувствуя себя как дома, начал разглагольствовать. О чем он говорил, я не знаю. Потом он обернулся и увидел людей, стоявших за ним. Он вообще был бледный, но тут не стал еще бледнее – наоборот, покраснел. Покраснел, поднялся по ступеням до самой верхней – и обратился к людям вокруг.

Мы с Лисием глянули друг на друга... Он обхватил меня рукой, похлопал по плечу и сказал:

– Пойдем послушаем.

Мы вышли из мастерской и пошли туда. Каждый раз, когда мне кажется, что я понял кого-нибудь до конца, я напоминаю себе о Гиперболе. Наверно в тот день он произносил главную речь своей жизни. Он был самым омерзительным оратором из всех, кого я когда-либо слышал: вульгарный невежда, стремившийся не учить своих слушателей, а возбуждать в людях, таких же грубых как он сам, нелепые страсти, к которым они склонны и так, – шлюха среди ораторов. Это был человек настолько низменный, что вспомнить о чем-либо достойном, глядя на него, можно было только по контрасту: словно он передразнивал кого-то, начисто лишенного достоинства. Однако, когда он обличал людей, нагонявших страх на город, был в нем какой-то огонь. Он жил злобой и ненавистью: и теперь взывал к добру только во имя вражды. Но в этот миг величие и благородство оглянулись на него и придали ему храбрости. Представьте себе какую-нибудь шелудивую дворняжку,

что годами жила на обедах и отбросах вокруг базара – и вдруг, у вас на глазах, ощетижилась на стаю волков.

Он стоял, наклонившись в сторону толпы и грозя ей пальцем, и вытаскивал из себя какую-то фразу, слово за словом, в заключение речи – и тут один из молодых, из подмастерьев, бросился вверх по ступеням, схватил его за ногу и перевернул. Вокруг раздался смех: уж очень нелепо он выглядел, когда падал с раскрытым ртом.

Как и всегда, когда кто-то говорит на Агоре, вокруг Гипербола собралось сколько-то народу. Теперь нам с Лисием не видно было из-за них, что происходит у подножия статуи, мы только слышали странный звук: там кто-то не то хныкал не то ворчал. Потом раздался крик и топот бегущих людей. В толпе началась сумятица: одни старались выбраться наружу, другие – пробиться вперед.

Я увидел, что Лисий ощупывает свой пояс. Даже на Самосе нельзя было ходить по улицам с мечом, словно ты варвар. Но у нас были спартанские кинжалы, в Страже это считалось как бы украшением. Каждый афинянин носил с собой что-нибудь, хотя бы охотничий нож.

Мы проталкивались вперед, чтобы увидеть, что произошло, – и вдруг толпа перед нами расступилась и мы оказались возле статуи. Здесь никто не толкался, было просторно; а перед статуей не было вообще никого, кроме Гипербола. Он лежал на спине, задрав к небу свою жидкую бороденку, и на запачканном плаще его была кровь. Рот у него был широко открыт; он словно ухмылялся, как будто только что очень удачно кого-то разоблачил.

Когда мы шагнули вперед, все остальные подались назад.словно с облегчением, словно говоря: «Разбирайтесь сами, это ваше дело». Но тут же толпа начала расступаться и напротив нас.

Некоторых из тех, кто теперь протискивался вперед, я уже видел; это они преследовали Гипербола. Один из них без слов показал на тело. Его лицо и жест говорили:

«Уберите эту падаль на свалку». В толпе никто не шевельнулся, а какой-то маленький человечек сказал:

– Это было убийство. Его надо показать судьям.

Один из молодых быстро повернулся к человечку и плюнул ему в лицо. И они двинулись к телу Гипербола.

Лисий на миг сжал мне локоть – и рванулся вперед. Я кинулся следом; и увидел, что он стоит, защищая этот жалкий крошечный трупик, в руке кинжал. Тот молодой, что плюнул, – в нем не было ничего от гомеровских героев, – тот смотрел на Лисию ошарашенно. Я вытащил свой кинжал и прыгнул к Лисию, прикрыть ему спину. Теперь я его не видел, только лица вокруг. На иных был испуг, на иных притворное непонимание происходящего, на иных расцветали дружеские улыбки и боевой задор... Но были и еще лица – лица тех, кто пришел за телом; и они вытаскивали из-за пазух длинные ножи.

Я не сомневался, что опасность там не меньше, чем на войне, только смерть уродливее будет. Но, как ни странно, страха не было вовсе; настроение было такое, что я мог бы громко засмеяться или запеть. Дело наверно в том, что я чувствовал себя – словно участвовал в сцене, о какой мечтает каждый школьник, когда впервые слышит балладу об Аристокитоне и Гармодии. В голове у меня звучали прекрасные слова; я, как мальчишка, представлял себе наши тела, лежащие рядом на погребальных носилках героев, но смерть свою представить не мог. Я стоял, ощущая спину Лисию, и выглядел – не сомневаюсь – так, будто меня попросили подыскать позу Освободителя. И так меня занесло, что я закричал во весь голос:

– Смерть тиранам!

В следующий миг я спиной почувствовал, что Лисий получил удар – кто-то там кинулся на него, – и увидел, что двое молодых нацелились на меня. Тут уж стало не до гекзаметров: это снова была война – и ни коня, ни копыта под рукой. В свалке раздался еще чей-то крик «Смерть тиранам!» – но кто кричал, я не видел. Видел только тех двоих, с кем дрался, потом одного из них схватили сзади и оттащили. Вокруг снова была давка; я



зацепился ногой за ногу трупа и проклинал эту помеху... Потом услышал Лисия. По его команде мы развернулись плечо к плечу и стали пятиться вверх по ступеням, пока не прижались спинами к пьедесталу. Теперь стало видно, что бой идет по всей Агоре. Лисий закинул голову и закричал.

– Сирена!.. Сирена!..

По ту сторону площади раздался афинский пеан, слышались возгласы «Парал!»...

По площади к нам бежали моряки, олигархи исчезли. Робкие горожане попрятались в домах, но таких было не много; большинство присоединилось к нам, приветствуя нас с Лисием, как своих вождей, потому что видели нас на ступенях. Люди снова и снова подхватывали крик «Смерть тиранам!», но теперь в нем появилась новая нота. В углу площади возникла какая-то свалка; глянув туда, я увидел над толпой окровавленное лицо, расширенные блуждающие глаза... Кого-то там избивали. На войне такого не увидишь; в мое ликование словно помоев плеснули.

Я потянул Лисия за локоть и показал ему. Он увидел. И – потребовав тишины – обратился к толпе. Сказал, что это великий день для Самоса, потому что враги проявили себя. Но дело только начато; мы должны продолжить его дисциплинированно и разумно – нужно захватить арсенал. Все предатели предстанут перед судом, когда в городе восстановится порядок, но сейчас мы должны нападать лишь на тех, кто сопротивляется нам, ибо нельзя бороться с беззаконием, творя беззаконие. Потом он сказал, что самосцы и афиняне, пока они любят справедливость, будут друзьями. Тут все закричали одобрительно... Это была очень хорошая речь; для того, кто едва отдышался после такой схватки. Самосцы подхватили его и понесли на плечах. И безо всякой причины – как это всегда в толпе – меня тоже подняли и понесли. Я обернулся посмотреть – сверху было виднее, – поднялся ли на ноги тот, кого били в углу. Но он так и лежал там.

Так начиналась самосская заваруха у нас на глазах. Однако, не только это послужило началом. Олигархи

ударили одновременно по всему городу, выбрав первыми жертвами таких людей, как Гипербол, которых не любили или презирали и за которых – они думали – никто не вступится. Так под предлогом очистки города они могли бы с самого начала захватить контроль над ним. В некоторых местах так и получилось, но в других люди сразу поняли, что это значит; так что теперь битва полыхала повсюду, словно огонь на соломенной крыше при сильном ветре.

Все знают, что олигархи были в тот раз разбиты, и хозяевами на Самосе остались демократы.

В ту ночь, расставшись с товарищами, мы с Лисием сидели в его тростниковой хижине на берегу. Усталые были после тяжкого дня, но еще слишком возбужденные, чтобы спать. Перевязали себе раны – мелочь, ничего серьезного, – поели... Голодные были здорово, потому что раньше поесть некогда было. И вот, сидели мы на табуретках возле некрашеного стола и прихлебывали вино. Негромко плескалось море; снаружи – сверху мерцали звезды, а снизу – костры и огни кораблей... На столе между нами стояла плоская глиняная лампа, мы ее только что зажгли. Лисий сидел, опершись подбородком на кулак, и смотрел в огонь. Вдруг он спросил:

– Алексей, а почему ты демократ?

Если бы мне теперь пришлось честно отвечать за того юношу, я быть может сказал бы: «Из-за отца. Или из-за родоски. И потому, что люблю тебя». Но в тот раз я, разумеется, ответил, что считаю демократию более справедливой.

– Не обманывай себя, дорогой мой, – сказал он. – Она может быть и несправедливой. Возьми хоть Алкивиада... Кстати, я думаю, он скоро будет командовать у нас.

Я посмотрел на него изумленно, такое мне и в голову не приходило.

– Привыкай к этой мысли, – сказал Лисий. – Он может казаться тщеславным до безобразия, он и на самом деле таков; но очень спорно, должен ли человек быть верен городу, без оснований объявившему его вне закона. Что бы он ни вытворял в свое время, но Гермов

он разбивал не больше, чем мы с тобой... Вот скажи, что лучше: чтобы все граждане были несправедливы или только некоторые?

– Конечно только некоторые, Лисий!

– Лучше сносить зло или творить его?

– Сократ говорит, творить хуже.

– Тогда несправедливая демократия хуже несправедливой олигархии, разве не так?

Я подумал над этим, потом спросил:

– А что такое демократия?

– Как раз то, что и означает: власть народа. Она так же хороша, как и сам народ; или так же плоха.

Он вертел в руках винную чашу. Зрачки, прежде широкие, сузились от взгляда на пламя, а радужки глаз мерцали, словно серо-коричневый шелк, отражающий свет.

– В Афинах в первый год войны устроили Эпитафий в честь павших, – сказал он. – По Священной Дороге с великой торжественностью несли пепел и жертвоприношения, и пустые носилки вместо тех погибших, кого не смогли найти. Это за несколько месяцев до твоего рождения было; быть может мать несла тебя в этой процессии, а мне было семь лет. Мы с отцом стояли на улице Могил. Было холодно; мне хотелось убежать оттуда и поиграть... Я смотрел на высокий деревянный помост, построенный для Перикла, и ждал, когда он поднимется туда, как все детишки ждут любого представления. Когда он появился – я был в восторге от осанки его, и от замечательного шлема; а при первых звуках его голоса даже что-то задрожало внутри... Но скоро я устал стоять и мерзнуть, и ничего не делать; казалось, это никогда не кончится, женские рыдания раздражали, а люди слушали его в таком молчании, что оно меня угнетало... Я стоял и смотрел на надгробие какого-то парня, он был высечен вместе с конем; я и сейчас его вижу. Когда все кончилось – рад был ужасно; и если бы меня спросили через год, что говорил тогда Перикл, – сомневаюсь, что сумел бы выудить из памяти хоть несколько слов. А сейчас, перед отъездом, я просмотрел его речь в архиве. Там оказались мысли, которые

я считал своими собственными. И даже во время чтения я так и не смог вспомнить, что услышал их от Перикла. Казалось, душа моя их помнит, как мы помним музыку и математику, Сократ говорит, с того времени, когда были еще нерожденными и чистыми.

Я сказал Лисию, что слышал об этой речи, но не читал ее никогда; и он пересказал, что смог вспомнить. С тех пор я перечитывал ее много раз. Но Перикла я никогда не знал, и мне каждый раз кажется, что это Лисий говорит; я вижу перед собой не могилу и помост, а лампы Самоса в темноте за дверью, его громадную тень на стене, сложенные доспехи, блестящие на фоне циновки, глянцевитую черную чашу – и его пальцы на ней, со старинным кольцом плетеного золота.

Закончив о той речи, он сказал:

– Люди не бывают равными от рождения. И я считаю недостойным утверждать, будто это не так. Я был бы дураком, если бы считал себя равным Сократу. А если – сам в это не веря – я захотел бы, чтобы ты меня ошастливил, говоря мне, что так оно и есть? Да ты презирать меня стал бы! Так с какой стати я должен оскорблять моих сограждан, обращаясь с ними как с дураками и трусами? Человек, считающий себя не хуже любого другого, не будет стремиться стать лучше, чем он есть. С другой стороны, я могу на самом деле подумать, что я так же хорош, как Сократ, и даже могу убедить других дураков согласиться с этим, – но при демократии на Агоре есть Сократ, который докажет, что я не прав. Я хочу жить в таком городе, где могу найти равных себе – и почитать тех, кто лучше меня, кем бы они ни были; и где никто не заставит меня проглотить ложь – потому что она, видите ли, целесообразна, – или смириться с произволом другого человека.

Усталость того дня сморила нас, мы пошли спать. А на следующий день «Парал» вышел в море и повез хорошие вести в Афины. На форштевне гирлянды, гребцы поют... Когда мы их проводили, я пошел в храм – отвел козленка Зевсу, чтобы он спас моего отца, хоть бы и против воли его.

Олигархи нас больше не тревожили; у них одна осталась забота — замести следы и спасти свои шкуры. Неделю после ухода «Парала» мы прожили очень спокойно. Я имею в виду, что спокойно было на Самосе. О себе самом сказать этого не могу, потому что через пару дней Лисий сказал — легко, как всегда говорил в таких случаях, — сказал, что встретил в городе девушку, которая его очаровала, и намерен навестить ее нынче ночью. Это был первый такой случай, о каком я узнал, с тех пор как изменились отношения наши; и я даже удивился, как больно это меня задело. Так был расстроен — вы бы подумали, что его пленил какой-нибудь юноша, который мог бы всерьез его занять. При его верности это было совершенно нелепо.

Я как раз промасливал ремни наших доспехов — кожа быстро портится от морского воздуха — и выслушал его, не прерывая работы, чтобы не выдать своего настроения. Но он заметил, что я притих, и спросил, не хочу ли я пойти с ним. Он, мол, уверен, что его девушка найдет подружку и для меня. Я поблагодарил и сказал, что пойду как-нибудь в другой раз. Он стоял причесываясь и насвистывая; потом оглянулся, присел рядом со мной, и очень ласково стал уговаривать меня пойти все-таки. Сказал, среди прочего, что я у отца единственный сын, что когда-нибудь мне надо будет жениться, а я не сумею ни выбрать жену ни обращаться с нею как следует, если не буду знать женщин. Я ответил, что вообще-то они мне очень нравятся, но не сегодня. На самом-то деле, его уговоры меня только еще больше расстроили, напомнив, что при естественном ходе событий он должен жениться раньше меня. Люди, кого я знал, относились к этому достаточно легко; я видел, как они выступали шаферами своих друзей и веселились на их свадьбах. Неприятно было думать, что я более подвержен крайностям и меньше способен на благоразумие, чем все остальные. И на самом деле, оглядываясь назад, я не могу понять себя такого, каким был тогда.

Когда он ушел, я отправился гулять; потому что бог, униживший меня наказания ради, не пощадил ни души моей ни тела, и спать я не мог. Светила молодая луна;

я прошел по тропинке к замку Поликрата и сел там, глядя на море. Вокруг пахло овцами – отара была в загоне, – а еще чебрецом и какой-то весенней зеленью... Я пожаловался богу, что он несправедлив ко мне: ведь я никогда не пренебрегал им, ни разу его не оскорбил... Но он, отвратив лицо свое, напомнил мне, как я бывало обращался с Лисием, который всегда был так добр со мной; и как я раньше ничуть не переживал о Полимеде, или еще о дюжине других – я даже имен их не помнил... Еще он сказал, что я сам, по собственной воле стал рабом его; а раз он дает людям больше радостей, чем любое другое божество, – естественно, что и наказания его приносят больше боли. Я признал его справедливость, и пошел домой. А когда Лисий вернулся – притворился, что сплю.

Та девушка оказалась еще милее, чем он думал, и он уходил к ней несколько дней подряд. Я тогда страдал из-за этого. Но это оставило в душе меньше следов, чем раны, поначалу казавшиеся гораздо легче, когда кто-нибудь мне почти безразличный обманывал мои ожидания по поводу его верности или чести. Как литейная форма рассыпается в пыль, а бронза статуи остается, – так я не могу теперь вызвать к жизни ту боль. Но помню – словно вчера это было – запахи почвы, и Млечный Путь, пыльным облаком висящий в бездонном небе, и факел, горящий на корабле, что стоял в бухте, и крик пропавшегося ягненка, и ответ птицы...

Не знаю, сколько продолжалась бы эта история. Она измучила меня сверх всякой меры; Лисий даже спрашивал, не заболел ли я. Но вскоре на нас навалились дела посерьезнее, и эти глупости как ветром сдуло.

Триерарх «Парала» появился один, на эгинском торговом судне. Когда они пришли в Афины, там уже правили олигархи. Отчаявшись из-за потери Алкивиада, они не стали ждать, что получится на Самосе, а начали сразу, сами. Обманув народ, они объявили, что на Самосе переворот удался, и что Алкивиад с ними; а захватив власть с помощью этой лжи – прекратили все выплаты городским учреждениям и распустили Совет. Народ они подавляли с помощью доносчиков и наемных

громил, а умеренных в своих собственных рядах заставляли умолкнуть, пообещав выборный список аристократов, который должны были скоро обнародовать.

Узнав, какие вести привез «Парал», олигархи решили скрыть их от Города. Они сняли всю команду с почетного судна, на котором те служили по праву, и рассовали по другим кораблям, уходившим из порта; а кто отказался – тех бросили в тюрьму. Триерарх, по счастью, увидел все это с причала и скрылся среди торговых судов, а потом сумел добраться до Самоса. Он добавил, что любому солдату достаточно взглянуть на новую крепость, что они строят возле гавани, чтобы понять, для чего она предназначена: охранять от горожан склады зерна и обеспечивать высадку спартанцев.

Не было бы ничего удивительного, если бы эти известия повергли весь Самос из триумфа в отчаяние. Но мы еще полны были победой, полны сознанием правоты своего дела; мы были – как мужи Марафона, стоявшие за Город, зная, что боги с ними.

На следующий день все афиняне и самосцы – и солдаты, и моряки, и горожане – собрались на их акрополе, на вершине холма. Там мы принесли обеты: поклялись дружить, защищать свободу друг друга, продолжать войну и не вступать в переговоры с врагами, будь то дома или за рубежом. У них там наверху большущее ровное поле, окруженное старой стеной. Когда мы вознесли гимн Зевсу, и дым жертвоприношения ровным столбом поднимался в небо – над нами с пением носились жаворонки.

Я вовсе не чувствовал себя изгнанником. Это мы теперь были – Город, свободные Афины за морем. В наших руках были и щит и меч Афин: ведь не правительство, сидевшее дома, а флот собирал дань с островов для ведения войны. Сияло солнце, под нами чеканным серебром блестело море; мы чувствовали, что создаем нечто новое на земле.

Потом, внизу в городе, всех афинян самосцы затаскивали к себе в дома, усаживали на почетные гостевые места, потчевали самым лучшим вином своим, пряным инжиром – всем, что только было у них. Я в тот вечер

рассказал историю своей жизни – или порядочную часть ее – у трех самосских очагов; и когда мы с Лисием встретились в лагере, оба были не слишком трезвы. Но мы были счастливы и полны веры. Он напрочь забыл о своей девушке; и что еще интереснее – я тоже забыл.

Был теплый весенний вечер, близился закат. Доносились запахи моря, и еды, что стряпалась на кострах, и от дыма сосновых дров, и цветов, что росли по склонам над нами... Мы сидели в дверях нашей хижины, приветствуя друзей, что проходили мимо. И распечатали винный кувшин, чтобы выпить за наше предприятие.

– Потому что, – сказал Лисий, – полутрезвый-полупьяный – это ни туда, ни сюда.

От вина мы еще больше воодушевились, утрясли меж собой все проблемы Афин и Самоса, и решили, что выиграем войну.

Мимо проходил триерарх «Парала» и задержался выпить с нами. Лисий выразил ему какие-то соболезнования по поводу потери корабля. Триерарх рассмеялся:

– Ты не меня жалеешь, а того, кто командует сейчас. Я своих парней знаю; сетью дельфина не удержишь, не возьмешь. Ставлю пять против одного, что как только они выберутся в открытое море – закуют его в цепи и придут сюда.

К слову, так оно и получилось, он выиграл пари.

Он сказал, что до сих пор звереет, вспоминая все виденное в Афинах. Но теперь во мраке этих его воспоминаний брезжил свет наших надежд.

– Когда Алкивиад примет командование здесь, – сказал он, – они долго не протянут. Умеренных они уже потеряли, вы знаете. Терамен и его партия только ждут своего часа. Они ввязались в это дело, поверив, что получат ограниченное избирательное право. Я этот принцип не разделяю, но это все же принцип. А теперь они знают, что получили тиранию, и не станут терпеть ее дольше, чем захотят.

Я слушал молча, устыдившись, что этот чужой человек был справедливее к моему отцу, чем я сам. Вспомнилось многое из прошлых лет. Когда я в тот раз

вернулся с гор, в моей комнате лежало серебро, что я отдал за Состия, завернутое в кусок ткани.

– Но, – сказал триерарх, – я чуть не забыл, ради чего пришел к вам. Пришел сказать, что на завтра назначено Армейское Собрание. Скоро услышите глашатая. Половина кораблей флота в том же состоянии, что и ваша «Сирена»: триерархи сбежали в Милет, а командуют помощники. Новые назначения будут проводиться голосованием. Если бы я был так же уверен в своем корабле, как ты, Лисий, я бы сегодня спал спокойно.

Вот это да! Замечательно заканчивался этот замечательный день. Лисий стал отнекиваться, возражать из скромности, но триерарх сказал:

– Люди слышали, как ваш кормчий сказал про тебя: «Он знает, что корабль не конь, с другого конца поворачивать надо». В устах кормчего – это пеан!

Это было верно, на самом деле; потому что между солдатом, воюющим на корабле, и моряком, ведущим его, соперничество и раздоры стары, как Троя.

Он ушел, появился глашатай... Мы налили еще и выпили, не упоминая доброй новости, чтобы не искушать богов. Вечернее солнце бронзой горело на тростниковых крышах; кое-где люди пели вокруг костров... И я сказал в сердце своем: «Вот такое – это радости взрослых мужчин. Работу надо делать по сезону, как Гесиод говорит».

Лисий поймал мой взгляд над кубком:

– За прекрасного Алексия!

И выплеснул гущу за порог. В пыли получилась альфа; он натренировался так, что у него это выходило три раза из четырех. Он зевнул, улыбнулся и сказал:

– Поздно уже...

Но мы еще немного посидели. Потому что, когда опустилось солнце, на небо вышла луна, ее свет мешался с закатом, и горы за городом были цвета львиной шкуры... Я подумал: «Перемены – это суть вселенной; а что в согласии с природой, того нельзя бояться. Но люди приносят жертвы богам, чтобы отвратить от себя то, что естественно, – а потом валят на них свои беды. Сократ свободен и хотел меня научить свободе. А я

запряг бессмертного коня, что влечет колесницу, вместе с конем земным; и когда один падает – в построюках запутываются оба...» Я задумался о Сократе и понял, что происходит со мной.

Лисий сказал:

– Долго ты молчишь. О чем задумался?

– Я думал о времени, о переменах; о том, что человек должен плыть вместе с ними, как в течении реки, подчиняясь тому, что есть. И даже если мы не хотим покоряться – бросаем вызов судьбе, – все равно никуда не уйти от перемен, и последняя из них – это смерть.

– Последняя? – Он улыбнулся. – Это лишь точка зрения, а не доказанный факт, не путай. Сегодняшний день мы прожили так, словно это неверно; и нам было хорошо.

Лицо его, освещенное лунным светом, было спокойно. Мне пришло в голову, что в последнее время он снова себя нашел. Борьба во время мятежа, и вера в наше дело, и экзальтация нашей клятвы на холме пошли ему на пользу.

Мы сидели, задумавшись. Я смотрел на горы; потом увидел, что он смотрит на меня. Он накрыл мою руку своей и сказал:

– Ничто не изменится, Алексий. Нет, это неверно; где жизнь, там и перемены, и мы с тобой уже не те двое, что встретились когда-то в палестре Таврия... Но какой дурак, посадив черенок яблони, станет рубить ее, когда завязываются плоды? Цветы можно выращивать каждый год; а дереву, что укроет тенью дом твой, нужны дожди и солнце год за годом, нужно время.

На самом деле, он был слишком хорош для меня. Мне часто казалось, что только с ним я и мог стать мужчиной.

Гелий затянул свои огненные волосы в морские волны; песни вокруг костров затихали... Становилось прохладно, и мы пошли под крышу. Ибо – как говорили герои Гомера – после долгого дня хорошо отжаться ночи.

– С возвращением, Алексий! – сказал на Агоре какой-то молодой человек, совершенно мне незнакомый. – Ты сам не заметил, что озираешься вокруг, словно колонист? На самом деле, слишком долго тебя не было; и я рад тебя видеть.

– Три года, – сказал я. – Слушай, лицо твое мне знакомо, но...

– Наверно имя мое тебе знакомо еще лучше. – Он улыбался. – Ведь я бороду успел отрастить с тех пор, как мы виделись в последний раз... Эвфидем!

Мы пошумели на радостях, посмеялись и сели поболтать на скамью возле какой-то лавчонки. Он вырос в отличного парня, здорового, но без прежней своей важности – у Сократа всегда было чутье на золото, он знал где копать.

– Я тебя задержал, не даю с друзьями встретиться, – сказал он. – Но я просто должен поговорить с тобой, послушать твои рассказы, пока толпа тебя не засосала. Все люди Алкивиада ходят по Городу, озаренные его славой; так и должно быть. Ну а как чувствует себя человек, так густо увешанный победными венками?

– Чувство такое, – сказал я, – что у нас отличный командующий.

Он поднял брови и рассмеялся:

– Что с тобой, Алексий? И ты туда же! Насколько я помню, ты отвергал плебейское идолопоклонство, а его самого порицал..

Теперь рассмеялся я. На самом деле, среди нас на Самосе не было никого, кто не считал бы его великим человеком.

– По-настоящему его знают только те, – сказал я, – кто воевал под его началом. Он это делает блестяще. Здесь, в Городе, его не понимают так, как мы на Самосе. Он верит нам, и мы верим ему – вот тебе и весь секрет.

Эвфидем улыбнулся:

– Великий Зевс! Он, не иначе, сполл вас приворотным зельем!

Я почувствовал, что начинаю сердиться, но это же было нелепо...

— Я не политик, — сказал я, — я простой лейтенант морской пехоты. И говорю, что знаю. Я ни разу не видел, чтобы он оставил в беде не только корабль, а хоть единого человека; как бы ни складывалась обстановка. Те, кто сражается за него, зазря не гибнут. Он знает, кто на что способен; и каждый из нас знает, что на него рассчитывают в меру его сил. Когда он повел наш флот на захват Византию, наступала ночь и штормило по-черному — но мы пели, выходя в море, навстречу грому. Когда он отдает приказ — никто не переспрашивает, он думает быстро. Я был с ним, когда он взял Селимбрию, имея под рукой всего тридцать человек...

Я рассказал ему, как это было. Город этот на Пропонтиде, на низких холмах около моря. Мы высадились возле города, выкатили корабли на берег, и вечером — когда зажигают лампы — ужинали вокруг костров. Пехотинцы с «Сирены» и еще с одного корабля — всего тридцать человек — были в охранении между лагерем и городом, на случай какого-нибудь сюрприза; так что ели мы, не снимая доспехов, и оружие было рядом. И только начали — из кустов тамариска появился Алкивиад, широким легким шагом.

— Добрый вечер, Лисий! У вашего костра найдется для меня местечко? Я вам кой-чего принес к ужину.

Он уселся среди нас, а его раб поставил наземь хиосский кувшин с вином. В такие моменты он всегда бывал душой любой компании; в каждом отряде, где он бывал как бы в гостях, на следующий день все цитировали его с утра до ночи; но в тот вечер он был особенно оживлен. Сказал, что нас не сменят, в лагерь мы не возвращаемся, а к полуночи должны быть готовы выступить. Он связался с демократами в городе, и те согласились открыть ему ворота. Армия должна была тайно подойти в темноте и быть готова ворваться в город по сигналу — факел на стене.

— Фракийцев я разместил за холмом, — сказал он. — Это нам надо сделать без них: во взятом городе ни бог

ни человек фракийца не удержат, а я дал слово не проливать крови, если они заплатят дань.

При необходимости он убивал безжалостно, но кровожадным не был; и всегда казалось был рад, если мог добиться, чего хотел, без крови. Что бы ни восстановило его в тот раз против Мелоса – я полагаю, он просто увидел, чего хотят афиняне, – одного того дня ему наверно хватило на всю жизнь.

Мы доели свой ужин и допивали по последнему кругу разбавленное вино. Внизу, на берегу, мерцали костры, а примерно в стадии – чуть дальше выстрела из лука – темнели стены города. Сгущалась ночная тьма. Вдруг Лисий показал рукой и спросил:

– Ты сказал, в полночь, Алкивиад? Что это?

Над воротной башней горел факел. Мы повскакали на ноги, не зная что делать. Армия была в четырех-пяти стадиях от нас; наверняка почти все нагишом – чистились и натирались маслом, оружие в порядок приводили... Мы все повернулись к Алкивиаду. Вот он город – иди и бери! – а он смотрел на него беспомощно: под рукой всего тридцать человек при оружии. Что до меня – я просто ждал, что вот сейчас наконец услышу, как он ругается. Говорили, что у него это получается бесподобно, об этом легенды ходили.

Он стоял, не сводя глаз с того факела и подняв брови.

– Ох уж эти колонисты! – сказал. – Всегда приходят в гости раньше, чем успеешь одеться. Наверно кто-то у них там наложил в штаны, и остальные не рискуют ждать. Поллис, дуй в лагерь, живо. Поднимай людей и веди их сюда, бегом. Друзья мои, к оружию! Раз сигнал – значит нам пора. Вперед!

Он побежал в темноту, в сторону города; и мы помчались следом, как будто так и надо, а иначе и быть не может. Когда мы добрались до ворот, они уже были открыты. Мы прошли в город, пошли по какой-то улице; там вожак заговорщиков побежал возле Алкивиада, объясняя ему на ходу, почему сигнал не вовремя... Я видел только, как он задыхался и подпрыгивал, а Алкивиад смотрел по сторонам и даже не слушал его. Вокруг

стоял ужасный шум: топот, крики, призывы к оружию... Когда мы дошли до Агоры, селимбрийцы окружили нас беспорядочной толпой.

Лисий придвинулся ко мне и прикрыл меня сбоку своим щитом. Я подивился, неужто ворота за нами закрыли, и еще подумал: «Если мы погибнем, Алкивиад позаботится, чтобы нас похоронили вместе». Потому что он не забывал таких вещей. Но смерти я не боялся; кто боится – тот уже наполовину мертвец, а во мне жизнь кипела так, словно сейчас искры полетят, как от кошки в грозу. И тут раздался голос Алкивиادا, спокойный, как на учениях:

– Глашатай, труби объявление.

Наш глашатай протрубил «Слушайте все». В темных улицах наступила тишина, только кое-где переговаривались потихоньку.

– Объяви, глашатай: «Люди Селимбрии не должны сопротивляться афинянам. При этом условии я их пощажу».

Глашатай шагнул вперед и объявил. Сначала никто не отозвался. Мы не дышали. Потом какой-то голос, важный, хоть и взволнованный, сказал:

– Так ты говоришь, генерал. Но сначала дай нам услышать твои условия.

– С кем мне говорить? – ответил Алкивиад. – Где ваши представители?

Его дерзость сработала. Они решили, что весь город уже в наших руках, а он продержал их разговорами достаточно долго, чтобы так оно и оказалось.

Дослушав мой рассказ, Эвфидем спросил:

– Так вы с Лисием по-прежнему вместе?

– А как же! Он остался в порту проследить за корабелями. Он самый лучший триерарх на нашем флоте; если считаешь меня пристрастным – спроси кого хочешь.

– Нет, Алексей! Ты никогда не хвалил его больше, чем он того заслуживает. Я искал вас обоих, когда эскадра вошла в Пирей; но встречать Алкивиادا собралась такая толпа, что я ничего не видел, кроме венков и миртовых ветвей, летевших на гребень его шлема.

– Жаль, – сказал я, – что хотя бы часть средств, потраченных на гирлянды да на хоры, не отдали ему в руки для нужд флота. Если бы он не совершал по чуду каждый месяц – у вас флота вообще бы уже не было. Добрая половина наших битв велась из-за дани; нам нередко приходилось выжимать ее из нищих союзников, но что нам оставалось?

– Ну, знаешь, – сказал он, – по-моему, Город и так задавлен налогами до предела. Давай лучше поговорим о чем-нибудь более веселом. Я вижу, ты уже успел побывать в книжной лавке и купить новую пьесу Агафона?

– Он заглянул в лавку, и я его уговорил надписать ее; мне-то такие украшения не слишком нужны, это я на Самос повезу в подарок моей девушке.

Из любви к ней я всегда называл ее девушкой, даже за глаза, хотя Эфро никогда не делала тайны из своего возраста и не скрывала, что ее сыну, когда он умер, было уже шестнадцать. Я и встретил ее в первый раз на кладбище за городом; она пришла туда с корзиной приношений, чтобы поставить на его могилу. Увидав меня рядом, она начала закрывать лицо платком, ради приличия, из-за этого оступилась – и корзина рассыпалась мне под ноги.

Как и каждый, кто много бывает в море, я замечал приметы; мне совсем не хотелось, чтобы дар, предназначенный мертвому, так сказать, бросили мне. Но когда она стала извиняться передо мной, мне показалось, что в голосе у нее больше нежности, чем требует искусство ее профессии. Темные глаза над платком смотрели ясно, и гладко белел чистый лоб... Я наклонился поднять масляную вазу и увидел, что она треснула. Решил купить ей новую, пошел за ней следом и узнал, где она живет... Когда я принес свой подарок, она подошла к двери без платка. Узнала меня, поздоровалась – не бесстыдно, а словно с другом, которого ждала. До нее я никогда не был с женщиной, которая знала бы – или хотела бы знать, – что я за мужчина. И теперь понял, что был подобен тому, кто хулит вино, попробовав только его осадок.

Когда я сказал Лисию, что нашел женщину, с которой мне хорошо, он был рад за меня. Потом он увидел, как часто я к ней ухожу, как много с ней беседую, — не думаю, что ему это было все так же приятно. Его девушка была хорошенькая, но достоинство у нее было только одно; а поделиться своими мыслями он приходил ко мне. Он был слишком великодушен, чтобы проявлять свою ревность; но если я пересказывал какое-нибудь мнение Эфро о трагедии или о музыке — он почти всегда находил повод не согласиться с ней. Когда я предложил развлечь обеих наших подруг в городском ресторанчике, он, по обычной своей доброте, согласился; но должен признаться, что эта затея не удалась. Лисий предпочитал женщин помоложе, но ему понравился ее ум, и он с удовольствием разговорился с ней о политике и поэзии, хотя — я чувствовал — настроен был слишком критично. Но его подружку такие вещи не интересовали; она по нему с ума сходила и всюду видела соперниц. Когда она перебила Эфро, сказав, что слишком молода, чтобы помнить, о чем та рассказывает, — я не удержался от замечания, что прекрасно помню то время, хоть я еще моложе. Мы проводили домой наших женщин, вернулись в лагерь, и поначалу оба чувствовали себя неловко, сидели задумавшись; а потом вдруг глянули друг на друга — и давай хохотать.

Теперь, пока Город устраивал празднества в честь Алкивиада, у нас было время повидаться с друзьями и побыть дома.

Отец мой выглядел лучше, даже моложе, чем когда я уезжал. И, как все отцы, был доволен, что я служу в войсках, заслуживших славу себе. Сам он смело выступил с Тераменом против тиранов и своими руками помогал сносить караулку предателей; теперь он пользовался в Городе кое-каким влиянием, вполне заслуженным. А вот мать постарела больше, чем я ожидал. У нее недавно случился выкидыш, но это снова была девочка; так что трудно было не думать, что оно и к лучшему.

Сократа я нашел на Агоре, в портике Зевса. В бороде было больше седины, ему ведь уже за шестьдесят перевалило... Но если не считать того, что он хотел узнать

обо мне – как я прожил все это время, – я словно и не уезжал вовсе, а был здесь только вчера. Уже через несколько минут я по уши увяз в споре, начавшемся до моего прихода. Священно все то, что любят боги, – или они это любят, потому что это священно; может ли быть священным нечто такое, что одному из богов дорого, а другому ненавистно, – или священно только то, что любят они все; что именно любят они все, и почему?.. Какой-то ортодокс, начавший этот разговор, ушел возмущенный, бормоча что-то себе под нос, не дождавшись конца. Для всех остальных это было большим облегчением: он был из тех, кто всегда хочет только доказать свою правоту, ничего больше. Что до меня – замечательно было вновь слышать Сократа:

– Либо мы отыщем то, что ищем, либо по крайней мере избавимся от заблуждения, будто знаем то, чего не знаем.

Как и следовало ожидать после столь долгого перерыва, я увидел около него несколько новых лиц. И еще одно – полужнакомое, поначалу меня озадачившее. Это был молодой человек – я подумал, мой ровесник, – широкоплечий, могучий, с внимательными глубоко посаженными глазами на сильном лице. Я был уверен, что не знаком с ним, но память что-то тревожило; я подумал, что наверно встречался когда-нибудь с его родичем, похожим на него. Увидев, что я на него смотрю, он улыбнулся мне; я тоже улыбнулся в ответ, но так и не мог сообразить, кто это. Лицо его дышало холодным достоинством, но улыбка была скромная, почти застенчивая. В разговор он вступал не часто, но если вступал – сразу менял его направление; и я поразился, как вел себя при этом Сократ. Не то чтобы он как-то выделял этого парня; и не проявлял к нему такой заботливости, как когда-то к Федону... Но казалось – становится еще более велик. Быть может потому, что видел, как его мысль усваивается столь быстро. Иногда им приходилось возвращаться назад, чтобы дать остальным догнать их. Я еще мучился, роясь в памяти, когда Сократ сказал:

– Да, Платон, это я знаю; но если ты всегда будешь шагать через три ступеньки, то можешь пропустить треснувшую.

Как только Сократ ушел, Платон шагнул ко мне, схватил меня за руку и стал расспрашивать, как мои дела, со мной ли Лисий...

– Слушай, – сказал я. – Ведь мы с тобой больше не виделись после Игр, Платон. Однако теперь тебя надо называть Аристоклом, как я погляжу.

– Никто из друзей меня так не зовет. Мне будет очень жаль, если не смогу считать тебя другом, Алексей.

Мы ушли вместе, разговаривая на ходу. Когда он был мальчишкой, его старомодная учтивость смотрелась странновато, но теперь сидела на нем, словно хорошие доспехи. Я не случайно использую это сравнение: по моему, он человек, легко ранимый, только очень не любит, чтобы это было заметно. Те, кто не знал его в юности, вряд ли могут заподозрить такое; теперь-то он очень хорошо умеет отвечать ударом на удар. Вы бы решили, что он по крайней мере не моложе меня; я заметил, что большинство молодых людей вокруг Сократа его побаивались.

Я спросил, занимается ли он борьбой.

– Нет, – ответил он. – Разве что в дружеских схватках. На Истме я избавился от спортивного честолюбия. Тренироваться надо только для гармоничного развития, а не чтобы превратиться в подобие вола, пригодного лишь для пахоты.

Он сильно вырос, да и тренироваться стал по-другому, и теперь выглядел гораздо лучше, пропорциональнее: крупный, но не грузный. Отчасти поэтому я и не смог его узнать.

– Да и к тому же, – сказал он, – Близнецы зовут нас теперь чаще, чем палестра.

На руке у него была рана от копья, едва зажившая. С тех пор как пала Эвбея, война снова перекинулась в Аттику и Страже здорово доставалось.

Я не стал спрашивать его, как он попал к Сократу. Это казалось так же глупо, как спросить орла, с чего это он летать начал. Но он рассказал сам:

— В Коринфе ты так терпеливо выслушивал мою детскую чепуху — я наверно похвастался тебе, что считал себя поэтом и сочинял трагедию...

— Ну, не так чтоб хвастался, но трагедия была; про Ипполита. Ты ее закончил?

— Разумеется. А в прошлом году переделал. Я показал ее дяде своему, тот всегда с готовностью помогал мне советом. Он одобрил, друзьям она тоже понравилась — и по их наущению я решил представить ее к Дионисию. Я так волновался, что пришел слишком рано, еще до того как начали принимать авторов-соискателей. Ну и стоял — ждал — в портике театра со своим свитком в руках. Там же был и Сократ, но не терзался нетерпением, как я, а стоял в глубоком раздумье. Я слышал о нем от дяди; тот когда-то часто встречался с ним, но потом отошел; если я правильно понял, они в философии разошлись. Я, конечно, дядю Крития имею в виду.

— Конечно, — сказал я, постаравшись не выдать себя. — Но что с Сократом?

— Он меня не замечал, а я воспользовался случаем его рассмотреть. О чем он тогда размышлял, я никогда не спрашивал. Но когда я посмотрел на его лицо, меня охватило какое-то странное чувство, даже болезненное... Понимаешь? Словно я младенец, только что родился, и начинаю дергаться перед первым криком своим. Я еще пытался понять, что это такое, — тут он очнулся и посмотрел прямо на меня. Потом подошел и спросил, верно ли, что я принес трагедию, и о чем она. И попросил прочесть что-нибудь оттуда. Можешь себе представить, что я это сделал с превеликой охотой. Дочитав, я умолк, в ожидании похвал. До сих пор все хвалили. Он, действительно, тоже похвалил, даже очень... Но потом вдруг спросил, в чем смысл одного моего сравнения там. Я полагал, это должно быть ясно любому грамотному человеку, ведь для дураков никто писать не станет. Но когда начал объяснять — тут же понял, что сам-то я имел в виду слишком мало, а это мало не вполне верно. Он попросил почитать еще, ласково так попросил; на этот раз ему понравилось без оговорок, и он объяснил мне почему. Но эта похвала открыла мне

глаза еще больше, чем его ирония перед тем; он увидел в прочитанном отрывке гораздо больше, чем я сам хотел сказать. Настолько больше, что вся моя работа – в том понимании – словно расплзлась у меня в руках. У меня не хватило бесстыдства принять его похвалу. Я сказал ему, что он открыл мне глаза; что трагедия моя в том виде, как она сейчас, мне уже не нравится; я заберу ее домой и перепишу. К тому времени мы с Сократом уже вышли из портика, как бы прогуливались... Мы подобрались к основной идее, на которой была построена пьеса: как Тезей и Ипполит относились к богам, а боги друг к другу. Мы проговорили все утро, домой я пришел к обеду. А во второй половине дня перечитал трагедию свою, да и другие стихи... Некоторые строки были удачны, да и хоры складны местами... Что бы ты сказал, Алексей, о расшитой мантии, в которую должны нарядить бога, когда статую его еще не высекли, едва лишь засверлили мрамор? Я понял, что наслаждаться своей поэзией – значит обременить душу цепями, когда мне предлагали крылья. Потому я велел принести жаровню и сжег все это.

Не помню, что я тогда сказал ему, но он вроде не обиделся; наверно ничего плохого. Во мне боролись два чувства: любовь и зависть к недоступному мне совершенству. На какой-то момент я, наверно, снова стал ребенком в музыкальном классе, и ревновал как ребенок. Но тут же вспомнил некоторые уроки, преподанные мне Сократом, вспомнил что я уже взрослый... И спросил Платона, не прочитает ли он мне что-нибудь из сожженной пьесы.

Я видел, что он колеблется. Но он все-таки был поэт как-никак, и ему было всего чуть за двадцать... Так что, в конце концов, он решился:

– Ну что ж. Там был один пассаж, который кажется ему понравился. Представь себе, что Ипполит только что погиб; хор молодых людей взывает к Афродите, которая уготовила ему его судьбу.

Он прочел этот отрывок. Я долго молчал; в душе не осталось никакой чепухи, было только смирение перед Бессмертными. Наконец, испугавшись, что выгляжу не-

вежливо, я заставил себя заговорить, но сказать смог только одно:

– И это ты сжег?! У тебя не осталось ни одной копии?

– Когда приносят жертву богам, на алтарь кладут зверя целиком. Если это был образ чего-то такого, чего на свете нет, то значит, он обманчив и должен быть уничтожен; а если чего-то настоящего – слабый огонь его не уничтожит... Уже почти полдень; окажи мне честь, пойдем ко мне обедать.

Я был готов согласиться, но в этот момент – точь-в-точь как в прежние дни – над Городом задрожал призыв фанфары.

– Они все больше нагледят, – сказал он. – Извини, Алексей; надеюсь, ты примешь мое приглашение в другой раз.

Уже уходя, он задержался, чтобы сказать, что войска в Ионии долго несли основное бремя войны. Учтивостью он всегда отличался; я думаю, он знал, что у меня больше нет коня.

В Городе были и другие друзья, кого надо было повидать. Федон, когда я зашел к нему, кинулся мне навстречу и обнял меня. Я был рад этому не только ради себя самого. С тех пор как он ушел от Гургия, я никогда не видел, чтобы он сам к кому-нибудь прикоснулся; теперь я испытал что-то вроде запоздалой гордости, что приложил руку к его исцелению. Но его главной любовью оставалась философия. Было очень заметно, что мысль его стала и острее и сильнее; из нашего разговора я скоро понял, что точильным камнем для него был Платон. Их влекла друг к другу противоположность идей, в сочетании со взаимным уважением. Наверно, по своей подлинной духовной сущности они были не такими уж разными, как казалось. Ведь чем прекраснее была мечта, что тебя обманула, тем горше разочарование; если переживешь это – перестаешь доверять мечтам, и боишься их, как пастух боится волков.

– Он говорит мне, – сказал Федон, – что если я не переменюсь, то потрачу всю жизнь на расчистку строительной площадки и никогда не начну строить. Я,

конечно же, отвечаю, что он готов начать свою стройку до того, как заложен фундамент. Он, безусловно, очень находчив, когда сталкивается с возражениями; однако, я думаю, он признает, что кое-где я пошатнул его логику.

После него я пошел к Ксенофону. Он изменился не меньше других, но оставался собой больше чем когда-либо. Было так, словно прежде я был знаком с его наброском, а теперь художник завершил портрет – как и намеревался с самого начала. Это был безукоризненный афинский рыцарь старой школы. Благовоспитан, смел, решителен; из тех кавалеристов, кто сам растит своего коня, сам обучает и лечит; кто гордится тем, что скор в бою и в беседе, – но говорит, что у него нет времени на политику, имея в виду, что его политика ясна и тут никакие разговоры ни к чему. Он никогда не гонялся за новой модой, так что отрастил себе бороду. Кудрявую, каштановую – того же цвета, что и волосы, – аккуратно подстриженную; верхняя губа брита на спартанский манер... Он и в детстве был очень красив, но теперь стал еще лучше.

Он был рад меня видеть; и поздравил с тем, что я участвовал в столь многих сражениях. Сам он не так давно вернулся в Город, обеднев из-за выкупа: фиванцы взяли его в плен и какое-то время продержали в цепях. Когда я стал выражать свое сочувствие, он сказал, что все могло бы обернуться гораздо хуже, если бы он не подружился там с молодым фиванским рыцарем, Проксеном. Тот, узнав, что оба они учились у Горгия, навещал его в тюрьме, говорил с ним о философии, взял его на поруки, так что с него сняли кандалы, и вообще делал все возможное, чтобы облегчить ему заточение. С тех пор как Ксенофона выкупили, они писали друг другу, при возможности. Он говорил о Проксене с такой теплотой, что будь на его месте любой другой – я подумал бы, что они там любовниками стали; но надо быть очень уж опрометчивым, чтобы предположить такое о Ксенофоне.

Разговор наш свернул на Сократа и его друзей, и я естественно упомянул Платона, – но тотчас почувство-

вал холодок. Со временем, когда я понаблюдал и обмыслил, оказалось, что понять это не так уж трудно.

Я уверен, что там была не только зависть. С самого детства я никогда не замечал у Ксенофона даже малейших признаков низости. Он всегда был практичен, честен, религиозен; держался четких моральных принципов – в целом верных, хоть и слегка ограниченных, быть может... Покажите такому человеку простую и ясную благую цель – и он пойдет за ней по самой непроходимой дороге, какую вам вздумается для него выбрать. Сократ принимал его таким, каков он есть. Любил его доброе сердце и не дразнил его разум ни формальной логикой – сверх того, что необходимо, чтобы отличать правду от лжи, – ни разными тонкостями, до которых он не смог бы подняться. И он тоже любил Сократа. Но ему нужен был устойчивый порядок во всем – в собственных мыслях в первую очередь, – и потому он полагал, что тот Сократ, какого он знал, – это и есть Сократ, весь. Но в душе у Сократа, я думаю, был одинокий храм, в который за всю его жизнь не входил никто, кроме демона, предупреждавшего его об опасности, и бога, которому он молился. А теперь на порог того храма ступила нога человека. Ксенофон давно уже решил, что Сократ считает за лучшее не вдаваться в рассуждения о богах. Когда он обнаружил, что Сократ изменил себе, – это его расстроило и смутило.

Что до Платона – он был чрезвычайно чувствителен к чужой неприязни. Когда Ксенофон бывал с ними, он запирался в своей крепости, что выглядело как надменность; отчасти так оно и было, на самом деле. И его дружба с Федоном тоже их отношений не улучшала. Ксенофон всегда был вежлив с Федоном – но и только. У него было очень сильно чувство благопристойности; он никак не мог выкинуть из головы прошлое Федона, не мог почувствовать себя свободно в его присутствии. А Платон все это отмечал, с широтой, свойственной его царской крови; ему был важен только аристократизм духа. И вдобавок ко всему – словно прочего было недостаточно – Ксенофон совершенно не обращал внима-

ния на мальчиков, а Платон на женщин. Естественно, что такие крайности природы не склонны к гармонии.

Оглядевшись немного, я заметил, что отец мой повеселел: ему было лучше, чем прежде. Правда, о Терамене доводилось иной раз слышать резкие слова: мол, поначалу он соглашался с тиранией и насилием – и откололся, чтобы встать на сторону победителей, когда почувствовал, что ветер меняется. Некоторые, злобствуя, называли его Старым Носком; потому что, мол, на любую ногу годится. Мне доводилось разговаривать с ним у нас за столом, и я знал, что он гордится своей хитростью; но со мной он обращался хорошо, и я не верил его злопыхателям. Конечно же, вожаки олигархов называли его предателем; но поскольку сами они по большей части прятались в Декелес и принимали участие в спартанских набегах на Аттику, их осуждение было почти что похвалой.

Лисий при малейшей возможности выбирался в свое поместье. В последний раз он был там несколько лет назад; а управляющий – хоть и безусловно честный человек – все это время вел хозяйство слишком по-своему. А об остатках нашего имения отец предпочитал заботиться сам. Так что у меня было достаточно времени, чтобы гулять с Сократом и бродить по Городу, глядя что в нем нового.

Однажды я заглянул в колоннаду палестры Микия, узнать, там ли еще мой старый тренер. Но при входе услышал кимвалы, флейту и лиру – и обнаружил, что мальчишки вместо тренировки репетируют танец в честь Аполлона. Подходило время, когда священный корабль отправляется на Делос, на празднества в честь его рождения. Я когда-то сам танцевал для него, так что остался посмотреть. Старшие мальчики казались гораздо моложе, чем в мое время. Это всегда и всем так кажется. Они как раз вышли вперед, повторить свою часть танца; некоторые держали в руках корзины, кувшины или еще что-нибудь, взамен священных предметов, другие размахивали зелеными ветками вместо лавровых ветвей.

С ударом кимвалов первая шеренга ушла назад, а сквозь нее выпрыгнула вторая; теперь была их очередь

вести танец. И в центре этой шеренги я увидел мальчишку, который раньше был скрыт от меня.

Так обычно начинают, когда хотят описать кого-нибудь. Но пока я смотрел на бумагу, собираясь писать, — тень на стене подвинулась далеко... Чтобы сказать хоть что-нибудь, я упомяну его глаза; синие, скорее как ночное небо, не дневное. И еще — широкий, чистый лоб. Надо, конечно, написать и о недостатке его внешности: он был совсем седой, почти белый. Это у него от какой-то болезни осталось; так я услышал потом, не помню от кого.

Наверно, это была последняя репетиция; потому что вместо школьного флейтиста у них были настоящие музыканты, которые будут играть для них перед богом. Глядя на лицо того мальчика, я видел, что оно полно музыкой. Он наверно и сам играл на каком-нибудь инструменте, или пел быть может... Было видно, что все остальные смотрят на него: он ни разу не выбился из ритма, а когда они танцевали в линии — он их вел. Ему, однако, не дали никакого сольного выхода; наверно посчитали, что он недостаточно совершенен, чтобы понравиться Аполлону, из-за волос. Но если это так — я думаю, им лучше было бы вообще его не показывать; потому что, когда он был там — какой бог, какой человек смог бы смотреть на кого-то другого?

Потом вперед вышли малыши, а старшие отступили назад и стояли, глядя на них; но на лице того парнишки оставалось то же самое выражение, какое было, когда танцевал он сам: он был спокоен — но как бы светился изнутри. Наверно, до тех пор они не репетировали под музыку, и теперь он увидел танец, как впервые видишь картину при свете дня, после того как видел только при лампах. Когда один из его товарищей заговорил с ним, он поначалу не услышал; потом ответил с улыбкой, не отводя глаз от танцующих малышей.

Я стоял, опершись о колонну, и смотрел — не знаю, как долго. Время для меня застыло, стояло неподвижно, будто вода в глубоком колодце. Потом, в перерыве, один из музыкантов подвинулся, словно собирался уходить. Я очнулся, вспомнив, что репетиция скоро закончится

и мальчики уйдут. Теперь я впервые оглядел колоннаду, в поисках кого-нибудь из знакомых; и совсем рядом увидел Платона, он стоял один. Я поздоровался с ним, заговорил об этом танце... И беззаботно, как только мог, стал расспрашивать, как зовут того или того из мальчиков, начав с тех, кто исполнял сольные номера. Он ответил, про кого знал... Наконец я решился:

– А тот седой, что вел линию? Как его зовут, не знаешь?

– Астер, – ответил Платон.

Ответил он совсем тихо; но мальчик, до сих пор ни разу не взглянувший в мою сторону, поднял голову, услышав свое имя, и обратился к нам глаза свои; синие-синие, как море. Этот миг врезался мне в память навечно. Я даже не знаю, улыбнулись они друг другу или нет; когда между морем и небом сверкает молния – облака или волны не рассмотреть. Так же было и с их счастьем.

Бродя по Городу, я понял, что глупо было не рассмотреть танец до конца: хоть было бы, что вспоминать. Ведь выдержать можно больше, чем думаешь. Однажды во Фракии, когда во мне стрела обломилась и ее пришлось вырезать – наконечник был зазубренный, – я смотрел на птицу. Она была единственной на том дереве, и до сих пор каждое ее перышко у меня перед глазами. Но я ушел уже слишком далеко, чтобы возвращаться. Когда сосны, что опоясывают Ликабетт, осенили меня своей тенью, я удивился, как туда попал. Потом, чуть выше по горе, где на скалах растут лишь мелкие цветочки, внутренний голос сказал мне: «Познай себя». И я постиг, что нельзя испытывать такую печаль от потери того, чего никогда не имел, как бы ни было оно прекрасно; грустил я, скорее, по тому, что некогда было моим. Потому я не сел на скалу, как намеревался, а поднялся на вершину горы, где под небом стоит небольшой храм. Там, вспомнив, что должен человек богам – и душе своей, через которую мы познаем их, – я воздел руки к Отцу Зевсу и пообещал ему жертву, потому что он все-таки дал Сократу сыновей.

Чуть погода, я подумал, что надо бы пойти в Город и найти его: он всегда знал, когда человек настроен слушать, а не говорить. Но тут я увидел с горы дорогу в имение Лисия. Он никогда не просил меня о помощи, хоть рабочих рук ему не хватало. Быть может, он думал, что я предпочитаю видеться с друзьями в Городе; и потом, всегда могло случиться, что какой-нибудь шальной отряд спартанцев пройдет мимо нашей Стражи... Мне стало стыдно, что отпустил его одного. Так что я спустился вниз, одолжил у Ксенофона коня и поехал к Лисию. Помочь ему чем смогу.

22

Мы видели, как Алкивиада провозгласили на Пниксе верховным вождем афинян; такой чести удостоивался до него только Перикл. Мы приветствовали его – а он стоял на большой каменной трибуне, в венке из золотых оливковых листьев, и глядел на Город, как колесничий глядит на свою упряжку. Мы видели, как проклятие, провозглашенное против него за богохульство, забросили в море вместе со свинцовой доской, на которой оно было написано. Мы прошли с ним по Священной Дороге, сопровождая Процессию Тайнства в Элевсин, по земле, занятой царем Агидом. Город решился на это впервые; с тех пор как пала Декелея, раньше туда добирались морем, – и его принимали в Храме как любимого сына Богини.

Даже враги его присоединились к хвалебному пеану, прославлявшему его победы. Теперь народ, никогда не устающий восхищаться, готов был послать его за новыми победами. В те дни говорили, что ему стоило только свистнуть – и в Афинах снова был бы царь. Разве не избавил он нас от тиранов, когда мы уже стояли на коленях? Разве не сделал нас владыками моря?.. Но не прошло и трех месяцев – он снова отбыл на Самос. А когда люди изумлялись его скромности, мы – пришедшие с ним – только смеялись.

Нам казалось, мы понимали, что у него на душе. Теперь его ничто не могло удовлетворить, кроме победы в войне. Он не отказывал себе ни в одном из желаний своих, но больше всего на свете он любил побеждать. Если бы царь Агид пришел выпрашивать условия сдачи — это был бы для него сладчайший день. Война тянулась уже двадцать три года; он принимал в ней участие, на одной стороне или на другой, с тех пор как был юным эфебом, когда у Потидеи один крепкий гоплит, некий Сократ, вытащил его раненого из-под вражеских копий и спас ему жизнь.

Итак, мы распрощались с друзьями и родней и приготовились к отплытию. Однажды, перед самым отъездом, я зашел еще раз в школу Микия, посмотреть на занимающихся ребят. Но на этот раз мой старый тренер был там и задержал меня разговорами, так что я только мельком увидел Астера: он стоял с дротиком у плеча и целился в мишень.

Мы вернулись на Самос, угостили завидовавших нам друзей свежими новостями из Города — и снова начали воевать.

Но в последнее время за проливом, на спартанской базе в Милете, произошли перемены. Прежде мы много выигрывали от их дурацкого старого обычая каждый год менять адмиралов. Иногда присылали такого, кто вообще ни разу в жизни в море не бывал. Но как раз недавно подошло время замены, и нового звали Лисандр.

Очень скоро мы обнаружили, что теперь уже нельзя полагаться на дорийскую тупость. Он умудрился встретиться с принцем Киром, сыном царя Дария; а тот был пылкий юноша, и Марафон с Саламином терзали его так, словно это было вчера. Спартанцев он простил: из тех, кто мог бы хвастаться Фермопилами, никого в живых не осталось. Это афиняне отразили воинство, выпивавшее реки досуха. Потому он дал Лисандру столько денег, что тот смог поднять оплату гребцов.

Ни у одной из сторон не хватало рабов, чтобы укомплектовать флот гребцами. Использовали по большей части свободных граждан из союзных городов, а те работали за плату. И наши гребцы тотчас начали пере-

бегать к Лисандру. Он увел флот из Милета, где постоянно был у нас на глазах, и перебазировался севернее, в Эфес. Наш дезертир мог добраться к нему за день; а он там сидел, как хотел, обучая своих людей, отбирая лучших гребцов и тратя серебряные дарки Кира на лес и смолу.

Прежде мы уже готовились к высадке на Хиос, захват которого мог решить исход войны. Никто из нас не сомневался, что остров сдастся Алкивиаду; тем более, что Алкивиад уже брал его однажды, когда Хиос был нашим. Но теперь, когда на пути встал флот Лисандра, а у нас не было серебра, чтобы спорить с ним за гребцов, — нам надо было либо дожидаться денег из Афин, либо плыть к союзникам выжимать дань. Никто не требует от командующего, чтобы тот сам брался за такое мелкое дело; его помыслы должны быть сосредоточены на окончательной победе. Но Алкивиад затосковал, впервые на Самосе.

Как не обращают внимания на первые признаки болезни, так и мы не принимали всерьез тех изменений в нем, какие начали замечать. Мы злились на афинян, донимавших его депешами по поводу бездействия: это было несправедливо, и мы были на его стороне. «Дайте ему хоть когда-нибудь отдохнуть, — говорили мы. — Геракл свидетель, он это заслужил!» Если нам нужны были приказы, а он в это время исчезал на улице женщин, — мы смеялись, решали без него, и приговаривали, что как только появится дело, достойное его внимания, он тотчас будет тут как тут. Если он бывал пьян, то напивался не совсем до одури; и мы прощали ему немало надменных дерзостей, потому что даже тогда он сохранял обаяние и умел в конце концов поладить с людьми. Но на кораблях мы его видели редко. Те гребцы, какие у нас работали, — это было отребье, оставшееся после Лисандра. Если им задерживали плату, они ворчали и ругались даже при Алкивиаде; знали, что мы не решимся их разогнать. Он обращал это в шутку или делал вид, что не слышит; но все равно это жгло ему душу, какими бы мерзавцами они ни были. Он любил, чтобы его любили.

Я думаю, как раз по этой причине – больше, чем от лени своей, – он поднимался на борт все реже и реже, а взамен посылал своего друга Антиоха.

Не стану врать, что мне этот человек не нравился так же, как и многим другим. На «Сирене» Лисий всегда наливал ему чашу; говорил, что приятно послушать любого, кто так хорошо знает свое дело. Хоть он и хвастался своей опытностью, но на самом деле был отличный моряк, приученный с самого детства. Он умел не только управлять кораблем, но и сражаться; и даже самый мерзопакостный из гребцов съеживался под его взглядом. В той обстановке он гораздо лучше Алкивиада подходил для флотских учений; у него и юмора было предостаточно, иначе – будьте уверены – они бы не были друзьями столько лет. Но если он попадал на корабль, где триерарх считал ниже своего достоинства получать приказы через кормчего, или если ему чего-нибудь не докладывали – он моментально выходил из себя и не слишком стеснялся в выражениях. Он вышел из народа; в таком городе как Самос он не ждал, что его могут этим попрекнуть, и тут он был прав; но обид на него было много. И тем больше, что Алкивиад – чью судьбу он делил все годы изгнания – не хотел слышать о нем ни единого худого слова.

Но вот с деньгами стало так туго, что Алкивиад решил – он сам отправится собирать недоимки. Половину флота он забирал с собой на север, к Геллеспонту, а остальные оставались сдерживать спартанцев. Он выбрался проверить корабли своей эскадры – но потом снова вернулся к подругам своим; и просочился слух, что командующим на Самосе он оставляет кормчего Антиоха.

Наша хижина до полуночи была полна народу. Триерархи ругались, пили наше вино, – и говорили, что бы они сейчас сделали; с горячностью людей, знающих, что сделать ничего не могут. В конце концов несколько человек решили послать депутацию к Алкивиаду и предложили Лисию возглавить ее.

– Удачи вам, – сказал он, – но я не в счет. Я прибыл на Самос лейтенантом, меня назначили голосованием.

Не я мой корабль строил, не я оснащал, и не я плачу моему кормчему. Собака собаку не ест.

– Не сравнивай себя с тем малым, – сказал кто-то. – Благородный человек это совсем другое дело.

– Скажи это Отцу Посейдону, когда он в следующий раз раздует шторм, – возразил Лисий, – Старина Синевородый – первый демократ. А если вы собираетесь навесить Алкивиада, то имейте в виду, что к этому часу ночи он уже нашел себе всех, кого хочет видеть.

При этих словах некоторые поостыли, но самые сердитые убедили друг друга и пошли. Насколько я знаю, они нашли его в обществе новой фаворитки – Тимандра ее звали – и отнюдь не в настроении с ними разговаривать. Он коротко сказал им, что был назначен командовать армией демократов, а поскольку не слышал о каких-либо переменах, то и доверил командование флотом лучшему моряку во флоте. Он говорил – и смотрел открытым синим взглядом, от которого его надменность кусалась, словно ветер с гор; и они пошли прочь, поджав хвосты. А на следующий день он отбыл.

Перед самым отплытием он созвал триерархов на совет. Не для того, чтобы объясняться, а чтобы сказать, что пока его нет – мы должны предпринимать только оборонительные действия, причем самые необходимые, от которых нельзя отвертеться. Нас оставалась только половина, а у Лисандра был весь флот.

Как раз в то время я был занят. Самосцы готовились проводить Игры в честь Геры; и когда узнали, что я увенчанный победитель, – позвали меня, чтобы помог тренировать мальчиков. Эта работа мне понравилась: там было несколько отличных ребят, и я их учил с удовольствием. Так что я лишь вполуха слушал, когда люди жаловались на Антиоха; говорили, он, мол, очень резко сказал триерархам, что они дали морскому владычеству уйти у них сквозь пальцы.

Теперь, когда Алкивиада не было, он устраивал учения в два раза чаще, чем прежде. Лисий и еще несколько ревностных молодых капитанов, кто хотел учиться, ничего против этого не имели; но некоторые из тех триерархов, кто воевал на собственных кораблях, были

так обозлены необходимостью мотаться то туда, то сюда по приказу кормчего, что готовы были сожрать его живьем. Вскоре он решил, что нам нужен наблюдательный пост на Мысе Дождя за проливом, на случай если Лисандру вздумается тайно пойти на север и напасть на Алкивиада с тыла. Так что он взял два десятка кораблей, или около того, и встал у берега Ионии.

Я сразу подумал, что это глупо. На острове Самос есть достаточно высокие горы. С них видно так далеко, что море сливается с небом в один огромный простор, а острова – словно дельфины, плывущие в облаках. У нас там были наблюдатели, и они всегда знали, что происходит в Эфесе. Как раз один из них и приехал на своем муле вниз, в город, через несколько дней, чтобы сообщить, что у самого входа в Эфесскую бухту идет морское сражение.

Спуск с горы занял у него несколько часов. Мы подготовили корабли к бою и стали ждать, что дальше. Потом еще один наблюдатель спустился с восточных холмов и доложил, что на Мысе Дождя поднимается столб дыма, словно кто-то складывает трофей.

В неведении мы оставались очень недолго. Едва успели услышать последнюю новость – на юге, в проливе, показались наши корабли, те что остались. Они тащились из последних сил; искалеченные, скамьи гребцов разбиты, обшивка расплывается, люди полумертвые от усталости, от работы на черпаках, палубы забиты ранеными и полуживыми, подобранными с обломков тонувших кораблей. Мы помогли раненым сойти на берег и послали за дровами, чтобы сжечь убитых.

За три года постоянных побед мы успели забыть вкус поражения. Мы были армией Алкивиада. Когда мы заходили в харчевню, все остальные вояки расступались или вовсе уходили, если незадолго до того показали спину в бою; потому что мы разбирались, с кем будем пить, а с кем нет, – и не делали из этого секрета...

Подходили все новые корабли, один за другим, и все подтверждали рассказ, которому поначалу мы просто не поверили. Антиох в это утро вышел из гавани с парой кораблей – сказал, что в дозор, – а у Эфеса смайнал

парус, вошел на веслах в порт, – и пошел вдоль линии стоявших у берега кораблей Лисандра, под самым носом, выкрикивая непристойные оскорбления. Те из них, что были готовы к выходу, кинулись ему вдогонку. Афиняне на Мысе Дождя, увидев, что начинается заваруха, послали несколько триер на помощь, спартанцы поддержали своих, – и так это продолжалось до тех пор, пока не оказались задействованы оба флота, совершенно несогласованно, как попало; ну а при том соотношении сил результат был неизбежен.

На берегу в Самосе уже собралась мрачная толпа: ждали Антиоха. Если бы его стали бить камнями – не думаю, что кто-то из триерархов хоть пальцем шевельнул бы, чтобы это прекратить.

Что до нас с Лисием – хоть мы и потеряли в том деле добрых друзей – это было не самое худшее. Мы понимали, что этот человек, хранивший верность Алкивиаду во всех превратностях судьбы долгие двадцать пять лет, теперь его погубил. После минувших месяцев безделья, его репутация в Афинах ни за что не выдержит такого удара. Его враги получат, наконец, все, чего им так не хватало. И вот мы ждали – быть может, слегка стыдясь своего любопытства, – ждали, как будет выглядеть человек, который учинил такую пакость своему другу, да еще и должен сам известить его об этом.

– Он с ума сошел, что ли? – сказал я. – Лучше бы он повел всех; спланированное нападение, даже на превосходящие силы, могло бы дать ему какой-то шанс.

– А как ты думаешь, сколько триерархов пошли бы за ним, если бы он их спросил сначала? – возразил Лисий. – Ведь у них был приказ Алкивиада: никаких действий.

– Говорят, – сказал я, – он много лет добивался у Алкивиада, чтобы тот позволил ему командовать в бою. Я думаю, ради своего друга он придал этому видимость случайности, чтобы не нарушать открыто его приказ.

Лисий покачал головой.

– Все виноваты, – сказал он. – Алкивиад в том, что поддался ему; из лени или из солидарности с ним, потому что видел, как его третируют, – это не важно,

все равно виноват. Триерархи в том, что травили его, пока он не кинулся доказывать, что он не хуже их... Словно зеленый юнец, не знавший оружия... Но больше всех виноват он сам; он заплатил за это удовольствие цену непомерную, и за наш счет. Триерархи его ненавидели – но встали с ним рядом в его дурацкой затее; худшие из них оказались в деле лучше его. Все эти три года наша честь была в том, чтобы стоять друг за друга; выполнять неожиданный приказ без вопросов; никогда не бросать в беде того, кому трудно... Вот это он должен был хранить пуще всего остального, а он – промотал в своей идиотской драчке; и тут – хоть мне его жаль – я простить не могу. Потому что огныне и впредь такого больше не будет; скоро увидишь.

В это время из-за мыса показался еще один корабль; полузатопленный, тащившийся на расщепленных веслах. Он подошел к берегу, ткнулся носом в песок... Толпа ворчала и ждала. Раненым помогли сойти, кто не мог – вынесли... Антиох все не показывался. Потом на берег снесли мертвое тело, лежавшее на доске. Ветер поднял угол плаща и показал его лицо. Наверно, когда он понял, чем это закончится, – он и вовсе перестал заботиться о жизни своей. Смерти он никогда не боялся; и никого из людей не боялся, кроме Алкивиада.

Через несколько дней показался наш флот, возвратившийся с Геллеспонта. Когда Алкивиад сходил на берег, вокруг него собралась громадная толпа, и я стояла позади многих; но он настолько был высок, что видно было его лицо поверх голов. Я видел, как он смотрел, удивляясь тишине; видел, как ему рассказали; видел, как он сказал: «Пришлите ко мне Антиоха», – и услышал ответ на это.

Он стоял совсем спокойно; синие глаза смотрели прямо, и в них ничего не отразилось. Ему не надо было прятать лицо, чтобы спрятать сердце свое. И тут я вспомнил историю их первой встречи, которую слышал однажды; Критий рассказывал при мне.

Стол стоял, кажется, в оркестре театра; за ним сидели в ряд седые банкиры; богатые горожане важно подходили по очереди со своими дарами общественной казне,

двигаясь вниз по проходу между рядами; счетоводы считали, глашатай объявлял сумму, толпа ликовала, даритель кланялся и возвращался на свое место, принимать поздравления от друзей и нахлебников. А в это время по пыльной траве мимо театра шел Алкивиад. Услышал шум и вздумал посмотреть, кого это они там приветствуют, без него. Он прошел через сосняк, вышел над скамьями, спросил что происходит... И выиграла в нем его страсть к соперничеству. И вот, по длинной лестнице вниз шагал юноша – высокий, сильный, блестящий – и все аплодировали уже при одном лишь виде его, настолько он был красив. В те дни говорили, что если быстроногий Ахилл на самом деле был так прекрасен лицом и телом, как пел Гомер, то он должен был выглядеть, как Алкивиад. Он подошел к сцене, где сидели банкиры со своими сундуками, и швырнул на стол золото, которое нес с собой, чтобы купить пару серых для колесницы. Народ завопил, и, испугавшись этого шума, из-под его плаща вылетел перепел с подрезанными крыльями, и захлопал над головами собравшихся. Банкиры щелкали языками, богачи помрачнели, люди падали через скамьи, стараясь поймать птицу и заслужить хотя бы взгляд ее хозяина, – пока перепел не упорхнул в испуге на склон холма и не уселся на ели. И пока все показывали на него – но никто ничего не делал, – наверх взбежал чернобородый моряк с золотыми серьгами в ушах, забрался на дерево, как обезьяна, снял птицу и подошел к Алкивиаду, смело глядя ему в глаза такими же синими глазами, как у него. И золотой Ахилл, смеясь, протянул руку Патроклу, и они ушли вместе, среди шума и тоскующих, завистливых лиц. Так это начиналось, а здесь был конец.

Какой-то момент он молча стоял у кромки воды, глядя прямо перед собой. Потом повернулся и отдал приказ. Фанфара разнесла над Самосом призыв к оружию, толпа разделилась: моряки бежали к кораблям, солдаты – в лагерь за своими доспехами, а сам Алкивиад пошел к своей флагманской триере. Вернувшись с гоплитами, я увидел, что он шагает взад-вперед по кормовой палубе, окликая те корабли, что еще не были готовы, и

с проклятиями поторапливая их. Потом он приказал сниматься с якорей; флот стряхнул с себя землю, поднял паруса и двинулся на Эфес. Я чувствовал, как кровь снова горячо бежит по жилам, яд поражения из нее ушел; мы шли за ним, словно потерявшиеся псы, которые нашли хозяина и с лаем скачут вокруг него, готовые броситься на все, что попадется им на глаза.

На подходе мы увидели спартанцев, они проводили учения перед гаванью. Но когда подошли – ни одного их корабля снаружи ограждения не осталось. Лисандр с удовольствием ввязывался в дело, если оно сулило дешевую победу, но он знал, кто теперь пришел сводить счеты. У его кораблей был соответствующий приказ, а в Спарте приказы выполняются.

Весь день мы крейсировали между Эфесом и Мысом Дождя. Алкивиад ждал, что спартанцы выйдут и дадут ему бой. На закате повернули назад к Самосу. Когда мы вернулись, уже горели лампы, ласково маня в портовые харчевни. Сойдя на берег, я сказал Лисию:

– Я сегодня напьюсь. Пойдешь со мной?

– Я как раз собирался тебя позвать, – ответил он.

Так мы и сделали. Но под утро отделались от компании, собравшейся за ночь, и ушли вдвоем; наверно, каждый из нас чувствовал, что только друг с другом можем мы поделиться тем, что на сердце. Горечь утраты пронзала нас, как мелодия без слов. И это не Алкивиادا мы потеряли; в последнее время он и так от нас отошел. Если вы можете себе представить, что лира может грустить о собственной музыке, когда поэт вешает ее на гвоздь или оставляет детям, – вот такой была наша печаль.

Как и следовало ожидать, Город осудил его и отстранил от командования. У них хватило справедливости, чтобы ограничиться этим. Но никто из нас не удивился, что он не стал возвращаться в Афины, а отплыл во Фракию; один. Он там построил себе замок, наезжая время от времени; и враги его говорили, что если бы он был по-настоящему верен – не стал бы готовить себе такое убежище. Но, с другой стороны, он же знал афинян, как горшечник знает свою глину.

Он любил, чтобы его любили; но был достаточно умен, чтобы знать, что как только что-нибудь будет не так – ему придется платить соразмерно их ожиданиям. Дома почти не верили, что он смертный; что существует что-нибудь такое, чего бы Алкивиад не смог, если бы захотел. Можно подумать, в Афинах полагали, что он способен превращать камни в золото, как царь Мидас. Ведь когда выяснилось, что во время последнего рейда он ограбил одного из вассальных союзников, – они были в ярости; но сами не посылали ему ничегошеньки, уже много месяцев, и наше положение было просто отчаянным. Что до меня – я не осуждал его, за то что выстроил себе крепость; и ход событий его оправдал. Он уехал, не попрощавшись с нами. За те недели, что прошли после гибели Антиоха, он стал невыносим, так что мы расставались с ним даже с каким-то облегчением; но когда его парус ушел за горизонт – солнце светило уже не так ярко, а вино стало пресным.

Ему на смену прислали целую свору генералов. Мы утешались сознанием своего долга: уговаривали друг друга, что мы здесь чтобы воевать, а не ворчать на каждого, кто не может придать войне стремительность Олимпийской скачки... Так было поначалу.

Осенью спартанский флот запер часть нашего в Митиленской гавани, так что мы могли потерять и корабли, и людей, и Лесбос впридачу. Чтобы отвести эту беду, нам в подкрепление прислали флот из Афин, и мы вместе пошли на север. За Белыми Островами мы встретили спартанцев и разбили их. Утро было хмурое, море бурное; всю ночь лил дождь, гремела гроза и волна становилась все выше. Когда они стали отходить назад на Хиос, мы возликовали, – но уходить пора было и нам, ветер крепчал. А некоторые из них были настроены решительно и отступать не собирались; это мы поняли, когда один из их кораблей пошел на «Сирену», нацелившись тараном в борт.

Это был большой черный корабль, с головой дракона на форштевне, грозившей нам раскрытой красной пастью. Он шел на нас полным ветром, и хотя наши гребцы из сил выбивались, чтобы уйти в сторону, – ясно было,

что нам это не удастся. Мы сами уже таранили в том бою, дважды. Хотел бы я посмотреть, чтобы хоть какой корабль совершил три тарана и благополучно вернулся домой. Мы текли, как корзина, и кое-как тащились по морю – едва двигались, – а тот мчался на нас. Лисий и кормчий кричали палубной команде, чтобы хватали запасные весла и постарались продержаться, – но это наверно для поддержки духа, это мало что могло дать. Я кинулся к оружейной будке, схватил охапку дротиков, раздал их своим людям и забрался вместе с ними на крышу надстройки: видно было, что они ударят нас возле кормы. Потом проверил, хорошо ли заточены дротики, выбрал самый лучший, обмотал ремень вокруг дровяка и уравновесил его пальцами в петле, чтобы лучше закрутить при броске... «Сирена» была отличным кораблем, и все мы хотели продать ее как можно дороже.

Я приметил себе человека, стоявшего на передней боевой площадке, и ждал, чтобы метнуть, когда он начнет подниматься на борт перед ударом. При этом часто удается проткнуть руку или бедро и вывести врага из строя до конца сражения. Это был спартаец; в красной тунике, высокий; шлем он сдвинул назад, чтобы лучше видеть. У него было хорошее лицо, и я пожалел, что никто другой не стоит так удачно для броска моего. Корабль надвигался, очень быстро, но он так и стоял все там же, гордо и спокойно, с каким-то бешеным восторгом в глазах. Я чуть не забыл, чего жду, и готов был закричать: «Поднимайся, дурак! Сейчас ударит!» При высокой волне их таран был под водой, но ясно было, что уже вот-вот. Потом до меня дошло: «Зевс! Это же триерарх!» – и я метнул. И в тот же момент корабли столкнулись.

Раздался треск дерева, крики с палубы, вопли и стоны со скамей гребцов внизу... Удар был страшный; я упал на колени и едва удержался на крыше. И так и не знаю, попал ли в того спартанца, да это и не имело значения. Ограждение боевого помоста на большинстве кораблей хлипкое; оно сломалось при ударе, и он полетел. Вытянул руку, хватаясь за воздух, – а потом упал в зеленое

море, и доспехи камнем потащили его ко дну. Их последний генерал, Калликратид, погиб в том бою при таких же обстоятельствах; быть может, это он и был. Он был самым видным соперником Лисандра в войне, а доблестью и честью значительно превосходил его; по всем отзывам, это был великодушнейший солдат и благороднейший человек. Он слишком был горд, чтобы пережить поражение; иначе многое потом могло бы сложиться иначе.

Во всяком случае, он умер, сделав свое дело: его таран пробил нам борт. Если бы «Сирена» не была обвязана поясом из пенькового каната от носа до кормы – развалилась бы, наверно, пополам. Ну а так, едва спартанцы выдернули свой таран – море хлынуло внутрь.

Я послал последний дротик вслед спартанскому кораблю – от ярости, бессмысленно, как дети плачут, – и спрыгнул вниз, навести на палубе хоть какой-то порядок. Лисий был внизу у гребцов. Я собрал солдат и построил их в живую цепь, отливать воду. У моряков были черпаки, а у нас только шлемы. Мы скользили и падали, моряки старались найти хоть какой-нибудь балласт, который можно выбросить за борт... Кирасы наши нам мешали, натирали – доспехи делают не для работы, – но человек, бросивший оружие в бою, бросает нечто большее, а в результате и доброе имя свое. Если я видел, что кто-нибудь начал возиться с пряжкой, – я так на него смотрел, что он тут же снова брался за работу, с покрасневшим лицом. Ведь это не могло длиться долго, наш флот должен был вот-вот подойти нам на выручку; спартанцы бежали; и если это хоть как-то от меня зависит – никто не скажет, что когда людей на «Сирене» подобрали в час победы, они выглядели, словно разгромленная толпа. Снизу я слышал Лисия, подбадрывшего гребцов. Видеть его я не мог – стоял у люка, передавая шлемы с водой вверх на палубу, – но от одного его голоса становилось легче.

Когда команда уже не могла больше найти никакого балласта, начали выбрасывать припасы, а потом и запасной такелаж. Потом дошла очередь и до наших щитов;



я отвернулся, чтобы не глядеть на это, – и увидел, что выносят раненых гребцов. Один из них попавший прямо под таран, явно умирал. Остальные были сильно побиты вальками весел третьего яруса: на них надеты свинцовые грузы, чтобы уравновесить длинное весло. Я заметил взгляд одного из раненых, глаза черные-черные, он смотрел на меня с ненавистью. Но в такие критические моменты люди понимают друг друга; я знал, что он сейчас ненавидит каждого, у кого есть обе руки, кто может спастись в море.

Тем временем кормчий и несколько матросов спустили большой парус за борт и закрыли пробоину; с помощью тросов, пропущенных под киль. Это помогло: рану, нанесенную тараном, чуток подлечили, и вода в корпусе стала понемногу убывать благодаря нашей работе, хотя ясно было, что корабль течет повсюду. Нас приподняло на очередной волне – я огляделся в поисках помощи, – но все корабли, какие были видны, сами терпели бедствие. Один из них затонул на моих глазах. Сначала под воду ушла корма, и таран вздыбился кверху, словно бивень единорога, – а потом корабль скользнул назад – и вода вокруг покрылась россыпью крошечных черных голов. Я закричал своим людям какую-то чепуху, чтобы отвлечь их от этого зрелища.

Теперь Лисий поднялся на палубу и разбил нас на три смены: две работали, третья отдыхала. Людям стало полегче. Но еще перед тем он поднимался на крышу надстройки, и я догадался – помощи не видно. Рабы работали вместе с гребцами. Их скамьи были уже под водой, но сами они все были целы: Лисий никогда не держал их в море прикованными. Когда настала моя очередь отдыхать, я подошел к нему.

– Ну как, Алексей? – сказал он. – Ты с гоплитами управлялся молодцом!

Как бы ни было тяжело, он никогда не забывал о таких вещах.

– Их триерарх упал за борт, – сказал я, – но он не зря погиб. Ты не видел наших кораблей?

Сначала он не ответил. Потом сказал:

– Видел. Уходят по ветру, только паруса над горизонтом.

Я изумился:

– Но ведь неприятель оставит Лесбос, как только узнает о нашей победе. Дело уже сделано; почему они не приходят за нами?

– Наверно, хотят отрезать спартанцев от их базы, – сказал он. Но в голосе его была нота, какую я слышал всего один раз, когда он лежал в храме Асклепия в Коринфе.

На душе стало так горько – словами не высказать.

– Алкивиад бы вернулся, – сказал я.

Лисий кивнул.

– Сколько раз мы приходили на помощь побитым кораблям, теряя при этом плоды победы! – сказал я.

В этот момент нас накрыла волна, и мы хватанули столько воды, что чуть ни вся наша работа пошла насмарку. Лисий сказал:

– Корабль мы уже раздели, пора облегчать людей.

Я понял, что он имеет в виду.

Он подошел к гоплитам:

– Ну что ж, друзья, враг бежал. Ни один спартанец не сможет похвастаться, что видел, как мы бросили оружие. Но то, что мы не отдали бы людям, – мы можем пожертвовать Посейдону. Разоружайтесь, господа.

Я возился с мокрыми ремнями своих доспехов, стараясь управиться побыстрее. Он сделал меня солдатом – он заслужил, чтобы я снял оружие прежде него. И вот я снял кирасу Архагора, с золотыми заклепками и Горгоной, прошел по мокрой палубе к борту – и бросил в море.

Подошел кормчий, Терас, и сказал:

– Ты прав, Лисий. Пора.

Это он верно говорил. Шторм усиливался.

– С твоего позволения, я начну ломать надстройку, – добавил он.

Не было нужды говорить больше. Такое делают перед самым концом, чтобы было за что держаться в воде.

– Давай, – сказал Лисий. – Лодку тоже.

У нас на борту была небольшая лодка, чтобы доставлять с берега воду и провизию; где нельзя было подойти. Терас посмотрел на него... Лисий спросил:

– Сколько человек в ней поместятся при такой волне?

– Четыре, – сказал Терас. – Может быть пять.

– Досок от нее хватит человек на десять, даже двенадцать. Ломай.

Я вернулся на свое место, отливать воду, и скоро услышал стук топоров. Но затем раздался какой-то новый звук. Я сказал своим, чтобы обошлись без меня, и выбежал на палубу. Четверо моряков повернулись спинами к лодке, а топорами – к своим товарищам. Они хотели уйти на ней, и бунт разгорался. Теперь из-за лодки дралось уже столько людей, что они бы утопили ее, если бы забрались в нее все вместе; как раз это и имел в виду Лисий. И тут я увидел, что он идет к этой свалке, безоружный.

Все это длилось мгновение. Но я помню, что успел подумать: «Неужели он до сих пор так верит в людей?» Посреди корабля, в обломках надстройки в козлах осталось несколько дротиков; один из них я схватил. Лисий говорил с людьми. Большинство из них опустили топоры и казались пристыженными, но у него за спиной стоял один – я успел увидеть его глаза – и заносил топор над его непокрытой головой. Я метнул, воззвав к Аполлону; наконечник вошел глубоко, сразу слева от позвоночника; вес топора качнул человека назад, и он упал на дротик, наверно прямо сердцем наткнулся. Дротики на «Сирене» были острые, я сам за этим следил.

Когда они вернулись к работе, Лисий подошел ко мне:

– Ты сказал мне однажды, что твоя жизнь принадлежит мне, помнишь? Теперь ты выкупил свой заклад.

– Это ненадолго, – улыбнулся я.

На нас катилась большая волна. Когда обрушился гребень ее, я думал, мы пойдем ко дну тотчас; но мы удержались на плаву. А Лисий держал меня за руку; схватил, чтобы не смыло за борт.

– Интересно, о чем сейчас беседует Сократ, – сказал он.

Мы посмотрели друг на друга. После всего – у нас не хватало слов, да они были и не нужны. «Это конец, – подумал я. – Вот так кончается наша дружба. Пусть же бог примет ее такой, как она есть».

Но кто-то бежал к нам по палубе и кричал: «Земля!» Мы посмотрели, куда он показывал, – там над бурным морем проглядывались смутные серые очертания небольших островов.

– Сколько воды? – спросил Лисий.

Я заглянул в люк.

– Выше скамей второго яруса.

Он кивнул и дунул в свисток, собирая людей. Успел только сказать, где видна земля, – и показал ее, – и тут нас накрыла следующая волна.

«Сирена» тяжело содрогнулась и начала погружаться, почти на ровном киле, медленно-медленно. Наверно, если бы Лисий не крикнул мне прыгать – я так и стоял бы там, чтобы ощущать палубу под ногами, пока воронка не затянула бы меня под воду вслед за тонущим кораблем.

Время, проведенное в воде, я помню смутно. Помню, что сначала у меня была какая-то доска; но слишком тонкая, чтобы держать мой вес, все время тонула подо мной. Я в сердцах бросил ее, а потом подумал: «Я выкинул жизнь мою; ладно, что сделано – сделано». Я не знал, где запад где восток; волны швыряли и едва не задушили меня; я уже сказал себе, что лучше утонуть сразу и умереть быстро, – но жизнь во мне была сильнее рассудка, и продолжала бороться. Со всех сторон неслись крики; я слышал, как кто-то повторял снова и снова: «Скажите Крату, чтобы не продавал землю! Чтобы землю не продавал!..» И так без конца, пока голос не оборвался на середине слова. В ушах у меня зашумела вода; когда я снова выбрался на поверхность, крики еще раздавались, но уже реже, чем прежде. Что-то в голове у меня сказала: «Слушай и запоминай». Но в тот же миг я подумал: «А как я смогу? Ведь своих забот

хватает...» Но я все-таки прислушался – и услышал Лисия:

– Алексей!.. Алексей!.. Алексей!!!

Я отозвался и подумал: «Ну вот и поговорили»... Но вскоре услышал, что возле меня кто-то тяжело дышит и выплевывает воду, – это был Лисий, он толкал перед собой большое рулевое весло.

Я ухватился за него; потом, чуть придя в себя, спросил:

– А оно удержит двоих?

– Как видишь, держит, – сказал он.

В тот момент этот ответ меня удовлетворил: я был наполовину оглушен, к тому же привык верить каждому его слову. На самом деле он, наверно, только толкал весло вперед, помогая мне двигаться.

Плыли мы очень долго. Мне показалось, несколько дней и ночей. Усталость накапливалась и накапливалась, и тело мое забывало жажду жизни; в груди была тяжелая боль; и настал такой момент, когда кроме отдыха ничто уже не манило. Я так отупел, что готов был выпустить весло и уйти без слова; но в последний момент душа моя на миг ожила, и я сказал:

– Прощай, Лисий!

И бросил весло. Но тут же почувствовал, что меня тянут за волосы, и снова очутился на поверхности.

– Держись, – сказал он. – Смотри, дурак, земля совсем рядом.

Но мне хотелось только одного. Покоя.

– Не могу, Лисий. Мне конец. Отпусти меня.

– Держись, будь ты проклят! – закричал он. – Ты называешь себя мужчиной?..

Я не помню всего, что он мне наговорил. Потом, когда я приходил в себя, лежа в пастушьей хижине на острове, я чувствовал, что душа моя вся изранена, но не мог понять, отчего это; так чувствует свое тело человек, которого били, когда он без сознания был. Наверно, он обозвал меня трусом. Во всяком случае, так или иначе, он убедил меня, что отпустить весло – это все равно что умереть с раной на спине. Позже, ночью, когда мы сидели, завернувшись в старые одеяла и пили бобовую

похлебку возле костра из плавника, он начал извиняться, – но в очень общих выражениях, надеясь, что я забыл. Я понял, чего ему хотелось, и так и ответил: ничего, мол, не помню.

С «Сирены» никто кроме нас не спасся. Двадцать пять афинских кораблей погибло в той битве, и почти все – со всей командой.

Почти месяц прошел, пока мы смогли вернуться в Город. Островок тот был маленький, туда редко кто заходил, кроме рыбаков. В конце концов нам повезло; нас подобрал корабль с Лесбоса, а уже оттуда мы добрались домой. Семью свою я нашел в трауре, отец голову побрил... Он выглядел старым и больным; и так разволновался, увидев меня, что я от смущения даже не знал, что сказать. Наверно он корил себя за то, что я ушел из дому и подался в море. Что до меня – время научило меня видеть во всем лишь соединение планет и руку судьбы. Мать была гораздо спокойнее; сказала, мол, видела во сне, что я жив. А сестра Харита плясала вокруг нас – до чего ж у нее ноги длинные стали! – жаловалась на бороду, что я отрастил на острове, и отказывалась меня поцеловать, пока я ее не сбрую.

Позже, когда в доме успокоились и я поведал свою историю, отец сказал, что Город был очень разгневан на наших генералов и отстранил их от командования. Они писали домой разные оправдания, причем сначала говорили, что не могли вернуться за нами из-за сильного шторма, – и тут же, что это было поручено двум младшим офицерам. Поскольку одним из этих офицеров был Фразибул, а другим Терамен – а мы знали, что на них можно положиться, – я догадался, что это наверно пришло им в голову слишком поздно, когда флот уже был в безопасности, в гавани. Наверно, половина из нас уже лежала на дне, прежде чем они снова вышли в море. То, что они выбрали козлом отпущения Фразибула, разозлило меня, как никогда.

– Когда их будут судить? – спросил я.

– Как только появятся, – сказал отец. – В интересах правосудия лучше, чтобы страсти толпы немного остыли.

– Оставьте толпу в покое, отец, – сказал я. – И отдайте их тем, кто остался в живых с разбитых кораблей. Нас слишком мало, толпы не получится; и мы их будем судить по справедливости. Я хотел бы, чтобы их шеи были в одной петле, а конец веревки у меня в руках.

– Ты изменился, Алексей, – сказал отец, глядя на меня. – Когда ты был маленький, я думал, ты слишком мягок; думал, солдат из тебя не получится.

– С тех пор мне довелось увидеть предательство! И бросить оружие свое, победив в бою!.. – И, снова распалившись от воспоминаний, я добавил: – Если бы Алкивиад был там с нами, он бы рассмеялся им в лицо и послал бы их к ткацкому станку, к бабам!.. А сам пошел бы за нами, один пошел бы... Пусть говорят, что хотят; но когда он вел нас – это был человек!..

Отец сидел молча, глядя в свой кубок. Потом сказал:

– Ладно, Алексей. В том, что ты пережил, – я ничего исправить не могу, наверно и боги не смогут. Но что касается доспехов – если бы я был в Городе, когда ты записывался гражданином, ты получил бы их от меня, как и каждый в твоём положении. Состояние наше, конечно, не то что прежде, но все же я могу и сейчас об этом позаботиться. И рад тебе это сказать.

Он подошел к большому шкафу и открыл его. Там висел комплект доспехов, почти новый.

– Отнеси их к хорошему мастеру, – сказал он, – пусть подгонит по тебе. Никакой пользы от них, если они здесь без дела валяются.

Доспехи были отличные. Он видимо заказал их для себя, когда почувствовал, что силы возвращаются. Мне не стоило так громко жаловаться, что бросил оружие, – человеку, с которого оружие сняли враги.

– Нет, отец, – сказал я. – Я не могу принять их от тебя, я что-нибудь придумаю, выкручусь.

– Я кажется забыл сказать тебе, что Феникс мертв. Давай признаемся, что нового коня мы себе больше позволить не сможем; а в пешем строю я уже не боюсь. Вон щит стоит в углу. Возьми-ка, попробуй на вес.

Я поднял щит и продел руку в ремни. Сбалансирован он был хорошо; и по весу почти такой же, как я привык.

— Для меня он тяжеловат, конечно, — сказал я. — Но жалко портить такой хороший щит. Наверно, если потренируюсь, я управлюсь с ним и так.

23

Вскоре наши горе-генералы появились в Афинах. Приехали все, кроме двоих; те умели выходить из воды сухими — удрали в Ионию. Домой они никогда уже больше не вернулись.

С того дня, когда разбили Гермов, я не видал в Городе такой ярости. Так получилось, что перед самым судом настал Семейный Праздник. И вот, вместо обычных гирлянд и праздничных одежд по всему Городу виден был траур: в скорбных одеждах, с обрезанными волосами, родные утонувших напоминали друзьям и соседям, чтобы не забывали погибшего.

Наконец настал день суда. Я шел на собрание вместе с отцом, но, поздоровавшись с его друзьями, улизнул, чтобы найти Лисия. Однако вместо того попал в толпу горожан, родных и друзей погибших; они окружили меня с просьбами рассказать о сражении. Наверно только теперь, когда вокруг были чужие, — только теперь я по-настоящему осознал всю горечь происшедшего. Я рассказал им все: и то что сам видел, и то что слышал от других.

То же самое происходило по всему Пниксу: люди теснились вокруг уцелевших — ведь нас было так мало, — стараясь подобраться поближе. Глашатай едва сумел добиться тишины, когда начались речи сторон.

К этому моменту никто уже не был склонен тратить много времени на тех друзей. Когда обвинение предложило, чтобы проводилось одно общее слушание для всех шестерых, — я вместе с большинством кричал «за». Всеобщая злость вокруг словно грела; каждый казался другом. Защита вскочила и начала возражать. На самом деле,

в законах было требование судить по уголовным обвинениям каждого человека отдельно: это было вполне правильно в обычных делах, для защиты достойных людей, — но мы все чувствовали, что здесь все по-другому. Поднялся шум. А когда защита снова заставила обратить на себя внимание, возле трибуны началась какая-то суматоха — и на нее взбежал моряк. Сразу было видно, что это моряк, и все притихли. А он не заговорил — заорал нараспев, словно окликая корабль; наверно это был единственный способ, какой он знал, сделать, чтобы его было слышно:

— Вы меня простите, друзья, что лезу вперед, но я поклялся!.. Я был помощником боцмана на старой «Элевтерии». Могу сказать только, что я за ларь мучной ухватился, когда она затонула, а он держался на плаву. А вокруг в море было много моих товарищей, и солдаты тоже, и почти все ранены, и знали, что долго не протянут. И вот кто-то закричал: «Антандр!» — это так меня зовут, — «Антандр! Если ты доберешься до дома, то скажи им, что мы честно сражались за Город!» А другой крикнул: «И расскажи, что мы за это получили. Тонем теперь, как собаки. Ты им скажи, Антадр!» И я поклялся, и должен сдерживать свою клятву, так что вы меня простите за эту вольность. Спасибо.

Он бегом спустился с трибуны. Сначала был миг молчания; потом такой рев поднялся, что в Элевсине слышно. Кто-то выкрикнул, что каждого, кто против воли народа, надо самого судить вместе с генералами. Мы все подхватили — кричали так, что в горле пересохло. Такое чувство бывает, когда запеваешь пеан, или напьешься в Дионисии; или бежишь последний круг, а толпа хочет, чтобы ты победил... Только, все же, не совсем такое.

Теперь председательствующим членам Совета надлежало решить, законен ли такой суд, и не было особых сомнений в том, каково будет их решение, хотя бы ради их собственного здоровья. Но они что-то долго обсуждали; народ начал свистеть и кричать — пока наконец не вышел глашатай и не сказал, что они не могут прийти к согласию.

Оттуда, где я стоял, их было не видно, но они нас слышали; и особенно хорошо слышали, когда по толпе разнеслась весть, что не соглашается только один какой-то старик. Мы требовали только по одной жизни от каждого из этих трусов, повинных в гибели сотен; и им предстоит умирать гораздо легче, чем нашим друзьям в бурном осеннем море. Люди спрашивали друг друга, кто этот старый крючокотвор; его выбрали жребием на один этот день, а он видно возомнил себя важной шишкой?.. Кто-то крикнул:

– А он сам когда-нибудь носил щит?

– У него наверно нет сыновей, – сказал я.

– Кто он? – кричали мы тем, кто был поближе к ним.

И какой-то голос ответил:

– Старый сумасброд, Сократ сын Софроника, скульптор.

Словно ведро ледяной воды пьяному, что спотыкается и поет; словно боевая тревога любовнику на ложе неги – вот так для меня были эти слова. И шум и гнев умерли во мне, я остался голым под небесами. Только что я был со всеми вместе, а теперь – один. И мне, мне лично, сероглазая Афина с Верхнего Города говорила: «Алексий, сын Мирона! Я – Справедливость, а ты превратил меня в шлюху и рабыню».

Когда я пришел в себя – и вместо тишины внутри услышал снова шум вокруг, такой же, как и прежде, – я ушам своим не поверил. Мне казалось, у всех глаза должны были открыться в тот же миг, что и у меня. Я огляделся вокруг, – но все лица были такими же, как только что: оружие раскрытые рты, все одинаковые, словно стадо свиней.

Я повернулся к человеку, стоявшему рядом. Он был похож на образованного хоть как-то, торговец наверно.

– Мы неправы, – сказал я. – Нельзя преступать закон.

Он обернулся и заворчал:

– Да что ты об этом знаешь, молодой человек?

– Я там был, – сказал я. – Мой корабль потопили.

– Тем более должно быть стыдно держать сторону тех сволочей. Ты не переживаешь за товарищей своих?

Вскоре глашатай закричал, что раз только один из старейшин был против предложения, поданного обвинителями, оно принято остальными без него.

Я бросил в урну белый камушек и постарался думать, что это меня очистило.

Лисий догнал меня на склоне под Пниксом. Он всегда был для меня примером мужества, и на этот раз тоже заговорил первым:

– Ты же знаешь, – сказал он, – как в тех краях налетает ветер с гор, из Ионии. В одном месте дует свирепо, а чуть в сторону – так, сквознячок легонький... Может и правда, что шторм их не пустил.

– Алкивиад пришел бы, – сказал я.

– Конечно, если бы у него был кормчий. Ведь дело в том, Алексей, что мореходов, таких как прежде, у нас больше не осталось. Даже за свои недолгие годы я успел заметить разницу. Алкивиад мог, и Антиох. А эти новые люди – они же мореходы очень средненькие. Одного из них самого потопили... Мы убили их – как ребенок пинает скамейку, об которую колено ушиб. Что с нами стало?

– Я был несправедлив, – сказал я.

Мы шли сквозь толпу. Вокруг была толчея, люди спорили, оправдывались... Но некоторые смеялись, или бились об заклад в петушиных боях. Лисий долго шел молча, потом сказал:

– Безумие священно перед богами. Они дают его нам в должное время, чтобы очистить души, как дают сильные травы, чтобы очищать тело. На Дионисии мы бываем слегка безумны, но это нас очищает; потому что мы посвящаем свое безумие богу. А теперь мы безумны ради самих себя, и это нас осквернило.

– Не говори так, Лисий. Я уверен, что уж ты-то не безумен. Ты сохранил рассудок гораздо лучше, чем я.

Он улыбнулся и произнес фразу, напомнившую о нашем личном. А потом сказал:

– Я все время думаю «Вот прошлый год был лучше». Старею, что ли?

– Иногда мне кажется, Лисий, что после Игр не осталось уже ничего, как прежде.

– Мы так думаем, дорогой мой, потому что это нас с тобой касалось. Если бы ты спросил вон того горшечника, или того старого солдата, или актера Каллипида, – каждый назвал бы, наверно, свою Истмию. Война длится долго, Алексей; уже двадцать четыре года. Даже Троя была всего десять.

Мы как раз пересекали Агору. Он показал на каких-то женщин возле прилавка и сказал:

– Когда вон та девочка только-только родилась, война уже тянулась столько же, сколько в Трое; а теперь она почти женщина...

Он не рассчитывал, что его могут услышать так далеко, но девушка подняла голову и посмотрела на него. Он улыбнулся ей – ее губы шевельнулись в ответ и лицо на миг просветлело. Она была в трауре; бледная, чахлая... Женщина рядом с ней – непохоже, чтобы мать ее, – что-то резко сказала ей, хотя видно было, что она смотрела на Лисия совсем по-детски. Я сказал Лисию:

– Наверно она потеряла отца в нашей битве.

Он смотрел на нее через головы толпы.

– Да, – сказал он. – И последнего брата. Их трое было.

– Так ты их знаешь?

– О да! Я даже ее знаю. Она чуть не заговорила со мной, пока ей не напомнили, что она уже не маленькая. Это дочь Тимазииона; он был триерархом «Демократии».

Тем временем девочку уводили через базарную площадь. Даже сзади было видно, что женщина до сих пор ругает ее.

– Интересно, что из нее сделают? – сказал Лисий. – Эта кислородная – вдова ее старшего брата, наверно. Трудно ей придется от такой перемены. Воспитывали ее кое-как; мать – покойница теперь – почти все время болела, и маленькая Талия постоянно была с отцом или с братьями. Еще в прошлом году им и в голову не приходило отсылать ее, когда я появлялся в их доме. Ты же знаешь, как это бывает с поздними детьми. Один из братьев погиб под Византием; другой здесь, в Аттике, во время рейда... А потом Тимазиион с последним маль-

чиком вышли в море, в афинской эскадре. Вот и кончился их род; осталась только эта последняя веточка.

Он шел, задумавшись; даже не услышал меня, когда я заговорил с ним. А потом заговорил сам:

– Она была очень хорошенькой, пока не случилась эта беда. По крайней мере, личико славное. А та баба сбудет ее с рук при первой возможности, отдаст кому угодно... Хорошая была семья, Тимазиион с сыновьями. Я знал их всех.

– Лисий! – Я смотрел на него с изумлением. – О чем ты говоришь? Ведь ей на вид не больше двенадцати.

Он посчитал на пальцах.

– С тех пор как она родилась еще три Олимпиады прошло; в тот год Алкивиад гонки колесниц выиграл. Так что ей должно быть около тринадцати, не меньше.

Потом рассмеялся и добавил:

– А почему бы и нет? Ради хорошего дела можно потерпеть, а женщин сейчас сколько хочешь... Но подумай, насколько лучше бывает конь, если ты его взял жеребенком!

– Ну что ж, Лисий, если ты так полагаешь – на самом деле, почему бы и нет?

Я вспомнил свои ожидания... Я представлял себе все это совершенно по-другому; но если подумать – это было совсем в его духе.

– Небольшое приданое у нее будет, наверно, – сказал он, – так что ни один из нас не будет слишком обязан другому. Сестра моя, Нико, научит ее всему, чему вряд ли научили дома... Я переберусь в маленький домик; не стану из кожи лезть, чтобы жить в большом... Если дела когда-нибудь поправятся – тем лучше, это заставляет женщину уважать человека, больше чем что-либо другое...

Он продолжал в том же духе; можно было подумать, что размышлял об этом уже не одну неделю.

– Какой у нас месяц нынче? – спросил он вдруг. – Я полагаю, мы могли бы устроить свадьбу в гамелионе, как все.

– Ты не имеешь в виду нынешний гамелион? – спросил я.

– А почему нет? Неужели нельзя все подготовить за три месяца?

– Я думал, ты хочешь только заключить помолвку, – сказал я. – Она же совсем еще ребенок.

– О нет! Надо жениться на ней сразу, это же ясно. Это единственный способ сделать из нее что-нибудь путное. При всех недостатках ее воспитания, она усвоила и много хорошего. Хоть вышивать ее и не учили, зато научили себя вести, ничего не бояться и говорить правду. Зачем же отдавать ее на целый год этой гнусной стерве, которая превратит ее в жеманную лицемерку и напичкает разными мерзостями из болтовни старых повивальных бабок? Тут даже до гамелиона откладывать не надо бы.

Вспомнив сцену на Агоре, я понял, что он имел в виду. А он продолжал:

– Я могу тебе сказать, что она почувствовала, увидев меня. Девочка словно наткнулась нечаянно на какую-то вещь, на собаку знакомую, – на что-то такое, что напоминает ей дом. Когда ей было шесть лет, я ей рассказывал легенду о Персее...

– Так чего ж ты ждешь? – сказал я. – Хватай свои крылатые сандалии и разбей ее цепи, пока дракон не появился.

Он рассмеялся и взял меня за руку.

– Спасибо, Алексей! Наверно, так я и сделаю. Пожалуй, это сегодняшний день заставил меня задуматься. С тех пор как началась эта война, мы растратили не только серебро, и даже не только много крови, – но и часть души своей. Последний раз, когда я был на Верхнем Городе, мне показалось, что даже Дева выглядит усталой. Пора подумать о сыне, чтобы были свежие силы для нового круга. Надо послать к ним Нико.

Через пару дней он пересказал мне рапорт сестры. Маленькая Талия ей очень понравилась, и она считала, что та ничуть не уступает своим сверстницам. Только боль потери и тоска по дому, – сказала Нико, – заставили ее впасть в детство слегка. О невестке Нико отзывалась помягче, чем Лисий; она нашла ее не такой уж сварливой, как ему показалось; и не без оснований

заметила, что ни один достойный человек, кому доверена юная девушка, не позволил бы ей улыбаться мужчинам на базарной площади. Но невестка была глупа, упряма и порядком бесчувственна; а стараясь в месяц наверстать упущенное за три года, сделала Талию такой нервной, что бедняжка постоянно рвет нить, едва возьмется за прялку.

— Она в тебе души не чает, Лисий. И собиралась повторить мне все хорошее, что слышала о тебе от отца; просто чтобы доставить мне удовольствие. В ней доброта природная, это сразу чувствуется. Но ее призвали к порядку и указали ей на ее развязность. Мне было так жаль бедняжку — до тех пор ей и в голову не приходило, что мой приход как-то связан с ней; а потом уж я ни слова не могла от нее добиться, можешь мне поверить.

Главой семьи был древний дедушка; глухой и настолько слепой, что принял Лисия за юношу, потому что он был без бороды. Но в конце концов все дела были улажены, приданое согласовано, — и он с сестрой пошел на смотрины.

— Сначала, — рассказывал он, — я не мог добиться, чтобы она хоть глянула на меня. Бедная малышка, я никогда не видал такой перемены. Прежде в доме всегда бывало слышно, как она поет... Но Нико — умница — затеяла с невесткой разговор о порочности рабов, и та настолько увлеклась, что у меня оказалось немного времени. Я рассказал, как замечательно сражался ее отец, а об этом она может слушать без конца... Потом напомнил ей о нашем давнем знакомстве, и сказал, что у меня она будет больше дома, чем здесь. Она немножко приободрилась, уже не такая несчастная сидела, но видно было, что та стерва хорошо успела с ней поговорить и напугала ее до смерти. И потому я сказал: «Теперь ты должна слушаться меня, потому что меня знаешь дольше, чем любого из них. Все обряды, и беготня на празднике, и пир, — это игра, которую мы разыграем, чтобы развлечь гостей; они думают, что на свадьбе это самое главное. Но все остальное подождет, — говорю, — до тех пор, пока мы с тобой не успеем подружиться. Это наша первая тайна; посмотрим, как ты сумеешь ее

хранить». Когда мы уходили, она выглядела гораздо лучше: почти такая была, какой я ее помню.

Нико, однако, уговорила его подождать до нового года и жениться в гамелионе, как он и собирался сначала. Она сказала, вполне резонно, что к тому времени Талии уже исполнится четырнадцать, – а это самое раннее, когда такую юную девчушку можно ввести к себе в дом, чтобы не вызывать кривотолков.

Он сказал мне, что не собирается искать другой корабль. Так или иначе, флот мог быть восстановлен еще очень не скоро. Он собирался вступить в свой родовой полк (он был и моим тоже), обосноваться в Городе и заниматься поместьем своим, когда спартанцы не будут мешать.

Я тоже видел, что мое место в Городе. Отец чувствовал себя неважно: его часто беспокоила малярия, которую он подхватил на Сицилии. Когда начинался приступ, он ничего делать не мог, ни дома ни в поместье. Но меня удерживали не только обязанности, уезжать и самому не хотелось. Слишком долго я отсутствовал, мозги заржавели в море и закоптились дымом костров; а вчерашние школьники повзрослели, и их уже было слышно в колоннадах.

Так что я вернулся к философии, но теперь это было по-другому: и для меня самого, и для тех, с кем встречался в беседах, философия стала почти болезненной потребностью. Когда-то, мальчиком, я пришел к ней из любопытства к видимому миру, чтобы узнать причины вещей; и еще – чтобы почувствовать силу своего разума, как чувствуешь мускулы в палестре. Теперь же мы лихорадочно исследовали природу мироздания и нашей собственной души, скорее, как врачи во время эпидемии.

Нельзя сказать, что мы так уж любили прошлое. Мы были в таком возрасте, что ощущали настоящее своим собственным; нам казалось, оно никогда не обгонит нас. В живописи, в скульптуре или в поэзии – имена, которыми мы восхищались, для нас были ничуть не ниже тех, что прославились во времена Перикла; я до сих пор не могу привыкнуть, что мои сыновья их даже и не знают. Но мы редко останавливались, чтобы полю-

боваться прекрасным пейзажем или цветком, просто радуясь тому, что такое существует. Приветствуя каждого нового художника, мы начинали сердиться на прежних, словно на лжепроводников, которые старались увести нас в сторону. От чего?.. Мы торопились куда-то, хотя сами не знали куда. К свободе, говорили мы. Скульпторы больше не веряли свои творения Золотым числом Пифагора, как Фидий и Поликлет; теперь, говорили мы, когда искусство освободилось от своих цепей, – оно создаст великие произведения... Вот так; а сыновья мои даже не знают.

Эврипид умер; он больше не мучился нашими сомнениями и не горевал о наших потерях. Агафон уехал в Македонию; гостем богатого тамошнего царя, который мечтал цивилизовать своих диких горцев... Мы несколько месяцев веселились, представляя себе, как наш сладкозвучный певец устроился там, как он ищет себе среди тамошней молодежи хоть кого-нибудь, с кем можно поговорить не только о бабах, о лошадях и войне. А потом какой-то путник принес однажды известие, что он умер. Худо заболеть среди варваров. Даже у Аристофана нашлось для него доброе слово, когда он ушел.

Только Сократ не изменился, даже помолодел как-то. Его сварливая Ксантиппа – то ли усмирила ее доброта его, то ли смягчило время – теперь, уже под конец детородности, принесла ему еще двоих сыновей. Едва ли он на это рассчитывал – но воспринял очень весело. Он был всегда готов сомневаться в сложившихся воззрениях, как и самые молодые из нас; и подраставшие юноши приходили к нему точно так же, как в свое время приходили мы, – и грызли логику, словно щенята, и рвали все в клочья в поисках истины.

Север забрал у нас Агафона, нежного певца, но зато и отдал нам кое-кого. Из Фессалии вернулся Критий.

Он бежал туда через некоторое время после свержения Четырехсот, когда вышли на свет кое-какие его делишки. В Фессалии землевладельцы как царьки, и постоянно воюют друг с другом. Он там хорошо положил рыбку в мутной воде. Узнал, что среди местных крестьян там брожение, недовольство; закон в Фессалии

не слишком печется о бедных... И вот он вступил в стговор с их предводителем, достал им оружие, и затеял восстание, которое должно было развиваться по его планам. Восстание подавили; насколько я знаю, крови было много; но Критий сумел удрать. Я уверен, что вначале он их вдохновил и заставил поверить, будто они возлюбленные дети Зевса. Сократ часто говорил, что человеческие образы богов содержат только тень истины, но философ должен видеть, что сокрыто за этими образами. Я думаю, Критий, следуя своей природе, вывел из этого, что религия и закон хороши для дураков, а человек незаурядный – выше этого. Впрочем, не стану притворяться, что я способен на справедливость, когда речь идет о Критии.

Мы с ним встретились однажды на улице. Он напряженно всматривался в меня, проходя мимо: наверно, лицо мое напомнило ему что-то неприятное, но он не мог вспомнить, что именно и кто я такой. Удалось ли ему это – не знаю; но даже спартанцы, которых я встречал в бою, видевшие только глаза мои в прорези шлема, – даже они смотрели на меня более по-человечески.

Но, изложив все это, я должен признаться, что суждения мои стоят не больше, чем суждение о вине, высказанное человеком в горячке. Во время последнего пребывания в Городе я вновь подхватил болезнь, от которой – думал – уже излечился. Теперь, когда источник ее снова был рядом, я понял, что все это время она только спала, и во сне росла.

Бог был милостив ко мне в том, что с самого начала никогда не терзал меня надеждой. И не отравлял своих стрел; ибо то, что показалось мне благим и прекрасным с первого взгляда, – кажется таким же и по сей день. Теперь ему было уже семнадцать; он закончил школу Микия и часто бывал у Сократа. Там я его избегал, по многим причинам. Но если где-то была музыка – он обязательно был рядом; так что во всех моих воспоминаниях всегда звучат то кифара, то сиринокс, то флейты, или поют чистые голоса... Даже сейчас иногда при звуке струны или голоса я ощущаю запах душистого масла и

лавровых листьев, или трав и горячей смолы; и вижу блики от факелов на его отрешенно-слушающих глазах.

Правда, однажды я чуть не пропал. В тот вечер, в начале зимы, я пошел на Ликабетт; вершина его чернела на фоне неба, густо усеянного звездами. Немного не дойдя до вершины, я остановился перевести дух – и увидел его, на террасе храма. У него была склонность к математике и астрономии, как это часто у музыкантов, и сейчас он разглядывал небо. Пояс Ориона был у него над головой, а меч возле плеча.

Я стоял на каменистой тропе, разрываясь между волей и душой своей. Потом сделал один шаг кверху, другой... И тут заметил, что он не один. Я шел босиком, так что они меня не слышали; и я смог снова вернуться вниз, в лес, откуда сквозь сосновые ветви было видно несколько ламп и несколько звезд. В общем, ясно, что бог тогда позаботился обо мне. Чтобы проявить свою благодарность, я каждый год приношу ему в определенный день пару голубей.

Даже свадьба Лисия пошла мне на пользу: ведь в то время ничто не могло бы помочь мне уйти от себя, кроме забот об очень дорогом человеке. Мне нельзя было проявлять свою печаль, которую он мог бы отнести – если бы заметил – на счет какой-то ревности, недостойной ни друга ни мужчины. Я просто должен был скрывать ее; и иногда мне на самом деле удавалось о ней забыть и разделять его счастье. А он, казалось, действительно был не менее счастлив, чем мужчина, готовящийся к настоящей брачной ночи. Я помог ему найти небольшой домик, во Внутреннем Керамике неподалеку от нас, и обставить кое-какой мебелью, взятой из дома его отца. Бронзу Алкамена он продал, чтобы заказать музыку и гирлянды для пира.

– Я хочу, чтобы этот пир ей запомнился, – сказал он. – Ведь ничего другого у нее на свадьбе, пожалуй, не будет.

Ксенофон сообщил мне, между нами, что от души приветствует этот союз:

– Когда я сам соберусь жениться, – сказал он, – я буду искать невесту как раз в таких годах; пока у нее

голова не забита всякой чепухой и еще есть время приучить ее к порядку. Не выношу, когда в доме тарарам и ничего не найдешь на месте. Достойная жизнь начинается с порядка.

А потом получилось так, что вроде только вчера мы говорили: «Еще неделя осталась», – а сегодня утром уже свадьба.

Ночью прошел снег. Он сверкал на крышах под чистым, ярким небом; белее паросского мрамора, белее наших свадебных одежд. Львиные головы дождевых водосливов на крышах храмов обросли хрустальной бородой в локоть длины, красная глина черепицы казалась темной и теплой, а белая штукатурка – как створоженная сметана. Гелий сиял где-то высоко и далеко, не давая тепла с бледного неба, а только блеск своих серебряных волос. Когда мы вели жениха в дом невесты, струны на лирах дребезжали от холода и флейты фальшивили, – но мы заглушили это пением. И дыхание наше поднималось облачками в морозном воздухе в ритме песен.

Не припомню, чтобы Лисий когда-нибудь выглядел лучше, чем в тот день. Его свадебный плащ из милезийской шерсти был оторочен каймой в две пяди сплошного золота. В этом плаще когда-то женились отец его и дед. Мы принесли ему ленты – красные, голубые, золотые – и надели на него венок из миртов; и еще из фиалок, которые можно найти под снегом по запаху. Он поднимался в дом невесты со смехом, раскрасневшись от мороза. А туника у него была заколота на плече громадной золотой брошью старинной микенской работы; по преданию, ее подарил кому-то из его предков сам Агамемнон. На волосах, на венке, на лентах – искрился снег, осыпавшийся с крыш. Когда мы вошли в комнату для гостей, где невеста сидела рядом с дедушкой, глаза ее стали расширяться – так что от маленького личика, окаймленного шафрановым платком, скоро остались только эти глаза.

Женщины окружили ее, начали целовать, шептать что-то... Она была хорошо воспитана, как и говорил Лисий; но при каждом удобном случае ее глаза обращались к нему, словно удирали от всех. Один раз он

заметил это и улыбнулся ей через толпу гостей. Все женщины завздохали, зашептали «Какая прелесть!»... Только невестка наклонилась к ней и что-то зашептала на ухо. Она покраснела – пунцовая стала – и сжалась, как цветок, закрывающий лепестки, стараясь стать как можно незаметней. Мне показалось, что на глазах у нее слезы. А на лице у Лисия я увидел такую ярость, что подумал, он сейчас натворит что-нибудь несусветное и испортит свадьбу. Я дернул его за плащ, чтобы напомнить, где он.

Потом начался пир, и они сидели между мужчинами и женщинами, рядом сидели. Он что-то говорил ей с улыбкой, но она отвечала тихим-тихим шепотом; и не ела ничего, только двигала еду по тарелке. Он смешал для нее вина; она выпила, когда он ей сказал, что она как ребенок у доктора, – и кажется ей на самом деле стало полегче.

Распорядитель замахал мне от двери, я вышел – свадебный возок уже ждал. Все было в наилучшем виде: и рога у волов позолочены, и венки и гирлянды на месте, и полог пристегнут. Снова шел снег; но не мелкий, как прежде, а громадными хлопьями, с птичье перо.

Провожали нас с музыкой, кричали всякую чепуху. Я забрался на возок, Лисий поднял ко мне невесту и поднялся сам. И мы поехали, он и я, а девочка между нами. Она задрожала, попав на холод; он подтянул овчины повыше и обхватил ее рукой за плечи, укрыв своим плащом. На меня вдруг нахлынуло прошлое наше, – на миг, словно зимняя ночь, охватила печаль, – но это пришло как давняя печаль, которую я испытал давным-давно, а теперь она была уже где-то далеко. Все меняется; нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Морозец был мягкий, не сильный, не такой как утром; к рассвету все должно было растаять. Лисий сказал:

– Ну, Талия, ты вела себя замечательно. Я тобой горжусь.

Она повернулась к нему, я ее лица не видел. Он сказал:

– Это мой лучший друг. Алексей.

Вместо того, чтобы пробормотать приветствие, не поднимая глаз, как требуют приличия, она сдвинула платок и улыбнулась. Глаза ее и щеки ярко сияли в свете факелов. Я уже и раньше сомневался, правильно ли он сделал, что дал ей вторую чашу вина.

– О да, Лисий, – сказала она, – ты был прав, он *на самом деле* красивее Клеанора.

Наверно это был свежий воздух после тепла в доме, что Лисий так зажмурился на момент. Он тут же весело сказал:

– Конечно! Я всегда это говорил!

Он поймал мой взгляд, словно извиняясь за нее. Я рассмеялся:

– Вы меня перехвалите, я задаваться стану!..

Теперь она обратилась ко мне; наверно, тем голосом, какой слышала от матери, когда та разговаривала с подругами, приходившими в гости:

– Лисий часто говорил о тебе, я слышала. Еще до того, как стал моряком, я тогда совсем маленькая была. Когда бы он ни зашел, мой брат Неон всегда спрашивал, как ты поживаешь. Лисий спрашивал «Ну, как Клеанор?» – или еще кто-нибудь, кто был тогда другом Неона, – а брат всегда говорил «Ну, как прекрасный Алексей?» И Лисий всегда отвечал «По-прежнему прекрасен».

– Ну, – сказал Лисий, – вот ты его и увидела. Но теперь поговори лучше со мной, а то мы с ним поцапаемся.

Она отвернулась, очень вовремя. Хорошо, что мы были скрыты пологом; вряд ли кто-нибудь что-нибудь увидел.

– О, нет! Ты никогда не должен ссориться с Алексием. Ведь вы уже столько времени вместе!

Возок наш ковылял по грязи, распаканной колесами; снежинки плыли в свете факелов, будто хлопья пламени. Люди на улице выкрикивали бородатые шутки про месяц длинных ночей и все такое, а я время от времени вставал на возке и кричал в ответ что-нибудь такое же древнее. Когда мы подъезжали к дому, он наклонился к ней и шепнул, чтобы она не пугалась. Она кивнула и прошептала в ответ:

– Мелита мне сказала, я должна кричать. – А потом добавила твердо: – Но я сказала, не буду.

– Ну и правильно. Что за плебейская идея!

– И еще я ей сказала, что я дочь солдата.

– И жена солдата.

– О да, Лисий! Да, я знаю.

Когда подошло время, с концом свадебной песни, он поднял ее на руки – она с улыбкой обняла его за шею. Я побежал следом держать дверь для них и по дороге слышал, как пара старых куриц у забора чесала языки; какая, мол, она бесстыжая.

На другой день я зашел его проведать. Мне казалось, нет никакой надобности ждать предписанного обычаем позднего часа, так что я пришел рано – еще базар не начался, – чтобы быть раньше остальных. Он вышел ко мне не сразу, полусонный: настоящий жених после брачной ночи. Когда я начал извиняться, что потревожил его, он ответил:

– О, я уже не спал. Но я проговорил с Талией до рассвета. Я и понятия не имел, сколько в ней здравого смысла и душевного благородства. Это будет такая женщина – одна на десять тысяч!.. Не говори слишком громко, она еще спит.

– А ей не пора работать в такой час?

Он засмеялся, смущенно так:

– Знаешь, – говорит, – она очень долго не могла уснуть. И выглядела – ну совсем ребенком; так что я сел рядом и стал с ней разговаривать, пока не заснет; я думал, может ей страшно одной. Но наверно сам отключился раньше ее; потому что, когда проснулся – оказалось, она достала новое одеяло из своего сундука с приданым и укрыла меня.

Я ничего не ответил, не мое это было дело. А он сказал, улыбнувшись:

– О да! Я умею удержать коней до старта. По мне, праздновать обряд Афродиты надо вдвоем; я скорее лягу в Афиной-Воительницей – щит и все такое – чем с женщиной, которой я не мил. Что нужно сейчас от меня этой девочке, я знаю лучше, чем она сама. Но, надеюсь, это ненадолго.

И на самом деле, время шло, а он выглядел счастливым. А однажды, вскоре, когда он пригласил меня на ужин, я услышал, входя в дом, молодой голос, певший в такт какой-то работе, словно вода журчала в тени. Лисий сказал:

– Ты должен простить девочку. Я знаю, что скромная женщина не должна выдавать гостям местонахождение свое, но когда я вижу ее счастливой – у меня язык не поворачивается портить ей настроение. Она и так натерпелась от братовой жены. Я ей собаку подарил и запретил заниматься хозяйством. Успеет еще. В душе она скромна, а внешней стороной мы займемся когда-нибудь позже.

Был прекрасный золотистый вечер. В небольшой трапезной стояли четыре ложа, хотя при двух она была бы уютнее. На них были разложены гирлянды из виноградных побегов и роз.

– Это Талия сплела, – сказал Лисий. – Она обижается, если я покупаю готовые.

На ужин была приготовлена меч-рыба. Я был не слишком голоден, но старался изо всех сил: видел, что он гордится этим блюдом. Разговаривали мы о войне, которая в последнее время как-то притихла. Спартанцы, вопреки своему обычаю, оставили Лисандра командовать еще на год; и он снова взял деньги у Кира.

– Тебе рыба нравится? – спросил Лисий. – Она сказала, я должен тебя спросить, достаточно ли острый соус.

– Никогда не ел ничего вкуснее, – ответил я. – Но я по дороге такую новость услышал, что любой голод отобьет. Те две триеры, что захватил на днях самосский флот, – ты знаешь, что сделали с гребцами? Сбросили в море со скалы. Чтобы научить их работать на тех, кто не в состоянии им платить.

Он ошарашенно посмотрел на меня, потом сказал:

– О Зевс! Вспомнить только, что мы говорили в начале войны, когда такое вытворяли спартанцы!.. Ты этого наверно не помнишь. Мы растем!.. Последнее предложение состояло в том, чтобы рубить захваченным вражеским гребцам правую кисть. Или речь шла о

большом пальце?.. В Собрании на меня смотрели косо, когда я голосовал против. Я рад, что мы с тобой больше не во флоте, Алексей. Какие бы новости ни приходили с Самоса – все одна другой хуже.

Флот уже несколько месяцев бездействовал. Генералы не верили друг другу, люди не верили генералам; в Город постоянно доходили слухи, что тот или иной подкуплен... Точно такие же разговоры не давали покоя и спартамцам в Милете. Уже само знание, что там есть золото, несло в себе отраву.

– Уж Конон-то в порядке, – сказал я.

– Он один на дюжину, – ответил Лисий. – Интересно, что думает Алкивиад в своей горной крепости? Говорят, с нее просматривается половина Геллеспонта. Он, наверно, часто смеется, стоя у себя на стенах.

– Сегодня День Саламина, – сказал я. – Семьдесят пять лет со дня битвы. Помнишь, как он всегда выдавал вино в этот день? Как раз в День Саламина он рассказал ту историю про персидского евнуха, помнишь?

Мы рассмеялись, потом замолчали оба... И в тишине я снова услышал пение в доме, но на этот раз потихоньку: она наверно помнила, что у него гость.

– Ты совсем не пьешь, – сказал он.

Мальчик-раб уже убрал со стола и ушел.

– Больше не хоч, Лисий. Мне и так хорошо, от вина лучше не станет.

Он внимательно посмотрел на меня, и сказал:

– Если человек боится вина, то печаль его глубока.

– Ты пойдешь завтра на гонки? Каллий говорит, его гнедой выиграет.

– Наверно так устроен мир. Когда терзается человек, для которого ты сделал бы все, что только в твоих силах, – оказывается, ты ничем не можешь ему помочь.

– Давно ты узнал? – спросил я.

– Это неважно. И кроме меня никто не знает. А ты не можешь снова найти себе женщину, вроде той, на Самосе?

– Поищу как-нибудь, скоро. Ты не думай об этом, Лисий. Это же помешательство, это пройдет.

– Тебе надо жениться, Алексей. Да, я знаю, советы давать легко, но ты не сердись на меня. Если человек...

Голос его оборвался. Мы оба поставили кубки, вскочили и бросились наружу. Улица была пустынная, но шум накатывался все ближе; он приближался, как дым, летящий по ветру громадными клубами.

Это был не вопль, и не стон, и не то причитание, какое поднимают женщины по умершему... Но все это в нем было: и то, и другое, и третье. Зевс посылает людям и добро и зло, но зло посылает больше, так что в звуках печали ничего нового нет. Но это – это было горе не одного человека, не двух, не семьи... Это был глас Города, исполненный отчаяния.

Мы переглянулись. Лисий сказал:

– Мне надо поговорить с девочкой. Узнай у кого-нибудь, что случилось.

Я остался в портике, но никто не появлялся. Он что-то говорил внутри; слов не разобрать, но голос был спокойный. Когда он выходил, я услышал его последние слова:

– Заканчивай свой ужин, займись чем-нибудь и жди меня.

Она ответила твердо:

– Хорошо, Лисий. Я буду ждать.

Далеко вверх по улице кто-то что-то прокричал.

– Я ничего не понял, – сказал я Лисию. – «Все пропало...» и что-то про Козью речку.

– Козья речка? Мы там однажды приставали, когда меняли доску в обшивке. Это на полпути к Геллеспонту, чуть севернее Сеста. Деревушка глинобитных хижин на песчаном берегу. Козья речка?.. Ты наверно не расслышал; там же ничего нет.

На улицах не было никого, разве что какая-нибудь женщина выглядывала наружу. Одна из них, забыв от страха о приличиях окликнула нас:

– Что случилось? О, скажите, что случилось!..

Мы пожали плечами и пошли дальше. С Агоры доносился шум, словно бежала разгромленная армия. И казалось, что вдаль от него разносится эхо: это был плач,

что катился волнами вдоль Длинных Стен от Города к Пирею, как расходится боль по руке или ноге.

Наконец нам попался навстречу какой-то человек, бежавший с Агоры. Он на бегу колотил себя в грудь кулаками, а когда я схватил его за руку – оглянулся, словно пойманный зверь.

– Что случилось? – спросили мы.

Он помотал головой, словно не понимал по-гречески:

– Я был на Мелосе... – говорит. – О Зевс, я был на Мелосе!.. Теперь это ждет нас!

Он вырвался и побежал дальше, наверно к дому.

Там где улица выходит на Агору, она была запружена людьми, старавшимися протолкнуться. Мы уже почти влезли в эту толпу, когда к нам протиснулся кто-то, двигавшийся оттуда. Выбравшись из давки, он остановился, покачнулся и упал.

– Какие новости? – закричали мы ему.

Он перегнулся пополам и начал блевать, перекишим вином. Потом медленно повернул лицо в нашу сторону.

– Долгой жизни тебе, триерарх! Это улица женщин?

– Этот малый – гребец с «Парала», – сказал Лисий.

Он схватил того за грудки, встряхнул и крикнул прямо в ухо: – Отвечай, скотина пьяная! Что случилось?

Человек кое-как поднялся на ноги, бормоча со стоном:

– Ох, господин... Ох, господин...

– Так что же случилось? – спросили мы разом.

Он вытер рот тыльной стороной ладони, сказал: «Спартанцы идут», – и начал блевать снова.

Когда нам стало казаться, что все выпитое из него уже вылилось, мы подтащили его к городскому фонтану на улице и сунули головой в воду. Он сел на плитку фонтана, безвольно свесив руки, и сказал:

– Я был пьян. Я истратил свой последний обол, чтоб напиться, а вы меня отрезвили...

Закрыв лицо руками и заплакал.

Потом, кое-как придя в себя, заговорил:

– Прости, господин мой. Мы трое суток подряд весел не выпускали, новость эту везли... И знали, что нас здесь ждет. Флот уничтожен, господин мой. По-нашему, кто-то нас продал Лисандру. Он нас захватил на берегу возле

Козьей речки; ни подмоги, ни прикрытия – ничего. Стерты, кончены, скатаны как книга.

– Но что вы там делали? – спросил Лисий. – Это добрых пятнадцать стадий от Сеста, там ни гавани ни припасов. Вас загнали на берег?

– Нет, господин. Флот стоял там лагерем.

– У Козьей речки? Лагерем? Похоже, ты еще пьян.

– Если бы так, господин! Но это правда...

Он окунул лицо в фонтан, стряхнул воду с бороды и начал рассказывать:

– Нам сказали, Лисандр взял Лампсак. Мы пошли туда, вверх к Геллеспонгу, к проливам, мимо Сеста. И встали лагерем у Козьей речки. Оттуда видно Лампсак...

– Великий Посейдон! – воскликнул Лисий. – Но из Лампсака видно вас!

– То-то и оно! Утром мы построились в боевой порядок, чтобы сразиться с Лисандром. Но этот старый лис в море не высовывался. На другой день то же самое. Потом продовольствие кончилось. Нам приходилось добираться на базар в Сест, как причалим корабли. Так шло четыре дня. На четвертый день только-только подошли опять к берегу – слышим кричат. Смотрим – с холмов едет кто-то верхом, не местный: конь хороший и седло на нем рыцарское. Солнце садилось как раз у него за спиной, но я еще подумал: «Где-то я тебя видел»... Там еще несколько молодых офицеров смотрели; вдруг они сорвались, словно чумные, и бегом помчались к тому, вверх по дороге. «Это Алкивиад!» – кричат.

– Они его хватили кто за ногу, кто за стремя, кто хоть к лошади притронуться... Один-другой, я думал, вот-вот не выдержит и расплачется. Ну, для него всегда и у всех находилось и угощение, и вино. А он – одного об отце спросит, другого о товарище... Ты же знаешь, господин, он же всех в лицо помнил. А потом и спрашивает: «Кто тут командует у вас?»

– Ему, конечно, сказали: такие, мол, и такие. «Где они?» – спрашивает. – Отведите меня к ним. Сегодня же вечером вам надо убираться отсюда. Неужели весь флот с ума сошел? – говорит. – Я четыре дня смотрел, как вы тут подставляете задницу под пинок Лисандру, но

больше выдержать не могу. Что это за база такая, на виду у неприятеля? Что это за лагерь, поглядите: ни постов охранения, ни рва! Гляньте на людей: гуляют, растянулись отсюда до самого Сеста. Можно подумать, что настала Олимпийская неделя и у вас перемирие».

— Кто-то принял его коня, и его повели к генеральским палаткам; а те как раз вышли посмотреть, что за шум. Но, похоже, они-то вовсе ему не рады были, не то что молодые офицеры. Едва с ним поздоровались, даже выпить не предложили. Знаешь, господин, что с самого начала меня больше всего трахнуло? Это то, как вежливо он с ними говорил. Ведь он никогда не был из тех, кто позволяет на себя плевать; а уж если сдачи даст — так с приплатой... Но тут он объяснил им про лагерь; очень спокойно, очень серьезно. А потом и говорит: «Вы сегодня не видели, как спартанские дозорные корабли наблюдают за вами? Лисандр каждое утро собирает людей на борт и держит их в готовности до сумерек. Если он до сих пор еще не ударил — так только потому, что не может поверить, боится ловушки. Но как только ему станет известно, что лагерь на самом деле ночью не охраняется, — вы думаете, он станет ждать и дальше? Только не он; я его знаю. Каждую минуту, что вы сидите здесь, вы подвергаете опасности флот, а вместе с ним и Город. Одумайтесь, господа. Сегодня же вечером вы можете быть в Сесте».

— Они предпочли разговаривать с ним стоя, в палатку не пригласили, так что многие слышали. И я сам слышал, как генерал Конон проворчал себе в бороду: «То же самое и я им втолковать пытался». Но тут выходит вперед Тидей, один из новых, и говорит: «Мы тебе чрезвычайно благодарны, Алкивиад. Мы все знаем, что ты вполне можешь поучить нас нашему ремеслу. Быть может, ты хотел бы снова принять флот? И снова передать его еще какому-нибудь приятелю, пьянице, на то время пока сам будешь носиться по Ионии в погоне за бабами? Интересно, о чем думали эти афиняне, когда назначали нас сюда на твое место? Однако, они это сделали, не так ли? Ты по мячу ударил. Теперь наша очередь — и мы желаем тебе всего наилучшего».

– Вот тут он начал краснеть. Но все равно сдержался, головы не потерял. Заговорил медленно, спокойно... Ну, знаешь, с этой его растяжкой. «Вижу, – говорит, – я напрасно тратил свое время, да и ваше тоже. Я за две вещи уважаю Лисандра: он знает как добыть деньги и где их потратить». Повернулся к ним спиной и пошел прочь; они не успели и рта раскрыть.

– Его такая толпа провожала – близко не подойти. Когда ему подвели коня, он сказал: «Я здесь ничем больше не могу помочь. А если бы и мог – скорее проводил бы их к Гадесу, – говорит. – Они люди конченные. У меня есть несколько друзей за проливом: я мог бы подпортить жизнь Лисандру в Лампсаке. Протрубить с моей башни – три тысячи фракийцев поднялись бы. Прежде они никого не признавали хозяином, но за меня сражаются. Я в этих краях царь, – говорит. – Царь во всем, кроме титула».

– Он сел на коня, глядя на тот берег взглядом своим... Ну, вы ж знаете, глаза синие-синие, и раскрыты, будто настезь. А после пришпорил и уехал в горы, где его замок.

– В тот вечер наш Старик на «Парале» отменил все увольнения на берег. И генерал Конон сделал то же на своих кораблях, их у него восемь было. Но все остальные продолжали по-прежнему. А на следующий вечер спартанцы пришли.

Он стал рассказывать об этой битве – или, скорее, бойне, – а мы едва поспевали за ним: воображение тащилось вслед за его рассказом, словно измученный бегун. Как в сумерках мчался флот Лисандра, с отличными гребцами его; как Конон, единственный из генералов, кто сохранил рассудок и честь, пытался быть везде одновременно; как на одних кораблях была половина солдат, но не было гребцов, а на других по одной скамье гребцов и ни одного солдата... Конон видел, к чему все идет, и увел свою маленькую эскадру вместе с «Паралом». Старое морское присловье гласит, мол, если от крушения хоть что-то осталось – уже прибыль. Спартанцы не стали себя утруждать погоней: они были вполне довольны жатвой своей. Сто восемьдесят парусов,

вся морская мощь афинян стояла возле берега у Козьей речки, как ячмень под серпом.

Наконец, рассказ его был закончен. Он еще продолжал что-то говорить, как всегда бывает в такие минуты, но казалось, что наступила тишина. Потом Лисий сказал:

– Прости, что я выщедил из тебя вино твое. Возьми вот, и начни снова.

Мы с ним шли по улицам плечо к плечу. Шли молча, меж плакавших и шептавших домов. Наступала ночь. Я поднял глаза к Верхнему Городу – храмы стояли черные, без единой лампы, сливаясь с темнотой неба. Их служители забыли о долге своем. Это было так, словно сами боги умирали в тот момент.

Лисий тронул меня за плечо и сказал:

– Мидяне сожгли его дотла. Но на другой день олива Афины снова дала зеленые ростки.

И мы взялись за руки. В знак того, что мы мужчины, и знаем что пришло время испытаний. А потом расстались. Он пошел к жене своей, а я к отцу; потому что в такое время мужчина должен быть со своими. На улицах до утра видны были освещенные окна: это те, кому не спалось, снова зажгли лампы свои... Но на Верхнем Городе была только ночь. И тишина. И медленно плыли по кругу звезды.

24

Когда стало ясно, что Афины остались в одиночестве, мы пошли на Верхний Город и принесли обет товарищества. Это предложил кто-то, кто помнил клятву на Самосе. Я тоже помнил. В тот раз жаворонок пел, когда мы возносили гимн Зевсу; и дым поднимался в бездонный голубой простор, высоко, к самим богам... А теперь наступала осень, над иссушенными солнцем горами висело серое небо; и когда жрец приносил жертву – холодный ветер бросал дым и пепел мне в лицо.

Денно и ночью мы дежурили на стенах, ожидая спартанцев. Но вместо них к Городу пришли афиняне.

Это не были пленники из-под Козьей речки. Тех Лисандр предал мечу, три тысячи человек. А эти пришли из геллеспонтских городов, открывших ему свои ворота. Он свергал демократию повсюду, где находил. И повсюду отдавал власть самым худшим из олигархов. Они подавляли народ для него, а он дарил им жизнь их врагов и поддерживал во всем. За несколько недель они перебили больше людей, чем погибло за долгие годы войны. Спартанцам казалось, что Лисандр покоряет все эти земли их городу; на самом же деле он работал на себя, и сосредоточил в своих руках такую власть, какой не было и у Великого Царя.

Встречая на своем пути афинян – солдат, торговцев или поселенцев, – он щадил их и давал им охранные грамоты; но при условии, что они пойдут только в Афины, никуда больше. По всей Фиванской дороге, на перевалах Парнаса и внизу по долине, тащились они с женами и детьми, с пожитками своими и с кухонной утварью. Целыми днями они все шли и шли через ворота в Город, и сгружали поклажу свою, превознося доброту Лисандра.

Потом, отдохнув немного, они отправлялись на базар за провизией.

Порт в Пирее мы закрыли сразу, как только узнали, что у нас нет кораблей, чтобы его защищать. Только вход в маленький Мунихий не перегородили, оставили открытым для зерновозов. Сначала один-два прошли с Геллеспонта – те, что успели проскочить до нашего разгрома на Козьей речке, – еще пара подошла с Кипра... Зерно складывали с вооруженной охраной, но уже на другой день столько же мешков пришлось выдать со складов. Вместе с беженцами народу в Городе стало столько, что базар опустел – шаром покати. А вскоре показался и флот Лисандра, две сотни парусов. Они налетели на Саламин и обобрали его до нитки. А потом уселись там, нацелившись на Пирей, и стали ждать.

Спарта, надо сказать, оказала нам высокую честь – послала к нам обоих своих царей. Царь Павсаний провел свою армию через Истм и встал под нашими стенами. Он поставил палатки в садах Академии; нам видно было,

как спартанцы соревнуются на наших песчаных дорожках или кидают диск. Они перекрыли дорогу в Мегару. Потом царь Агид спустился от Декелеи и запер дорогу в Фивы. Наступала зима; сначала солнце еще светило, хоть не грело, потом пошли холодные дожди... И очень скоро даже самые малые дети смогли оценить милосердие Лисандра.

Люди начали умирать уже через несколько недель. Сначала самые бедные, самые старые, или те кто уже раньше болел. Чем меньше становилось товаров, тем выше цены; все, что у них было, люди тратили на еду; торговля захирела, люди стали терять работу; те, кто раньше жил на ренту, перестали ее получать, потому что платить было нечем; с каждым днем армия бедняков росла, а долго прожить бедняк не мог.

Зерно выдавало правительство, по мерке на человека. Эта мерка с каждым днем становилась все меньше, а последние пришельцы не получали и вовсе ничего. Получать должен был глава семьи, так что отец вставал обычно до зари. Некоторые ждали раздачи с самого вечера, а по ночам было особенно холодно; люди простужались, и многие так и умерли.

Дома, однако, мы поначалу жили вполне прилично. Теперь человек, имевший мула, был почти так же богат, как и владелец коня. Наш мул был совсем молодой, засолился почти как оленина. Когда отец убил его, я сказал:

– Мы должны послать кусок Лисию. Ты же знаешь, мы всегда это делаем, когда приносим жертвы; и они нам тоже посылают.

– Это не жертвоприношение, – возразил отец. – Мул не такое животное, чтобы можно было приносить его богам. И время теперь не такое, чтобы поддерживать все прежние традиции. Твой дядя Стримон, хоть он куда богаче нас и родной брат отцу моему, – не посылает мне ничего.

– Тогда возьми из моей доли, отец. Лисий не раз проливал в боях свою кровь, чтобы спасти мою. А я теперь пожалею ему кусок мультяного мяса?

– В Городе пять тысяч человек, Алексий, которые проливали свою кровь в битвах за всех нас. Я должен послать по куску каждому из них?

В конце концов он послал все-таки. А чуть погодя Лисий прислал нам голубя. Когда мы встретились, я чувствовал – ему было очень скверно, оттого что не мог уделить нам ничего получше, а для него и это был большой расход. Так было у всех, повсюду, кроме богачей; но тем, кто говорил вслед за Пифагором: «У нас нет моего и твоего», – тем это трудно давалось.

Когда норма зерна дошла до двойной горсти на человека – было решено послать послов к спартамцам, узнать их условия мира.

Наши послы ехали к Академии – а народ, смотревший на них, вспоминал, как спартамцы сами предлагали мир, когда Алкивиад взял Кизик; и потом еще раз, после нашей победы на горе у Белых Островов. Они тогда предлагали, чтобы у каждой из сторон оставалось то, что было у нее в руках; кроме Декелеи, которую они должны были отдать нам, если мы примем назад изгнанных олигархов. Из-за этого условия вождь демократов Клеофан побудил народ требовать борьбы до конца: он обещал победу. Теперь его судили за уклонение от воинской службы и приговорили к смерти. Но, говорят, человеку не стоит оглядываться, когда он подходит к концу.

Наши послы вернулись очень скоро. Цари даже разговаривать с ними не стали; сказали, что это дело эфоров. Так что мы послали их снова, на этот раз в долгий путь через горы, через Истм. Они были уполномочены предложить спартамцам их же прежние условия: у каждой стороны остается то, что у нее есть. Только теперь у спартамцев было все, кроме самого Города, Пирея и Длинных Стен.

Рыбы в бухтах почти не осталось, уловы с каждым днем становились все меньше. Если люди слышали, как в чьем-нибудь дворе отбивают на камнях осьминога, чтобы помягче стал, – переглядывались, как прежде бывало при виде бычьей головы, висевшей перед дверью.

Кружку масла продавали за две драхмы, да еще попробуй найди!..

И вот наши послы вернулись снова. Был серый дождливый день, с моря шли тяжелые тучи; с вершины Пникса видны были белые гребни волн до самого Саламина и корабли Лисандра, уходившие на базу. Послы стояли – да и на что сядешь в такую погоду! – и достаточно было глянуть на них, чтобы стало еще холоднее. Спартанцы развернули их на границе, услышав предложения наши, и посоветовали приехать еще раз; с чем-нибудь посерьезнее. Пусть, мол, Афины признают спартанское правление как вассальные союзники, и сроят Длинные Стены на восемь стадий. Тогда, мол, можно говорить о мире.

В тишине кто-то закричал:

– Это рабство!

Мы все смотрели в сторону Пирея, где громадные стены Фемистокла тянутся к заливу, закрывая дорогу, словно правая рука, вытянутая от плеча, чтобы схватить копьё. Только один из архонтов предложил сдаться; его тут же, общим голосованием, присудили к тюрьме, за то что Город позорит. И стали мы расходиться с холма, а в мыслях у всех было одно и то же: что в следующий раз есть будем.

Я по дороге зашел к Симону-сапожнику, сандалию починить, и в дверях столкнулся с Федоном. Я его перед тем не видел где-то с неделю, или около того; он сильно похудел, но у него и костяк был красивый, так что выглядел он неплохо, только по-другому как-то. Спрашивать, как он живет, мне уж очень не хотелось; я спросил, чем он занимается.

– О! – сказал он. – Пока не кончилась бумага, мои дела не так уж плохи. Люди еще покупают книги, чтобы удержать мысли подальше от желудка. И уроки есть кое-какие. Ко мне приходят за математикой, а я заставляю их учить и логику заодно. Половина всех бед в мире происходит из-за того, что люди не приучены возмущаться ложным выводом так же яростно, как оскорблением.

Я посмотрел на книгу, которую он держал, на руку его... Казалось, еще чуть-чуть – и через эту руку можно будет читать, настолько он был худющий.

– Федон, а что ты вообще здесь делаешь? Разве не знаешь, что спартанцы возвращают мелосцев на родину и дают охранную грамоту?

Он улыбнулся и глянул через плечо в мастерскую. Симон сидел на своей рабочей табуретке – с женской туфлей в одной руке и с шилом в другой – и слушал Сократа, который говорил с Эвфидемом, крутя в руках кусок выделанной кожи. Федон сказал:

– Мы тут занимались определением стойкости, силы духа. Теперь уже определили; но не можем решить, то ли она хороша абсолютно, то ли относительно, то ли частично. Но если ты зайдешь, дорогой Алексей, то обнаружишь, что Сократ сравнивает ее с процессом дублирования; и в конце концов – абсолютно она хороша или нет – мы уйдем отсюда богаче, чем пришли. Так чего ради мне голодать на Самосе, когда здесь такая чудесная пицца? Пошли, присоединяйся!

Он взял меня за руку и ввел внутрь.

Тем временем спартанцы обложили Город еще плотнее. Просили уже пять драхм за кружку масла. Все, кроме зерна, было в свободной продаже: этого всего так мало было, что не было смысла раздавать по норме. Бедняки начали выкидывать новорожденных, если у матери не было молока. По дороге на Верхний Город теперь всегда слышался плач младенца, где-нибудь в скалах или в высокой траве под ними.

Богатые этого еще не чувствовали. Такие людикупают запасы впрок; если им чего не хватало – они могли и заплатить; а кроме того у них еще оставались лошади, ослы и мулы. Многие вели себя щедро. Когда Ксенофон убил своего любимого боевого коня – он разослал по куску всем своим друзьям, да еще и написал чрезвычайно любезные письма, обратив это в шутку; чтобы мы могли не стыдиться, не послав ничего в ответ. Критон, насколько я знаю, одно время не давал умереть с голоду семье Сократа, потом Федона поддерживал – не говоря уж о пенсионерах и иждивенцах, которых он кормил

с самого начала. Автолик содержал одного старого борца, который учил его в юности... Но все это не могло изменить общей картины. Прежде богатый ходил в пурпуре, а бедный в домотканной одежке, вот и вся разница; теперь богатый жил, а бедный умирал.

Так что вскоре Город выбрал нового посла, попытаться еще раз. Это был Терамен; он сам предложил, чтобы ему поручили такую миссию. Сказал, что пользуется у спартанцев кое-каким влиянием, причины которого не станет раскрывать. Люди знали, что он имел в виду: не зря он был одним из Четырехсот. Однако в конце концов он оказался, где надо, и сделал больше всех других для спасения Города. Если теперь он смог бы добиться для нас лучших условий – удачи ему!.. Отец был страшно рад, что эта честь оказана его давнему другу, который всего неделю назад прислал нам хороший кусок ослиной шеи.

И вот он двинулся в путь; и люди смотрели, как он – вместе с какими-то спартанцами – едет по Священной Дороге в сторону Элевсина. Город ждал. Прошло три дня, четыре... Неделя, две... А кружка масла стоила уже восемь драхм.

К концу первой из этих недель я убил наших собак. Поначалу они сами находили себе, чем кормиться, и перестали приходить и глядеть на нас в положенное время. Но теперь крыса стоила драхму; ребра у собак повылезли наружу, и – как сказал отец – если мы оставим их, как есть, на них и вовсе мяса не будет. Когда я начал точить нож, два пса подошли, виляя хвостами: решили, наверно, что сейчас на охоту пойдем. Я хотел начать с самого маленького, с любимца моего, чтобы он был первым и не успел испугаться. Но он спрятался – и смотрел на меня из темного угла; смотрел и скулил. На самом большом было чуть-чуть, что можно было засолить. Остальные, когда освеживал их, годились только на рагу; но все-таки нам их хватило на три дня.

А еще раньше мы продали Кидилу. Отец купил ее матери, когда они поженились; мы могли бы и отпустить ее на свободу, когда нечем стало ее кормить, но это означало бы обречь ее на голод. Ее купил мастер-

плащевщик; за четверть той суммы, что она стоила, когда была совсем зеленой и не умела ничего. Она плакала не только по себе: ведь матери оставалось всего месяц или два до родов.

Все это время мужчины были на стенах; на случай, если спартанцы потеряют терпение и попробуют захватить нас врасплох, неожиданным штурмом. И примерно тогда один из людей Лисия обвинил другого, что тот, мол, еду у него украл. Уже пошли в ход мечи, Лисий кинулся их разнимать – и ему разрубили бедро спереди, почти до кости. Когда я к нему зашел, он уже поправлялся; не болело, и на завтра он должен был попробовать встать и ходить. Дом его отца был за стенами, так что платы за него он больше не получал; теперь он лишился и армейского жалования, и мне показалось, что выглядит он плохо. Но он сказал, что продал большую брошь Агамемнона, пока рынок не стал совсем бездонным, да и зять ему кое-что прислал, а малышка Талия оказалась замечательной хозяйкой, – так что они управляются не хуже других.

Единственно чего в Городе хватало – это горожан; у нас было много свободного времени между дежурствами, а дома сидеть никому не хотелось. Однажды я наткнулся на сестренку Хариту; она рассадил вокруг своих кукол и кормила их камушками и бусинками: «Будь умницей, съешь супик, а то не получишь ни жареного козленка, ни медовых лепешечек». В восемь лет детишки растут быстро; от нее ничего не осталось, только ноги и глаза. На другое утро я сказал отцу:

– Я иду искать работу.

Мы сидели за завтраком: полкружки вина на четыре части воды. Он поставил свою чашу и спросил:

– Работу? Какую работу?

– Любую. Кожи мять, раствор месить – все равно.

Утро было морозное, и от холода настроение у меня было совсем скверное; объясняться не хотелось.

– Что это ты придумал? – сказал он. – Эвпатрид, из рода Эрехтея и Иона, Аполлонова сына, будет набиваться к ремесленникам, словно метэк, выпрашивая работу? В первый же день найдется какой-нибудь доносчик, кото-

рый скажет, что мы не граждане; так всегда бывает. Давай, сохраним хотя бы какое-то достоинство.

– Знаешь, отец, – сказал я. – Если наша родословная так хороша, то надо позаботиться, чтобы она не прекратилась вместе с нами.

В конце концов он меня отпустил. Говорят, хорошее начало – половина дела... Но у большинства мастерских, к которым я подходил, мне не удавалось даже спросить. Вокруг каждой была толпа ожидавших людей, которые сами были мастерами в Сесте или в Византии, а теперь готовы были мыть полы, если для них не найдется настоящей работы. Они стояли на морозе, притопывая ногами и растирая руки, и дожидались открытия мастерских. А как они смотрели друг на друга!.. На меня не смотрели вовсе; меня принимали за заказчика.

На улице Оружейников в каждой кузне с раздутым горном было полно бездомных людей, жавшихся к теплу; их гнали на улицу, чтобы освободить место для работы. Наверно, у каждого горшечника глину месили художники-керамисты... Хотя рабов у мастеров не осталось, рабочих рук им хватало с избытком: они ведь почти ничего не делали теперь.

Я прошел по улице Герморезов... Начал уже уставать и отчаиваться, но домой идти не хотелось вовсе. Потому пошел дальше, до квартала скульпторов; и по дороге слушал, как тихо становилось вокруг: из большинства мастерских не доносилось ни звука. Но вот послышался стук киянки по долоту, и я зашел; посмотреть и укрыться от холодного ветра.

Это была мастерская Поликлета-Младшего. Прежде здесь по утрам бывало полно людей; теперь был только сам Поликет да один подмастерье, выбивавший надпись на пьедестале. Поликет установил на деревянной чурке арматуру для стоящей фигуры и теперь гнул ее, как ему надо. Я поздоровался и поздравил его, с тем что он еще может работать в бронзе. Человек должен был преуспевать, чтобы позволить себе уголь для плавки.

Он никогда не был разговорчив во время работы, потому я удивился, увидев, что он вроде рад моему приходу.

– Даже сейчас, – сказал он, – люди, что-нибудь пообещавшие богу, знают, что лучше своих обетов не забывать. Это для хорагического приза: Гермес изобретает лиру.

Он отодвинул арматуру и потянулся за рисовальной доской и мелом.

– Как бы ты стоял, натягивая струны, Алексей?

– Я бы делал это сидя, как все делают, – сказал я. – Но наверно бог может и по-другому, как захочет...

На стене у него висела лира – я снял ее и начал настраивать, чтобы заняться чем-нибудь.

– Ты не присядешь? – сказал он. И бросил одеяло на блок паросского мрамора, чтобы не холодно было на нем сидеть. – Славно было бы, если бы ты что-нибудь сыграл.

Я сыграл пару стихов из одной сколии, потом из другой... Пальцы замерзли, так что получилось не акти. Подняв глаза, я увидел, что он взялся за мел. Когда кто-нибудь раздевает тебя взглядом – это сразу чувствуешь. Я рассмеялся и сказал:

– О нет, Поликлет! В такую погоду я не стану раздеваться ни для кого. Подожди своего натурщика, которому платишь за это.

Он кашлянул и стал точить свой мел.

– Знаешь, сейчас это трудно. Неделю-две назад я еще мог найти хоть поддюжины натурщиков нужного телосложения, но сегодня... – Он пожал плечами. – Традиция этой мастерской – здоровая анатомия. Отец мой сделал себе имя на олимпийских победителях; не в наших правилах работать, не имея перед глазами красивой мускулатуры. Но теперь можно пробродить по улицам весь день и ничего не встретить. Форму сохраняет только твердая, тренированная мышца; но когда ко мне заглядывает благородный человек – я боюсь предложить ему позировать, чтобы не оскорбить его.

Я чуть не рассмеялся вслух. Наверно я заходил к нему раньше с Ксенофоном или еще с кем-нибудь из богатых. А теперь принялся развеивать его сомнения, стараясь не показаться слишком нетерпеливым.

– Самое большее, что могу предложить, – сказал он, – это толику гостеприимства...

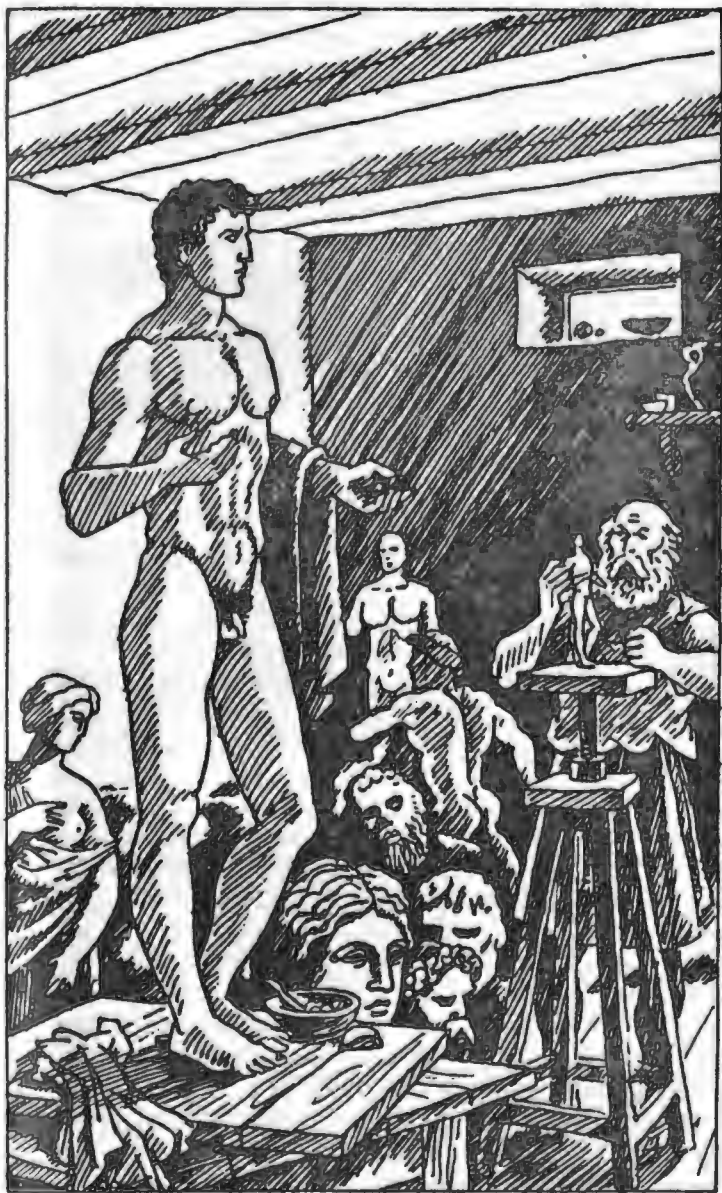
Но это было совсем не мало. Он собирался платить мне едой, а это было больше, чем деньги. Это значило, что пока длится моя работа мне ничего не придется брать из дома. Скоро я узнал, что так поступали все скульпторы, чтобы натурщики не тощали слишком быстро.

Поликлет был очень заботлив. Он даже вносил в мастерскую горшок с горящим углем, чтобы я мог погреться. Но зато приходилось стоять на одной ноге, вывернув бедро наружу, потому что эта поза только-только вошла в моду и все были от нее без ума. Я стояла так, в одной руке держа что-нибудь, что должно было изображать лиру, а другой рукой показывая на нее. Я и до сих пор полагаю, что эта поза неестественна и жеманна; из ремесленников Поликлет был лучшим, но не был таким художником, как его отец.

Поза эта с виду мягкая, легкая; но удерживать ее – это была тяжелая работа; особенно в первый день, потому что накануне на ужин был только супчик из собачьего хвоста и несколько маслин. Был момент, когда меня замутило и в глазах потемнело, но как раз тогда Поликлет дал мне отдохнуть – полегчало. Ужин был гораздо обильнее, чем у нас дома. Я подумал, быть может смогу что-нибудь сэкономить и прихватить с собой; но он – хоть разговаривал очень учтиво – не спускал с меня глаз.

Я надеялся, что Сократ не заглянет к нам смотреть эту работу. Он любил, чтобы статуя – будь то хоть бог, хоть человек – прочно стояла на двух ногах, как их делали, когда он сам работал. Отец мой отнесся к этому моему занятию очень спокойно. Он переносил все трудности без жалоб, ему довелось пережить и гораздо худшее... Хоть он и похудел, но выглядел получше, чем когда вернулся с Сицилии.

Время шло, а от Терамена не было ни звука. Когда прошел месяц, мы послали к спартанцам парламентариев и спросили, жив ли он. Но они сказали, что условия еще обсуждаются. Купить масло стало невозможно, толь-



ко выменять. Зерна давали по горсточке на человека – тем, кто успевал получить спозаранок. Я сумел договориться, чтобы мне давали паяк для Лисия, пока он не может ходить из-за раны. Все, что я мог для него сделать, – это избавить от необходимости хромать за пайком по холодной черноте зимних ночей; если бы у него началась гангрена – ему бы конец. Когда мы с отцом возвращались домой, мать всегда разводила хоть какой-то огонь и давала нам вина с горячей водой, чтобы нас согреть. А после я уходил на дежурство на стены, или позировать Поликлету.

Глиняная модель Гермеса заняла у него три недели. От Терамена по-прежнему ничего не было. Когда работа была закончена для отливки, Поликлет добавил мне к обычному ужину кусочек сыра и попрощался со мной. Я как-то надеялся, что кто-нибудь сделает ему еще заказ, но никто конечно не сделал. У дверей он окликнул меня:

– Крмон на днях спрашивал о тебе. Мне кажется, он еще работает.

Он говорил, не глядя на меня; знал, что к этому времени я уже успел послушаться обо всех.

– Да, – сказал я. – Я тоже слышал, что работает. Работает сутками напролет. Нет, Поликлет, спасибо.

– Извини, – сказал он. – Иногда люди рады узнать...

На следующее утро я вышел из дому, не сказав своим, что работа моя закончилась. Я думал, если хорошенько поискать по Городу – должно же найтись что-нибудь, что даст хоть несколько оболлов. Теперь перестал платить и самый последний из наших арендаторов, а в кладовых было почти пусто. Еще оставалось кое-что, что можно было купить за деньги: маслины, дикая птица, – даже рыба, если дойти до Пирея. Было и мясо, но оно стоило по статеру за фунт. В худшем случае я мог бы прийти домой и сказать, что поел в Городе; но если делать это слишком часто, то на скульпторов я уже рассчитывать не смогу. По правде говоря, уже и Поликлету пришлось меня приукрашивать под конец.

Я не обращал внимания на людей вокруг; не знаю, что вдруг заставило меня посмотреть, тем более на

женщину. Это было на одной из улиц, где Керамик выходит на Агору. Сначала я не был уверен, потому что со дня свадьбы она выросла на полпяди, скоро станет высокой... Потом подумал: «Она слишком молода, чтобы знать, на что идет. Кто-то должен сказать ей». Так что я догнал ее, и мягко, чтобы не испугать, сказал:

– Жена Лисия, ты ходишь по Городу одна?

Она охнула, словно я ее ударил, и так затряслась – казалось, плоть с костей сорвется.

– Не пугайся, жена Лисия, – сказал я. – Ты не помнишь меня? Я Алексей, я был шафером на вашей свадьбе, я тебе ничего плохого не сделаю. Со мной ты совершенно в безопасности; но не надо ходить одной; он будет беспокоиться, если узнает.

Она молчала. Но зубы у нее стучали, как у отца моего во время приступа лихорадки.

– На улицах одинокой женщине небезопасно, – сказал я. – Время нынче такое, что могут пристать, хоть ты и не похожа на гетеру. Сейчас слишком многие готовы на все за горсть ячменной муки.

К ней наконец вернулся голос:

– Мы не можем нанять служанку, – сказала. – А мальчика пришлось продать. Теперь никто не смотрит на это.

– Женщины ходят вдвоем, втроем... Оглянись – увидишь. С тех пор как мы продали служанку, мать всегда так делает. В другой раз ты могла бы пойти с ней. Но одна не ходи, на самом деле, а то сплетни начнутся. Пойдем, я провожу тебя домой. Если ты в покрывале, никто тебя не узнает.

– Нет, – сказала она, – я не хочу идти по Городу с мужчиной.

Я начал говорить что-то, но тут увидел ее глаза. Такие бывают у разорившегося игрока, что кидает кости в последний раз.

– Жена Лисия, – сказал я. – Что случилось? Мне ты можешь сказать, я его друг.

Она смотрела на меня угрюмо, без надежды.

– Расскажи, – говорю. – Я все сделаю.

И, чувствуя, что говорю глупость, добавил:

– Я не скажу ему, слово даю.

Она обеими руками прижала покрывало к лицу и заплакала. Люди шли мимо, даже толкали нас, но никто не обращал внимания: женщина в слезах – такое в Городе видели часто. Неподдалеку было место, свободное от толпы, заваленное камнем. Я отвел ее туда, и мы сели на камень с надписью «Здесь стоял дом предателя Архестрата».

– Если ты его друг, – сказала она, – ты должен меня отпустить. Во имя богов, Алексей! Если он не будет есть, он умрет.

Я молчал, глядя на разбитый камень. А сам думал: «Зачем я с ней заговорил? Того, что уже было, – достаточно; должен я знать об этом?..» Потом догадался спросить:

– Это в первый раз?

Она кивнула, не отнимая рук от лица.

– У него жар, каждую ночь; и рана не заживает. Я меняю повязки по три раза на день, но это бесполезно без еды; а он ни к чему не притрагивается, пока не увидит, что я поела перед ним. Он даже следит за мной; чтобы убедиться, что проглотила. Когда я отказалась так – он поднялся и хотел выйти из дома... Он думает, что может все... Что может жить на одной воде...

Она снова заплакала.

– Из дома я ничего взять не могу, – сказал я. – Мать на седьмом месяце. Но мы что-нибудь придумаем.

Она все плакала; слезы расплывались на покрывале большими темными пятнами.

– Пришла какая-то старуха, – сказала она, – глиняные лампы продавала. И сказала, что один богатый молодой человек увидел меня... и влюбился... и если я встречу с ним у нее в доме, то он даст мне все, что угодно... Я рассердилась, прогнала ее, а потом...

– Конечно! Богатый, молодой!.. Это всегда так. А на самом деле, наверняка, какой-нибудь паршивый трипперный старик, торгаш-сириец, который думает, что ты отдашься за лепешку, да еще и благодарить его будешь!.. – Я был жесток, как все, потерпевшие пораже-

ние. – Если ты сейчас же не пойдешь домой к Лисию, я пойду.

– Ты дал мне слово!

Она подняла голову, покрывало соскользнуло – и я увидел лицо дочери Тимазiona и сестры его сыновей.

– Закрой лицо. Ты хочешь, чтобы Город тебя узнал?.. Ну а потом он узнает – что тогда?

– Чтобы узнать потом, он должен остаться в живых. А тогда я смогу умереть спокойно.

– Талия, – сказал я.

Она оглянулась на меня, как ребенок, когда порка уже позади. Я взял ее руку в свою; рука была совсем детская, холодная, огрубевшая от работы.

– Иди домой к Лисию. И оставь все это мне. Помни, ты в ответе за его честь. Думаешь, он отдал бы ее за кусок хлеба? Значит, и ты не должна. Иди домой, и обещай никогда больше не думать об этом. А я сегодня же вечером что-нибудь вам пришлю. Вечером или – крайний срок – завтра утром. Дашь ты мне слово, как я тебе?

– Но как ты это сможешь, Алексей? Ведь нельзя же забирать у матери!..

– А я и не стану. Мужчина может взяться за много разных дел. С женщинами иначе. Но ты должна обещать мне!

Она поклялась, не отнимая руки; и я проводил ее до начала их улицы.

И пошел дальше по Городу: по улице Оружейников, потом по улице Медников, улице Герморезов... Там у каждой мастерской стояла толпа мастеров в очереди за надеждой получить работу раба. Но вот я добрался до квартала скульпторов и нашел мастерскую Кремона. Дверь была приоткрыта, я вошел.

Он только что закончил работу в мраморе и теперь смотрел, как художник ее раскрашивает. Аполлон с длинными волосами, по-женски забранными в узел, играл со змеей, сделанной из эмалированной бронзы. Кремон прославился среди своих коллег-современников. Про него говорили, что его мрамор дышит. И на самом

деле, я готов был поклясться, что если вот сейчас ушипну сзади этого Аполлона – он подпрыгнет.

Полки вдоль стен были уставлены эскизами в воске и глине; если КрEMON продал столько же статуй, он должен был быть очень богат. Все они были сделаны с молодых людей или с юношей на пороге мужественности, а позы были самые невообразимые. Они и сидели, развалиясь, и на боку лежали, и припадали к земле – разве что на голове не стояли. КрEMON чуть повернулся ко мне и бросил через плечо:

– Не сегодня.

– Ладно, – сказал я. – Это все, что я хотел узнать.

Услышав мой голос, он обернулся уже по-настоящему. А я добавил:

– Я пришел сегодня только потому, что обещал тебе.

– Подожди-ка, – сказал он.

Это был бледный толстый человек, с лысой головой, рыжеватой бородой и большими плоскими пальцами. На нем было еще много плоти; я порадовался, увидев, что он может позволить себе так хорошо питаться.

– Я тебя не сразу узнал, – сказал он. – Проходи.

Потом повернулся к художнику:

– Ты можешь закончить завтра.

Когда я оказался на середине мастерской, он остановил меня и несколько раз обошел вокруг. Потом сказал:

– Разденься-ка, дай я на тебя погляжу.

Я разделся, он обошел вокруг еще раз.

– Хм!.. Ну, что ж... Прими-ка позу для меня. Сидишь на пятках, а руки вытянуты вперед, будто ставишь на землю бойцового петуха. Нет-нет, дорогой, не так!.. Вот так...

Он взял меня у талии с боков своими крупными, плоскими пальцами и поправил. Я выдержал короткую паузу, потом сказал:

– Я беру две драхмы за день.

Он отшагнул назад и закричал:

– Да ты с ума сошел?! Две драхмы!.. Ладно, ладно... Хороший ужин за моим столом, большего ни у кого

не получишь. – И добавил: – Я даю своим натурщикам вино.

Я посмотрел на него через плечо, закинув голову.

– Что вино, это хорошо, – говорю. – Но я беру две драхмы. Никто другой не торговался.

Он покачал головой, прищелкивая языком.

– Куда катится нынешняя молодежь?.. Никакого чувства, никакого понятия о возвышенной красоте. Лодыжки крылоногого Гермеса, лицо Гиакинта, тело, достойное Гиланта у пруда, – и «я беру две драхмы»! Слово киянкой стучит... Ужасная вещь эта война, ничего прежнего не осталось. Ну-ну, согласен. Но тебе придется работать за это, так и знай. Вот, держи горшок, это твой петух. Левое колено вниз, до пола... теперь немного наружу... Нет-нет, вот так!

Чуть погодя, он достал с полки кусок пчелиного воска и начал обрабатывать плоскими пальцами своими. А рядом со мной – розовощекий Аполлон улыбался в сторону, своей толстой зеленой змеей.

25

Пошел уже третий месяц, а Терамен все не возвращался.

Кремон сделал с меня шесть эскизов, в воске и глине: сию на корточках с бойцовым петухом, завязываю сандалии, связываю волосы лентой, как Гилант на коленях у пруда, как сраженный диском Гиакинт и как спящий Дионис. Дионис был сделан наскоро, так что я этого и не заметил. Слово свое насчет вина он держал: оно было каждый вечер, пополам или даже крепче. Говорят, в каждом состоянии человека есть свои достоинства, если ты хорошо смотришься; а в то время было очень легко опьянеть и от самой малости.

Наверно он работал со мной дольше, чем с остальными; я не видел, чтобы на полках было больше четырех эскизов с каждого натурщика. И кормил он меня лучше, чем Поликет, да еще и платил по две драхмы каждый

день. С Талией я встречался обычно на тех же развалинах, где дом когда-то предателю принадлежал. Я отдавал ей все, что мог купить на свои деньги; но подсказал, чтобы она не всегда говорила Лисию, что это от меня, иначе он стал бы удивляться, откуда беру.

Когда я зашел его проведать, он выглядел немного лучше, но как-то странно: глаза ввалились, а кожа была — очень чистая, как у ребенка; наверно потому, что воды он пил очень много, чтобы голод заглушить. Один врач говорил мне как-то, что это полезно для незалеченных ран: мол, болезнь из тела вымывает. Пожалуй, это и сохранило ему жизнь.

Домашним моим трудно было объяснить, где я пропадаю допоздна. В то время если кто-нибудь жег масло в лампе — его дом камнями забрасывали. Если меня не было всю ночь, я говорил, что был на посту. Иногда замечал, правда, что отец смотрит недоверчиво. Но в доме было пусто, а матери подходило время рожать; если он полагал, что лучше вопросов не задавать, — я его за это не виню.

Под конец беременности она всегда выглядела плохо; и теперь двигалась по дому очень медленно. Мы-то привыкли, что она как птичка порхала. Маленькая Харита помогала ей; а однажды, вернувшись домой на рассвете, я застал отца во дворе с метлой. Работал он так аккуратно, словно занимался этим много лет. Тогда я вспомнил. Я забрал у него метлу, но оба мы не сказали ни слова.

Когда у меня бывало время, я часто обходил открытые места и собирал траву и разную зелень для супа. Есть такая сосна, у нее в шишках зернышки съедобные. Пифагорейцы много чего знают про такие дела — мяса-то они никогда не едят, — так что уж если они что-нибудь собирают, то можно быть уверенным, не отравишься.

Иногда Кремон бывал не в настроении работать днем, и я до вечера был свободен, а дома показываться не мог. Такие дни я, как правило, проводил у Федона. Обычно валялся на циновке в его комнате и читал что-нибудь, пока он писал, или слушал, как он учит. Он был

хороший учитель: твердый, иногда даже суровый, но всегда спокойный и ровный. Небольшое окно над его плечом освещало его белокурые волосы и тонкую скулу; худоба оттеняла, подчеркивала его породистость, но еще больше – интеллект. Он выглядел уже законченным философом, и казался чист, словно жрец в храме Аполлона. Я никогда не заговаривал с ним об этом, но как-то раз он сам сказал мне: «В наши дни легче быть одиноким».

А Сократ все это время ходил, как всегда, босиком по холоду, в старом своем плаще, – ходил, разговаривал и задавал вопросы. Однажды я застал его у Лисия, они говорили о Гомере. Мне всегда казалось, что как раз с того дня Лисий начал выздоравливать; но быть может помогло вино и сушеный инжир, которые Платон прислал ему на другой день. Сократ всегда знал, кто может поделиться и кто в крайней нужде; и знал, как свести их.

Но в колоннады я приходил к нему редко. Там рядом с ним постоянно бывал Платон, и почти всегда не один. Если человеком завладевает Афродита агоры, то зима и нужда охлаждают его скоро; а красота, что лишала сна, становится кусочком тепла, возле которого греешься, когда ветер холодный дует. Но с этой любовью все было иначе. У него был невинный взгляд, проникавший прямо в душу, – а я казался себе запачканным уроками мастерской Кремона. Так что я держался подальше; и благодарил бога, который поместил его туда, где о нем могли позаботиться. Глаза у него стали еще больше, но были все такими же ясными и чистыми; щеки слегка впали, но были тронуты ярким румянцем, – я думал от счастья, над которым ни время не властно, ни перемены, – а в лице его по-прежнему видна была музыка.

Кремон в конце концов остановился на сраженном Гиакинте. Я был очень рад этому, потому что Гиакинт лежал распластавшись, выбросив руку вперед. Одно время Кремона очень привлекал Дионис, а там надо было лежать лицом вверх.

Подходил к концу третий месяц; уже видно стало, где пробьются почки на фиговых деревьях... Однажды утром, когда моя рота была на страже на стенах, у Дипилонских ворот затрубила фанфара, и прошел слух, что вернулся Терамен.

Вскоре стали созывать на Собрание. Стены охранять все равно надо было, так что нам оставалось только ждать. Наконец пришла смена. Мы пытались прочесть что-нибудь на их лицах – спрашивать не хотелось, – капитан, принимавший пост у меня, заметил мой взгляд и сказал:

– Ничего.

Я изумился:

– Так Терамен не вернулся, что ли?

– Вернулся. И выглядит прекрасно. Он был на Саламине у Лисандра.

– Ну так что же? Какие условия?

– Никаких. Лисандр извещает, что ни он ни цари не полномочны вести переговоры; только эфоры в Спарте.

– И для этого понадобились три месяца? С тобой все в порядке, Миртил?

У него накануне единственный сын умер.

– Наверно, ни один афинянин не отказался бы сейчас даже от черной спартанской похлебки. Он не мог добиться, чтобы они изменили свои условия; вот он и ждал.

– Но, ради Геракла, чего?!

– Ждал, пока Городу понравится запах черной похлебки. Олигархи богаты, они пока еще могут потерпеть; это демократы умирают каждый день. Скоро их не останется. А те, кто останется – молодые и красивые, – те могут открыть ворота своим друзьям на любых условиях, какие им предложат.

Когда мы спускались со стен, разговаривать никому не хотелось. Подумав о домашних, я понял, что у меня не хватит духу на них смотреть, – и пошел прямо к Кремону. Он был весел и предложил мне выпить, хотя дело было еще до полудня.

– Теперь уже недолго, – сказал он.

Он наверно все время мечтал о том дне, когда мы сдадимся. Не потому, что был олигархом; просто потому, что любил свой комфорт, а на все остальное ему было наплевать. Вина я выпил, даже не раздеваясь, а то замерз. В мастерской было маленькое окошко под потолком, через которое виден был кусочек Верхнего Города; там сияло копьё Афины. А потом посмотрел я на Кремона, потиравшего руки над жаровней, чтобы согреть их для работы. Столько выстрадано, столько потрачено – и вот результат!

Вернувшись вечером домой, я застал мать и сестру одних. Харита сказала:

– Папа уехал в Спарту.

На шутки я настроен не был, потому ответил резко, – но это оказалось правдой. Терамена снова назначили послом; и дали ему полномочия вести любые переговоры. С ним послали девять делегатов. Поскольку спартанцы ни с кем из демократов и разговаривать не стали бы – а олигархам Город не доверял, – эти девять человек были выбраны из прежних умеренных, из партии Терамена. И выбрали самых бедных, у кого были веские причины поскорее прекратить осаду. Прошедшие три месяца кое-чему научили горожан.

– У отца не было времени искать тебя в Городе... – сказала мать. Я догадался, что ему не слишком хотелось выяснять, где я. – ... но он оставил тебе свое благословение.

– Ты забыла, мама, – вмешалась Харита. – Он сказал: «Передайте Алексию, что я оставляю вас на его попечение». Алексий, а спартанцы будут давать папе что-нибудь от своего обеда?

Я посмотрел на своих подопечных, жавшихся к крошечному огоньку из сосновых шишек и щепочек, которые они сэкономили весь день, чтобы хоть как-то обогреться вечером. Малыха держала на коленях старую куклу; ее разрешалось брать, когда сделаны все дела по дому. Мать сидела на своем стуле неуклюже, как все беременные; голова над бесформенным телом казалась совсем маленькой, хрупкой, темные ресницы оттеняли

мертвенный цвет лица – цвет слоновой кости, – и в свете огня было видно, что все оно испещрено сеткой морщинок. Я воспользовался веселым приветствием Крмона:

– Теперь уже недолго! – говорю.

А когда они ушли спать – сидел над теплой белой золой и думал: «Что если ее время подойдет ночью? Ведь в доме нет масла, зажечь лампу для повитухи».

На следующий день к Крмону зашло посмотреть работу больше людей, чем обычно. Кое-кто из них меня знал. Они со мной поздоровались, – но мне показалось, что переглянулись. И было несколько приятелей Крмона, с которыми он ушел в уголок пошептаться. Я слышал, как один из них сказал со смехом: «Ладно, когда закончишь с ним, пришли его ко мне». Я знал имя этого человека, он не был скульптором. Они ушли, и Крмон вернулся ко мне раньше, чем я успел вновь принять нужную позу: руку там надо было держать по-особенному, чтобы лицо закрывала, но не совсем. У меня и раньше не всегда это получалось, а теперь я прямо кожей чувствовал, как он раздражен. Он был из тех людей, кто любит уверять себя, что все в мире так, как им хочется. Если бы он был Великим Царем, то не стал бы щадить вестника с дурными новостями.

Городские амбары были уже пусты; больше не надо было ходить за зерном. Но однажды я проснулся – и увидел голубя, прилипшего к дереву, там ветки были клеем намазаны. Жирный был голубь. Я полез за ним и свернул ему шею. И еще подумал: «Сегодня удачный день будет!» Но когда входил с ним в дом – счастливый такой, – меня встретила в дверях Харита:

– Ой, Алексей! Беги, быстро! Маме плохо, маленький выходит!..

Я помчался к дому повитухи. Она стала ворчать, что приходится выходить на холод, и спросила, есть ли у нас, чем заплатить. Я пообещал ей кувшин вина, наш последний; а боялся, что она потребует какую-нибудь еду. Собралась, хоть и неохотно, пошла не спеша... А малыха перед домом ломала руки и кричала: «Скорее!»

Скорее!..» Когда я вводил повитуху в комнату, мать стонала, но едва слышно: забила какую-то тряпку себе в рот, чтобы малыху не пугать.

Хариту я отослал на кухню, а сам остался ждать под дверью. Пора было к Кремону, но мне было все равно. Я вышагивал по двору взад-вперед, – но тут вдруг мать истошно закричала:

– Алексей!..

Я бросился к двери, вбежал внутрь... Повитуха что-то кричала сердито, но я видел только мать. Она повернулась ко мне – губы белые и шевелятся без звука. Я встал на колени, обнял ее... Но как раз когда брал ее за плечи, глаза ее остановились и душа вышла.

Я посмотрел на нее, потом закрыл ей глаза. Она, вроде, спала. А я подумал: «Ну вот, за нее мне уже бояться не надо...» А потом пришла другая мысль: «Она уже рожала раньше; и выкидыш у нее был, но сама она жива осталась. Это голод ее убил. Если бы я приносил домой все то, что заработал у Кремона, она быть может не умерла бы...» Раньше мне казалось, что взявшись за работу, которой никто не мог от меня требовать, я вправе распоряжаться заработком по своему усмотрению; но кем становится человек, когда начинает спорить с Необходимостью?! «Если бы я тогда не вмешался, встретив Талию, она пошла бы к сводне и вернулась бы с какими-нибудь деньгами, и Лисий поел бы и ничего бы не узнал; и та пища спасла бы его жизнь, как любая другая... Что такое честь? В Афинах это одно, в Спарте другое, а у мидян что-то третье... Но нет такой страны, где мертвые возвращаются из-за Реки...»

Повитуха что-то говорила и тянула простыню, а под ней плоско лежало тело; и казалось теперь совсем маленьким, почти с овечку. Потом я услышал новый звук, оглянулся – и увидел, что женщина перевязывает пуповину новорожденному.

– Кому отдать его? – спросила. – Это мальчик.

К вечеру, устроив все насчет похорон, я вернулся домой. Сестра уже не плакала. Она вытащила свою старую колыбель и качала в ней малыша.

– Тихо! – сказала шепотом. – Он спит. Какой он замечательный! С тех пор как я его сюда положила, ни разу не заплакал.

Ее слова меня обнадежили, я нагнулся над люлькой, – но он на самом деле спал. Он был похож на отца, светловолосый и крупный; наверно слишком крупный для матери.

– Как мне его кормить, Алексей? Если я разжую что-нибудь, чтобы мягко стало, – это будет вместо молока? Птички так делают.

– Нет, – сказал я. – Ему нужно молоко, Харита. Мне его придется сейчас унести и найти кого-нибудь, кто сможет его кормить.

– Но это же очень дорого, повитуха сказала. У нас деньги есть?

– Очень мало. Так что мы не сможем оставить его себе. Нам надо найти какую-нибудь богатую госпожу, которая молилась богам, чтобы они послали ей ребеночка. Она будет счастлива получить такого замечательного мальчишку. Быть может, она притворится, что на самом деле его мама; и его отец будет думать, что он на самом деле его сын. А когда он подрастет, они дадут ему коня и сделают его рыцарем; он даже генералом станет когда-нибудь.

Она посмотрела на люльку и сказала:

– Я не хочу его отдавать никакой богатой госпоже. Я хочу, чтобы он был со мной, Алексей. А то ты уйдешь на работу, и я буду совсем одна.

– Но здесь у него нет мамы. Будь умницей, мальха.

Я боялся, что она снова заплачет, но слезы у нее кончились. Я взял младенца и завернул его в пеленки из колыбели.

– Так холодно, – сказала она, и заставила взять что-то шерстяное. – И еще надо ему дать что-нибудь, по чему мы его узнаем, когда он вырастет. Вот у Тезея был меч.

– Мой меч мне самому нужен. Но найди ему что-нибудь, быстренько.

Она вернулась с веточкой красных кораллов – она была ее собственная – и повесила ему на шею.

– А как мы его назовем, Алексей? Ведь мы до сих пор не дали ему имени.

– Он должен пойти к своей маме, – сказал я. – Она сама его назовет.

Я дошел до Агоры, с братом на руках, и остановился возле гончарного прилавка. Чем дороже становилась еда, тем дешевле горшки; так что за два обола я купил достаточно большой, пузатый, и с широким горлом. Два обола – это было больше, чем мы могли себе позволить; но каждый обязан сделать все что только может для плоти и крови своей, а в Городе стало полно бездомных собак, свирепых словно волки. У подножия Верхнего Города, на пустыре, где валялись камни от разрушенной крепости тирана, я огляделся. Неподалеку в скалах был слышен плач младенца, но голосок был совсем слабенький; если какая-нибудь жена рыцаря станет искать наследника мужу своему, то соперника у моего брата скоро не станет. Но если за эти три месяца она никого еще себе не нашла, подумал я, – ей трудно угодить.

У меня на руках он был спокоен; но теперь, в холодном горшке, стал кричать. Голос был очень сильный для такого маленького. Я мысленно увидел его юношей, высоким, как отец, окруженным толпой поклонников; и несущим щит в битве, и увенчанным на Играх; потом – как его ведут на свадьбу с музыкой; потом – как у него сыновья...

– Иди с миром, – сказал я ему. – Не навлекай на меня новых бед. Ведь не по своей воле я поступаю так, а Необходимость не поддается никому из людей. И не жалуйся на меня своей матери, ведь ее кровь не только на мне – на тебе тоже. Если бы боги не запрещали этого, брат мой, я усыпил бы тебя, прежде чем оставить; ведь ночь уже подходит; место здесь пустынное, и тучи на горах черны... Но кровь родных нельзя смыть с себя; а если человек ощутит дыхание Почтенных – ему никогда уже от них не избавиться. Так что прости меня и прими неизбежное. Тучи тяжелы; если ты дорог богам, то к утру будет снег.

Было уже совсем темно. Уходя, я еще долго слышал его крик; потом высоко в скалах, возле бастионов крепости, завывала собака – и заглушила его.

Мать мы похоронили внутри Города, в одном из парков, который стали использовать вместе кладбища с тех пор, как началась осада. Лисию я не сказал; думал, он слишком болен, чтобы еще и это на него наваливать. Но он узнал от кого-то и прислал просьбу, чтобы я позволил им принять у себя Хариту: они, мол, о ней позаботятся и поделятся всем, что у них есть. Он сказал это, хотя я уже два дня ничего им не посылал, так что и сами они жили, словно птицы небесные. Я отослал к ним малыху, а то она совсем загоревала. И все, что у нас оставалось, отослал вместе с ней: я ведь был совсем один, и у меня работа была, пора было возвращаться к Кремону.

Я пошел к нему на следующее утро. Ветер холодил голую шею, и я еще подумал, что он будет недоволен: волосы-то были срезаны, а он еще не закончил голову, как мне помнилось. Но оказалось – это не беда: открыв дверь, я увидел, что на деревянном помосте в позе Гиацинта лежит кто-то другой. Наверно, единственное, что его сдерживало, – это найти натурщика с таким же телосложением. Нет сомнений, что многие из тех, кто считал себя богатым в начале осады, теперь стали уже не настолько горды, чтобы отказаться позировать Кремону. Я ушел прежде, чем он меня увидел, – лишил его удовольствия сказать: «Не сегодня».

А через два дня после того вернулись наши послы. Сам я не ходил их встречать; хотя есть хотелось уже не так сильно, как накануне, но усталость была ужасная. Когда услышал крики на улице – подошел к дверям спросить, что происходит, а после снова лег. Но отец мне потом рассказывал, что весь Город, кто еще стоял на ногах, пришел их встречать; и сразу повели их на Пникс, чтобы услышать, с чем они приехали.

Новости были такие. Спартанцы и все их союзники собрались на общий совет обсудить нашу судьбу. Выступил фиванский посол, который – как оказалось по-

сле – говорил не так от имени своего города, как от той гордыни, что появляется с занятием почетной должности и побуждает человека считать себя богом.

– Поступите с ними, – сказал он, – как они поступили с Мелосом; или с городом Микалеса, когда натравили на него фракийцев. Продайте их в рабство, а Город сровняйте с землей, и пусть там пасутся овцы.

Коринфянин его поддержал.

Но хотя милосердия в Спарте не много, уважение к прошлому у них есть. Если они и бывают великими – как раз в этом источник величия их. Коротко и прямо, как это в обычае у них, они ответили, что Афины – это Эллада, часть ее; и они против того, чтобы поработать город, отразивший мидян. Там замешательство возникло, и тогда поднялся человек из Фокиды и запел. Это был хор из Эврипида:

Агамемнона дочь,

В сельский дом твой пришли мы, Электра...

Что подумали об этом спартанцы, никто не знает; но после долгого молчания союзники проголосовали пощаду.

А условия, на которых они соглашались снять осаду, таковы: снести Длинные Стены, на десять стадий в длину; принять изгнанников и вернуть им гражданство; отдать весь флот; и подчиниться Спарте в качестве обязательного союзника, оставив ей решать вопросы войны и мира.

Мне рассказывали, что были слышны один-два голоса против сдачи. Что до остальных – не мне их упрекать. Потому что если бы за день до того у Кремона еще была бы для меня работа – не могу поклясться, что я не пошел бы, бесплатно, за миску супа.

С Саламина пришел Лисандр с флотом; царь Агид вошел в ворота, на которые так долго смотрел; но в первый день я не вставал, а отец ухаживал за мной, как за маленьким. Он заботился обо мне, не поддаваясь собственному горю; а я – я одурел от слабости и забыл, что он, не застав Хариту дома, не может знать, что она жива. Весь день он думал, что она тоже умерла; я только

к вечеру это заметил и догадался сказать ему. Он даже тогда на меня не рассердился, но я заметил в глазах его слезы. Тогда мне показалось, что Почтенные наконец умиротворились, и с этой мыслью я заснул.

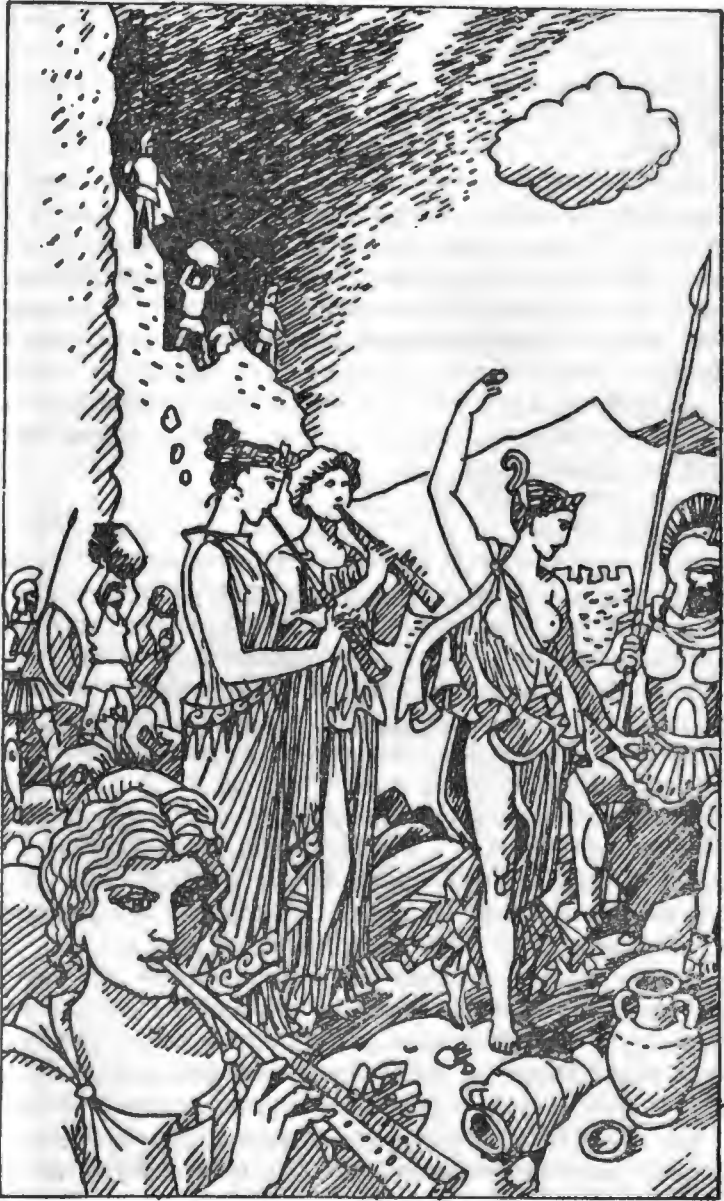
С самого первого дня капитуляции мы начали есть. Даже до того, как открыли ворота, — люди, у которых что-то еще оставалось, стали посылать пищу своим друзьям: теперь они знали, что их детям не придется голодать. Так что на третий день я снова поднялся и вышел на улицу. И увидел, что на стене Верхнего Города полно спартанцев; они показывали друг другу горы свои на Пелопоннесе. «Вот каково быть побежденным», — подумал я; но в голове было пусто, и никаких чувств я не испытывал.

Они уже сносили стены. Слышался стук, и грохот падавших камней — вместе со звуком флейт. Кто это придумал, не знаю. Не очень это похоже на спартанцев, так что я подумал — коринфяне. Собрали всех флейтисток, тех что остались в Городе, напоили их вином, накормили — и заставили играть. Был один из первых весенних дней, когда свет пронзительно-ярок; девушки стояли на дороге между Стенами; лица грубо размалеваны, а у тех, кто были родом из Афин, — в красных и черных разводах от слез; на них были дешевые украшения, годные только при свете ламп; иные играли на своих дудках, а иные — в основном чужестранки — наскоро приводили себя в порядок и строили глазки победителям. И время от времени — среди их музыки — с грохотом падал один из громадных камней Фемистокла, и спартанцы ликовали. «Это действительно поражение», — сказал я себе. Но все было словно во сне.

Я пошел к Сократу, но возле дома его встретил Эвфидема.

— Он ушел наверх в Храм Эректа, молиться за Город, — сказал Эвфидем.

Мы стояли разговаривали — подошел Платон. Поздоровался с нами; но когда услышал, что Сократа нет, — задсрживаться не стал. Я посмотрел ему вслед и подумал, что под конец даже богатым досталось лиха. Глаза



у него ввалились, а на широких плечах кости прямо торчали из-под кожи.

Я сказал Эвфидему:

– До чего ж он благородный человек! Помогал другим, когда сам был в такой нужде...

– Досыта в эти последние недели никто не ел, – сказал Эвфидем, – но не думаю, что Платону пришлось голодать. Когда в их доме становилось туго, Критий им помогал. Хотя я его терпеть не могу, но надо отдать ему должное, семейных привязанностей он не лишен. Еще совсем недавно Платон выглядел вполне нормально. Он за несколько последних дней так осунулся, после смерти друга своего.

Я ухватился рукой за камень. Это была колонна того Герма, что сделал Сократ; мощная была колонна, так что не пошатнулась.

– Какого друга?

– Да все того же, конечно, – сказал Эвфидем. – Платон не из тех, кто легко меняет привязанности. После того, как тот парнишка остался один – у него был кто-то, не то старый отец, не то родственник какой-то, но умер зимой, – после того Платон полностью взял его на свое попечение. Можешь быть уверен, что пока у него хоть корка оставалась, мальчику голодать не пришлось бы. Он выглядел вполне здоровым, и ничего у него не было, кроме кашля; половина Города точно так же кашляла зимой. Но однажды они поднимались на Верхний Город – и он вдруг едва не задохнулся от этого кашля, и кровь хлынула изо рта. Он упал, где стоял – на ступенях Портала, – и испустил дух. Платон его похоронил; и теперь вот такой, ты видел.

Душа моя ушла. Ничего не видела, не слышала, была окружена хаосом и чернотой ночи, даже имени не помнила своего. Потом ко мне пробился голос – «Алексий, выпей это!» – в глазах прояснилось, и я увидел над собой лицо Герма, а рядом Эвфидема, который наклонился ко мне и держал немного вина в глиняной чаше.

– Я как только увидел тебя, так сразу подумал, что ты слишком быстро идешь, – сказал он.

Я поблагодарил его, отдохнул немного и поплелся домой. И только потом вспомнил, что не спросил, где могила его.

Я искал ее несколько дней, и наконец набрел на нее в старом парке у подножия Холма Нимф, где были и другие могилы. Такие места, как это, расположенные внутри стен, потом сровняли; так что я теперь ни за что не узнал бы, где он лежит. Но могила, когда я ее видел, была под миндальным деревом, оно как раз цвело, весна начиналась; а рядом куст шиповника, на нем листья распускались.

На большинстве могил были деревянные стелы или урны глиняные, а у него стоял камень. Работа была не ахти какая; зная прекрасный вкус Платона, я подумал, он настолько был убит горем, что даже не проследил за работой скульптора. Ветка шиповника закрывала надпись, я отодвинул ее и прочитал:

Ты для живых был звездой, возвещавшей начало рассвета,
Ныне в чертогах Гадеса стал факелом ярким для мертвых.

Я еще раз посмотрел на рельеф. Там был юноша, стоявший как бы в раздумье, и скорбящий мужчина с закрытым лицом. Работа была, что называется, искренняя, но такой старомодной простоты, что можно было подумать, этот скульптор вряд ли брался за резец со времен Фидия. Долго я разглядывал ее, и тут мне пришла мысль. Я встал на колени, нашел то место, где скульптор ставит свой знак, — и все понял, увидев имя его.

26

Бывают такие попойки, что с первого глотка их вкус незаметен; а выпьешь до конца — горечь невозможная, рот сводит.

Камни все падали и падали с Длинных Стен. Давно уж и флейты умолкли; и победители, поначалу помогавшие потехи ради, давно устали от этой забавы...

Полуголодные афиняне уставали гораздо быстрее, но Лисандр имел обыкновение наблюдать за работой. Крупный мужчина, светловолосый, с квадратной челюстью и железным ртом.

Тем временем во всех общественных местах появились олигархи: устраивались, как дома. Некоторые въехали в Город, как только ворота открылись: они сидели под стенами в армии царя Агида.

Вскоре спартанцы предложили клубам афинских олигархов выбрать пятерых эфоров – так они их называли, – чтобы те составили предложения по поводу правительства. В обсуждениях принимал участие и мой отец. В результате, одним из этих пяти стал Терамен, а еще одним – Критий. Думаю, отец голосовал за обоих. Но понять его можно было, так что зла на него я не держал за это. Что касается Терамена – хоть он и ел, когда мы голодали, от этого, по-моему, никому хуже не стало. Если бы он вернулся и признался в провале переговоров раньше – народ бы его обвинял. И так поговаривали, будто бы он, мол, использовал это время, чтобы сговориться с Лисандром и поставить у власти своих друзей; но это все сплетни и догадки. А про Крития отец сказал мне так:

– Не могу понять, почему ты относишься к нему с таким предубеждением. Он один из способнейших наших людей; настоящий оратор, без капли демагогии, и всегда можно положиться на его эрудицию и логику. А как он пишет! Никому другому не доступен этот тон высочайшей морали...

Он был добр со мной, когда я болел, так что я проглотил свой ответ.

Примерно в это время Платон пригласил меня на ужин. Я вообще-то сомневался, стоит ли мне туда идти: ведь знал, что не смогу сказать ему тех слов, каких ждут от друзей. Но он настолько меня выделил из всех остальных – даже усадил рядом с собой на своем трапезном ложе, хотя там были люди, более достойные такой чести. Быть может Эвфидем успел кому-то что-то шепнуть; но этого я, конечно же, никогда не узнаю.

У него всегда бывало хорошо, тепло, хоть и чуть официально; он был приятным хозяином. Если мысли его и уходили куда-то, он сразу замечал это и тут же возвращался к гостям своим. В тот раз, когда остальные заговорили о последних событиях, он сказал мне:

– По-моему, такой успех как раз то, что нужно моему дяде Критию.

Я давно уже отказался спорить с Платоном о политике. Умом он был посильней меня, и всегда верил в то, что говорил. В нем не было презрения к бедности или к безродности. Но дураков он презирал, кто бы они ни были, пешие или конные; а поскольку дураки ему встречались гораздо чаще, чем люди умные и справедливые, – он полагал, что власть народа должна погубить Город. Лисий часто говорил, что управление – это упражнение, облагораживающее низких людей, как хорошая боевая выучка превращает труса в храбрца. Когда я процитировал это Платону, он отдал должное великодушию Лисия, но не согласился. Что до Крития – Критий родственник его, а я у него в гостях...

– До сих пор, – продолжал Платон, – он никогда не занимал поста, достойного его дарований. Иногда я даже побаивался, что это его ожесточит. У меня слов нет сказать, как он был заботлив во время осады. Я этого никогда не забуду; не только за себя, но... Но это уже позади.

– Говорят, – сказал я, – «если б Судьбу было можно растрогать своими слезами, щедро платили бы люди, за золото их покупая...»

– ...Знаю. Но Скорбь все равно эти слезы из глаз выжимает. Неудержимы они, как листочки деревьев весной, – закончил он. – Но к слову, про дядю моего. Мы с Кармидом пошли его поздравить... Знаешь, Кармид стал очень серьезно относиться к своей карьере, после того как Сократ упрекнул его в праздности. Критий уговаривал нас обоих предложить себя на службу Городу. Он сказал, если лучшие люди не станут делать все от них зависящее, чтобы выправить злоупотребления демократии, Город впадет в апатию – или ударится в

разгул от отчаяния, раз все равно уж войну проиграли, — и утратит память о своем величии. До сих пор я был настроен совсем на другое, но, должен признаться, он меня тронул.

Я сказал ему, совершенно искренне, что такие люди как он действительно нужны. Началось все, наверно, с того, что он искал спасения от печали своей: но теперь в нем проснулось честолюбие. Помню, я тогда сказал себе: «А ведь у меня предубеждение. Юношеская враждебность бывает несправедлива. Быть может, Критий оказался бы мне чудом благородства, если бы с Кремоном я познакомился раньше, чем с ним».

Имя Кремона в ту неделю было слышно по всему Городу. Пасий, банкир, только что купил его последнюю работу, за бешеные деньги. Теперь во двор к Пасию валяли толпы, чтобы ее посмотреть, — и возвращались с известием, что статуя дышит; или уж во всяком случае кажется, будто только что дышала.

От встреч с Лисием я уклонялся, два дня. На третий он пришел сам. Он ходил уже вполне нормально, палкой почти не пользовался. Мы поговорили немного, но он все замолкал и смотрел на меня. А я с трудом, наобум, отыскивал какие-то слова и думал: «Надо было упасть на меч. Когда-то я не хотел дожить до такого». Наконец стало вовсе не о чем говорить, и я тоже умолк. Вдруг Лисий сказал:

— Я был на Верхнем Городе. Приносил жертву Эросу.

— Да? Ну что ж, это могучий бог.

— И жестокий, говорят. Но для меня — благороднейший из всех Бессмертных; «наилучший солдат, и друг, и спаситель», как часто говаривал наш бедный Агафон. Пора было поблагодарить его.

Вскоре новые эфоры, посоветовавшись между собой, созвали Собрание. Выступал на нем Критий; и говорил прекрасно, как всегда. У него был отлично поставленный голос, его было слышно отовсюду; и говорил он без намека на манерность, которая делает оратора слишком приземленным и утомительным. Это был голос Знания, несущего честную простоту без презрения к ней. Этот

голос был просто создан, чтобы успокаивать, – если только тебе нравилось, что за тебя думают другие.

Он предложил Совет Тридцати, который должен разработать конституцию на основе древнего кодекса, а до этого будет править страной. Когда он только начал читать список, начинавшийся с самих пяти эфоров, люди слушали его, как ребятишки слушают учителя в школе. Потом поднялся ропот, потом рев... Собрание очнулось и расслышало имена. Самое ядро Четырехсот, предатели из Декелеи, все крайние олигархи, ненавидевшие народ, как кабан собаку. Пникс загудел протестующим криком. Критий слушал спокойно, его это, казалось, не трогало; потом повернулся, показал рукой, шагнул в сторону, – и все крики замерли, как порыв ветра. На трибуне стоял Лисандр, в доспехах. Он медленно оглядел холм – наступила мертвая тишина.

Его речь была совсем короткой. Стены до сих пор еще не разрушены согласно договору, сказал он; еще две стадии остались, а лимит времени уже исчерпан. Если он не объявил договор нарушенным и не снес Город – это акт милосердия. Нам не мешало бы заслужить его.

Люди побрели с Пникса, словно рабы, пойманные хозяином на воровстве. Вот теперь мы по-настоящему ощутили горечь поражения.

Однако новое правительство быстро привело в порядок общественные дела, и люди начали его хвалить. В тот день, когда они назначили Совет, люди на улицах вдруг стали меня поздравлять – оказалось, отец попал в число старейшин.

Это мне очень понравилось. Зная его взгляды, никто не мог заподозрить его в приспособленчестве. В бытность послом он обратил на себя внимание, и Терамен о нем не забыл. Если в советники выбирали даже таких умеренных, как он, – это было уже кое-что.

Первое время он возвращался домой весь в делах и заботах. Даже на улице можно было почти безошибочно определить, кто из прохожих занимает какой-нибудь пост в новой администрации, пусть самый незначительный: они выглядели как люди, которые не зря едят свой

хлеб. Но когда человек надевает длинную мантию и начинает принимать участие в городских делах – ему становится трудно отказаться от этого. И заметно, как что-то в нем отмирает, атрофируется, словно скованная нога или рука. Однажды отец сказал:

– Ну, я надеюсь, мы сделаем Город немного чище, чем он был, когда мы получили его. Скажу тебе по секрету, на завтра назначена охота на крыс. Давно пора.

– Крыс? Какие крысы, отец?

– Те твари, что живут за счет лучших, а взамен оставляют дерьмо. Как еще назвать доносчика?

Я охотно его поздравил. В прошлом году, когда дела были плохи и народ горел воинственной лихорадкой, доносчики стали позором Города. Только на бедняков они доносили сразу и получали положенную награду. Если у человека хоть что-нибудь было, то они брали взятку за молчание; а закладывали его под конец, когда у него уже ничего больше не оставалось. Некоторые работали на себя, другие – на богатых шантажистов, проводивших это дело с размахом и жиревших на нем.

– Удачной охоты, отец, – сказал я. – Но это скользкая дичь: они знают все щелки в законе и всегда умеют вывернуться.

– На этот раз не получится. Поскольку конституция еще не готова, мы можем урезать закон по их мерке.

Он сказал это со смехом. Я глянул на него – но перед глазами стояло другое: я словно снова был в другом, далеком городе, и Гипербол падал, не успев закрыть рот.

– Четыреста тоже начинали с этого, – сказал я.

– Чепуха, – возразил он. На лице его появилось раздражение человека, которого зря потревожили. – Тебе бы, Алексей, лучше забыть, что ты был замешан в том деле на Самосе. Я не говорю, что ты должен стыдиться этого: чрезмерная осторожность не к лицу юноше благородной крови, не украшает. Но здесь, в Городе, не понимают, с чего это вдруг заморская база ввязалась в чужие партийные драчки. Имей это в виду, иначе наделаешь много вреда и себе и мне.

– Хорошо, отец. Как вы будете судить этих людей?
– Всех разом, коллективно. И даже слишком мягко для них.

– Возможно. А как насчет прецедента?

– Прецедент уже есть. Со времени суда над генералами, которые бросили вас тонуть.

На другой день на доносчиков устроили облаву, согнали их толпой и присудили к смерти; и никто не выступил против этого. Отец уверял меня, что на скамье подсудимых он не видел ни одного человека, чье имя не вызывало бы омерзения во всем Городе. Через неделю арестовали еще одну группу доносчиков. Когда я спросил его, как прошел процесс, он ответил:

– На этот раз будет задержка: несколько случаев более чем сомнительны. Мы решили судить их отдельно. – Он откашлялся и добавил: – На Совет пытались повлиять, чтобы он высказался против; но наше временное правительство слишком уж далеко зашло.

Массовых процессов больше не было, и Город на несколько недель успокоился. Но однажды утром на Священной Дороге появился спартанский полк. Дипломатическая стража послала гонца с вопросом, что делать, – Совет распорядился открыть ворота.

Они промаршировали железным шагом своим к воротам, меж могилами наших отцов. Они пересекли Керамик, и Агору, и пошли дальше. Народ на базаре стоял, здрав головы, и глядел, как они поднимаются по уклону к Верхнему Городу и входят через Портал в священные пределы Девы. Там они сложили оружие в козлы и разбили палатки свои. У ног Афины-Воительницы и вокруг Великого Алтаря они разожгли костры и варили свою черную похлебку.

Я встретил отца у нас во дворе, он казался больным.

– Наверно, ты не знал об этом, господин мой, – сказал я.

– Я только что от Терамена. Кажется, Совету стало известно о заговоре. Готовился захват крепости. И убийство ведущих граждан.

– Понимаю, господин мой. Он назвал тебе какие-нибудь имена?

– Они будут обнародованы после арестов.

Мы посмотрели друг на друга, как бывает у отца с сыном, когда в словах нет нужды. Он имел в виду: «Не приставай, если не хочешь, чтобы я вышел из себя; мне и без тебя тошно». А я – «Ты боишься смотреть мне в глаза, и сам это знаешь; я мог бы простить тебя, если бы ты признал правду». Я не успел отвернуться от него – он сказал:

– Терамену можно доверять, он всегда противился крайностям. Помни, я рассчитываю на твое благоразумие.

С этими словами он вошел в дом.

Каллибий, спартанский генерал, был мелковат для спартанца. Глаза у него были страшные: была в них ожесточенность от побоев в детстве – и злобная, полная ненависти наглость. Рядом с ней надменность Алкивиада вспоминалась словно детская улыбка. Но Тридцать виляла хвостом перед ним, приглашала в дома свои.

Мы уже привыкли к виду спартанцев на улицах. Одни, разинув рты от удивления, глазели на лавки; другие ходили парами, презрительно глядя прямо перед собой. Некоторые из молодых, должен признаться, выглядели вполне прилично, скромные и вежливые. Одного такого, красивого стройного юношу, я увидел у дверей Пистия. Он смотрел, как там работают, и разговаривал об оружии с каким-то приятелем. Они казались не такими суровыми, как их товарищи; я даже услышал, что смеются... Когда я проходил мимо, второй обернулся и сказал:

– Добрый день, Алексей!

Глянул на него – Ксенофон. Я отвернулся и ушел. Мне не так хотелось оскорбить его, как поверить, что глаза меня обманули. Когда я его встретил в следующий раз, он был один. Он вытянул руку, чтобы меня остановить, и сказал, широко улыбнувшись:

– Ну что ты так на меня сердисься, друг мой? Что тебе не нравится?

– То же самое, что и тебе, – сказал я.

Он смотрел на меня серьезно, словно имел право чувствовать себя задетым, но оставлял это без внимания.

– Все надо видеть в правильном свете, Алексей. В Городе на самом деле необходимо поддерживать порядок. Это мера против толпы, а не против таких, как мы с тобой. Спартанцы уважают солдата и благородного человека, даже если в свое время он нес копье против них. Арак, с которым ты меня видел, отличный парень. Однажды мы с ним едва не убили друг друга, в горах возле Филы. Если уж мы не таим зла друг на друга – кому другому это нужно? Когда рядом с тобой человек чести. – тебе это на пользу, откуда бы он ни был. Прежде всего добродетель; не этому ли всегда учил нас Сократ?

Ясные серые глаза смотрели на меня прямо; он говорил совершенно искренне, от души.

Я молчал, вспоминая школьные дни и наши щенячьи потасовки в умывалке. Кажется, мы тогда болели за разные колесницы на Играх. А он смотрел на меня, и в глазах его я видел вопрос: «Стоит ли тебе меня упрекать? Неужели мой друг хуже Кремона?» Но есть вещи, о которых благородный человек говорить не станет.

– В Городе должен быть порядок, – сказал он. – Если нет порядка, чем люди лучше зверей?

С Лисием мы обо всем этом почти не говорили. Оба мы знали, что в душе у другого рана, и не видели смысла втирать в нее соль. Мы встречались иногда поболтать, или помолчать, или послушать Сократа... А Сократ жил совершенно как всегда, как обычно, продолжая свои исследования природы человеческой души, справедливости и истины. Как всегда, он не принимал участия в политике; он только следовал за логикой, куда бы она ни вела. А если некоторые из заявлений правительства оказывались не в ладах с логикой – это было так, к слову.

Платон приходил реже, чем прежде. Когда он вязался в политику, Сократ дал ему один единственный совет – изучать закон:

– Никто не думает, что можно слепить глиняный кувшин, не научившись гончарному делу. Ты полагаешь, искусство управлять людьми должно быть проще?

У Сократа Платон говорил мало; больше молчал, часто уходил в себя. Он вел себя, словно больной на пиру, который угощается только тем, от чего ему не станет худо. Я не пытался измерить его горе своим, не настолько я глуп: ведь у меня в душе остался только след метеора, тот пролетел и оставил в небе полосу яркую...

Самос пал. Без нашего флота им не на что было надеяться. Лисандр оставил демократам жизнь – и одежду, что была на них, чтобы унести ее в изгнание. А город отдал олигархам, которых мы свергли в тот раз. Задачу свою он выполнил и с триумфом вернулся в Лаконию; с военными трофеями и с полным кораблем казны, из которой, говорят, ни единая драхма не прилипла к его рукам. Он был жаден только до власти, ничто другое его не привлекало. Но не все спартанцы, кому довелось иметь дело с этим сокровищем, были такими же, как он; мне рассказывали, что в Лаконии все сильно изменилось, с тех пор как там появилось золото.

Солдаты Калибия так и стояли на Верхнем Городе; и каждый афинянин, кто хотел принести жертву, должен был просить разрешения у них. И теперь Совет Тридцати производил аресты с помощью спартанской стражи. Начали они с метэков. Я сам видел, как по улице вели Полимарха, мастера по щитам. Я знал его; это был культурнейший человек, у него в доме философы бывали. Обратившись к какому-то прохожему, я спросил, не знает ли он, в чем обвиняют Полимарха.

– А! – сказал тот. – Наконец-то, кажись, его разоблачили...

Это был потрепанный малый, с глазами, похожими на белки тухлых яиц.

– ... он продал одному бедному солдату тонкую бронзу, со шпаклевкой должно быть, а того и убили.

Вот так эти чужеземцы наживаются, продавая что попало дешевле, чем честные люди берут за настоящую работу.

– Ну, быть может он и невиновен, – сказал я. – Будет суд, тогда узнаем.

– Невиновен?.. Конечно, виновен! Он же брат Лисианта, что речи сочиняет. Тот защищал этих паскуд-носчиков и вытасил их! У них полон дом атеистов и анархистов, вроде этого Сократа, что учит молодежь потешаться над богами и бить собственных отцов.

Я посмотрел на него... С тем же успехом можно было бы объяснять что-нибудь собаке, что ловит на себе блох.

– Это ложь, – сказал я. – Ты и внутри так же вонюч, как снаружи.

Потом мне стало стыдно. «Это болезнь, – подумал я. – И я тоже болен, как все».

Суда над Полимархом не было. Просто объявили, что он был признан виновным в измене, что основания были вполне достаточны, и что в тюрьме ему дали цикуты. Брат его, Лисиант, ушел из дома через заднюю дверь и сумел выбраться из Пирея, жив остался. Их имущество было конфисковано. Как гласило объявление – в пользу государства; но бронзовые статуи из их дома появились у одного из Тридцати. А потом и остальные повели себя так же: кто уже нажился на конфискациях – требовали того же и от остальных, чтобы все были запачканы одинаково. Но Терамен, как было замечено, от этого воздерживался. Он выглядел больным; а когда ужинал в нашем доме – почти ничего не ел, говорил, его мол желудок беспокоит.

Скоро в Городе совсем уже привыкли к тому, что людей убирают без суда. Впрочем, это были всего лишь метэки... Потом Тридцать стали арестовывать демократов. И с этих пор в Городе появилось как бы два народа. Потому что уже недостаточно было просто держать язык за зубами, чтобы чувствовать себя в безопасности; надо было и душу подчинить – и многие подчинили.

Однажды утром я выходил из дому – отец меня остановил. Какое-то время он толковал что-то невнятное, а потом наконец собрался с духом:

– ... И потому, учитывая все это, пока обстановка такая сложная, хорошо было бы не появляться на людях с Лисием, сыном Демократа.

У меня в глазах потемнело; тошноту почувствовал.

– Отец, – сказал я, – ради матери моей, скажи, Лисию что-нибудь грозит?

Он глянул на меня раздраженно:

– Фу ты! Ни о какой угрозе я не знаю. Но он неосторожен. Он ведет себя так, что о нем говорят!

Я помолчал, чтобы взять себя в руки прежде чем скажу что-нибудь.

– Вот уже десять лет, господин мой, когда говорят о Лисии – я горжусь этим, потому что мы с ним вместе, он украшает меня своим благородством, и о нем ничего плохого сказать нельзя. За что я должен это продать? За миску черного супа? За поцелуй Крития? За сколько?..

– Ты меня оскорбляешь. Я говорю об обычной осмотрительности. Есть вещи, которые нельзя доверять неосмотрительной молодежи; но надо надеяться, что нынешнее положение не будет длиться до конца времен. А пока – я хочу, чтобы в этом доме ты вел себя так, как учил тебя я, а не Сократ.

Вокруг глаз у него были глубокие морщины; в последнее время он часто выглядел очень усталым.

– Я был непочтителен, отец, – сказал я. – Извини. Но ты сам сделал бы то, чего хочешь от меня?

Он чуть помолчал, потом ответил:

– Но ты все-таки помни, что у меня только один сын.

Я тотчас отправился к Лисию. И по дороге увидел впереди спину, которую сразу узнал по ширине; это Автолик возвращался домой из палестры.

К этому времени остальные атлеты уже стали такими, что он среди них казался грациозным. Боевой вес теперь был у него только чуть-чуть больше, чем во время Истмийских Игр, но он побеждал гораздо более тяже-

лых противников и прославился как боец классического стиля, представитель золотого века. Сравнивая его с теми, кто появлялся теперь на каждых Играх, я тоже постепенно привык думать, что он на самом деле красив. На последних Играх Афины он снова завоевал венок.

Я уже собирался догнать его на пару слов, когда увидел, что навстречу от начала улицы идет Каллибий, а за ним двое спартанских стражников. На середине улицы была лужа, но под стенами сухо. Каллибий и Автолик встретились и остановились, глядя друг на друга; дорогу ни один не уступал.

Каллибий сказал, по-дорийски грубо:

– Прочь с моей дороги, мужлан.

Ему не надо было кричать, чтобы его услышали.

Автолик стоял непоколебимо, словно дуб; а я увидел глаза Каллибия – и как он поднял трость.

Автолик нагнулся легко, словно взрослый, играющий с мальчишками. Когда он выпрямился, Каллибий был в воздухе над ним: дрыгал ногами и колотил его кулаками по плечам. А Автолик скинул его, словно охапку хвороста, и он влетел лицом в мокрую навозную кучу. Автолик, даже не глянув, куда он упал, поправил плащ и пошел дальше, по сухому, возле стены.

Вся улица одобрительно зашумела, а те, кто стояла достаточно близко к Каллибию, – те хохотали, глядя, как он соскребает навоз со лба. На углу улицы, прежде чем свернуть за угол, Автолик сделал жест, каким хорошо воспитанный победитель отвечает на аплодисменты зрителей, уходя в раздевалку.

Оба стражника несколько засиделись на старте, поскольку приказа не было. Теперь, когда они рванулись следом, путь их оказался полон препятствий: там и ослы были, навьюченные поклажей, и парни, сцепившиеся в драке, и даже группы женщин. Однако скоро они его догнали: они-то бежали, а он нет. Мне показалось, сначала он был готов разделаться с ними, к Каллибию впридачу; но потом увидел, что за ним собралась толпа, улыбнулся и пошел дальше, как шел, совсем спокойно. Задерживать его они не решались. По мере того как мы

продвигались, толпа все разрасталась и становилась все шумнее: люди набирались смелости друг у друга. Когда добрались до подъема на Верхний Город, нас было уже, наверно, человек двести.

Я с самого начала шел в первых, и мне удалось остаться там же. Подходя к Порталу, мы увидели человека, стоявшего между громадными колоннами Перикла. Он был один, и даже здесь не казался маленьким. После своего триумфа в Спарте у Лисандра появилась манера ходить повсюду без глашатая: для него никаких правил не существовало, он был сам себе закон.

Вот Автолик прошел несколько последних ступеней, стражники по бокам... Лисандр ждал. Безоружный, в красной тунике, его люди в трех шагах позади. Ненавидели его за многое, но только не за трусость. Они с Автоликом были почти одного роста. Глаза их встретились, меря друг друга... А Каллибий брызгал слюной, выплевывая свои обвинения; голос его стал острым и пронзительным; но ни один из них не смотрел на него.

Спартанцы не практикуют панкратион, как мы его знаем. Закон Игр требует, чтобы проигравший поднял руку в знак того, что сдается; а ни один спартанец, кто сделал бы это, не сможет появиться в Лаконии, пока жив. Потому они в это дело не ввязываются, но смотреть любят, как и все. А Лисандра на Играх` всегда бурно приветствовали, ему это нравилось, и потому он старался их не пропускать.

Автолик стоял в Портале спокойно, словно мраморная статуя; таким я видел его в храме, в ожидании венка. Лисандр нахмурился, но не сумел скрыть холодного одобрения в жестких синих глазах. Каллибий, в грязи по уши, смотрел на этих двух великанов, – а они оба чувствовали силу другого. Если бы он мог превратить в камень каждого, кого захочет, – он бы начал с Лисандра. Все это видели; и Лисандр, повернувшись к нему, увидел тоже.

На лице его ничего не отразилось.

– Ты Автолик, борец. Это обвинение верно?

– Он говорит слишком быстро, – ответил Автолик. – Но, пожалуй, верно.

– Пусть обвиняемый услышит, в чем ты его обвиняешь, Каллибий, – сказал Лисандр. – Ты сказал, он напал на тебя. Что он сделал?

Каллибий запнулся. Некоторые из нас, из толпы, стали давать свои показания, хоть нас и не спрашивали. Лисандр крикнул, потребовав тишины.

– Ну, Каллибий? Повтори обвинение.

Каллибий еще раз рассказал, как его закинули в навоз, и толпа опять возликовала.

– Как он это сделал, Каллибий? Мне нужна формулировка. Он бросил тебя через бедро, или как?

Каллибий молчал, прикусив губу.

– Нет, – сказал Автолик. – Это был просто захват бедра с прямым подъемом.

Лисандр кивнул.

– Это верно, как говорят эти люди, что он тебя ударил палкой?

Автолик молча поднес руку ко лбу, где из-под густых коротких кудрей сочилась кровь.

– Обвинение отклоняется, – сказал Лисандр. – Ты теперь не у себя в поместье с илотами, Каллибий. Тебе следовало бы поучиться, как управлять свободными людьми.

Несколько дней в Городе было тихо. Потом появилось уведомление, высеченное на мраморе, что Фразибул и Алкивиад объявлены изгнанниками.

Фразибул бежал в Фивы неделю назад. Поговаривали, что это Терамен его предупредил, чтобы поберегся. Приговор этот вызвал только злость, но не удивление. Но, как всегда, достаточно было выставить на Агоре имя Алкивиада, чтобы заставить народ говорить о нем весь день. Что он там затеял? Чем напугал Тридцатку? Говорили, что он покинул Фракию, перебрался в Ионию и попросил охранную грамоту у нового Царя, Артаксеркса. Что-то за этим скрывалось. Некоторые говорили, что он никогда не простит Город за то, что его второй раз подвергли несправедливой опале; но другие – что, мол,

чего он не стал бы делать из любви к нам, он сделает из ненависти к царю Агиду. Даже после битвы у Козьей речки, где генералы оскорбили его и выгнали, возвращались беглецы, которых он укрыл в своей крепости на горе и спас им жизнь. «Может, он и дерзок и надменен, но низости в нем не было никогда, с самого детства», «Пока Алкивиад жив, у Города есть надежда» – так говорили в народе. Весть о его изгнании казалась обещанием, что он еще вернется. На улицах открыто говорили, что Тридцати вручали власть только затем, чтобы оформить новую конституцию; пора, мол, им представить свой проект и уступить дорогу другим.

А вскоре по спискам собрали войска, назначили парад без оружия и перекомплектование частей. На парадном плацу в Академии я поболтал со старыми друзьями, а потом, заметив что в толпе нет Лисия, пошел к нему. Подойдя к его дому, я услышал внутри плач – и голос Лисия, расстроенный какой-то, приглушенный:

– Ну не надо, перестань. Не расстраивайся. Успокойся же, я должен идти!..

Он выскочил, едва не сбив меня с ног. Вид у него был почти безумный, он трясся от ярости. Схватив меня, словно я мог убежать, он сказал:

– Алексей, эти сукины сыны забрали мое оружие!

– Что? – изумился я. – Кто забрал?

– Тридцать. Пока я был на параде. Копье, щит, даже меч.

Я смотрел на него, как дурак.

– Но это не могли быть Тридцать, – говорю. – Мое оружие на месте, я только что из дому.

– Послушай-ка!..

На улице раздавались сердитые голоса, все громче и громче, превращаясь в рев толпы; люди бегали из дома в дом.

– Твой отец член Совета, – сказал он.

Бывают такие подлости, что их просто представить себе нельзя, пока не увидишь своими глазами. Как любил говорить мой отец, наше правительство было правительством благородных людей. Но благородный человек и

гражданин – это человек, способный защищать Город с оружием в руках!..

– Возьми себя в руки, Алексей, – сказал Лисий. – Это еще что такое? Мне уже и дома хватило слез.

– Я не плачу. Я просто зол... – Лицо у меня горело, и горло словно разрывалось. – Раз так, пусть заберут и мое оружие. Что за честь теперь носить его?

– Не валяй дурака. Оружие предназначено для борьбы, честь его носить – это дело десятое. Раз оно у тебя есть, позаботься о нем получше. Спрячь, пока не поздно.

На другой день мы узнали, что оружие оставили трем тысячам рыцарей и гоплитов. Одним из них был мой отец, так что у меня оружие осталось по ошибке: подумали, что это его. Только этим трем тысячам оставили гражданство и право на судебное разбирательство; в отношении всех остальных Тридцать провозгласили свое право на жизнь их и смерть.

Люди ходили по Городу, словно живые трупы. И сделать ничего нельзя было, и податься некуда. Когда-то от нас начиналась справедливость и демократия в Элладе. А теперь мы были измучены войной, окружены победившими врагами; а за ними лежали страны варваров, где даже дух и разум в рабстве. На что мы могли надеяться?

Отец сказал мне:

– Ты чересчур раздражен, Алексей. Мало или много – не в этом суть. Хорошо то правительство, которое справляется со своим делом. Критий умный человек; ответственность сделает его осторожным.

– Ты думаешь, если пьянице дать вина вволю, он пить бросит?

– Между нами, Терамен считает, что три тысячи – слишком мало. Это строго между нами. Но принцип правилен, это принцип аристократии.

– Платон тоже верит в правление лучших. Когда он узнал, что у Лисия забрали оружие, – он говорить не мог от стыда.

– Ты мне Платона не цитируй, – сказал отец – Тоже мне философ! Я достаточно наслышан о твоих друзьях из лавки благовоний.

Однако, работать все равно надо было. На следующий день я поехал в поместье, на наемном муле, и остался там ночевать. Я подвязывал лозы, раздевшись, загораю под осенним солнцем, и был счастлив несмотря ни на что. Земля и ее плодоносные боги – это казалось единственно настоящим; а все остальное – словно тени во сне. Возвращаясь назавтра домой, я сделал крюк по Дипилонской дороге, чтобы мула отдать. А потом пошел по улице Могил. И тут почувствовал что-то странное, страх какой-то; а почему – не знал. Вроде похолодало, и цвет гор изменился; а глядя на дорогу, где солнечный свет лежал яркими зайчиками, пройдя сквозь листву, я увидел, что все они изменили форму и стали как серпы. Небо будто свинцовым стало и опускалось на землю. А подняв глаза к солнцу я ужаснулся; оно так изменилось – я не решался больше смотреть, чтобы бог не ослепил меня совсем.

В сумерках затмения – среди могил – казалось, что ты в Подземном мире. У меня мороз пошел по коже. Анаксагор говорил, что это просто темная луна проходит через солнце. С тех пор каждое утро, если солнце светит, я начинаю в это верить, когда прохожу по колоннаде.

А в тот раз, в холоде и мертвенных сумерках, я увидел похоронную процессию, что приближалась по Священной Дороге. Народу шло много; ясно было, что хоронят видного человека; двигались они медленно, и в таком молчании, какое хранят люди, подавленные горем и страхом. Только молодая жена громко кричала и рвала себе волосы за погребальными носилками.

Я остановился и стал ждать, чтобы носилки пронесли мимо. Тело на них было тяжелое: шесть человек несли, но все равно гнулись. Когда они подошли ближе, оказалось, что я всех их знаю; каждый был олимпийским победителем: борцы, кулачные бойцы или панкратиасты. И на носилках над головой покойника лежал оливковый венок.

Я стоял и смотрел на Автолика, в последний раз. Лицо его было сурово, хотя при жизни он почти всегда улыбался; теперь он выглядел, как древний герой, который вернулся судить нас. Мрак стужался; уже почти нельзя было рассмотреть венки и каменный рот его. Катафалк, что везли следом, был завален призами и победными венками в лентах. Когда миновал и он, я присоединился к скорбящим и спросил человека, шедшего рядом со мной:

— Я был в деревне, ничего не знаю. Как он умер?

Тот посмотрел на меня очень внимательно, в глазах было недоверие и страх.

— Еще вчера он ходил по Городу. Это все, что я знаю. И отвернулся.

Тьма сгустилась до предела. Птицы молчали, где-то в страхе выла собака, плач женщины казался заполнил всю землю и поднялся до нижних небес. Я подумал: «Лисандр его простил. Но это сделал не Каллибий: спартанцы подчиняются, как бы ни чувствовали себя при этом. Это был подарок Каллибию, чтобы заслужить его милость; это сделали афиняне».

А потом я сказал в сердце своем: «Слушай, Владыка Аполлон, целитель и разрушитель! Приди в черной ярости своей, как пришел ты к шатрам перед Троей, шагая с утесов Олимпа, словно ночь, что падает на землю! Я слышу, как колчан твой качается за спиной в такт поступи твоей, и стрелы гремят в нем сухим треском смерти. Стреляй же, Владыка Лука! Стреляй не глядя! Ибо куда бы ты ни ударил в Городе, ты попадешь в человека, которому лучше умереть, чем жить».

Но вот тень ушла с лика солнца; и когда мы опускали Автолика в могилу, птицы уже пели.

Мне казалось, что душа Афин лежала теперь ниц в пыли и уже не могла пасть ниже. Но через несколько дней я зашел к Федону. Его не было; но у него оказалось несколько новых книг, так что я остался читать и ждать его. Наконец, на пороге упала его тень, и я поднялся поздороваться с ним.

Он глянул на меня, проходя мимо, – словно стараясь вспомнить, кто я такой, – и пошел дальше; потом вернулся к двери и стал ходить по комнате взад-вперед. Руки его были стиснуты на груди; и впервые за много лет я снова заметил, что он хромает из-за старой раны своей. Сделав несколько кругов, он заговорил. Я не слышал ничего подобного даже на скамьях боевой триеры. Когда он работал у Гургия – не помню, чтобы он произнес хоть одну-единственную фразу, которая не прошла бы на самом изысканном званом ужине. А теперь из него хлестала грязнейшая похабщина борделей – хлестала так, что я уж подумал, он вообще никогда не остановится. Через какое-то время я перестал его слушать: не потому, что это оскорбляло меня, а от страха перед тем, что он скажет, какую новость расскажет, когда кончит ругаться. Но наконец я не выдержал, вытянул руку и остановил его.

– Кто умер? – спрашиваю.

– Город умер! – ответил он. – Умер и гниет! Но труположец Критий не хоронит мать свою, а держит над землей... Они провели закон, запрещающий преподавание логики!

– Логике? – переспросил я. – Логике? – Мне это показалось полнейшей бессмыслицей; как будто он сказал, что приняли закон против людей. – Но кто может запретить логику? Ведь она есть!

– Пойди на Агору, глянь. Там объявление на мраморе: учить искусству слов отныне считается преступлением.

Он расхохотался; словно леший в чаще, как сказал однажды Лисий.

– Да, да! Это правда! Я научил тебя чему-нибудь, Алексей? Ты услышал от меня что-нибудь новое? Выучи это! Запиши! Это речь раба... Я открываю школу в Афинах, будь моим первым учеником, тебя я возьму бесплатно.

Он снова рассмеялся с сарказмом – потом бросился на рабочую скамью возле стола и уронил голову на руки, среди перьев и свитков.

Потом выпрямился и сказал:

– Извини меня за этот спектакль. В осаде, когда каждый день чувствовал, как понемногу вытекают силы, душевная стойкость сохранялась лучше. Похоже, что без надежды расчеловечиваешься сильнее, чем без пищи.

Он был дорог мне; и так страдал, что я почти забыл о его новости.

– Федон, – сказал я. – Но что тебе-то так переживать? Если боги нас прокляли, что тебе в том? Мы пролили кровь твоих родных; а тебе причинили величайшее зло, какое только вообразить можно...

– Это был город моей души, – ответил он.

– Возвращайся на Мелос и потребуй у спартанцев землю твоего отца. Там ты найдешь больше свободы, чем у нас.

– Да, – сказал он. – Поеду, почему бы и нет? Только не на Мелос. Увидеть его снова меня ничто не заставит, это свыше сил. Поеду, быть может, в Мегару, изучать математику. А потом в какой-нибудь дорийский город, других учить.

Он встал и начал собирать книги на столе.

– Да что я болтаю! Ты же знаешь, я никуда не денусь из Афин, пока жив Сократ.

Я улыбнулся ему в ответ – и тут, в один и тот же миг, одна и та же мысль пришла нам обоим – и улыбки наши застыли на губах.

Когда я пришел к дому Сократа, его там не оказалось. В такой поздний час это было вполне естественно, но я перепугался. Уходя, я столкнулся с Ксенофоном и увидел в глазах его тот же страх, что и у меня. Мы забыли неловкость нашей последней встречи. Он затащил меня в галерею: даже он научился наконец понижать голос на улицах.

– Это правительство никогда не будет достойным, пока в нем заправляет Критий. Честное слово, я голосовал против его избрания.

– Не думаю, что он собрал много голосов среди друзей Сократа, – сказал я.

– Да. Только Платон. Ясно одно, Критий так и не простил Сократу того случая с Эвфидемом. Этот закон

сформулирован против Сократа, персонально. Это любому дураку ясно.

– О нет, – сказал я. – Федон говорит, закон против свободы человеческого разума. Ни одна тирания не чувствует себя в безопасности, пока люди способны рассуждать.

– Мне не нравится слово тирания, – сказал он непреклонно. – Я бы сформулировал это как неправильное применение принципа. – И добавил, став вдруг таким же с виду, каким я помнил его в детстве: – Ты быть может не помнишь, какое лицо было у Крития в тот день? Я помню!

Сначала мне это показалось нелепым. Я совсем недавно видел нашего славного Эвфидема: он пил за рождение второго сына своего. Впрочем, естественно было, что, там где Федон видел гонение на мысль свободную, Ксенофон усмотрел личную месть одного из правителей. У него мышление было более конкретное и более свое, личное; но иногда интуиция видит больше, чем интеллект.

– Может, ты и прав, – сказал я.

Мы посмотрели друг на друга... Уж очень нам обоим не хотелось спрашивать «Что же нам делать?»; это вопрос дураков или женщин.

– Федон говорит, – сказал я, – по Агоре гуляет шутка Сократа: «Когда мы нанимаем пастуха, за что мы ему платим? Чтобы увеличивал стадо или чтобы уменьшал его день за днем?»

– Мы себя обманем, Алексей, если решим, что он хоть как-то заботится о своей безопасности, когда говорит что-нибудь.

– А нам бы этого хотелось? Ведь он – Сократ! И все-таки...

– Одним словом, – сказал Ксенофон, – мы его любим, и мы всего только люди.

Мы снова замолчали. Потом я сказал:

– Извини, я был невежлив при последней нашей встрече. Ты не совершил ничего против чести.

– С тех пор, как Автолик погиб, я на тебя не обижаюсь. Я и сам...

И тут мы увидели Сократа, он шел прямо к нам.

Мы так обрадовались, увидев его живым, что кинулись ему навстречу бегом; люди озирались. А он спросил, что случилось.

– Ничего, Сократ, – ответил Ксенофон. – Просто мы рады видеть тебя в добром здравии.

Он выглядел совершенно как всегда, такой же веселый и невозмутимый.

– Ну, Ксенофон-он!.. – сказал он. – Какого врача мы в тебе потеряли! С одного взгляда ты определил, что не только плоть моя и кости и все органы здоровы, но и бессмертная часть тоже!..

Он улыбался, как всегда, – словно дразнил, – но сердце у меня упало. «Он подготавливает нас к тому, что его убьют», – подумал я.

Стараясь не выдать свой страх, я спросил, видел ли он объявление на Агоре.

– Нет, – сказал он. – Один друг избавил меня от труда читать его. Чтобы я не нарушил закон по неведению, он был настолько любезен, что позаботился послать за мной; и сам, лично, прочел мне его наизусть. Я думаю, что могу полагаться на его память, поскольку он сам этот закон составлял.

Темная краска поползла по лицу Ксенофона от бороды к бровям; он с детства научился сохранять маску спокойствия, но этого побороть так и не смог.

– Ты говоришь, Сократ, что Критий вызвал тебя, чтобы тебе угрожать?

– Не каждому дастся привилегия выслушать толкование закона из уст самого законодателя. Это дало мне возможность поинтересоваться, что именно имеется в виду: искусство слов запрещается, коль скоро оно приводит к ложным утверждениям – или к истинным? Ибо если верно последнее – мы все должны воздерживаться от точных формулировок, это же ясно.

Маленькие глазки смеялись. Он часто, бывало, пересказывал нам во всех подробностях какой-нибудь диспут,

когда схватывался с излишне самоуверенным прохожим в палестре или в мастерской. И этот разговор, в котором – десять к одному – он выиграл спор, но проиграл свою жизнь, – описывал теперь точно так же, весело.

– Кстати, сколько тебе лет, Ксенофон?

– Двадцать шесть. А что?

– О Боги! Что стало с моей памятью?.. Наверно, старею. Ведь мне только что запретили разговаривать с теми, кому нет тридцати!

Это было уж слишком; мы разразились хохотом.

– А в конце нашей беседы Критий объяснил мне, что его новый закон принят специально ради меня. Это честь необыкновенная, я горжусь.

Позже, возвращаясь через Агору, мы услышали, как один горожанин говорил другому:

– Единственное, что можно сказать в пользу правительства, – оно все-таки взялось за некоторые безобразия. Давно пора прищемить этих софистов, которые ловят человека и окручивают его, так что он уже правду от лжи не отличает, и учат молодых парней возражениям на каждое твое слово.

Когда мы прошли мимо, Ксенофон сказал:

– Вот это, Алексей, и есть твой народ; и ты хочешь, чтобы он тобой управлял?

– Множество стирает крайности отдельных людей, как галька окатывается на морском берегу, – ответил я. – А ты предпочитаешь Крития?

Но распрощались мы по-дружески. И даже сейчас, когда встречаемся, бываем друг другу рады.

С этого времени друзьям Сократа приходилось соблюдать осторожность. Кто-нибудь приходил к нему в дом рано поутру, с вопросом, требующим доброго совета. Разговор их затягивался, и следующие гости заставляли дискуссию уже в разгаре. Мы постоянно следили за улицей; а на случай чего – из дома был задний выход через соседские крыши. Обычно нам удавалось задержать его дома по крайней мере до тех пор, пока на Агоре не собирался народ.

Помню маленькую побеленную комнату, полную людей: первый из пришедших сидит на кровати в ногах у Сократа, следующий примостился на подоконнике, большинство из нас на полу, — а Ксантиппа громко ворчит на своей половине, что ей не дают в доме прибрать. Платон входил молча и садился в самом темном углу. Теперь он каждый день приходил сюда; ни о каком изучении закона больше и речи не было. Его приступы рассеянности прошли; было видно, как он отслеживает каждую мысль и забегаёт вперед, но говорил он редко. В душе его был разлад, и мы все его жалели; насколько можно сочувствовать душе, которая гораздо сильнее твоей собственной. К Ксенофону это не относится: он знал, наверно, что Платон борется с такими вещами, о каких он сам задумываться не хотел, — и это его беспокоило.

Собираясь к Сократу, мы встречались обычно в лавке Эфрона-парфюмера. Она была не настолько модной, чтобы туда ходили все; потому в ней было мало посторонних, каждый из которых мог оказаться доносчиком. Мы заходили и исполняли церемонию приветствий и любезностей, на которые рассчитывает каждый парфюмер: нюхали последнее масло, которое он только что составил, говорили, что оно слишком тяжелое, или слишком легкое, или слишком терпкое, или — иногда, чтобы сохранить его расположение — хвалили и покупали. А когда попадали после этого к Сократу в дом, он обязательно морщил свой вздернутый нос и говорил, что хорошая репутация пахнет лучше.

Но однажды, человек, ушедший к нему первым, встретил нас в дверях у Эфрония — это был Критобул, сын Критона, — встретил и говорит:

— Его нет дома.

В тишине было слышно Эфрония:

— Ты только посмотри, господин мой. Настоящее, персидское розовое масло! Флакон египетского стекла! Это для особенного подарка...

— Я был везде, — сказал Критобул. — Весь Город обошел... Да, пришли мне два таких, Эфроний.

– Два, господин мой? Это будет стоить...

Критобул подошел поближе и понизил голос:

– Кто-то сказал, он пошел к Пестрому Порталу.

Молодежи, которая ходит теперь в картинную галерею, трудно представить себе, что люди входили туда при первом свете дня, а выходили только к ночи. Там Тридцать допрашивали подозреваемых. Разумеется, они использовали это здание и для других дел; но изящные колонны, раскрашенные капители и позолота – пахли смертью, как логово Минотавра.

– Кто-нибудь всегда это говорит, – сказал Лисий. – Есть люди, которым легче жить с самыми скверными новостями, чем вовсе без них. Быть может, он поднялся пораньше, чтобы принести жертву.

– Отец сейчас пытается это выяснить. Если мы что-нибудь разузнаем, я вернусь.

Люди в общей беде естественно тянутся друг к другу; но какое-то время каждый из нас сидел, сраженный горем, которое казалось только своим. Ксенофон сложил руки на коленях и смотрел на стену. У Эфрония он всегда казался не на месте; если ему предлагали новый образец, он отвечал обычно «Для меня не надо. У вас есть что-нибудь для девушки?» Аполлодор ломал свои большие красные руки, так что пальцы трещали... Он присоединился к нам недавно и оказался изрядной обузой: он так был наивен, что приносил с собой все неудобства, какие бывают связаны с маленьким ребенком, но без того очарования. Он был и уродлив вдобавок: лысина, уши громадные... Некоторые из нас поначалу потешались над ним, пока Сократ не одернул и не заставил устыдиться. Но надо сказать, он на самом деле не обманывался насчет знаний своих и вел себя очень скромно, сам не зная, как он собирается находить свою истину; так скотина отыскивает соль. Однако, держать себя в руках он не умел совершенно, и Эфроний заволновался. В то время серьезные встречи были нежелательны, нигде. Мы с Лисием, уже обученные на Самосе, сумели его прикрыть, сделав вид, что он расстроен какой-то неудачей в любовных делах.

Эфроний повеселел и начал выставлять свой новый товар. Потом вдруг огляделся:

– Послушай, Аристокл, господин мой, ты вошел так тихо, что я тебя и не заметил. А у меня для тебя такая новость!.. То масло с розмарином, что ты заказывал в прошлом году, – наконец снова появилось. Тот же самый аромат, сладкий и сухой; я уверен, ты его вспомнишь.

Он смочил кусочек ткани и протянул Платону. Тот ответил не сразу:

– Спасибо, Эфроний. Но в другой раз.

– Уверю тебя, господин мой, это точь-в-точь как прошлогоднее, ты сам убедишься.

– Нет, Эфроний, спасибо, – он шагнул к двери и спросил: – Пойдем, что ли?

Федон подошел к нему и тихо сказал:

– Нет еще, Платон. Сократа нет дома.

– Нет дома? – медленно переспросил Платон.

И свел брови; как человек, которого вы просите подумать, когда у него болит голова.

Федон начал, было: «Критобул говорит...» – но тут он сам появился в дверях, из колоннады пришел. Он был красив; и одет так, чтобы подчеркнуть это. Плащ оторочен вышитой каймой, сандалии украшены бирюзой и кораллами...

– Сократа вызывали, – сказал он. – Собирали группу людей для ареста; говорят, Леона с Саламина должны взять. Сократа вызвали, чтобы включить в эту группу.

Мы все повернулись к двери, чтобы спрятать лица свои от Эфрония и его рабов. Я видел, как у Ксенофона беззвучно шевелились губы; ругался или молился... Это было новое изобретение Тридцати. Каждого, про кого знали, что он настроен критично, заставляли принять участие в каком-нибудь из их преступлений, чтобы стыд заставил его замолчать. Если кто отказывался – те подолгу не жили. А Критобул продолжал:

– Сократ явился в Галерею, как положено, но спросил, в чем состоит обвинение. Они ему не ответили –

так он отказался участвовать в аресте; просто сказал: «Нет», — и ушел домой.

Тишину нарушил Аполлодор. Всклипнул. Ксенофон взял его за плечи и вывел наружу. Я повернулся к Платону. Он неподвижно стоял в дверном проеме и смотрел прямо на гетеру, покупавшую благовония. Та обтянула поплотней ягодицы шелковым платьем и улыbnулась через плечо... Потом — когда глаза его не шевельнулись — пожала плечами и вышла. Я собрался было заговорить с ним; но есть двери, в которые не стучат.

Наконец он повернулся, тронул Федона за руку и сказал:

— Меня не ждите.

Федон посмотрел молча ему в лицо, потом сказал:

— Давай, иди. С богами.

Я удивился, помню, но слишком был встревожен, чтобы обратить внимание. А тут еще Аполлодор кинулся к нему и закричал:

— Платон! Если ты идешь к Сократу — позволь я пойду с тобой!

На этот раз его бестактность перешла всякие границы; некоторые накинулись на него с упреками, злы были — слов нет. Но Платон держал себя в руках; сказал тихо, но отчетливо:

— Сейчас не ходи к нему, Аполлодор. Он наверно будет приводить в порядок свои дела и прощаться с женой и детьми. Я иду не к Сократу. Я иду к Критию.

Он уходил вдоль колоннады, а я — глядя на него — вспомнил, как кончилась древняя афинская династия. Царь Кодр выехал один и вызвал на бой дорийцев, потому что знамения предсказали победу, если царь будет убит. Тогда решили, что было бы нечестиво назначить ему преемника, — посадили на его трон жреца, а трон посвятили богам. Я подумал: «Даже если у человека есть сыновья — он может не успеть увидеть наследника своего».

Что произошло в тот день между Платоном и Критием, никто из нас никогда не узнал. Если вы спросите, как человек двадцати четырех лет отроду сумел устыдить

сорокапятилетнего, да еще такого, с кем сам Сократ сладить не мог, – я ничего сказать не могу. Скажу только, что Сократ бросил вызов Тридцати и остался жив. У него замечательная фраза была, вся его молодежь знала ее наизусть. Мол, если ты начал изображать какую-то добродетель, то открываешь кредитный счет, по которому когда-нибудь придется платить; можно и разориться. Быть может, для Крития что-то значило, какого о нем мнения его племянник; ведь ни один человек не бывает только плохим, во всем. А если бы мне самому пришлось выбирать человека, который должен уличить меня во лжи, – Платона я бы не выбрал, это уж точно.

Теперь я часто ходил в Пирей; снова, как в детстве, но совсем по другому поводу. Там можно было вдохнуть морского воздуха и тишина там была не такая, как в Городе наверху. Они все были молчаливы – как моряки, единомышленные в том, что им достался плохой капитан. Тут все понятно: когда-нибудь рел с блока сорвется, или трос окажется натянут на уровне лодыжки в ненастную ночь.

Однажды мы с Лисием шли туда в одну харчевню, где можно было разговаривать свободно. Проходя по Прямой улице, где расположены дома некоторых женщин, мы увидели, как одна из них вышла в траурном платке, заперла дверь и пошла, опустив голову; а две другие, сплетничавшие на улице, повернулись и засмеялись ей вслед. Лисий задержался и сказал им:

– Послушайте, девушки, нельзя потешаться над горем; боги этого не любят. Завтра, быть может, настанет ваша очередь.

Одна из них вскинула голову и повернулась к нему:

– Пусть они не пошлют мне ничего худшего, чем ее страдания! Мужчина, который не отличил бы ее от гиперборейки, если б ему довелось увидеть ее снова. Вы только посмотрите... Подумать только – она, видите ли, оплакивает Алкивиада!

Мы встали, как вкопанные, уставились на нее:

– Кого? Кого оплакивает?

– О, так до вас в Городе эта новость еще не дошла? Ее хиосский торгаш привез. Убит во Фригии, говорят; но может быть это опять какой-нибудь из его фокусов. Да что нам до него? Заходи лучше к нам, высокий, выпей нашего вина. А сестра позаботится о твоём друге.

Мы поспешили в харчевню. Там кормчие и капитаны клялись и божились, что Алкивиад жив. Он при дворе Артаксеркса и вступает в союз с ним, или собирает армию фракийцев, чтобы освободить Город... Был даже и такой слух, что он здесь, в Пирее, но скрывается пока. Однако в Городе Ксенофон сказал мне:

– Сократ в это верит. Ушел медитировать. Если бы это была неправда, то его демон сказал бы ему.

На следующий день мы встретили нескольких хиосцев с того корабля и расспросили их. Один из них сказал:

– Его убили из-за женщины. Как еще мог бы умереть Алкивиад?

– Она была у него в доме, – сказал другой, – и за ней пришли мужчины ее, из ее семьи. Их было шестеро на одного, но все равно никому не хотелось лезть первым. Так они закидали крышу факелами, когда он спал. Он проснулся, и выбрался из огня – они с той девушкой простынями пламя сбивали, – а потом выско-чил к ним голый: только с мечом, да еще плащ на руку намотал вместо щита. Ни один из них против него не годился, так они его всего стрелами истыкали, в двадцати местах: от пожара-то светло было. Вот ему и конец пришел.

Во время походов он часто, бывало, подходил к нашим бивачным кострам; чистился и натирался маслом вместе с нами. Он гордился своим телом: смуглым, шелаковистым, чистым словно хорошее яблоко. Только белый шрам от того копья в юности был на нем, да еще иногда следы от любовных укусов какой-нибудь женщины. Помню глаза его в свете рассыпавшихся угольков, синие, с поволокой... «Кто нам споет на сон грядущий? Спой ты, Алексей. «Я любил тебя, о Атфис, я любил тебя давно» – спой ее!»

Лисий спросил хиосца:

– А что это за девушка была?

– Откуда она родом, из какого города, я не знаю. А звали ее Тимандра.

– Так она была у него на Самосе. Это же гетера.

– Кем бы она ни была, – сказал хиосец, – она его похоронила. Завернула его в свое платье; и продала браслеты свои, чтобы положить его как подобает. Да, на самом деле, фортуна – колесо. У Перикла вырос, семь колесниц в Олимпии выставлял, – а похоронила шлюха.

Потом Лисий сказал мне:

– Если у той женщины и были отец и братья – они давно уже не ходили ее искать. И мужчины, если мстят за оскорбление, проявляют больше храбрости. Или уж вовсе из дому не выходят. Но наемным убийцам не за то платят, чтобы они проливали собственную кровь. Во Фригии... Да, наверно он ехал к Артаксерксу. Интересно, это царь Агид заказал или кто-нибудь поближе.

По всему Пирею, и наверху в Городе, можно было услышать, что Алкивиад жив. В иных бедных кварталах люди говорили то же самое еще и через год, даже позже. Но Тридцать не скрывали радости своей: видно было, что избавились от страха.

Однажды я вернулся из поместья; мы там убрали наш первый скромный урожай. Оливы снова дали сильные побег; а та, что срубили только наполовину, так даже плоды принесла. Я привез домой, что собрал, и, входя в дом, позвал:

– Отец, погляди-ка!

– Что там у тебя?

Голос был такой, что я оставил корзину снаружи и тихо вошел в дом. Он сидел у своего стола, перед ним бумаги.

– Сядь, Алексей. Я должен тебе кое-что сказать.

Я подошел и сел рядом с ним, глядя ему в лицо.

– Вот это документы поместья нашего. Это документы эвбейских земель; сегодня это пустые бумажки, но что будет – никто не знает, когда-нибудь могут приго-

даться. У меня долгов нет. Гермократ еще должен нам аренду за три месяца, и теперь уже может ее заплатить.

Я посмотрел на бумаги и понял, что это такое.

– Отец... – начал я.

– Не перебивай, Алексий. Кидила служила нам долго, и в завещании надо было бы оговорить ее свободу. Я ничего не пишу, но запомни мою волю: как только состояние тебе позволит, ты найдешь ее, если сможешь, и выкупишь. Когда это случится – тут я полагаюсь на честь твою и здравый смысл. Не выдавай Хариту замуж, пока ей не исполнится пятнадцать. У Алкифрона из Ахарн сын подходящий, и земли наши граничат; но времена нынче ненадежные, так что это тоже приходится оставить на твое усмотрение.

Я дослушал его до конца.

– Ты знаешь, отец, что я сделаю все, как ты сказал; но пусть боги оградят нас от этого. Что случилось?

– Так ты значит не слышал, что Терамен сегодня умер?

– Терамен?

Даже про Алкивиада мне легче было поверить: он был акробатом, как сказал однажды Критий; ясно было, что в один прекрасный день канат лопнет или меч соскользнет. Но Терамен был хитер, словно горный лис; тот ничего не делает напоказ и не роет нор без второго выхода.

– Убит, – сказал отец. – Совет убил его именем закона.

Он поднял незакрепленную плитку пола в углу и положил завещание под нее. Она так аккуратно была сделана, что я никогда ее не замечал.

– Если, когда придешь за этим, найдешь здесь еще какие-нибудь бумаги – сожги, но сначала прочитай. Я хотел бы, чтобы ты знал, что отец твой не признавал тирании.

– Я иначе и не думал, отец. Это я виноват, что ты меня не знаешь, – сказал я.

И попытался рассказать ему, чем занимался в последнее время.

Но ему не понравилось, что у меня связи в Пирее.

– Уж лучше бы ты тратил время с флейтистками, – сказал он. – Когда ты ушел в море и стал якшаться с разным сбродом, я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет.

– Ладно, отец. Об этом мы поговорим когда-нибудь в другой раз. Что произошло сегодня?

– Критий обвинил Терамена в измене. Защищаясь перед Советом, Терамен признал, что не согласен с Советом в тех целях, какие преследуются сейчас. Он сам обвинил Крития – смело обвинил, – что тот предал принципы аристократии и вместо них утвердил тиранию. Сейчас просто времени нет пересказывать всю его речь, но лучшей я никогда не слышал. Весь Совет, кроме самых крайних экстремистов, ему аплодировал под конец. Уже не было сомнений относительно приговора – Критий сам сидел, словно на скамье подсудимых. Но тем временем на местах для публики собралась толпа молодых подонков. Еще до того, как решение суда стали голосовать, они начали орать и размахивать ножами. Безродная сволочь – безработные метэки, солдаты, разжалованные за трусость, – отребье, какое берется за ремесло наемных задир, за деньги или просто от подлости своей... Они, сказал Критий, пришли донести до нас волю народа. Ну, те из нас, кто встречался со спартанцами в бою, видали людей и пострашнее; мы требовали голосования. Тогда Критий напомнил, что право на судебное разбирательство имеют только три тысячи, – поднял список – и вычеркнул Терамена.

Я удивился, что никто прежде не додумался до такой простой вещи. А отец продолжал:

– Его приговорили тут же, декретом Тридцати. Оторвали даже от алтаря Гестии, а он взывал к богам и людям о справедливости... Он был добр с тобой еще когда ты мальчиком был, Алексий; ты наверно рад будешь услышать, что он умер достойно. Когда ему дали цикуту, он выпил ее сразу, залпом, всю чашу кроме осадка. А осадок выплеснул и провозгласил: «За прекрасного Крития!» Даже стража смеялась.

Он умолок.

— Откуда ты это знаешь? — спросил я.

— Я был с ним, — ответил отец. — Он был моим другом уже тридцать лет, в юности мы вместе в Страже служили. Предполагалось, вначале, что в Городе будут править люди благородные. Если об этом забыла Критий — вовсе не значит, что должны забыть и все остальные. Я так полагаю.

Он посмотрел на плитку, под которой лежало завещание, и придавил ее ногой. Потом сказал:

— Над святилищем Аполлона в Дельфах, где центр земли, написано «Ничего сверх меры». Крайности питают друг друга. Я старался дать тебе достойное воспитание; однако боюсь, что ты тоже, вместо того чтобы научиться при виде тирании избегать любых крайностей, можешь только впасть из одной в другую. А такой человек как Терамен, который часто рисковал своей жизнью и в конце концов отдал ее во имя терпимости, — такой человек не получает в результате ничего, кроме позорной клички. Наверно, есть тому какая-то причина.. Ладно, что ж, он уже мертв. Совет не чинил препятствий, когда я попросил позволения навестить его в тюрьме. Критий сказал, они рады узнать, кто ему друг.

Я открыл рот, чтобы сказать — не знаю что. Я видел, что он меня дураком считает, и от этого язык не поворачивался. Потом собрался:

— Отец, сегодня же к ночи тебя не должно быть в Городе. Я пойду и найму мула, на котором езжу в поместье; на это никто внимания не обратит. Поедешь в Фивы?

— Я поеду на свою землю, — сказал он. — Слишком много чести Критию, чтобы я удираю от него через границу, словно беглый раб. За сто лет до того как у нас появился дом в Афинах — или даже больше — мы жили там, в деревне. Зря мы покинули ее, жаль. Люди бывают лучше, когда землю обрабатывают и видят природу, чем когда толкуются в городах. Здесь целыми днями слушаешь чужой шум и забываешь богов. Ахарны достаточно далеко.

– Я в этом не уверен, господин мой. Прошу тебя, уезжай в Фивы. Теперь фиванцы ненавидят Лисандра больше, чем прежде ненавидели нас; они поклялись не выдавать ему ни одного афинянина. Несколько наших лучших людей уже там... – Я чуть не назвал Фразибула, но вовремя опомнился. – Я бы сам туда уехал, если бы не жатва. Оставь поместье на меня, я управлюсь.

В конце концов он нехотя согласился, что ехать надо все-таки в Фивы.

– Отведи сестру в дом Крокина. Хоть он только троюродный, но к нам относится очень по-родственному; он сам предложил взять ее к себе. А я уже дал ему денег, чтобы это не в тягость было.

Под вечер, уже в сумерки, я привел мула. Когда отец садился в седло, я увидел, что он дрожит.

– Это все проклятая лихорадка, – сказал он. – Я знал, что приступ вот-вот начнется. Ладно, ничего; лекарство я уже принял, а воздух в горах лучше, чем здесь.

– Благослови меня на прощанье, господин мой, – сказал я.

Он благословил, но тут же добавил:

– Пока меня нет, не собирай в доме пьяных моряков или этих молодых придурков из парфюмерной лавки. Приноси жертвы в надлежащие дни, и все чтобы было в порядке.

Попрощавшись с ним, я повел Хариту к нашему родичу.

– Ой, пожалуйста, – попросила она, – а нельзя мне пожить у Талии с Лисием? Мне у них так понравилось!..

– Ты к ним пойдешь, когда отец вернется домой, – сказал я. – Как раз теперь может случиться, что Лисию тоже надо будет уехать, тогда Талия будет жить у его сестры.

Она не спросила, куда уехал отец и почему. Я никогда не видел ребенка в ее возрасте, который задавал бы так мало вопросов. А год-два назад они из нее так и сыпались.

Дом Крокина был забит женщинами до самых дверей. Он был славный парень, совершенно не похож на Стри-

мона, отца своего; они с женой забрали к себе всю женскую половину их самой дальней родни, кого выслали или вынудили бежать. А сам Стримон пережил осаду, почти не похудев, но через месяц после того умер: живот застудил.

На другой день спозаранок я собрал сумку и подался в поместье. Осла нанял за стенами. По совету Лисия, я собирался остаться там на пару недель. И работы было много, и болтаться по Городу, когда отца искать начнут, вряд ли стоило. Лисий пообещал, что будет наезжать ко мне почаще, и привозить новости.

Было прекрасное свежее утро, когда я въехал в горы. Разоренные деревни начинали оживать. В одной давили виноград; маленький голый мальчишка, гнавший коз, улыбнулся мне дырками меж молочных зубов; щебетали птицы... Прохладные тени, падавшие к западу, были цвета глаз Афины. Я подъезжал к нашему дому, мурлыкая про себя «Жену спартанского царя», – и тут увидел, что дверь открыта настежь.

Решив, что в доме грабители, я бросился внутрь. Все было на месте, и вроде никто ничего не трогал – кроме одной кровати, на которой одеяло было помято. Но, ходя по дому, я заметил, что нога оставляет след на полу; а вернувшись к двери – увидел, на что наступил.

Кровавый след шел вниз по дорожке, потом через двор. Сначала это были следы ног, потом в пыли появились отпечатки рук, и видно было, как он тащил тело свое. А наверху, на склоне горы, мул пощипывал кустарник.

Я нашел его у колодца. Он лежал на каменной плите оголовка, свесив голову над водой. Я подумал, он давно уже мертв, но он заговорил; голос был, как шелест сухой травы под ногами.

– Достань мне воды, Алексей.

Я уложил его, достал воды и дал ему. Одна рана была у него на спине, другая на груди: ударили, когда он повернулся сражаться. Не знаю, как он был жив до сих пор. Когда он напился, я нагнулся поднять его и отнести в дом, но он сказал:

– Не трогай меня. Если пошевелишь – умру, а сначала я должен сказать.

Я встал возле него на колени, обмакнул плащ в воду, остудил ему лицо и стал ждать.

– Критий, – сказал он.

– Я запомню, – ответил я.

Он уже умирал, сознание мутилось, так что забылся на какое-то время. Потом вдруг спросил:

– Кто здесь?

Я ответил, и он чуть-чуть пришел в себя.

– Алексей, – сказал он, – я дал тебе жизнь. Дважды.

– Да, отец. – Я думал он бредит.

– Ты родился до срока. Крошечный, болезненный...

Трудно было поверить, что из тебя получится человек. Каждый мужчина вправе распорядиться потомством своим. Но твоя мать...

Он замолчал, но не так как раньше; смотрел мне в лицо и собирался с силами, чтобы сказать что-то еще.

– Да, отец, – сказал я. – Я перед тобой в долгу.

Он начал что-то шептать про себя. Я разобрал несколько слов: Сократ, софисты, нынешняя молодежь... Потом глаза его расширились, он уперся сжатыми кулаками в землю позади себя и, поднимая голос свой словно тяжелый камень, произнес:

– Отомсти мою кровь!

Он снова закрыл глаза, отвернулся и опять что-то зашептал.

Я взял его за руку и сжал, сильно, так что он снова посмотрел на меня.

– Отец, – сказал я. – С тех пор, как мне исполнилось семнадцать, я носил оружие за Город. Ни в одном бою не отступил я, хотя сражался только с чужими, с теми, кто не сделал мне ничего плохого. Неужели же я буду настолько низок душой, что прощу врагов своих? Ведь, отец, ты породил мужчину.

Он посмотрел мне в глаза, потом губы его раздвинулись. Я думал, это гримаса боли, но вдруг понял, что он пытается улыбнуться. Он сжал мне руку, так что

ногти вонзились в плоть мою; потом рука его обмякла, и я увидел, что душа ушла.

Вскоре вернулись наши батраки, убежавшие от убийц. Вернулись пристыженные... Я не стал их упрекать – ведь они были безоружны, – а велел им выкопать могилу. Сначала я собирался сжечь его и принести пепел в Город, но потом вспомнил его слова – и похоронил на старом кладбище наших предков; оно там было задолго до того, как мы стали в городе жить. Это немного вверх по горе, над виноградниками, где земля слишком бедна для обработки. Но оттуда видно далеко, а когда солнце в зените – можно различить даже блеск копья Афины с Верхнего Города. Я принес жертвы на могиле, и возлияния тоже. Срезая для него свои волосы, вспомнил, что это уже во второй раз; но мне подумалось, что в первый тоже было не зря.

Когда клал волосы на могилу – услышал какое-то движение за спиной. Повернулся быстро, нож в руке... Но это был Лисий. Я понял, что он был там уже раньше, но ждал, когда закончу обряды. Он подошел, взял у меня нож, отрезал прядь своих волос в знак почтения, и тоже положил на могилу. Потом протянул мне руку, а когда я взял ее – сказал:

– Собирайся, дорогой. Сложи, что тут у тебя есть, и поехали. В Фивы.

– Нет, Лисий. Я должен вернуться в Город. Мне там надо уладить одно дело.

– Из Фив это получится лучше. Так пишет Фразибул. Я должен был поехать к нему завтра, обговорить все дела, но мне подсказали, что сегодня ночью за мной придут. – Он улыбнулся и добавил: – Два человека предупредили, ни один из них о другом не знал. Мужество в Городе может и спит, но оно живо... Во мне оно тоже спало, Алексей. Давно уже надо было уезжать и браться за то, что делает Фразибул. Меня удерживала слабость, каюсь. Выращивать росток зеленый, а потом уйти, когда только-только бутон распускаться начал, – это трудно...

Через час мы уже двигались вверх по горной дороге. Шли пешком, потому что наемных наших скотинок отослали назад в Город. Поначалу разговаривать не хотелось. Ему – потому что еще кровоточила рана от прощания с Талией. Мне – потому что, казалось, я только что узнал себя, когда ушел тот, кто прежде формовал душу мою. Но через несколько часов наши горести оставили нас. Уж слишком хорошо было вокруг – воздух свеж, и свет ярок, – и движение наше кровь разгоняло, и то и дело попадались места, где мы сражались когда-то, когда воевали в Страже... Лисий стал рассказывать о силах, что собирает Фразибул, чтобы освободить Город. Дорога поднималась все выше, воздух стал еще легче и душистей, мы увидели на крутой горе крепость Филы, что закрывает ущелье, – и свернули с дороги в сторону, чтобы не задержала стража. Караваниться по скалам было тяжело, зато потом поверху мы пошли хорошо; и, когда стемнело, оказались уже за пределами Аттики.

Теперь можно было устроиться на отдых. Мы свернули с дороги, развели в скалах небольшой костерок, поели, что у нас с собой было... И снова сидели мы, как во время походов, и вспоминали прежние бои и старых товарищей, пока не потянуло в сон. Тут мы опять заспорили – как много лет назад, – какое одеяло расстелить на землю, а каким укрыться, толстым или тонким... Когда один из нас, ворча, уступил – я уж не помню, кто – и мы начали готовить себе постель – оказалось, что выбирать-то и не из чего: они точь-в-точь одинаковой толщины. Посмеялись, и легли спать.

Устали мы здорово, так что проспали допоздна. Когда я открыл глаза, вершины гор уже были окрашены зарей. И кто-то рядом тихо сказал:

– Один проснулся.

Я тихонько толкнул Лисию, чтобы разбудить его без шума, а сам нащупал кинжал свой. Потом повернул голову – рядом сидели на корточках двое юношей, скорее даже мальчиков; сидели и улыбались. Они были одеты для охоты: в кожаных туниках и поножах,

перепоясаны. Один был коренастый, светлый; другой темноволосый, длинноногий и длиннорукий. Светлый сказал:

– С добрым утром, гости земли нашей! Вы готовы позавтракать по-охотничьи?

Мы поздоровались с ними; они отвели нас к своей стоянке, где кони были. Там горел костер, а на углях жарился заяц, закатанный в глину и листья. Ребята достали его – обжигая пальцы, ругаясь и смеясь, – разрезали и подали нам самые лучшие куски, на кончиках ножей.

Они расспросили нас о последних новостях в Городе, потом смуглый сказал:

– Скажите, пожалуйста, как может человек беседовать с другим, которого не видит и не слышит?

По форме вопроса мне показалось, что он учился философии. Я улыбнулся и ответил:

– Просвети нас, о мудрейший из людей.

– Может, если он фиванец! Наш новый закон требует, чтобы, встретив афинян, перешедших горы поднять оружие против тиранов, мы вас не видели и не слышали. Очень правильный закон.

– Однако, – сказал светлый, – натолкнувшись на вас, спящих, мы на момент забыли, что вы невидимки, и сказали: «Эти двое – старые друзья, как и мы. И ради дружбы мы должны их позвать в гости». Мы с Кебием принесли клятву Иолая, понимаете? Как раз сегодня год исполнился. А меня зовут Симмий.

Мы тоже назвали себя и поздравили их с годовщиной. Трудно было бы сказать, кто из них старше, если бы Кебий, темноволосый, не был пострижен еще по-мальчишечьи. Пока мы ели, над туманом в долине красным диском поднялось солнце. Симмий сказал:

– Наш учитель Филолай, пифагорец, считает, что солнце – это огромное круглое зеркало, отражающее внутренний огонь вселенной, как полированный щит. Но почему огонь этот на восходе красный, а в полдень белый – этого мы никак удовлетворительно объяснить

не можем. Верно, Кебий? А как афинские философы объясняют солнце?

– Ой, объяснений почти столько же, сколько философов, – сказал Лисий. – Но наш учитель говорит, что природа Гелия это тайна богов; а первая задача человека – познать себя и отыскать источник света в собственной душе. Ведь мы едим не все, что попадает на глаза, а только то, что может переварить наше тело. Так же и с разумом и с душой.

– Это резонно, – сказал Кебий. – Разумная душа человека – это аккорд, издаваемый всеми частями его, как музыка сфер – аккорд небесных тел. Если интервалы не имеют меры, толку будет не больше, чем от расстроенной лиры. Так нас учит Филолай.

– Но, – перебил Симмий, – он скоро возвращается в Италию, и у нас учителя не будет. Никто другой нас здесь не устраивает, а в Афины нас отцы не пустят, пока там тираны у власти. Так что у нас есть и свои причины, чтобы хотеть их изгнания. Расскажите нам побольше о своем учителе. Он говорит что-нибудь новое о природе души?

В конце концов они навьючили наши походные мешки на своих коней и пошли с нами пешком; и всю дорогу до Фив мы проговорили. Эту ночь мы спали на ложах в трапезной у отца Симмия; у него и до нас уже было несколько афинян. А у Кебиева отца дом был полон нашими. Встречали повсюду так дружелюбно, что трудно было поверить в прежнюю вражду. Они говорили, что достаточно насмотрелись на олигархии Лисандра, где наихудшие правят наихудшими методами ради наихудших целей. Теперь поборниками демократии стали не только фиванцы и афиняне, но и все элины.

На другой день ребята хотели отвести нас послушать Филолая, но мы извинились и сказали, что нам, мол, прежде всего надо встретиться с Фразибулом. Зайти в маленькую винную лавчонку – увидеть там, как он вытаскивает из-под стола свои длинные ноги и шагает навстречу, тепло улыбаясь карими глазами на худом смуглом лице, – это было как в добрые старые времена.

– Парни с Самоса! – воскликнул он. – Это самая лучшая новость сегодня!..

А примерно через неделю мы покинули Семивратные Фивы. Но уже не одни.

Мы выступали в красном свете заката. Семьдесят человек. Щиты и доспехи у нас были зачернены и смазаны темным маслом. Все мы были в полном вооружении, кто бы в каком виде ни пришел из Аттики: фиванцы снабдили нас полностью. Пересекая границу, мы воздвигли алтарь и принесли жертвы Афине-Палладе и Царю Зевсу. Знамена были хорошие.

Солнце зашло, но поднялась молодая луна, – света было достаточно, чтобы не свернуть шею в горах. Позже зайдет и она, и это кстати. Уже при последнем ее свете мы подошли туда, где тропа тянется по склону горы. Напротив – впадина и подъем, а на подъеме каменная крепость Филы прилепилась к откосу глубокого ущелья, лицом к Фиванской дороге.

В долину мы спустились по узенькой тропинке; друг за другом шли, гуськом. Родник выше на горе, а там внизу ручей, очень чистый, и вода вкусная. Там мы подождали, пока наш разведчик поднимался к стенам. Он служил здесь, так что знал эти места, словно дома был. Не прошло и часа – он вернулся. Сказал, что в крепости гарнизон мирного времени, спартанцы ушли, а наши были рады расслабиться. Паролями обмениваются так звонко, словно здороваются на Агоре.

Мы подобралась к главным воротам как раз перед сменой караула. Луна уже зашла. Один из наших назвал пароль, а когда ворота открыли – мы придержали их, пока все остальные не ворвались внутрь. По счастью, пост над ущельем, где выкидывают всякий мусор, вообще не охранялся. Подъем там крутой, но несколько наших горцев сумели туда забраться.

Я никогда не видел, чтобы гарнизон был так смущен, что ли. Поняв, кто мы и зачем, они, считай, и не сопротивлялись. Дежурный офицер, правда, заботясь о репутации своей, ринулся в бой; но Фразибул взял его на себя. Придержал его щитом и спросил, почему он

так заботится о чести своей перед правителями, у которых чести вовсе нет, — вместо того чтобы заслужить себе немеркнущую славу освободителя. В конце концов не только он сам, но и половина гарнизона принесли клятву вместе с нами. Мне показалось, что после того все они стали выглядеть и веселее и на пять лет моложе. Остальных мы до рассвета продержали связанными. А потом, когда видно стало, куда они пойдут, отпустили всех; только оружие оставили себе.

Стоя на стенах на утренней вахте, мы с Лисием увидели восход. Он был алый, пурпурный... Зима подступала, и там наверху мороз уже пощипывал. Потом вершины тронуло золотом; а под нами глубоченное ущелье Филы, которое зовут Глотатель Колесниц, казалось бездонной рекой тумана. Но света становилось все больше, туман рассеивался, — и далеко внизу мы увидели Ахарнайскую равнину, по ней узенькой линией шла дорога, а у конца дороги отсвечивали стены и крыши Афин. И посреди них Верхний Город, словно алтарь, возносил их жертвоприношения богам. Мы смотрели долго-долго. И Лисий сказал:

— Знаешь, это, наверно, на самом деле — Рассвет.

27

А через день мы увидели со своих стен, как подходит афинская армия.

Небо было безоблачное, голубизны дроздового яйца. Конные и пешие на извилистой дороге походили на бисер, нашитый на ленту: казалось, они вообще не двигаются. Но потом горы их скрыли. А незадолго до заката они появились совсем рядом, прямо под нами. Мы смотрели, как вокруг раскидывается аркан из людей: сначала ниточка, потом веревка, а потом и громадный трос, толстый словно обвязка корабля. Наверно, пять тысяч человек сидели в тот вечер под стенами Филы. А через седловину переливался обоз, с провиантом для всей этой оравы. Когда его съедят, привезут еще. А у

нас было лишь то, что запасли для гарнизона в полсотни человек, да и там половину уже съели.

Они разожгли костры и расположились лагерем, поставив палатки для командиров. Сами Тридцать тоже были здесь; и мы прекрасно понимали, чем это должно кончиться. Но ни один, по-моему, не променял бы Филу на Афины. Под нашей восточной стеной была Колесничная Пропась, глубины такой, что сосны по ее склонам казались не больше щетинок на щетке. Так что у нас оставался выход к свободе, когда голод станет невыносим.

Всю ночь ярко сияли огни вокруг: звезды над головой и костры внизу. На рассвете глашатай прокричал, что мы должны сдать Совету. Мы смеялись в ответ и орала, кто что хотел. Под горой некоторые рыцари следили за тем, как конюхи чистили их коней; это были богатые молодые люди, которые пошли в поход, как подобает благородным. Иные из них вышли вперед и стали задирать нас, звали спуститься к ним.

— Нет! — кричали мы. — Поднимайтесь вы к нам, окажите такую честь дому нашему! Осчастливьте нас!..

Вдруг человек двадцать из них вскочили на коней и поскакали на гору. Быть может, просто хвастались, а может и впрямь надеялись, что захватят ворота, если доберутся.

Фила очень удобна для дротиков. Со стены я приметил всадника, шедшего наверх прямо подо мной. Еще один-двое тоже годились для броска, но я выбрал как раз этого, чтобы наказать за наглость: уж больно он был хорош, и на коне сидел словно сросся с ним.

Он тоже был вооружен дротиком, и по дороге, на скаку, приготовился. Но вниз бросок получается лучше. Он меня увидел, и за миг какой-то перед тем, как оба мы метнули, — вдруг резко дернулся назад, словно я уже попал в него. Конь его это почуял, осадил и встал на дыбы, так что мой дротик пролетел мимо. Управляясь с конем, он сдвинул шлем, чтобы лучше видеть, — это был Ксенофон. Какой-то миг мы смотрели друг другу

в глаза. Потом он завернул за угол стены и больше не показался.

Рыцари были отбиты, несколько из них ранено. И в тот день никаких схваток не было больше. Фразибул подсчитывал запасы наши. Потом собрал нас всех, кроме дозорных, и предложил вознести общую молитву Зевсу-Спасителю, чтобы он – раз уж он любит справедливость – не дал ей исчезнуть из Эллады вместе с нами. Мы помолились, пропели гимн... Наступил вечер; хмурый, багровый, морозный, ни ветерка... А ночью Зевс-Спаситель отозвался на нашу молитву и раскрыл руку свою.

Рука его раскрылась – и с неба, до того усыпанного звездами, повалил снег. Он шел всю ночь; холодный, словно грудь Артемиды, и жалящий, словно стрелы ее; вот уже и день начинался, а снег все шел и шел. Вершины гор чернели в снежной круговерти, как прожилки в белом мраморе. Внизу под нами стояли тонкие палатки осаждавших; а масса людей, не имевших никакого укрытия, толпилась вокруг мокрых дымящих костров, хлопая себя по бокам, топая ногами, чтобы не заоченеть, и укрывая голодных лошадей одеялами, которые так были нужны им самим. Эти бедолаги завидовали нам. А мы кричали им сверху, приглашая в гости: обещали, что позаботимся, чтобы им было тепло.

Снег шел весь день, но они выдержали только до полудня, им хватило. Тридцать за последнее время привыкли к комфорту, так что собрались раньше всех. Потом рыцарям стало жалко своих дрожавших коней, потом ушли гоплиты... И самым последним потянулся длинный громоздкий обоз, уползавший по пояс в снегу; само небо приготовило нам этот подарок. Тогда мы распахнули ворота, и со звонким пеаном – как люди, за которых сами боги сражаются, – ринулись вниз.

В тот день снег у нас покраснел. И мы привезли в Филу столько провианта, дров и одеял, что теперь целый год могли жить по-царски.

Какое-то время до нас было не добраться из-за снега, а потом начали приходиться добровольцы. В большинстве

своим это были изгнанники. Демократы; или люди благородные, слишком щепетильные в вопросах чести, чтобы нравиться правительству; или, наконец, просто те, имени которых понравились кому-нибудь из Тридцати. Но несколько человек пришло и из армии, которая осаждала нас, им даже до снега показалось, что наверху лучше. Пришел и их прорицатель, человек пламенный, хоть и молчаливый. Рассматривая внутренности жертвы, он увидел предостережение Аполлона: не служить тем, кто ненавистен богам.

Нас стало сто человек, потом двести, потом триста... Вся Аттика, и Мегара, и Фивы – все знали уже о людях из Филы. Нас стало семьсот... Когда погода загоняла всех под крышу, уже трудно было найти, где прилечь.

Тридцать поставили стражу в ущелье, чтобы не пускать нас в долину к деревням. Но у нас были в горах свои дороги. Недостатка мы не испытывали ни в чем. Часть припасов нам давали те, кто сочувствовал, часть мы отбирали, если была в том нужда. Самым любимым развлечением нашим стало грабить собственные поместья: ведь десятки были таких, у кого тираны отняли землю. Надо сказать, следили они за ней хорошо – я сам в этом убедился, когда наведаясь к себе. С самого раннего детства не видел я нашего поместья в таком порядке, таким цветущим и обильным. Когда дело было в самом разгаре, нашел я одного раба; он в лаге для зерна прятался.

– Вылезай, – сказал я. – Вылезай и расскажи, кто хозяин на этой земле. Потом можешь бежать, если хочешь, и быть свободным. Но если солжешь – вот!

Я показал ему кинжал.

– Клянусь стрелой Бендиды, господин мой, – это фракиец оказался, – клянусь, моего хозяина зовут Критий.

Я отпустил его, а сам пошел наверх через виноградники, с белым петухом в руках. На отцовской могиле я его убил; чтобы убоготворить тень отца, и в залог грядущего, и чтобы показать Критию, кто навевался в гости к нему.

В скором времени у Тридцати набралось много таких напоминаний, а у нас в Филе была уже тысяча человек. Хотя лишь очень немногие смогли принести с собой доспехи и оружие – все чаще доводилось слышать, мол, тираны уже сомневаются, что даже Лисандр их защитит.

Зима еще не кончилась, надежды наши могли осуществиться не скоро, – но они были сильны и крепки, как почки, свернувшиеся в замерзших деревьях. Рабов у нас не было. Все мы были друг для друга слугами: и стряпали сами, и прибирали, и воду таскали. Я никогда и нигде не пил такой холодной и вкусной воды, как в Филе. И редко когда испытывал такую радость, как там. Помню, как мы топали под ветром вверх по горной тропе, навьюченные дровами, – пели и разговаривали о будущем, когда Город станет свободным. Лисий сказал, что хочет сына:

– Хотя, если сначала будет дочка – тоже хорошо; маленькие девчонки такие забавные!..

– Я обязательно напишу тем фиванским ребятам, сказал я, – Симмию и Кебию. Мы перед ними в долгу, надо позвать их в гости. Они так мечтают послушать Сократа!

– Их знаменитый Филолай для меня слишком уж математичен, – сказал Лисий.

– Да, конечно. Но я познакомлю их с Федоном; он наверняка будет рад с ними побеседовать.

Однажды, ранним утром, мы напали на стражу, охранявшую ущелье. Захватили их врасплох, в момент подъема, полуодетых, – и согнали вниз на равнину. А вскоре услышали, что Тридцать в панике. Даже три тысячи, на которых они опирались прежде, уже не верили им; с тех пор, как Терамена вычеркнули из списка. Радостно было слышать это. Но когда они показали, насколько силен их страх, – тут стало не до радости.

Они совсем обезумели. Теперь им нужно было убежище на крайний случай, и они выбрали Элевсин; потому что, если прижмет, оттуда можно бежать морем. Но они не заслужили доброго отношения ни у кого, и

боялись, что элевсинцы их выдадут. И тогда, под предлогом армейских учений, они послали их в узкий проход и там похватали всех, по одному. Они убили всех мужчин и взрослых юношей Элевсина, – но не своими руками, как делают настоящие мужчины, кто берет на себя вину перед богами. Они притащили элевсинцев в Афины и обвинили их перед Советом в том, что они опасны для Города; выдвинуть какое-то конкретное обвинение попросту не соизволили. Голосование было открытым: «виновны» – налево, «невиновны» – направо; а вокруг стояли спартанцы в тяжелом вооружении.

Совет проголосовал за смерть. Они уже пали так низко, что еще ступенькой ниже – какая разница?.. Так им казалось. Но эта ступенька была последней. Они уже были на самом дне, и некоторые еще в состоянии были это понять.

Когда эта новость дошла к нам в горы, мы поняли, что наше время пришло: боги и люди ждут нас.

Все следующее утро мы готовились. В полдень поели и отдохнули, потому что понимали – ночью спать не придется. Когда мы с Лисием проверяли оружие, он сказал мне:

– Знаешь, слишком заметно, что мы из Филы. Давай приведем себя в порядок, чтобы не стыдно было в Городе показаться.

Мы подстригли друг друга, но засомневались, стоит ли расставаться с бородой. У нас уже хорошие бороды отросли, и мы к ним успели привыкнуть. Но Лисий сказал со смехом:

– Да ну ее! Я хочу, чтобы жена меня узнала!..

В результате мы оба побрились – и порадовались, что сделали это: так сильнее почувствовалось, что возвращаемся домой.

Ближе к вечеру, когда свет стал меняться в горах, мы принесли в жертву барана и совершили возлияние. Прорицатель сказал, что знамения добрые, мы запели пеан... А вскоре после того построились и пошли: нам предстоял большой переход через горы.

Как раз перед сигналом сбора мы с Лисием стояли на стене и смотрели вниз, через Колесничную Пропась, как сияют Афины. В косых лучах заходящего солнца, на фоне теней, золото было особенно ярким. Я повернулся к нему:

– Лисий, ты что грустный такой? Здесь было хорошо, но ведь мы уходим навстречу лучшему.

Он улыбнулся и ответил:

– Аминь. Да будет так.

И снова замолчал, опершись на копьё и глядя на Верхний Город.

– О чем ты? – спросил я; потому что полон был воспоминаний, и чувствовал – он тоже.

– Я думал о нашем нынешнем жертвоприношении, – сказал он, – и о том, как надо молиться. Когда люди принимают за справедливое дело – надо верить сто небу, это правильно. Но за себя... Чего только мы не просили у богов, Алексий. Иногда они давали, а иной раз смотрели на это иначе... Потому сегодня обратился к ним, как Сократ учил нас однажды: «Всезнающий Зевс! Дай мне того, что для меня всего лучше. Отврати от меня зло, хотя бы я и молился о нем: и дай мне благо, которого не прошу по неведению своему».

Я не успел ответить – раздался сигнал, и мы заспешили вниз, к воротам.

Дни стали уже длинными, так что горы мы прошли засветло; а когда добрались до Элевсинской равнины, нас скрыли сумерки. Ни один враг нам не встретился: Тридцать следили за ущельем, охраняя деревни. Чуть за полночь мы берегом вышли к Пирею.

Сначала все было тихо. Потом город проснулся, но не было ни смятения ни криков. Мы пришли как благодать, которой долго не могли дожидаться; ждали с суровым терпением людей, выросших на море. Слух разбегался по улицам, и дома отворялись. Люди выходили кто с мечом, кто с ножом, с топором, просто с камнем... Подходили женщины; достойные жены не гнушались гетер, они вместе несли печенье или инжир и совали нам в руки, осмелев в темноте. Выходили

метэки – фригийцы и сирийцы, лидийцы и фракийцы, – чью родню Тридцать убивали и обдирали так же хладнокровно, как селянка выбирает петуха на суп. Когда занялась заря, мы уже знали, что весь Пирей с нами; по крайней мере душою, в чувствах своих. Но чувством тяжелый доспех не пробьешь, да и камнем тоже. Позицию мы заняли, но битва была еще впереди.

Над Гиметтом показалось морозное солнце, день становился все ярче... И с крыш мы увидели, как подступает неприятель: сначала конница, за ней гоплиты, выходя из тени Длинных Стен на яркий свет Лисандровой бреши. Когда стало ясно, что соотношение сил пять к одному, что нет надежды удержать их на открытом месте, мы отошли к старой крепости Мунихия, где обучают эфевов. На каменистой дороге, что поднимается от базара к крепости, мы закрепились – те из нас, у кого было тяжелое оружие, – чтобы держать проход. А за нами, словно муравьи, расползлись по скалам те люди из Филы, у кого было только легкое оружие или вовсе ничего, и пирейцы с топорами, ножами и камнями.

А потом, как всегда на войне, наступила пауза. Армия Города приносила жертвы и строилась в боевой порядок. У нас за спиной перекликались люди, над заливом кружились и кричали чайки, а снизу доносились команды, конское ржание, стук щитов... Мы начали болтать между собой, вроде от безделья, как все солдаты, кому приходится ждать. Помню, я сказал:

– Когда это ты починил сандалию, Лисий? Глянь, как изуродовал. Почему мне не сказал; ты же знаешь, что у меня лучше получается?

А он ответил:

– О! Просто некогда было возиться. На сегодня-то ее хватит.

А потом раздалась фанфара, заиграли марш – и неприятель вступил на базарную площадь под нами. Конечно, никакой торговли в тот день в Пирее не было; без обычной своей толчеи, с пустыми прилавками, площадь казалась огромной. Войска заполнили ее на всю ширину, из конца в конец; а когда шеренга за шеренгой

пошли на площадь, на ней и вовсе свободного места не осталось. Глубина строя была у них, наверно, не меньше полусотни щитов. А у нас – точно знаю – всего десять.

По мере того как они разворачивались, мы начали их узнавать. Конным там было слишком тесно, потому рыцари шли в пешем строю; но их можно было узнать по золоту на доспехах и по кирасам узорчатой бронзы. Удавалось выхватить лишь отдельные лица, то здесь то там, но я подумал: «Ксенофон не с ними», – и обрадовался. Потом слева появилось знамя, и Фразибул закричал:

– Тридцатка там!

Он обратился к нам, как бывало на Самосе: сказал о нашем правом деле, напомнил о заступничестве богов, когда они спасли нас снегом...

– Сражайтесь, каждый, так, чтобы победа почувствовала, что принадлежит только вам! Нам есть за что сражаться и побеждать: мы вернем себе страну свою, свои дома, свои права, своих любимых и жен своих! Радость ждет тех, кто останется жив, и слава – тех, кто погибнет! А там стоят тираны – и мы несем им мщение! Когда я начну пеан – запевайте мне в тон – и вперед!.. Боги за нас!

Он повернулся к прорицателю. Тот как раз закончил жертвоприношение и теперь пошел вперед, не сняв священную повязку с головы. Он прошел сквозь наш строй, словно не видел нас, – все расступались, – и по глазам его я понял, что он одержим Аполлоном.

– Стойте! – сказал он. – Бог дает нам победу, но прежде один из нас должен пасть. А до тех пор не двигайтесь с места.

Он громко воззвал к богу и крикнул:

– Это я!..

И с этими словами бросился вниз, на стену щитов. Какой-то миг, от неожиданности, они стояли, не шелохнувшись, – а потом его встретили копья и он пал. И стены Мунихия отразили эхом голос Фразибула, закричавшего пеан.

Мы бросились вперед, бегом. Под гору бежалось легко, а наше дело окрыляло нас. Это было, словно последний круг на дистанции, когда тебя поднимает Эрос победы. Я знаю, что убивал и убивал – убивал много, – но ярости не испытывал; словно жрец, проливающий кровь жертвы. Мы с Лисием сражались плечо к плечу, пробиваясь вперед, чувствуя как вражеский строй прогибается перед нами, поддается – и рассыпается. Их было много, но кожа у них была тонкая, а сердцевина гнилая: они не были в мире с богами и с совестью своей. Уже очень скоро стало ясно, что если кто-то из них еще держится стойко – это только потому, что терять ему нечего. И вот тогда я услышал голос, пытавшийся восстановить строй; голос оратора, не привыкший к настоящему мужскому разговору, – на поле боя. Я узнал этот голос; и, оставив Лисия – а до того мы все время были рядом – оставив Лисия, стал сквозь свалку пробиваться туда.

Я добрался до него возле пустого прилавка каких-то гончаров, что стоял у края площади. Шел к нему молча: не кричал имени его, не вызывал на бой – знал, что вокруг очень многие мечтают с ним встретиться не меньше, чем я. Я отыскивал его, как влюбленный: готов был идти на ощупь, лишь бы соперники мои тоже оставались в темноте. Но вот он оказался передо мной, и сквозь прорези шлема я увидел глаза его.

Когда мы уперлись друг в друга щитами, я сказал:

– Ты когда-то ухаживал за мной, Критий; близости добивался. Теперь ты доволен, я достаточно близко?

Но он только скрежетал зубами и тяжело дышал. Ведь он жил в неге и роскоши, не так как я все это время, и с дыханием у него было плохо. Я развернул его щит своим, ударил, и ранил его в ногу.

– Ты не узнаешь меня? – спросил я. – Я сын Мирона.

Я ждал, что лицо его хоть как-то изменится, но он только скривился, когда копьё попало; и я понял, что одно это имя ничего не значило для него среди тех сотен, что он послал на смерть. Тут во мне поднялась такая ярость против него, что сила моя вспыхнула,

словно факел; я навалился на него так, что он начал пятиться, — и тогда подцепил его колено своим, как делал Лисий на панкратионе. Он повалился назад, загремев доспехами о стойки прилавка, схватился за доску, она упала, — он рухнул на спину, а я прыгнул на него сверху и сорвал с него шлем. Тогда я увидел, что в волосах у него седина; и лицо его, искаженное страхом, казалось сморщенным от старости; и мне было тошно, противно было его убивать, пока не вспомнил, что он забыл даже имя отца моего. И тогда я подумал: «Это зверь передо мной, а не человек». И вот я вытащил меч, и вонзил ему в горло, и сказал:

— Вот тебе за Мирона!

Он разинул рот, и умер. И я не знаю, услышал ли он слова мои.

Он был мертв, наверняка. Тогда я вскочил и увидел, что битва кипит повсюду вокруг. Мне не терпелось сказать Лисию, что сделал я, и я закричал что было мочи:

— Лисий!

— Алексей! Держись! — раздался голос его над грохотом боя.

И тут словно скала на меня обрушилась. Я провалился во тьму, и шум сражения доносился до меня невнятно и бессмысленно — так засыпающий ребенок слышит голоса из соседней комнаты.

Очнулся я во дворе; там было полным-полно раненых. В центре бил фонтан, падавший в бассейн, выложенный синей плиткой; такую мидяне делают. Голова болела, и слаб был очень. Наверно меня сбили ударом по шлему и оглушили, голова целая была; а рана была на бедре, как раз под кирасой, рана глубокая, так что лежал я в луже своей крови. Наверно, копьем проткнули, когда я упал. Лужа была темная, а по краям — где расползлась по мраморным плитам — даже подсохла корочкой; я догадался, что принесли меня давно.

Хотелось пить, и от звука воды жажда становилась еще нестерпимей. И тут, захотев напиться, я впервые

подумал: «Я в плену или нет?» Повернув голову к человеку, лежавшему рядом, я спросил:

– Мы победили?

Тот тяжело вздохнул и перекатил голову лицом ко мне. Видно было, что он уже не жилец.

– Проиграли, – сказал он. И закрыл глаза.

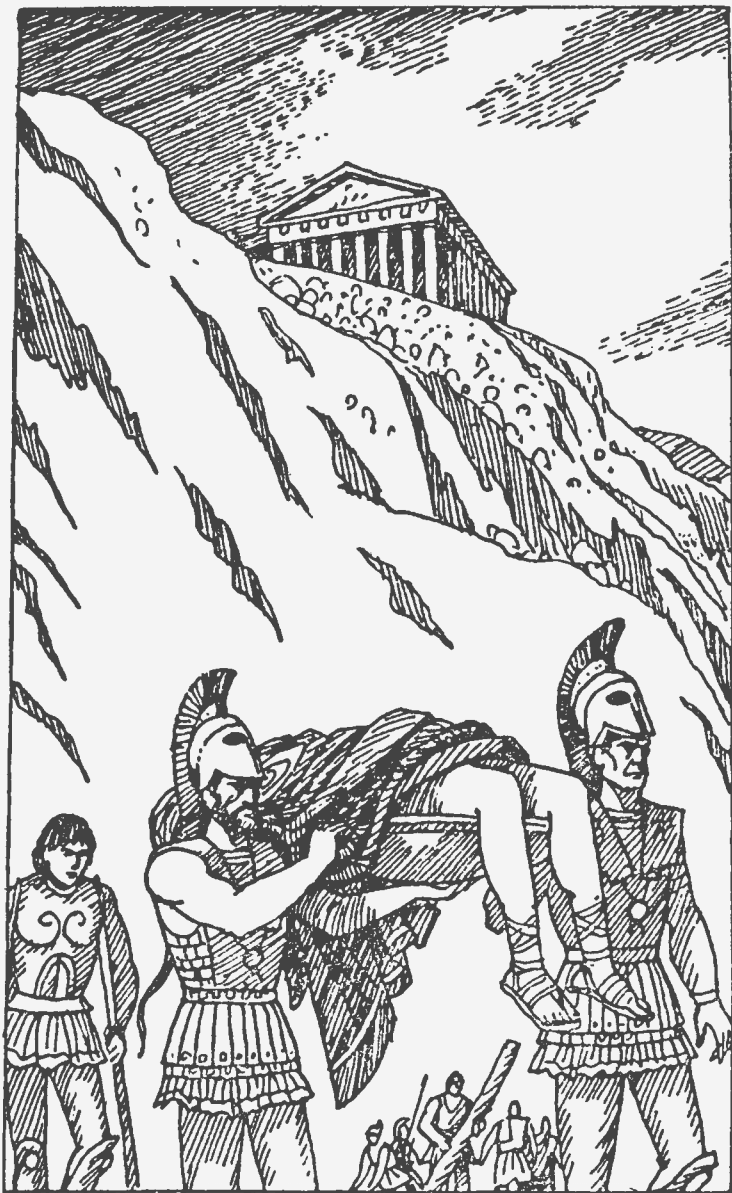
И тут я узнал его, хоть изменился он страшно: это был Кармид. Перед боем я видел его на базарной площади, среди рыцарей. Я окликнул его по имени, но он больше не отозвался.

Известие о победе придало сил, и я пополз было к фонтану; но один из раненых, он мог ходить и рука одна целая была, принес мне воды в шлеме. Я напился, поблагодарил его и спросил, давно ли кончился бой.

– С час назад, – ответил он. – Объявили перемирие, чтобы собрать убитых. Я сам только-только оттуда пришел. Тридцать бежали; и перед моим уходом люди, подбиравшие погибших, разговаривали друг с другом; с обеих сторон люди.

Он еще что-то мне рассказывал, но я был слишком слаб, почти не слушал. Посмотрел на кровь свою на полу, потрогал ее пальцами; и еще, помню, подумал: «Не зря пролита». Лежал, отдыхал; потом подошла какая-то старуха, забинтовала мне рану. Я почувствовал себя получше, открыл глаза и стал оглядываться вокруг. И захотелось, чтобы пришел кто-нибудь и отнес меня к друзьям.

Как раз слышались шаги людей, несших что-то тяжелое, и я обернулся окликнуть их, – но они несли на щите мертвое тело. Со щита свисали ноги, согнутые в коленях, и голова, запрокинутая назад; а сверху наброшен был плащ всадника, так что лица не было видно. Плаща того я не знал, и уже начал отворачиваться – но тут заметил, что те двое увидели меня и переглянулись. И почувствовал – сердце падает и раны холодеют. Из-под плаща видны были ступни ног, одна сандалия под щита.



Я нашел в себе силы окликнуть их. Сначала они притворились, что не слышат; но когда крикнул еще раз – остановились.

– Кто это? – спросил я.

Каждый из них ждал, чтобы ответил другой. Потом оба заговорили разом.

– Извини, Алексей... – сказал один.

– Он умер прекрасно, – сказал другой. – Уже сраженный, он дважды поднимался на ноги, и еще после того пытался... Нам надо идти, Алексей. Он тяжелый.

– Не надо нести его дальше, – сказал я. – Оставьте его здесь, со мной.

Они оглядели двор, который был теперь забит толпой, и снова переглянулись. Я понял, что было у них на уме: раненые не любят быть рядом с мертвыми.

– Я пойду с вами, – сказал я.

Поднялся и пошел за ними следом, а у ворот нашел копьё с отломанным наконечником и взял его, опираясь. Мы прошли немного и подошли к небольшой мощенной площадке перед каким-то алтарем. Рядом была разрушенная стена, и камни, покрытые пылью; но я не мог уже идти дальше и сказал:

– Здесь хорошо. Оставьте его здесь.

Они опустили его и, извиняясь передо мной, забрали плащ и щит; им надо было еще носить и носить. А он был ранен между шеей и плечом, и умер от потери крови. Обескровлен был так, что тело его стало не бесцветным, как бывает у мертвых, а мраморно-желтым. Доспехи и волосы были в крови. Шлема на нем не было. А открытые глаза смотрели прямо в небо, словно вопрошали. Мне пришлось долго-долго прижимать их рукой, чтобы они закрылись. Тело его еще не заоченело, но кожа была уже холодной; он стал одним из многих, одним из бесчисленных мертвых. Всегда, сколько я его помнил, сидел ли он верхом на коне, шел ли, бежал ли, стоял ли, беседуя на улице, – стоило мне его заметить, хоть издали, – я сразу отличал его от всех других. И в самую темную ночь невозможно было принять его

руку за чью-то еще... А теперь начинали слетаться мухи, и мне приходилось их отгонять.

Я был слаб, как дитя малое, – и телом был слаб и духом, – но плакать почему-то не мог. Вы можете сказать, конечно, мол, так и должно быть, это хорошо: ведь если эллин умирает доблестно, даже женщине подобает сдерживать слезы. Меня тоже с раннего детства учили, какие чувства надо испытывать в подобных случаях; и я никогда не сомневался, что предмет моей любви смертен... Но теперь я был, словно чужой; чужой и земле и собственной душе моей. Потому что душа говорила мне, что если есть хоть один бог, кого хоть как-то заботит жизнь людей, то этот бог сам должен страдать вместе со мною. А когда я думал, что Бессмертные живут далеко – и радуются своему бесконечному празднеству, – мне казалось, что их нет вообще.

Не знаю, сколько времени прошло до тех пор, когда люди, принесшие его, вернулись посмотреть, как я. Я сказал, что со мной все в порядке, и спросил, знают ли они, как он погиб. Они сказали, что сами не видели; но слышали, как его перевозносили свидетели смерти его. А один сказал, что был там чуть позже, когда он уже умирал. Я спросил, говорил ли он что-нибудь.

– Да, – сказал тот. – Он говорил с Эвклом: его он знал лучше, чем меня. Спрашивал о тебе; он боялся, что тебя убили. Он сказал, ты звал его на помощь; мне кажется, он и рану свою получил, когда пробивался к тебе. Мы сказали ему, что тебя унесли с поля, но рана не смертельна, – он успокоился немного. Но к этому времени уже сознание начал терять, и зевать стал; я видел это у других, кто погибал от потери крови. Потом вдруг сказал: «Он позаботится о малышке»... У него был ребенок? Но ты, наверно, знаешь, что он имел в виду.

– Да, – сказал я. – Он еще что-нибудь говорил?

– Эвкл увидел, что он уже уходит, и спросил, не хочет ли он оставить тебе что-нибудь на память. Он ничего не ответил, только улыбнулся. Наверно, не слышал. Но когда Эвкл спросил снова, он сказал: «Все что есть». Эвкл показал ему, что у него кольцо на

пальце; он попытался его снять, но не смог, от слабости. Оно для тебя у Эвкла; он снял его, когда Лисий уже мертвый был.

– И как раз в это время городские войска отступили с Агоры, поле боя осталось за нами, и Фразибул командовал трубить победу. Он открыл глаза, спросил: «Это наши трубят?» Я сказал, да... А он сказал: «Так значит все хорошо, верно?» Эвкл ответил: «Да, Лисий, все хорошо». И с этим он умер.

Я поблагодарил их, они ушли. А когда ушли – я взял его руку, увидел, как они ее повредили, стаскивая кольцо для меня... И тогда заплакал.

Потом я услышал, как на стенах Мунихия победители поют гимн во славу Зевса; но голова у меня закружилась, и я снова провалился в темноту. Потому что от ходьбы рана раскрылась, и снова кровь текла.

Потом какие-то люди несли меня на носилках и спорили, жив я или нет... Я слышал, но молчал. Жив или нет – мне было все равно. Я лежал с закрытыми глазами и слушал музыку победы.

28

Год спустя, теплым весенним днем, я шел на Верхний Город принимать оливковый венок.

Это был один из семидесяти венков, которые Город присудил Фразибулу и тем, кто вместе с ним пошел на Филу. Гражданская война закончилась, и тирания была разгромлена окончательно; потому что Лисандр зарвался в Спарте, начал плести интриги, чтобы добиться трона для себя, а царь Павсаний прослышал об этом и решил его укротить. Теперь цари думали не столько о большой политике, сколько о том, как выбить почву из-под ног Лисандра и ослабить повсюду его власть. Потому что они нам и позволили восстановить демократию. Так что Город возблагодарил Зевса, и поклялся установить истинную справедливость между людьми.

Странно было снова стоять в Храме Девы и ощущать, как ветви оливы покалывают лоб. В юности я много раз молился, чтобы нас с Лисием когда-нибудь увенчали вместе; он, наверно, тоже молился об этом. А теперь мне вручили венок его, и я отнес его домой. Я принял венок от имени Талии; теперь я должен был действовать за нее, и в этом деле и во всех остальных... Но мать моих сыновей за двадцать пять лет заслужила большего с моей стороны, чем говорить о ней во всеуслышание; я и так уже написал больше, чем надо.

Потом были речи. Чествовали освободителей, прославляли павших, провозглашали светлое будущее Города... Ибо, говорили, хоть мы и потеряли империю, зато обрели справедливость; величайшее благо, каким одарил людей Зевс. Потом были состязания хоров и бег в доспехах для мужчин, а когда наступил вечер – бег с факелами для мальчиков.

Я сидел на стадионе в перерыве между состязаниями и думал, что скоро надо будет пойти вниз к ребятам, которых я готовил к этому забегу: поддержать тех, кому это понадобится. Но время еще было. Вечер был теплый, и бегуны подняли изрядно пыли, так что водоносы и разносчики вина были при деле. Еще только начинало смеркаться; и, как всегда бывает, друзья, увидев друг друга, подходили один к другому, а остальные подвигались, чтобы дать им место рядом. Вот так и Ксенофон помахал мне рукой и направился ко мне. Поздоровались мы сердечно: амнистия дала нам обоим долгожданный повод возродить нашу дружбу. Я сказал, что мне его не хватало в Городе, спросил, где он был...

– В Дельфах, – ответил он. – Спрашивал Аполлона, какие жертвы принести перед дорогой.

– И далеко ли ты собрался?

– Неблизко, – сказал он. – В Персию, воевать за Кира.

Я был настолько изумлен, что смотрел на него молча. А он продолжал:

– Проксен, мой фиванский друг, написал мне из Сард. Он уже служит у Кира; и говорит, что никогда не встречал более благородного и прекрасного солдата.

А Проксен в таких делах не ошибается. Кажется, войска нужны, чтобы очистить горы от каких-то бандитов. А Кир человек щедрый; это кое-что значит для меня, я ведь почти разорен.

– Знаешь, это как-то странно звучит, – сказал я. – Эллинская наемная армия будет чистить горы от бандитов? Нельзя верить слову мидянина: ты можешь там влипнуть во что угодно. Ты не спросил оракула, пока был в Дельфах, стоит ли ехать вообще?

Он засмеялся, но лицо было смущенное.

– То же самое сказал Сократ. В точности. Ладно, признаюсь, менять намерения свои мне не хотелось. Но, наверно, если бы Аполлон был уж очень против этого, он бы как-то дал мне знать, верно?

Я беспокоился о нем больше, чем сказал. Говорить не хотелось. Даже в мирное время он мог очень навредить себе дома, отдавая свой меч внаем покровителю Лисандра. Но он и сам должен все это знать: ведь он солдат, и не дурак... Я хотел было спросить, почему он покидает Город, как раз когда дела пошли на лад, – но не спросил. Он по-прежнему держался как рыцарь и офицер конницы, но со времени амнистии как-то потускнел: казался человеком без будущего. Через все наши беды прошел он, не роняя чести своей, как он ее понимал; под конец он возненавидел тиранов так же, как и все остальные, – но слишком поздно прозрел он, и Городу на самом деле теперь не очень нужны были люди, которые прежде поддерживали Тридцатку.

– Каждый, – сказал он, – стремится оставить где-то память о себе. Это чувствуют даже мальчишки, когда вырезают свои имена на деревьях. Когда-то я мечтал основать город, но это в руках богов...

Мимо прошел продавец вина, и он взял по чаше нам обоим: обычное пойло, какое продают на стадионах.

– И потом, – сказал он, – я хочу изучить Кира. Про него говорят, что он рожден править; и я хочу понять, как получаются такие люди. Каждая партия утверждает, что именно она достойна и способна управлять, более чем кто-либо другой. Но, как говорит Сократ, каменщик

или кузнец может ясно объяснить, каким образом он обучился делу своему и приобрел искусство свое. А ведь никто еще не определил, в чем суть профессии правителя; или, скорее, очень уж определения разнятся. Неопределенность понятий всегда приводит к бедам – но самые тяжкие вытекают, пожалуй, из-за неопределенности вот этого.

– Ну что ж, удачи тебе с твоим определением, – сказал я. – Но возвращайся с ним домой, поделишься с нами.

Я смотрел, как он прихлебывает дрянное вино – с видом человека, знающего, что придется пить и похуже. И чувство было такое, что в последний раз смотрю на парнишку, которого помнил с детства. Так оно и оказалось. Когда я снова увидел его, через пять лет, это было уже не в Афинах. Он стал черен, как ремень дротика, и жесток, словно древко; это был настолько солдат, что казалось, во младенчестве щит ему колыбелью служил. Но самая разительная перемена была в том, что в человеке, прежде соблюдавшем все условности, стала заметна та небрежная экстравагантность, какую всегда встречаешь в нерегулярных войсках, заслуживших славу себе. Эти люди словно говорят: «Нам плевать, как к нам относитесь вы – кто никогда не был там, где побывали мы. Только мы сами можем друг друга судить».

Он поднялся и пошел еще к кому-то из друзей своих; а я, увидев, что мне машут, узнал Федона и двинулся к нему. С ним был Платон, а чуть ниже, через несколько скамеек, Сократ со старым своим другом Херофоном, который был в изгнании вместе с другими демократами и недавно вернулся. Он меня не видел, я сзади подходил; но до них я не дошел: Платон усадил с собой рядом. Когда мы с ним встречаемся в общественных местах, он всегда бывает очень учтив и дружелюбен со мной, но в дом к себе не приглашает. Хотя я никому не говорил, что убил Крития, – никто не хвастается тем, за что заплатил слишком дорого, – но кое-кто об этом знал. И нет сомнений, что Городу будет только хуже, если

люди настолько станут потеряны для благочестия, что начнут оказывать гостеприимство убийцам родственников своих.

Мы болтали просто так, ни о чем, и смотрели на жонглера, кидавшего факелы на стадионе: уже сумерки начинались. А на скамье прямо перед нами разговаривал с несколькими друзьями Анит. Его тоже увенчали в тот день за участие в сопротивлении, и никто не заслужил этого больше, чем он. В изгнании он трудился почти так же, как Фразибул, и в Пирее сражался отлично, хоть был уже немолод. Это был человек, который никогда ничего не делал наполовину. Давным-давно, когда весь Город был влюблен в Алкивиада, страсть Анита была скандальнее всех остальных: он мирился не только с насмешками, но даже с публичными оскорблениями. Рассказывали, что однажды он давал банкет, а Алкивиад прийти отказался. Анит не прекращая своих домогательств, чуть ни на коленях упрасивал его – хоть как, но приходи, мол. Алкивиад рассмеялся и ушел. Когда собралась гости, его не было, но в разгар пиршества он появился и встал в дверях. Его упрасивали войти – он ничего не ответил, но послал своего слугу собрать со стола серебряные кубки, и ушел с ними, так и не сказав ни слова. Это произошло в те дни, когда он бегал за Сократом. Тот никогда ничего не хотел для себя, и наверно потому юный Алкивиад испытывал особое презрение к толпам своих обожателей.

Однако теперь Анита повсюду провозглашали спасителем демократии. Он и стал таким эталонным демократом: гордо разгуливал с обнаженным правым плечом – вместо левого, как рабочий – хотя был очень богат и у него в дубильне трудились не только рабы, но и свободные. Он сделал себе имя в политике, его все знали, и в этот вечер его беседу с друзьями то и дело прерывали приветствия со всех сторон.

– Ну, – говорил он, – мы боролись за это, и вот мы это видим! Здесь сидят те, кто заслужил свободу свою. Простые люди по-братски собрались провозгласить свой триумф, почтить старые добродетели, разделить свою

гордость и прочувствовать счастье свое. Они вправе презирать всех равнодушных, половинчатых и уклончивых, – каждого, кто не чувствовал их борьбу своей собственной. И будущее принадлежит им, это их день!

Друзья его начали аплодировать. Но Платон нетерпеливо повернулся к Федону и сказал:

– Что он имеет в виду, произнося все эти расплывчатые слова? Что это за «люди»? Кто именно, конкретно? Что значит «простые» – как насчет тебя, Федон, ты простой? А ты, Алексей, прочувствовал счастье свое?.. Прости, те же вопросы ты можешь задать и мне...

– Наверно, это образ – сказал я.

Голос у Платона всегда был звонким; и даже со спины было заметно, что Анит нас услышал.

– Если так – плохой образ, потому что это образ того, чего на самом деле не существует. Здесь нет Народа. А есть двадцать тысяч отдельных людей, в каждом из которых заключена своя душа; центр мироздания, никому другому не видимого. Здесь у них передышка; друг с другом они какое-то время тратят впустую; но потом каждый снова берет на себя труд одиночества своего, и лишь этот труд определит будет жить его душа или умрет. Каждый снова возвращается на свой долгий путь к богу. Кто может сотворить добро, не зная, что это такое? И как это можно узнать, если не в размышлении, или в молитве, или в беседе с немногими друзьями, ищущими истину, или с учителем, посланным богом? Такое знание не приходит в броских призывах; их нельзя прокричать на Агоре, чтобы они значили одно и то же для всех, кто услышит: ведь каждое слово каждый понимает по-своему. Такое знание можно приобрести только долго познавая себя самого, анализируя причины заблуждений своих, обуздывая страсти и подавляя их, словно строптивного коня, – и снова подчиняясь истине... Только долгим трудом оно будет очищено, как золото... Но ничего подобного в толпе не происходит и происходить не может. Толпа склоняется, как тростник, под ветром ярости или страха, или невежественного предрассудка; охваченная инфек-

цией ложного псевдознания или – в лучшем случае – мнения верного, но не взвешенного и не изученного досконально. Что такое Народ, чтобы мы должны были боготворить его? Неужели зверя в человеке должны боготворить мы, а не бога?

Я видел, Анит повернулся и чуть не заговорил. Он был рассержен, но увидел меня и вмещиваться не стал: решил очевидно, что я управляюсь и сам.

– Но, – сказал я, – люди должны собираться вместе, чтобы творить законы, воевать, чтить богов... Чтобы действовать ради общего блага. Для таких достойных целей им нужно ощущать себя Демосом, не иначе, как моряки ощущают себя командой корабля.

– Да, конечно. Но надо, чтобы они остерегались лжи! А они обожают прекрасные слова... И наслушавшись этих слов, ощутив себя частицей чего-то такого, что не может ни ошибиться, ни сотворить зло, – начинают пыжиться в гордыне – и думают лишь о том, насколько они выше других людей, а не о том, насколько ниже богов. Что такое Демос, если не морская волна, тысячекратно меняющая содержимое свое, пока прокатится от берега до берега? Как определить его характер? Давайте предположим, что Божественный Разум может содержать в себе кроме идей справедливости, святости и истины – идею Человека, в котором заключены они все, в той безусловно взвешенной пропорции, в какой исходно задумал нас Зевс-Творец. Можно сказать, что человек, созданный таким образом, был бы ближе к богу, и для такой концепции в миропорядке место есть. А как может вписаться туда идея Народа? Кто может постигнуть эту идею, уж не говоря о том чтобы полюбить ее? Ее ты любил, Алексей, когда пошел в Филу? Нет! Ты любил свободу. И был достаточно логичен, чтобы понимать, что любовь твоя обречена на гибель, если ты будешь один. Мы сегодня вспоминали Лисия, так можно я скажу о нем? Он был истинным сыном Зевса и любил справедливость, хотел делить ее с другими, как он делился всем что только было у него. Чего ради он стал бы любить Демос, раз у него хватало

сердца, чтобы любить отдельных людей? Даже если бы Всезнающий Зевс поместил на землю того совершенного Человека, которого мы постулировали только что, – стал бы он любить Демос? Я думаю, нет. Он любил бы рыцаря и простолюдина, раба и свободного, элина и варвара; быть может даже злых любил бы, потому что в каждом из них тоже заключена богорожденная душа. А ваш Демос объединился бы с тиранами, требуя, чтобы его распяли.

Внизу под нами заиграла музыка, и на Стадион вышел отряд юношей в шлемах и со щитами – некоторые с копьями в руках, а некоторые с факелами, – танцевать для Зевса. Федон поднялся на ноги и сказал:

– Кончайте ваш спор. Я хочу поговорить с Сократом, пока забег не начался.

– Пошли к нему все вместе, – предложил Платон.

Но когда мы начали подниматься, Анит повернулся к нам и сказал:

– Так я и думал!

– Как, господин мой? – Платон задержался.

– Так ты ученик Сократа, верно?

– Нет, господин, – Платон поднял брови и снова опустил, нахмурился. – Я имею честь быть его другом. Извини... – И ушел вслед за Федоном, который не слышал этого разговора.

Я пошел было за ним, но Анит ухватил меня за плащ. У него была такая манера: хватать, шлепать и похлопывать собеседников своих; любая сдержанность, по его мнению, припахивала олигархией, а этого он не терпел. Я его уважал – он и заслужил это, – так что снова сел, рядом с ним.

– Удивляюсь я на тебя, Алексий, – сказал он. – Только сегодня Демос увенчал тебя и чествовал как друга своего, а ты можешь слушать эту реакционную чушь и не возмущаться. Я-то думал, уж кому-кому – а тебе не к лицу позволять Сократу дурачить тебя: ведь ты уже взрослый мужчина!

– Знаешь, Анит, я сражался за демократию, здесь и на Самосе, только потому, что Сократ научил меня

думать самостоятельно и отвечать за себя. И Платон ушел от олигархов, хотя некоторые из них его родственниками были, тоже как раз из-за Сократа. Он заставляет каждого искать ту истину, которая есть внутри человека.

Я видел – он ждет, когда я закончу, чтобы сказать что-то свое, что уже приготовил заранее; будто я и не говорил ничего. Совсем недавно мне было легко и просто с ним: мне нравилось, что он ведет себя со всеми, как с равными. Но, право же, странно разговаривать с человеком, до которого твои мысли попросту не доходят. Меня вдруг словно окружила огромная пустыня; я даже ощутил страх Пана, погонщика стад, страх, какой появляется в безлюдной местности.

– Этот человек, – сказал Анит, – сколько я его помню, всегда был окружен богатыми бездельниками, щеголявшими своей праздношью. А они растрчивали свои лучшие годы в пустой болтовне, когда могли бы освоить какое-нибудь честное ремесло. Ты можешь отрицать, что Критий был его учеником? Или, быть может, вы сказали бы – другом его? Но и более того: с тех пор как демократия восстановлена – он издевается над ней и подрывает ее!

– Я так не думаю, – сказал я. – И даже не понимаю, что ты имеешь в виду. Быть может тебе не нравится, что он считает – глупо выбирать архонтов и судей по жребию? Он сказал, ни один человек не станет выбирать жребием врача из толпы, если сын его заболест. Ты стал бы?

Лицо его потемнело – я понял, что коснулся темы, которая его угнетает.

– Послушайся моего совета, – сказал он. – Оставь ты его, пока он не успел развратить твою душу и сам тебя оставить. Без принципов, без веры, без почтения к чему бы то ни было – как оставлял он других.

– Развратить меня? Да пока я не познакомился с ним, я вообще не знал, что такое вера. Мне уже поздно оставлять его, Анит. С самого детства он мне был как отец; даже больше, гораздо больше.

У него на лбу вздулась вена, а когда он снова заговорил – логики у него не осталось ни капли, одно возмущение.

– Больше чем отец?! Ты так сказал. Вот в чем корень зла!.. Кто может направлять юношу лучше его собственного отца, хотел бы я знать?

– Это зависит... – сказал я. – Например, кормчий, если он в море. Ты так не думаешь? А врач, если у него лихорадка? Похоже, Город думает, что даже я могу, если мальчик учится бегать.

И я начал рассказывать о тех, кто будет выступать в забеге с факелами. Думал его успокоить, но он разъярился пуще прежнего.

– Ты мне не крути! – говорит. – Эти ваши вечные выверты пожирают все принципы, о которых каждый человек инстинктом знает, что они верны! И чем это он ухитряется так приворожить молодежь? Лестью, конечно! Он учит вас думать, будто у вас какая-то особая миссия в жизни, будто вы чем-то особенные... Вроде вот этого заносчивого юнца, который только что глумился над Демосом. Он учит, что заниматься каким-нибудь делом, где можно научиться истинной демократии во взаимопомощи с коллегами, – это напрасная трата вашей драгоценной души; что если вы не станете шлаться с ним вместе по колоннадам целыми днями, пороча все святое, то правратитесь в олухов, точь-в-точь таких же, как ваши бедные, несчастные отцы, которые только и умели что надрываться, чтобы жить как граждане, а не как рабы.

– Он сам обучался профессии, и гордится этим. Весь Город это знает...

– Не говори мне о Сократе! Если сами молодые не платят за его уроки – это приходится делать их отцам!..

Я проследил его взгляд, уже заранее зная, что сейчас увижу. Сын его, Антемион, юноша лет восемнадцати, сидел чуть поодаль в компании сыновей ремесленников и торговцев. Ребята смотрели на него восхищенно; и по их смеху понятно было, что он только что рассказал им какую-то очень грязную историю. А он тем временем

снова подзывал разносчика вина; несколько раз это уже было, я видел. При том что вино было крепкое, он пил его неразбавленным, как люди, которые без этого не могут обойтись. У парня были светлые волосы и брови, лицо румяное, подвижное, но глаза – безумные.

– Он пьет сверх меры, – сказал я. – Все его друзья сожалеют об этом. В те дни, когда он приходил к Сократу, я ни разу не видел, чтобы он пил вообще. Не думаю, чтобы он был счастлив сейчас. И уж конечно не потому, что считает, будто слишком хорош для работы в твоей дубильне – а потому, быть может, что эта работа не дает ему раскрыть что-то в себе; так бывает с птицей, если запрешь ее в клетку, когда у нее крылья растут.

– Чепуха! – сказал он. – Что он о себе возомнил? Он отработает свое ученичество, как все. Я сражался за равенство между людьми. Про меня никто не скажет, что я воспитывал своего сына так, чтобы он стал выше своих сограждан.

– Так нам надо отказаться от любви к совершенству, пока все сограждане не начнут чувствовать ее одинаково? Нет, Анит. Я воевал не за то, чтобы на меня надевали венок, хоть бы я и на дистанцию не выходил. Воевал за такой Город, где могу знать, кто на самом деле мне ровня – а кто лучше меня; и тех могу чтить по достоинству. За такой Город, где частная жизнь человека – его личное дело; и где никто не заставит меня проглотить ложь, потому что она целесообразна, и не навяжет мне чужую волю.

Пока я говорил – казалось, что это мои собственные мысли, и я никому их не должен, только какой-то памяти в душе. Но когда посмотрел через стадион, туда где в наступающей темноте загорались огни Верхнего Города, – вдруг увидел, как за дверью светятся лампы Самоса, увидел чашу на деревянном некрашеном столе... И боль утраты пронзила меня, словно нож. Словно весь день простоял на страже – и вот, ночью, удар. Весь мир опустел, стал обиталищем теней; но некому было протянуть мне чашу Леты и дать испить из нее.

«Нет, – подумал я. – Я и не стал бы ее пить. Ведь он живет здесь во всем, что сделали мы. Вон внизу мальчишки танцуют для Зевса, и на них смотрят свободные люди, чьи лица не скрывают мыслей; и этот старый дурак болтает все, что думает – насколько у него получается думать, – и ничто ему не грозит за это; и Сократ говорит своим друзьям: «Мы либо найдем то что ищем, либо избавимся от убеждения, будто знаем то, чего не знаем».

Я посмотрел вниз, вдоль скамей, и увидел его: он разговаривал с разносчиком вина, которого остановил Хирофон. Уже зажгли факелы для бега, и они осветили лицо его – старую маску Силена – и улыбки Платона и Федона. Я коснулся кольца на пальце своем и сказал: «Спи спокойно, Лисий. Все хорошо».

На какой-то миг я отвлекся от Анита, а теперь его голос снова дошел до меня:

– Ты сказал, он научил тебя новой вере? Вот тут не спорю!.. Даже Священные Олимпийцы его не устраивают!.. У него наверно есть свое божество, которое дают оракулы ему, и он ставит его выше богов Города?.. Он нечестивец; он не демократ; одним словом – он не афинянин! И я не один, кому это надоело. Только влияние в высоких сферах оградило его от давно заслуженной кары. Но теперь у нас демократия!..

Я обернулся глянуть на него – и увидел его глаза. И тогда понял, что в его голосе заставило меня вздрогнуть. Это было чувство силы и власти. С Илисса налетел холодный ветер и пронесся над стадионом. Он прибил пламя факелов, и на нас глянула черная почь.

Кто-то сверху тронул меня за плечо:

– Ты не идешь, Алексей? Твои мальчишки тебя ищут. Скоро старт, танец уже кончился, вот-вот гимн запоют.

Пока он говорил, хорег поднял жезл, и мальчишечьи голоса птичьей стаей взлетели в темнеющее небо. К Царю Зевсу, Всезнающему, подателю мудрости, и справедливости между людьми. Я поднялся на ноги. Анит еще разглагольствовал; а впереди, в свете факелов, Сократ говорил что-то Федону, держа чашу в руке.

Эту книгу я нашел в бумагах отца моего, Мирона, которые остались после его смерти. Очевидно, это работа моего деда, Алексия, который внезапно скончался на охоте в возрасте около пятидесяти пяти лет, когда я сам был маленьким ребенком. Не знаю, закончили ли дед свою книгу. Я ничего больше не нашел из нее и переплел то, что было.

Алексий, сын Мирона, Филарх афинской конницы божественного Александра, Царя Македонии, Верховного вождя всех эллинов.

Примечания по поводу некоторых персонажей

Алексий и его семья – персонажи вымышленные.

Лисий появляется в одноименном диалоге Платона о Дружбе, юношей примерно пятнадцати лет. Платон очень часто рисует юношеские портреты людей, которые в действительности были значительно старше его (например, Кармид, Алкивиад). Детали, приводимые в диалоге, позволяют предположить, что Лисий был истинным афинянином, но о нем не известно ничего больше, кроме замечания Диогена Лаэртского, что «беседуя с Сократом, Лисий стал человеком выдающимся». Но даже это вполне может быть почерпнуто из Платона.

Приведенная здесь версия происхождения Федона взята у Диогена Лаэртского. Он называет Федона элейцем, но Гроут уточнил, что в то время в рабство были обращены не элейцы, а мелосцы. Афеней говорит, что Федон часто отказывался от утверждений, которые приписывал ему Платон. Но в диалоге «Федон» ему вообще никакие утверждения не приписываются; это наталкивает на мысль, что Платон из деликатности сделал Симмия и Кебия глашатаями скептицизма, источником которого предположительно был Федон. Возможно, он сам отошел от этого скептицизма, а возможно, полагал, что его собственную диалектику было бы разрушить не так просто. Но очевидно, что интеллектуальная пропасть, разделявшая двух друзей, становилась все шире.

До нас не дошло никаких сведений о юности Ксенофонта (в тексте – Ксенофон), кроме анекдота о его первой встрече с Сократом у Диогена Лаэртского. Но его «Меморалии» и наставления по охоте, по верховой езде, по кавалерийской тактике и по ведению хозяйства

позволяют представить себе его социальный и психологический портрет. Предание, что он был в плену у фиванцев, легко объясняет начало его дружбы с Проксеном: из-за войны они вряд ли могли встретиться как-нибудь по-другому. В своем живом повествовании о Персидском походе он рассказывает, как предательски был убит Проксен. Сам же Ксенофонт был изгнан из Афин за службу у Кира и никогда больше не встречался с Сократом.

Платону последующие поколения приписывали победы в борьбе на всех главных эллинских Играх, но мало вероятно, чтобы он посвящал ей так много времени, выйдя из юношеского возраста. Общепринято, что он участвовал в состязаниях на Истме; имея в виду ограничения, связанные с войной, наиболее вероятным годом надо считать 412. Частые упоминания о борьбе в его «Диалогах» показывают, что он разбирался в ней вполне профессионально. Считается, что прозвище дал ему его тренер.

В «Седьмом Письме» он описал изменение своих воззрений во время тирании и отвращение к тому, как обращались с Сократом. Что он вмешался, пойдя к Критию, — это только предположение; кажется вполне вероятным, что то же сделал и Кармид. Об инциденте с Эвфидемом и о публичном выговоре Сократа, как и о его встрече с Критием во время тирании, рассказывает Ксенофонт. Если Сократа действительно спас Платон, нет ничего удивительного в том, что Ксенофонт об этом не упоминает; во всех его воспоминаниях о Сократе Платон упоминается лишь мимоходом, в связи с унижительными рассуждениями по поводу младшего брата. Платон вообще ни разу не упоминает Ксенофонта. Причина этого неизвестна.

Знаменитая эпитафия Платона Астеру заканчивается словом *phthimenois*, которое может относиться к потере яркости или к закату звезды, к угасанию вообще или к смерти от чахотки в частности. Стих начинается игрой слов, в конце она то ли есть, то ли нет. Вся эпитафия полна слов, несущих многоплановую смысловую и эмо-

циональную нагрузку, которую в любом переводе можно передать лишь частично.

Что касается Сократа, я опиралась в общем на Ксенофонтovo описание его жизни и учения, полагая, что оно отнюдь не отрицает свидетельства Платона, отношения которого с Сократом строились, вероятно, в совершенно иной плоскости. Сохранилось предание, что характер у него был воистину буйный и что в тех редких случаях, когда он терял контроль над собой, в выражениях он не стеснялся. Рассказ Ксенофонта, очевидно, подтверждает это. Диоген Лаэртский рассказывает, что обозленные прохожие иногда нападали на него на улице, и приводит его замечание по поводу осла.

В 399 г. до н. э., вскоре после того как заканчивается это повествование, Сократ был обвинен Мелетом, Ликоном, отцом Автолика, и Анитом в следующей формулировке: «Сократ виновен в отказе почитать богов, признаваемых Городом, и во введении других, новых божеств. Он виновен также в развращении молодежи. Требуемое наказание – смерть».

Вполне вероятно, что Ликон считал Сократа ответственным за формирование личности Крития, и полагал, что мстит за смерть своего сына. Но, по свидетельству Ксенофонта, сам Сократ после суда считал своим главным врагом Анита: «Я сказал ему, что не стоило растить своего сына в дубильне». (Ксенофонт добавляет, что молодой человек вскоре стал хроническим алкоголиком и из-за этого умер.) Платон изображает, как Сократ выставляет Анита дураком в споре с ним; Диоген Лаэртский добавляет, что Анит не выносил насмешек и никогда их не прощал. Плутарх донес до нас историю об Алкивиаде, который по-видимому всю жизнь – от ранней юности и до самой смерти – производил сильнейшее впечатление на всех, кому доводилось сталкиваться с ним.

Хронологическая таблица

До н. э.

431 (Нейемия перестраивает Иерусалим. Рим завершает покорение вольсков.)

Начало Пелопоннесской войны.

Осада Потидеи. Сократ, ему тогда 38, спасает в бою жизнь Алкивиаду, ему 18, и отказывается в его пользу от награды за доблесть.

430 Спартанцы вторгаются в Аттику. Чума в Афинах. Приблизительная дата рождения Ксенофонта.

429 Смерть Перикла. Чума продолжается.

428 Спартанцы в Аттике. Вероятный год рождения Платона.

427 Падение Митилены. Отмена приговора лесбосцам. Спартанцы в Аттике.

425 Победа Демосфена у Пилоса. Спартанцы в Аттике. Афины удваивают дань с союзников.

424 Битва под Делием. Афиняне разбиты фиванцами, с их отборным отрядом, впоследствии известном как Священный отряд. При отступлении Алкивиад спасает Сократа. Изгнание Фукидида.

423 Перемирие на год. Аристофан представляет «Облака», где Сократ изображен анархистом, негативно влияющим на молодежь.

422 Нападение на Амфиполь. Убиты Клеон и спартанский генерал Брасид. Автолик в возрасте около 17 лет выигрывает первый венок на Панафинейских Играх. Происходит встреча, описанная в «Пире» Псевдоксенофонта.

421 Никиев мир.

420 Проводятся Олимпийские Игры. Алкивиад выставляет семь колесниц и выигрывает 1, 2 и 4-й призы.

419 Союз с Аргосом, организованный Алкивиадом.

418 Афины возобновляют войну.

416 Мелос захвачен афинянами после осады. Мужчины перебиты, все остальные обращены в рабство. Вероятно, среди них и Федон.

Агафон награжден призом за лучшую трагедию; происходит встреча, описанная в «Пире» Платона.

415 Первое представление «Троянок» Еврипида (в тексте – Эврипид).

Подготовка к Сицилийской экспедиции.

Разбиты Гермы и обвинен Алкивиад.

Экспедиция отправляется в начале лета.

Алкивиادا отзывают на суд, но он бежит в Спарту.

На сцене «Птицы» Аристофана.

413 Спартанцы по совету Алкивиада занимают и укрепляют Дскелею.

Фракийцы под командованием афинян захватывают Микалес в Беотии и варварски вырезают мирных жителей, включая детей в школе.

Алкивиад совращает Тимею, жену царя Агида.

На Сицилию отправляются подкрепления под командой Демосфена. Его ночная атака отбита с тяжелыми потерями. Никий соглашается уходить, но задерживается из-за лунного затмения (27 августа).

Морской бой в гавани и полное истребление афинского флота.

Отступление афинской армии и ее окончательный разгром.

412 Алкивиад проводит кампанию на Ионийских островах. Ширится восстание союзников против Афин. Спарта признает притязания Персии на Ионию в обмен на финансирование спартанского флота.

Проводятся Истмийские Игры, афиняне приглашены. Алкивиад уходит в Персию и принят Тиссаферном.

411 Свержение демократии в Афинах. Обещание выборного списка из 4000 человек не выполняется. Политические убийства, власть террора.

Мятеж на Самосе подавлен с помощью Алкивиада, который ушел от олигархов (по свидетельству Фукидида, потому, что пообещал им больше, чем персы могли дать).

Контрпереворот в Афинах. Побеждают умеренные консерваторы во главе с Фераменом (в тексте – Терамен), что предотвращает капитуляцию перед Спартой.

Четыреста олигархов свергнуты; их лидеры в изгнании.

Спартанцы захватывают Эвбею, что влечет невосполнимые потери в сельскохозяйственных землях и в частных владениях афинян.

Восстановленная демократия вновь призывает Алкивиада, но он предпочитает остаться на Самосе и командовать флотом.

На сцене «Лисистрата» и «Фесмофории» Аристофана.

410 Алкивиад побеждает в Эгейском море.

Ставится «Электра» Еврипида.

409 Агафон и, возможно, Еврипид уезжают из Афин в Македонию.

408 Алкивиад возвращает Византий и с триумфом возвращается в Афины.

407 Лисандр назначается командовать спартанским флотом.

406 Антиох разбит Лисандром в битве у Нотия (Мыс Дождя). Алкивиад смещен.

Битва у Аргенузских островов (Белые Острова). Терпящие бедствие корабли оставлены без помощи, что влечет гибель множества людей. Незаконный суд над генералами; протест Сократа.

Спартанцы предлагают мир; демагог Клеофон добивается отказа.

405 Лисандр, вновь назначенный командующим по инициативе Кира, блокирует Лампсак.

Афинский флот уничтожен при устье реки Эгос-Потамос (Козьей реки).

Общее восстание всех союзников (кроме Самоса).
Начало осады Афин.

404 Афины в осаде. Ферамен ведет переговоры на Саламине. Голод принуждает к капитуляции (апрель).

В Афинах Лисандр приводит к власти Тридцать Тиранов. Террор.

Алкивиад убит во Фригии, Автолик в Афинах.

Ферамен проводит предложение о трех тысячах, имеющих гражданские права.

403 Критий смещает Ферамена.

Фразибул и Семьдесят захватывают Филу. Судебное убийство элевсинцев.

Захват Пирея и битва под Мунихием. Критий убит.

Вмешивается царь Павсаний, объявляет амнистию и выводит спартанский гарнизон.

402 Смещение Лисандра.

401 Кир гибнет в войне за престол с Артаксерксом. Его наемная армия из десяти тысяч греков остается обезглавленной, после того как Тиссаферн вероломно убивает всех генералов, включая Проксена, друга Ксено-

фонта. Ксенофонт собирает отчаявшихся солдат и с помощью других младших офицеров выводит войска от Вавилона к Геллеспонту через враждебную страну.

400 Смерть царя Агида. Его сын не получает права на царство, поскольку подозревается, что это сын Алкивиада.

399 Ксенофонт в изгнании.

Сократа обвиняют, судят и казнят после тридцати дней в тюрьме, проведенных в ожидании, когда вернется священная галера с Делоса. Платон и остальные друзья остаются с ним до конца, а затем уезжают в Мегару.

Содержание

Словарь	5
ПОСЛЕДНЯЯ ЧАША. (<i>Исторический роман</i>)	7
Примечания по поводу некоторых персонажей	438
Хронологическая таблица	441

Литературно-художественное
издание

Мэри Рено
ПОСЛЕДНЯЯ ЧАША

Исторический роман

Руководитель проекта
Геннадий Белов
Перевод с английского
Георгия Филипповича Швейника
Художник
Владимир Лебедев
Художественный редактор
Дмитрий Майстренко
Технический редактор
Татьяна Раткевич
Верстка
Иины Юзефович

Подписано к печати с оригинал-макета 20.10.93.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Гарнитура Garamond.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,5. Тираж 50 000 экз.
Изд. № 332. Заказ 93.

Издательство «Северо-Запад».
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18.

Лицензия ЛР № 030022 от 06.07.91 г.

АООТ «Санкт-Петербургская типография № 6».
193144, Санкт-Петербург, ул. Моисесенко, 10.

31002









Среди исторических романов английской писательницы Мэри Рено (1905—1983) особое место занимают романы на античные сюжеты, которые принесли ей наибольшую популярность.

«Последняя чаша» — роман о событиях, происходивших в Древней Греции, второй из романов Мэри Рено, переведенный на русский язык.

В демократических Афинах начинается борьба политических партий. Олигархический переворот, с одной стороны, приводит Афины к тирании. С другой стороны, должен решиться жестокий вопрос первенства Афин и Спарты. Как ведут себя в сложившейся, столь сложной, ситуации герои Мэри Рено, многие из которых реальные исторические личности?

Богатство, знатность, красота, необыкновенные дарования соседствуют с эгоизмом, честолюбием, жадной повелевать. Жизнь, как мирная так и военная, сталкивает благородство, великодушие с низостью и предательством. И часто лишь мудрость способна разрешить конфликты между людьми, помочь, а иногда и спасти в экстремальной ситуации — мудрость, «учителем» которой предстает Со- крат.

